

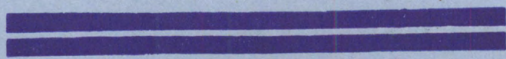
ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ
МИР

НОВОБЫИ МИР

1984

6



1984



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 6

Июнь, 1984 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИВАН ДРАЧ — Отчий кров, стихи. Перевел с украинского Лев Озеров	3
АЛЕКСЕЙ ПРЯШНИКОВ — По сути, повесть	6
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ — Дальняя дорога, стихи	40
АРМЕН ЗУРАБОВ — «Камо. Напомнить мне!», роман. Окончание	44
ВЛАДИМИР КОСТРОВ — Кукушка, поэма	110
АНАТОЛИЙ ТКАЧЕНКО — Два рассказа	116
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ — Новые стихи	134
ГЮНТЕР ГРАСС — Местная анестезия, роман. Продолжение. Перевела с немецкого Л. Черная	136
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ВЛАДИМИР ЦВЕТОВ — Якудза	188
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
АНДРЕЙ НИКИТИН — Испытание «Словом...». Продолжение	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Союзу писателей — 50</i>	
АФАНАСИЙ КОПТЕЛОВ — Могучий аккумулятор творчества	227
САВВА ГОЛОВАНОВСКИЙ — Полстолетия назад	230
—	
В. КАМЯНОВ — Постигание глубины. Мир Пушкина: новые работы о поэте	234
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Людмила Скорино. Таков этот творческий труд.	249
Владимир Солоухин. Душа Японии.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Ф. Кривин. Путешествие в страну смеха.	Стр.
Л. Авиныйский. Воздухоплаватели чувств.	
<i>Политика и наука</i>	262
Эрнст Генри. Красная Роза.	
И. Кон. Инициатива и контроль.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Вячеслав Кузнецов. — Владислав Шошин. Ленинградская симфония. ◆	
А. Панков. — Владимир Шорор. Пошлите меня в разведку ◆	
Андрей Василевский. — Иван Твардовский. На хуторе Загорье. Документальная повесть. ◆	
Г. Воробьева. — М. Ефетов. Земля Новгородская. Документальная повесть. ◆	
Андрей Зорин. — Человек читающий. Homo legens. Писатели XX в. о роли книги в жизни человека и общества. ◆	
Эр. Ханлира. — Б. А. Серебрянников. О материалистическом подходе к явлениям языка. ◆	
Б. Сарнов. — Наталья Бианки. Обыкновенное чудо. О буднях хирургов-офтальмологов	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ИВАН ДРАЧ

★

ОТЧИЙ КРОВ

С украинского

Заводу «Арсенал»

Когда, раскатам боя внемля,
Переживешь тяжелый миг,
Антеем, что почуял землю,
Коснись ты этих стен седых.
Коснешься стен, выдавших пламя,
И ты почувствуешь сполна.
Что сила — с нами, гордость — с нами,
Что честь победы — нам дана.
Священны камни «Арсенала»...
Отцы здесь поднимались в бой.
Твоя звезда их осеняла,
Они горды твоей судьбой,
В глаза бойниц твоих глядели,
В ответственные времена
Была надежней цитадели
Твоя суровая стена.
К тебе с фронтов слетались вести,
Народных толп ты слышал шум.
Ты крепость пролетарской чести
И воплощенье наших дум.
К тебе мы обращаем слово,
Настоянное на любви:
Отважно, нежно и сурово
К труду и творчеству зови!
Священны камни «Арсенала»...
Ты не поник, ты не притих.
Светить нам продолжает ало
Живой огонь цехов твоих.
У проходной рабочей ранью
Или в домашней тишине
Твое могучее дыханье
Живую жизнь дарует мне.

Киевское небо

Память войны

И вышел — семилеток — я из хаты.
Дрожала ночь, и слышались раскаты
Громов, ревела и рвалась земля,
И небо там, на севере, гудело
И гвозди звезд вколачивало в тело,
И были мглою вспаханы поля.

Вставало небо знаменем багряным,
 Не исцеляло — заливало раны,
 И ярый клетот резал небеса,
 И надо мною пустота чернела
 И ястребом висела, то и дело
 Со звезд спадала черная роса.
 Как будто бы космические страсти
 Старались небо разорвать на части:
 Чернь и багрянец или жизнь и смерть.
 Чернь и багрянец бились без пощады.
 Перелетали через нас снаряды.
 Я близко видел эту круговерть.
 А небо полыхало надо мною,
 Разгневанно дыша в лицо войною,
 И знамя пламенело у дверей
 Так чисто, обнадеженно и ало,
 И мать меня в тревоге укрывала
 Крылом, как водится у матерей.
 — Ты видишь, сын, вот наши на подходе. —
 И я слезу ее увидел — вроде
 Она была не здесь, а вдалеке.
 — Пылает небо — страшная минута! —
 И у нее глаза пылали, будто
 Держала небеса в своей руке.
 Держала небо, словно опахало,
 Чтоб на меня тлетворно не дышала
 Ночная тьма, чтоб верил я добру.
 И яростью и мезтью налитое,
 Она держала знамя то святое,
 Что гулко трепетало на ветру.
 Потом открылась дверь, и там, за дверью,
 Послышались седые, как поверье,
 Слова о том, что жизнь — всегда борьба.
 — Копьем Георгий поразил дракона... —
 И вдруг взглянула на меня икона,
 Дохнула древность, искренность, судьба.
 И я легенду услышал впервые
 (Ночь истлевала, вспышки огневые
 Напоминали миру о заре),
 Как Щек и Кий, Хорив и Лыбедь с ними
 На кручах жили думами одними, —
 Основан Кием город на горе.
 У Лыбеди глаза сияли — очи.
 А сколько было до нее охочих,
 Что нагло шли и вот идут опять.
 Кий, Щек, Хорив мечи в руках держали,
 Они поганцев беспощадно гнали
 И нынче гонят. Киеву — стоять!
 Земля дрожала, и дрожала хата,
 И свастика проклятая с плаката
 Впивалась нагло, словно спрут, в окно,
 Но огненным копьем ее пронзило,
 И неба неоглядного горнило
 С победным стягом было заодно.

* *

*

Тысяча ворон кричит о лете,
 Сотни тысяч лет живу на свете,

А птенец всю жизнь свою щебечет.
 Он не знает, где там чет и нечет.
 Капля солнца падает на травы
 И не требует ни благ, ни славы.
 Я живу какой-то миг на свете,
 Но держу всю землю на примете:
 Тысячу ворон неугомонных,
 Тысячу птенцов в древесных кронах,
 Что поют, не ведая о песне,
 Песне той, что реет в поднебесье.
 Лист, и свист, и зелень нежной елки,
 И контральто золотистой пчелки —
 Это тяжело все держать на деле,
 А себя держать — всего тяжеле.

Киевский совет

Ирпень — зимой, ну а в жару — Козин.
 Ирпень — на лыжах местного проката.
 Работа над стихом. Большая хата,
 Где я, легко заметить, не один.

Козин — иное дело, там я — сын,
 Там мать в дому, там тишина богата,
 И печь тепла — белеет в три обхвата, —
 И лезут дети и цветы на тын.

А Киев, Киев? Что сулит он мне?
 Зачем же в Ирпене и Козине
 Мне пишется, а вовсе не в столице?

Там снег кипит. Там дышится синице.
 Я в Киеве кажусь Лаокооном,
 Опутанным гремучим телефоном.

* * *

Лопачу я словесную руду
 День ото дня, порою бестолково —
 За словом слово и за словом слово,
 Написано мне это на роду.

Не убежать! Куда я ни пойду,
 Никчемность слов печет меня махрово.
 Потом так трудно оживлять мне слово —
 Написано мне это на роду.

Благословен для слова отчий кров,
 Мне тяжела словесная полова.
 Так прочь ее! — и мир опять и снова
 Возникнет в ореоле свежих слов.

Перевел ЛЕВ ОЗЕРОВ.



АЛЕКСЕЙ ПРЯШНИКОВ

★

ПО СУТИ

Повесть

- Гошка!
- Да!
- Я говорил про гвоздик?
- Говорили...
- Сколько раз?
- Не считал.
- Ты зачем в море пошел?
- Работать.
- Кем?
- Матросом.
- А я капитан?
- Капитан...
- Так почему же ты не слушаешь?
- Слушаю.
- Я про гвоздик говорил?
- Говорили.
- А ты забил?
- Нет.
- Мне пойти забить?
- Я и сам могу...
- Так почему ж ты не забил?
- Ну забыл. забыл! — заорал Гошка.
- Ты погоди, погоди. Гвозди не в башмаках. Слышишь?
- Слышу!
- Ну теперь-то забьешь?
- Забью! Забью!

Долговязый парень, сунув руки под голову, лежал на палубе, подставив лицо солнцу, а макушку — капитану сейнера Прохорову. Голос капитана долетал до Гошки откуда-то сверху, скорее всего из рубки.

И действительно, Прохоров находился в рубке. Ничего капитанского в его обличии не было. Стоптаные кирзовые сапоги, белесые от соли брюки, цигейковая безрукавка, синяя сатиновая рубаха. В таком виде только на завалинке сидеть да семечки лузгать. В довершение идиаллии на столе, вытянув передние лапы, лежал рыжий сибирский кот, очень похожий на своего хозяина широкой добродушной мордой. Прохоров оплетал бечевой гранитную грушу.

«Ну и порядки», — криво усмехнулся вошедший в рубку Андрей. Кот приподнял голову и с любопытством уставился на него.

Взглянув на кота, капитан обернулся и основательно оглядел своего нового помощника: высокий рост, нос с горбинкой, канадская борода. Во каких нынче молодцов в мореходке готовят!.. Он мешко-

вато встал и протянул руку; рука его была сухая и теплая, пожатие неторопливо, и напряжение оставило Андрея.

— Вовремя,— по-домашнему просто сказал капитан.— Завтра будем пробовать.

1

Сейнер «Болонь» вышел из бухты на пробный зачет.

Впереди «Болони» шел «Быстрый». Почему Прохоров попросил бросить буй именно капитана Василегу? Андрей хорошо знал их отношения, потому что плавал у Василеги матросом. От него ушел в мореходку и к нему должен был вернуться. Его же направили вторым помощником капитана на «Болонь». Это не считалось удачей. Этот сейнер был словно порченый: менялись капитаны, а убытки оставались прежние. Последнюю ставку комбинат делал на Прохорова — может быть, потому, что никто бы другой не согласился пойти сюда капитаном. Если бы Андрей заартачился, его бы, конечно, не принудили, определили бы на «Быстрый». Василега это понимал и поэтому поступок Андрея расценивал как измену и пощечину. Еще бы! О «Быстром» ходила поговорка: «Легче шлюпку продеть в иголку, чем попасть в команду Василеги». Но Андрей сам хотел быть капитаном, а у Василеги не развернешься.

Сейчас «Быстрый» бросит буй, этот буй, как косяк рыбы, нужно опоясать неводом. Замет будет делать Андрей. Если он заметнет хорошо, то Прохоров, может быть, разрешит ему делать заметы и на рыбу.

С «Быстрого» бросили буй.

— Приготовиться! — дал команду Андрей, и все разбежались по своим местам.— Отдать невод!

Наплава бисером посыпались в воду, на полном ходу судно стремительно описало круг.

— Хватко, хватко,— похвалил Прохоров,— и ветерок учел.

Буй оказался в самом центре невода, судно подошло к шлюпке. Горох кинул из шлюпки выброску, но стоящие у борта матросы, втянув головы в плечи, разбежались.

— Боятся, чтоб грушей не ударило? — насмешливо спросил Прохоров.

Андрей промолчал.

— Крепите! — хором закричали со шлюпки Горох и Гошка.

Но груша, повисев на борту, плюхнулась в воду.

— Багром ловите! — скомандовал старший помощник капитана Высоцкий.

Побежали за багром.

— Багор должен быть под рукой,— заметил Прохоров.

Андрей искоса взглянул на него: стоит, как тетера, вон и выброска утонула, а матросы только что прибежали, подали багор Высоцкому, но тот, оскорбившись, швырнул его на палубу.

Тут, как это часто бывает в море, откуда-то налетел ветерок и понес судно на невод. Гошка невпопад ударил веслами, и шлюпку развернуло к судну кормой.

— Смотри, смотри,— показал Андрею Прохоров,— куда он гребет?

В прохоровском тоне Андрей снова уловил насмешку. Что ему тут, кино?

Судно неотвратимо несло на невод, наплава опоясывали корму...

— Отпехами! Отпехами! — закричал Андрей.

— А гвоздик он так и не забил,— вспомнил Прохоров.

— Что?

— Гвоздик, говорю, не забил...

Команду Андрея услышали, а толку? Ухватились вдвоем за одну отпеху и носятся по палубе как ошалелые.

— Ну и команда,— сплюнул Андрей.

— Да уж... Гвоздика забить не могут.

И вдруг ни с того ни с сего заработал винт.

— Намотают! — испуганно закричал Андрей.

— Уже намотали,— успокоил его Прохоров.

— Так что ж вы?! — И, бледнея, не веря своим глазам, прошептал: — Невод потеряли...

— Говоришь, говоришь им про гвоздик...

— Какой гвоздик?! — взорвался Андрей. — Невод потеряли, невод! — заорал он ему в самое ухо.

— Вижу, не слепой...

Андрей распахнул дверь в рубку и рывком дернул ручку телеграфа — «малый ход». Затем всем телом налег на штурвал, но не смог повернуть — заклинило. Теперь было так: невод сам по себе, а судно само по себе, и шло оно не к неводу, а от него.

В рубку чинно вошел Высоцкий и скомандовал:

— К неводу!

О том, что судну нужно идти к неводу, было ясно любому дураку, Высоцкий же подал эту команду совершенно серьезно. Задыхнувшись от возмущения, Андрей уничтожающе взглянул на старпома и пинком распахнул дверь:

— В гробу я видел это судно! С вами не рыбу, а мух ловить!

«Быстрый» на самом полном ходу (не упустить бы потеху!) подошел к неводу, возле которого в шляпке болтались Горох и Гошка. Капитан Василега вышел из рубки и с нарочитой тревогой, громко, чтобы слышали на «Болони», спросил:

— В чем дело?

Горох заерзал, но промолчал.

— Мы кинули,— привстал Гошка,— а они не поймали.

— Что, что? — будто не расслышав, переспросил Василега. — Рыбу поймали?

— Нет, мы кинули...

Горох всей пятерней ухватил Гошку за полу куртки и дернул вниз так, что тот чуть не вывалился за борт.

Развернувшись, «Быстрый» подошел к «Болони». Василега помолчал, беря на выдержку, а потом, будто раздумывая, наивно спросил:

— Так вас тянуть к неводу или невод тянуть к вам?

Весело капитану Василеге, и вся его команда зубы скалит.

На «Болони» как воды в рот набрали. Андрей исподлобья следил за Прохоровым, а тот спокойно стоял в своей цигейковой безрукавке и безмятежно улыбался. Ни самолюбия, ни гордости у человека.

— Давай буксир! — неожиданно для себя закричал Андрей.

«Быстрый» медленно тянул «Болонь». Прохоров, невозмутимо поглядывая на буксир, стоял за штурвалом.

Эта невозмутимость бесила Андрея. Капитан, называется. А что за команду набрал?.. Наблюдая из рубки за рыбаками, Андрей пытался понять их состояние.

Коренастый мужчина в зеленой резиновой куртке поливал водой из шланга палубу. Андрею нравилось смотреть на дробящиеся брызги, приятен был запах свежeweымытых досок, отдающих сосновым лесом. Но палуба уже сверкала чистотой, а кривоносы́й боцман, жмурясь от удовольствия, все поливал. Как блаженный!.. Раньше боцман работал на барже, и здесь, сидя на гарантийке, он получал не меньше, чем там, так что такое положение его вполне устраивало.

Очень осторожно, боясь, очевидно, испортить лаковые ботинки, по мокрой палубе прошел щуплый человек с тонким нервным лицом, одетый в полную морскую форму. Старший помощник капитана Вы-

соцкий отбывал здесь наказание — год переждет и вернется в транспортный флот.

У самого борта, упираясь в него коленями, стоял со спиннингом радист Семочкин. Время от времени он забрасывал блесну, затем подтягивал, снимал трепыхающуюся треску и выбрасывал в море, снова забрасывал блесну, снова снимал треску и снова выбрасывал ее в море. Стараясь уловить хоть какой-нибудь смысл в такой ловле, Андрей заметил, что, перед тем как выбросить треску, Семочкин на некоторое время задерживал ее, сжимая в руке. Трепет нравится?.. Радист Семочкин — студент-заочник, ему нужно свободное время для занятий. Но когда рыба идет, на ранги и должности не смотрят, все вкальывают.

От трюма донесся хлесткий щелчок — волосатая мужская рука, с оттяжкой ударив картами по кончику вздернутого носа, отлетела от широкоскулого девичьего лица. На глазах у поварахи Галки выступили слезы.

Непомерно длинный нос Гороха мелко дрожал, а сросшиеся густые брови шевелились. «Животное», — содрогнулся Андрей и покосился на его одежду: милицейское галифе с малиновым кантом и кожаными нашлепками на коленях, цветастая рубашка, очень похожая на женскую блузку, и детская пляжная шапочка с повернутым назад козырьком. «Все с чужого плеча!»

При следующем ударе Горох, жалея Галку, что несколько примирило с ним Андрея, едва коснулся картами ее носа. «Не в счет!» — запротестовала она и всем телом подалась к Гороху. Андрею не понравилось и это движение, и то, что серая рубашка с погончиками и вельветовые джинсы слишком уж четко подчеркнули остроту ее груди и округлость бедер. Ему даже пришла деловая мысль, что для общего спокойствия мужской команды повараху надо будет переодеть в брезентовую робу.

С каждым ударом нос Галки краснел, но она смеялась взахлеб. Андрей позавидовал этим картежникам, их непринужденности, позавидовал, как может позавидовать человек, уже не имеющий права на такую непринужденность. И, может быть, только поэтому Галкин смех показался ему очень неуместным. Во-первых, ей больно, во-вторых, сейнер не санаторий, в-третьих...

А в-третьих, Андрею хотелось крикнуть: «Ублюдки! Очнитесь! Вас волокут на буксире!»

Но никому, видно, не было до этого дела. Механик Бритиков прав: на рыбу им наплевать.

В общем-то, Андрей понимал, что каждому хочется заработать побольше, но это ж не тайга: валяй, вези, получай деньги. Рыба живая, она может подойти, а может и не подойти. Он знал, что Прохоров ловил ее классно, но разве с такой командой? И выходило, что на судне за рыбу переживали Прохоров, Андрей, механик Бритиков да Гошка. Этот, пожалуй, больше всех.

— Я ж всю его биографию знаю, — листал Гошка записную книжку, полагая виновником сегодняшней аварии только Прохорова. — Вот послушай, — обратился он к Гороху. — В шестьдесят восьмом Прохоров выполнил план на сто шестьдесят восемь процентов, и рядовые матросы заработали по четыре тысячи, в шестьдесят девятом — без малого по шесть. Тогда он даже Василегу обставил. В семидесятом — по пять, в семьдесят первом...

— Да заткнись ты со своей бухгалтерией! — оборвал его Горох.

Гошка обиженно засопел, поискал, к чему бы придраться, пнул по свернутому канату, но больно ушиб ногу и, взглянув на якорь, выпалил:

— У вас даже якорь ржавый!

По густым бровям Гороха будто ветерок прошел.

— Тут, конечно, ты прав,— рассудительно поддержал он.— С таким якорем скоро к пирсу не пустят.

— А что ж вы раньше думали?

— Матерьялу нет.

— Требовать надо.

— Давно собираемся, да почерк у нас никуда не годится.

— Подумаешь, почерк! Я могу тебе так намалевать — любая газета примет!

С подчеркнутой серьезностью Горох встал с трюма, прошел в кают-компанию, тут же вернулся с чистым листом бумаги и торжественно вручил Гошке. Тот взял — деваться-то некуда.

— «Главному директору Танского рыбокомбината товарищу Глазкову», — диктовал Горох.

Внимание рыбаков Гошке нравится, и он пишет не торопясь.

— «Требование», — продолжил Горох.— А вы не хотели его брать,— с сарказмом взглянул он на механика Бритикова. Механик раздраженно отвернулся.— Значится, так: «Прошу выдать шесть кило хлопкового масла и десять метров наждачной бумаги для чистки якорей».

— Не кило, а килограммов,— поправил Гошка.

— Тебе лучше знать, я в газеты не писал.

— Может, лучше сливочного? — простодушно предложил радист Семочкин.

— Не дадут,— уверенно возразил кривоносый боцман.

— Как это не дадут?! — возмутился Семочкин.— Не из своего ж кармана!

— Ладно, пиши просто: постного,— решил Горох.

Даже Андрей не выдержал, улыбнулся и встретился глазами с Галкой. Она тоже улыбнулась. Ее глаза, светившиеся постоянным ожиданием чего-то несбыточного и обязательно прекрасного, вздрогнули и удивились: своей внезапно открывшейся детской улыбкой Андрей живо напомнил ей романтического пятнадцатилетнего капитана.

Скомкав улыбку, Андрей медленно повел по Галке откровенно циничным взглядом. Была у него такая же светловолосая, со взорами чистыми, хоть купайся, а лгала — прямо в глаза.

Горох перехватил взгляд Андрея, с удивлением посмотрел на него и, чисто по-мужски оберегая Галку, подмигнул ей как своему парню. Галка тряхнула головой, по ее льняным волосам пробежала волна, и она снова заулыбалась.

— А теперь сходи к капитану, пусть подпишет,— подытожил Горох.

Гошка, довольный возложенной на него миссией, встал, пробежал глазами требование, поставил еще одну запятую и пошел в рубку.

— Узла завязать не может, а туда же, требовать,— ухмыльнулся боцман.

— Сейчас он подвесит ему якорь,— смаковал Горох.

— Кто-о?! — протянул Семочкин.— Прохоров?

— А ты не смотри, что стелет мягко. Он со своего сейнера как-то одного деятеля из треста шуганул. На койку в ботинках лег. Так что...— неопределенно пожал плечами боцман.

— Слышен звон,— возразил Семочкин и с презрением добавил: — Квашня...

— Обожди,— предостерег механик Бритиков,— сначала они все добренькие, а потом как закрутят — со всех дырок закапает.

— Ти-хо! — увидев открывающуюся дверь, крикнул Горох.

Семочкин приготовился ударить палочками по тазу, все лица растянулись в улыбках, но у Гошки был вид победителя.

— Оперативность! — поучительно изрек он.

Обескураженные рыбаки окружили Гошку, бумага пошла по рукам — виза на полном серьезе. Неловко переминаясь, они с недоумением посматривали наверх.

— Может, не читал? — недоверчиво спросил боцман.

— Как же не читал! — возмутился Гошка. — Уточнение про масло сделал. «Ежели можно, — передразнил он Прохорова, — пометь: подсолнечного», и губами пошлепал.

— А ты?

— Я? Только в скобках, говорю. Он мялся-мялся, а потом рукой махнул: «В скобках так в скобках, валяй!»

Смеялись в открытую и тепло посматривали на маячившую в окне рубки фигуру Прохорова.

2

К середине следующего дня болонцы управились с неводом и отремонтировали руль. Горох решил розыгрыш Гошки довести до конца. Прохоров появился в конторе комбината в тот момент, когда Гошка вышел от директора с подписанным требованием. Рыбаки были ошарашены. Поверить в то, что директор не знал о том, что якоря не чистят наждачной бумагой и не смазывают подсолнечным маслом, они не могли. Так в чем же дело?

Подошел Прохоров.

— Сам бумагу подписал, — осклабился Горох — Идем на склад.

Прохоров строго взглянул на Гороха и молча взял у Гошки требование.

Увидев капитана «Болони», директор комбината Глазков недовольно поморщился: «Сам что-то канючить пришел».

Подойдя к столу, Прохоров помедлил, затем передвинул стул,сел поудобнее и с улыбкой протянул требование.

— Я же подписал, — отодвинул требование Глазков.

— А ты, Степан Петрович, почитай, что ты подписал.

— Твоя ж подпись здесь стоит?

— Ты только подписи читаешь?

Багровея, Глазков дочитал требование.

— Как?! Как это называется?!

— Ребята озоруют...

— Они озоруют, а ты подписываешь?

Директор встал с кресла, в волнении прошелся по кабинету, остановился у окна и, собравшись с мыслями, обернулся к Прохорову.

— Ты кто? Ты сейнер — первое звено, рыбозавод — второе, комбинат — третье. И таких звеньев, как твое, у меня десятки, так что я могу и не глядя.

— Как не глядя?

— А вот так. Прежде чем критиковать, надо в суть дела вникнуть. Ты знаешь, сколько бумаг проходит через меня? Если все читать, суток не хватит.

Директор говорил искренне, Прохоров вошел в его положение и проникся сочувствием.

— Помощников заведи.

— Нельзя, раздувание штатов.

— Поручи другим, у тебя ими целая контора набита.

— У них своих бумаг хватает.

— Разве сократить эти бумаги нельзя?

— То-то и оно, что нельзя. Малограмотный ты, Прохоров. Социализм — это учет.

— Бумаги вам много дают, вот что.

— Тебе все шуточки.

— Ну, это твое дело, я на своем месте решаю, ты на своем.

— А надо мной знаешь еще сколько?

— А надо мной и того больше.

Директор Глазков не понимал: шутит Прохоров или всерьез? Как он не может понять разницы между ним и собой?

— Раз посажен, должен смотреть,— твердил Прохоров.

— Опять двадцать пять, за рыбу деньги. Ты подписал — я тебе верю, я подписал — поддерживай, относись с доверием. Я о доверии между нами,— подчеркнул он последнее слово.— Опять не понимаешь? Ну что ж, приведу пример. Ты когда-нибудь думал, что произойдет, если люди не будут доверять друг другу?

— Война... Что ж еще?

— Ну, так резко тоже нельзя, но где-то ты прав. Я рыбаков хорошо знаю: дашь палец — руку отхватят.

— Да уж... Вот в детстве я пас овец, и попалась одна паршивая: побегает, побегает — и все стадо кажется облезлым.

— Дело говоришь, пастух должен быть с кнутом. Паршивую овцу из стада вон...

— А я ту овцу,— гнул свое Прохоров,— вычесал, вымыл, солью с рук подкармливал — ожила, и стадо не узнать.

— Что-то я тебя, Прохоров, не пойму: какие-то овечки...

— Человек всегда человек, только не надо стоять над ним с палкой, тогда он и сам почувствует себя человеком. И по-людски поступать будет.

Директор смешался, себе он позволял какие угодно обобщения, но Прохорову...

— И все-таки запомни: авторитет нам терять нельзя,— снова вошел в свою колею Глазков.— Ведь как они могут понять? Что ты за панибрата с ними. Они тебе еще устроят...

— Уже устроили,— вздохнул Прохоров.

— Заигрываешь, а надо дистанцию соблюдать. Ты капитан, они подчиненные. А ты со всеми на равных хочешь.

Прохоров с удивлением посмотрел на директора и, пожав плечами, достал из кармана заявление.

— Вот это надо бы подписать, давно человек на курсы просится.

Директор безнадежно покачал головой и взял заявление.

— «Колыма», «Колыма»... Ты ж в данное время не на «Колыме». Это же теперь не твое судно,— отодвинул Глазков заявление.— И вообще... Послушай, Прохоров, ты сам-то знаешь, где сейчас капитаном?

— На «Болони», где же еще...

— А за кого просишь? Разве там нет своего капитана? И тут дистанцию соблюдай.

— Свои ж ребята...

— Вот своими и занимайся. На буксире приволокли!

— Да уж, позор.

— А заявление оставь, подумаем.

Рыбаки возвращались на судно. Позади оставались старые, изломанные баржи и кунгасы, огромные черные коряги, отполированные до желтизны бревна, выброшенные осенними штормами, обрывки сетей, ленты морской капусты. Минувя старый рыболовный бот, наполнину вросший в песок, подошли к шлюпке, уселись, но не отчаливали.

— Ну, поехали, чего ждем,— нахохлившись, проворчал Гошка.

— Обожди, Матвея нет,— оглянулась на поселок Галка.

К берегу, спасаясь от погони, большими скачками неслись кот. Он с ходу прыгнул в шлюпку и стыдливо забился под скамью, вся его

морда была оцарапана, на боках висели клочья выдранной шерсти. Прохоров, осторожно погладив кота, подбодрил: «Гулена...» И с намеком взглянул на захмелевшего Гороха.

3

Вскоре авиаразведка донесла: «Появилась косяковая сельдь» — и колонна сейнеров спешно вышла в море. Впереди «Быстрый», за ним «Колыма», потом «Альбатрос», «Ладога» и самая последняя — «Болонь».

— Почему мы тянемся в хвосте? — недовольно спросил Гошка.

— Наша эскадра строится так, — объяснил Горох, — кто ловит рыбу за голову — в голову, за хвосты — в хвост.

— По процентам, что ли?

Горох не ответил. С некоторых пор его никакие проценты не интересовали. А вышло вот как.

О себе он был невысокого мнения, в зеркало не мог на свою образину смотреть: брови и те не как у людей, срослись, будто и бровь-то одна, не говоря уж о длинном носе — рубильнике. Знал он про себя, что рыбак хороший. ну так что ж? И Васька Филиппов учитель хороший, и Генка Петрушин, техник, — тоже хороший. За Зоей бегали и они, а она выбрала его. Ему же Зоя никак не в пару, аккуратная, как игрушка, разговором культурная. Чем больше с ней Горох жил, тем сильнее она ему нравилась, и все бы хорошо, да одна мысль не давала покоя: почему она выбрала именно его? Много раз приставал к ней с этим, а она и сама толком ответить не могла: хорошо, мол, мне с тобой, и все тут. А отчего хорошо? Не знаю... И стал Горох думать.

Оказалось, что преимущество у него перед учителем и техником только одно — он больше зарабатывал. Горох стал присматриваться... Работать не стала? Ребенок маленький. Нарядов покупает много? Так и его не забывает, любил, чтоб он в костюмах да в белых рубашках ходил. Но однажды ушел он в рейс, а она дом купила (разговор о доме у них был, хотя твердого согласия он не давал) и записала его на себя. Значит, догадка его, в общем, верна, а вот как точнее узнать?

И Горох придумал.

Получил он в конце лета деньги и завалился в ресторан, благо город недалеко, три часа лету. Прокутил все, пора возвращаться. Ну, посмотрим, как встретит. А тут знакомый ювелир подвернулся, сделал ему медальон под золото с фальшивым камнем — от настоящего специалист только отличит. Приехал домой. «Где был?» Ну, это вопрос традиционный. «За подарком в город ездил». Подобрела сразу, целоваться полезла. «Вот, на, за двести пятьдесят». Надела, подошла к зеркалу — и в лице переменялась, губы задрожали, потом как рванет с себя: «Двести пятьдесят?!» И той фальшивкой ему по роже. Ну, значит, точно... Грохнул Горох сапогом, хрустнуло что-то под каблуком, и поминай как звали, даже с дочкой не простился.

С тех пор ни звука, второй год. Алименты высчитывают, только на них не разбежишься, они — с гулькин нос. Геща, правда, не забывает, костит его в письмах и в хвост и в гриву, даже скрытым тунеядцем обзывает — за то, что не в полную силу работает. Вот такие дела.

На место лова пришли глубокой ночью. Вокруг темнота, хоть глаз коли, а внизу, в глубине, — будто гигантский город, празднично расцвеченный бесчисленными мерцающими огнями.

За штурвалом Прохоров, чем Андрей явно недоволен. Буй, на который он так хорошо заметнул невод, конечно, не рыба, но ведь заметнул-то хорошо, а Прохоров все-таки штурвал не доверил. Капи-

тан чувствовал недовольство Андрея, но первый замет — всему начало.

За кормой «Болони» длинный искрящийся шлейф, с носа хорошо видны разбегающиеся в стороны светящиеся стрелки, по их величине рыбаки определяют, крупная ли рыба.

Прибавляя, сбавляя ход, разворачиваясь, кружась, рыбацкие суда мечутся в поисках сельди. В это время на судах гасят все огни, кроме кормового, и встречное судно то бесшумно проплывет и растает красным огоньком, то черной тенью таинственно скользнет перед самым носом.

Мечутся суда, и вместе с ними мечутся души рыбаков... За бортом «Альбатроса» большой белой шапкой поднялся косяк сельди. «Центнеров на сто, — определяет капитан Клячко и не отдает невод. — Найду больше». «Лучше маленькая рыбка, чем большой хрен», — возмущается команда.

Капитан «Ладоги» Морозов хочет действовать наверняка. Судно на переменных ходах — малом, среднем, полном — кружится вокруг косяка, сбивает его: идет изучение. Вот при резком шуме двигателей косяк шаркнулся в сторону по поверхности и зафосфорил, но не так сильно, чтобы можно было рассмотреть его лицо. Морозов заходит еще раз, дает полный — и косяк уходит на глубину, показывая хвост.

Перед глазами Гошки, сидящего в шляпке, все — земля, небо, вода — в хаотическом движении, ударах, рывках... Горох с насмешкой посматривал на Гошку, надевшего по его совету спасательный жилет.

— Жилет тоже липа! — сквозь шум двигателей и свист ветра прокричал Горох. — Продержись долго, но вода ледяная, сразу судорогой стянет! Охотское море, не Черное...

Слева бледным заревом вспыхнул косяк. Прохоров стал его сбивать, закруживать: косяк сел, ушел в глубину.

Впереди судна показалось светло-молочное свечение, но скоро осталось за кормой.

— Это молодь, — замечает Прохоров. — Скорость у нее меньше.

По правому борту яркой золотистой шапкой всплыло целое зарево.

— У-ух! — выдохнул Андрей.

— А темные пятнышки не видишь? — спросил Прохоров. — Это пустота, рыба разреженная, а яркость оттого, что она вся на поверхности.

Прохоров обвел взглядом небо, прикидывая, сколько времени еще может продержаться темнота.

Андрей равнодушно скользил взглядом по поверхности воды, по мерцающим белым шапкам. Вдруг среди них вспыхнуло большое бледно-золотистое зарево и тут же пошло в глубину.

— Отдать невод! — Реакция Прохорова была мгновенной — Андрей даже вздрогнул.

В Прохорова будто дьявол вселился, он топал ногами, потрясал кулаками и в одну минуту подчинил себе все и всех настолько, что каждый перестал ощущать себя.

Андрей не мог поверить своим глазам. Только что перед ним был увалень, который, казалось, постоянно находится в дреме или к чему-то в себе прислушивается. И вдруг движения стали резкими, уверенными, голос сильным, тон непререкаемым, даже сквозь одежду как бы виделись его напряженные мускулы, все назлектризованное тело, готовое к прыжку. Это преобразование обрадовало Андрея и разозлило: как же он-то поддался? Ведь он тоже не помнил, не ощущал себя.

Судно на полном ходу опоясало неводом косяк рыбы, свободный конец быстро взяли на борт, исправно завизжала лебедка, стальным тросом, пропущенным через кольца, стянули низа невода...

Самые ответственные минуты, в которые решалась судьба всего замета, миновали. В неводе бурлила рыба, она кружила, всей массой давила на стенки, ища выход.

Первое, и самое сильное, чувство, которое вызывала пойманная рыба, было острое чувство гордости. Причина была не в деньгах, в ином. Если человека пустить в море голеньким, то есть таким, каким его создала природа, то он окажется слабее и беспомощнее любой рыбешки. Но вот он улучшил зрение и слух, удлинил руки и ноги, усилил мышцы техникой. В этих приобретениях — разум и воля, ими он отличается от всего живого. И как все живое наиболее полно ощущает себя в момент проявления своей главной сути, так и в этих порывах, на этой волне был самый высокий взлет человеческих душ.

Даже механик Бритиков, очень желчный человек, радостно вопил: — Размочили!

Забыв, что ему, заочнику, теперь придется вкалывать наравне со всеми, кричал радист Семочкин:

— Первыми! Первыми! Флаг путины наш!

Как мальчишка, горячился Горох:

— Пятьсот, не меньше! На спор?

— Пятьсот? Пятьсот на сорок пять... — подсчитал Гошка. — Две тысячи двести пятьдесят. На каждого по сотне? Приличный фотоаппарат, а еще такой заметик — и телевизор... Да, Горох?

— Да, да!..

Сейчас Гошкины подсчеты никого не раздражали. Многие прикидывали, на что лучше истратить деньги. Но денег, как всегда, на все не хватало, и тогда возникала надежда: может, и следующие заметы будут такие же удачные? Это была вторая теплая волна, и ничто не мешало отдаться ей, так как работала, скрипя и визжа, только одна лебедка.

Невод скользевали. Семочкин сунулся было посмотреть, глянул на капитана — а тот дель тянет — и уж хотел обратно в рубку шмыгнуть, а Прохоров и засеки:

— Вася, пособи-ка мне...

Некуда деваться Васе, подошел, тоже взялся за дель. Сопит, но тянет.

— Ага, так, хорошо...

Обрадовал!

Та же участь постигла и боцмана. А Высоцкий, так гот сам явился с предложением:

— Не подать ли судно вперед?

— Нет, не надо, — дружелюбно ответил Прохоров. — На-ка поддержи лучше.

И всучил ему кольцо с низами, даже на парадную форму не посмотрел. А когда весь комсостав расставил, простодушно спросил:

— Запомнили, кто где стоит? — И торжественно объявил: — Теперь это будут ваши постоянные рабочие места!

Тяжел был первый замет — не окрепли руки, не приноровилось к работе тело, — все загнанно дышали, но, преодолевая себя, тянули, укладывали невод. Наконец дель выбрали, подсушили кошелек, а рыбы не было.

— Куда она делась? — недоумевал Гошка.

Решили еще подсушить кошелек — рыба могла забиться в угол или залечь на дно невода.

— Дыра! — еще не веря, удивился Андрей.

— В сторону! — Горох лихорадочно заработал руками, чтобы не дать рыбе уйти.

Но прорехе не было конца. Луч прожектора двинулся вокруг невода, за ним неотрывно следили глаза рыбаков. Рыбы не было. Дель еще выбирали, но притворяясь и оттягивая время. Потом как по

команде все вдруг бросили дель и, переводя дыхание, вопросительно уставились друг на друга.

— Будь все проклято! — зачертыхался механик Бритиков.— Не работа, а лотерея. То ли дело завод: пришел, встал к станку, сколько сделал, столько и получай. А тут... Машина у меня исправна, лебедка не заедала, тросы не путались. Так почему я должен страдать из-за каких-то идиотов? Чем я виноват?!

Бритиков выдохся, замолчал, но его визгливый крик еще долго висел в воздухе.

— Может, замет неправильно сделали? — покосился Высоцкий на Прохорова.

Предположение было оскорбительным, но Прохоров не обратил на него внимания, он, будто приносиваясь, кружил по неводной площадке, пока не наткнулся на что-то.

Рыбаки сгрудились вокруг Прохорова и молчаливо смотрели на маленький ржавый гвоздик.

— Гошка, дай-ка молоток!

Гошка мигом сбегал за молотком.

Прохоров заколотил гвоздик, пристукнул шляпку другого.

— Давайте я,— с готовностью попросил Гошка.

— Я тебе сейчас дам! — прохрипел Горох.— Я тебе сейчас покажу телевизор!

Гошка, не сводя испуганных глаз с его «маховиков», юркнул за спину Прохорова.

— Кому говорил? — остановившись перед Прохоровым, на все судно заорал Горох.

— Не мне одному...— цепляясь за спину Прохорова, гнусавил Гошка.

В бессильной ярости Горох крутил головой, натываясь взглядом на рваный невод, на равнодушно пролетающих чаек, от которых сейчас бы не было отбоя, на спокойную поверхность воды, где минуту назад бурлила рыба,— не выдержал и бросился в море.

— Человек за бортом! — как учили в мореходке, крикнул Андрей.

— Привычка у него такая,— объяснил Прохоров.— Остыть должен, а то убить может.

Чтобы не нагрубить капитану при подчиненных, Андрей отошел в сторону, выжидая, когда тот останется один. Набрал всякого дерьма... «А как откажешь? И мы когда-то ничего не умели». Что за подход к кадрам? А если команда дерьмо, так и обращайся с ней соответственно. Прикрыл грудью... Да этого Гошку повесить мало!

И Андрею вдруг показалось, что Прохоров даже рад такому обороту — стоит, жуёт губы, скрывая усмешку.

Без обычной робости, которую Андрей всегда чувствовал перед людьми чином выше, он подошел к Прохорову и жестко сказал:

— Надо было заставить.

— Я ж при тебе приказывал.

— А на что контроль?

— Что ж мне, бегать за каждым? Сознательность должна быть.

— А если ее нет?

— То-то и дело, что нет,— вздохнул Прохоров.

— Наказывать надо!

— Сознательность дубинкой не вколотишь. Обозлишь только.

— Вы что, против наказаний?

— Как же против, когда он и себя и других наказал! Ты в кузне никогда не работал?

— При чем тут кузня? — отмахнулся Андрей.

— А при том, что сначала раскали, а уж потом за молот берись. Чего по холодному металлу кувалдой махать? Плетью обуха не першибешь.

— «Не перешибешь!» — взбеленился Андрей.— Из кого команду набрали?

— А ты из кого набрал бы?

— Я? — переспросил Андрей.— Из мечтателей и хапуг, вот из кого!

— Не понял,— чистосердечно признался капитан.— Ты, Андрей, не заедайся и объясни как следует.

Прохоров попросил об этом так искренне, что Андрею стало неловко за свое хамство, и он, пытаясь как-то его загладить, решил поделиться сокровенным:

— Без знания психологии современным капитаном стать нельзя. Море, а наша профессия особенно, как известно, требует от человека двух качеств: терпения и риска. А кто пойдет до конца? Мечтатель или хапуга. Мечтателю азарт щекочет нервы, и вообще он любит все туманное и остренькое. Хапуге же всегда нужны деньги. И много денег. А где можно быстро и много заработать? На золоте, на рыбе... Поэтому он и идет до конца.

Андрей говорил и с удовольствием чувствовал, как ясно и четко формулирует свои мысли. Прохоров, боясь что-нибудь пропустить, слушал с открытым ртом.

— А кто ж из них, по-твоему, лучше? — простодушно спросил он.

— Из этих двух категорий,— сознавая свое превосходство, отвечал Андрей,— я лично за хапуг. Мечтатели, как правило, жиже. С ними много мороки и никогда не знаешь, что они выкинут. С хапугами легче, они без выкрутасов и свое вырвут с кровью.

— Никогда не думал, никогда не думал...— разволновался Прохоров.— Надо же, целая теория... Я тоже мозговал над этим, но у меня как-то все по-другому получалось. Я думаю, что человек имеет столько, сколько он хочет.

— Да? — усомнился Андрей.— А если он все-таки имеет меньше, чем хочет? Тогда как?

— Значит, не сильно хочет.

4

На море уже спускалась ночь, вместе с нею вспыхивали в воде фосфорические огни. С «Болони» на всю бухту разносились продолжительные гудки. Своим одиноким зовом «Болонь» напоминала корову, отставшую от стада и жалобно мычавшую. Если бы не соль, которую должны были принести Горох и Гошка, болонцы тоже давно бы ушли.

Ведь говорил Андрей Прохорову: не пускайте их на берег. Так нет: «А чем они, в самом деле, хуже других? Нет уж, пусть лучше они меня обманут». Что ж дальше-то будет? Когда этому будет конец? И будет ли? Думает ли он братья за кнут? Или он в этом ни черта не смыслит?

С каждой минутой темнота густела и все ярче разгорались завораживающие огни моря. Наконец к «Болони» подошла шлюпка. Первым на палубу выбрался Горох, он парадным шагом направился к Андрею, около Андрея его качнуло и потянуло дальше, к другому борту. Вместо Гороха перед Андреем остановился Гошка, он нетвердо приложил руку к голове и, покачиваясь, молчал. Во время этого «рапорта» Гошки Горох пытался приблизиться к Андрею со спины, опять же парадным шагом, и отдать честь, но поднятая нога, не успев вытянуться, вынуждена была искать точку опоры.

— Сейнер на слом? Прохорова на свалку, да? — бормотал он.

— Почему задержали отход? — тихо, но внятно спросил Андрей.

— Товарищ...— бодро начал Гошка и умолк.

— К капитану,— с угрозой прошептал Андрей.

Прохоров исподлобья взглянул на ввалившихся в каюту матросов и одернул рубаху.

— Присаживайтесь.

Прохоров по очереди оглядел всех, потом кивнул на Гороха, у которого под глазом намечался синяк, и с укором спросил щуплого Гошку:

— Как же ты допустил, а?

— Чего-о?

— Можно сказать, из одной семьи, стоять друг за дружку надо.

— А-а...— начал догадываться Гошка.— Так меня сбили первым.

— Что за оказия?

— На, гад, режь! — с безумными глазами вскочил Горох и рванул на себе рубаху.

— Успокойся, Анатолий, успокойся,— усадил его Прохоров.

— А Наполеона кто разбил?! — снова выкрикнул Горох.

— Кутузов,— ответил Гошка.

— Погодите, погодите,— остановил их Прохоров.— При чем тут полководцы?

— А они говорят,— помахал Гошка пальцем перед носом Прохорова,— если вам выбить глаз, то вы будете, как Кутузов...

Прохоров, прикрыв левый глаз, посмотрел на себя в осколок зеркала.

— Вроде не похож...

— И мы им, а они...— пытался что-то вспомнить Гошка.

— Кто они?

— Ну они, они! — махнул, будто отшвыривая кого-то, Горох.

— Понятно... Галина! — позвал Прохоров.— Поддай-ка чайку!

Галка принесла кружку горячего чая на цветастом блюде.

— Еще две.

— Им?

— А мы что, не люди?! — возмутился Горох.

Галка прыснула.

— Соль мы принесли? Принесли.— Гошка подал пачку.

Взяв пачку, Галка вышла.

— За что ж они так? — спросил Прохоров, еще раз посмотрев в зеркало.

— С вас, говорят, то есть с нас, с команды, три шкуры надо драть, а капитан и не чешется,— вздохнул Гошка.

— А за рыбу он так и не извинился,— вспомнил Горох.

— Так ты ж его... И Люба за нас! — объявил Гошка.

— Вы можете толком, по порядку? — попросил Прохоров.

— А выдержка у нас есть! — грохнул по стенке кулаком Горох.

— И мы, Никифорович, как вы...— продолжил Гошка,— спокойно, по-хорошему...

— Попросили! — с угрозой добавил Горох.

— Значит, зашли вы к Любе,— напомнил Прохоров.

— Принесли марганцовки...— в тон Прохорову продолжил Гошка.

— Вино рыбкооповское? И верно, дрянь.— согласился Прохоров.

— Дармоеды, да? — озлобленно повернулся Горох к Прохорову.

— «И у вас, говорят, на судне каждый себе капитан»,— передразнил кого-то Гошка.

— Неужели? — удивился Прохоров.

— Не верите? — вытаращил глаза Гошка.

— А у нас кто капитан? — спросил Горох Гошку.— Ты не капитан.

— Нет.

— И я не капитан. Значит, Никифорович у нас капитан.

— И заходит третий,— вспомнил Гошка.— Мурло — во! И Любе подми-и-гивает! Ну, Горох его и того...

— Может, ни за что? — спросил Прохоров.

Горох и Гошка вопросительно уставились друг на друга.

— Ну да! — запротестовал Гошка. — А почему он тогда кричал: «Бей прохорят!»?

— О-ой, не могу! — затрясся от смеха Прохоров, даже слезы на глазах выступили. — Приревновал, значит? — взглянул он на Гошку.

— Думаете, из-за Любы? — удивился Гошка.

— А что, женщина она видная...

— Хотя вы, Никифорович, и капитан, но вы ни в зуб ногой, ничего не поняли. Ничего! — подчеркнул Горох. — Но мы вам...

Договорить ему помешала Галка, она с шумом ворвалась в каюту и швырнула в Гошку пачкой.

— Суп испортила, а вы их чаем?! Это ж стиральный порошок!

Она хлопнула дверью, но еще долго ее крики доносились в каюту.

— Как же вы оплошали? — спросил Прохоров. — Подшутил кто-то?

Гошка попробовал порошок на язык, на его лице застыло недоумение. Он засунул палец поглубже в пачку и ткнул его в рот Гороху, тот машинально лизнул, и лицо его искривилось.

— А соль-то, соль где? — напомнил Прохоров.

Горох и Гошка, раскрыв рты, что-то соображали. Наконец Горох уразумел.

— Ну что, на губу? — с вызовом поднялся он.

— Спать идите, — спокойно сказал Прохоров.

— Как спать? — не поверил Гошка. — По какому... му-му-нибудь методу? Да?

— Чего буровишь? — строго одернул Прохоров. — Ложитесь, говорю, да сапоги не забудьте снять.

Гошка локтем подтолкнул Гороха и громко прошептал:

— Никифорович! Я знаю, где соль. Соль у Любы. Пошли? — Он взял Гороха под руку. — Для кого другого, а для вас, Никифорович, мы всегда...

Только под утро «Болонь» пришла на лов.

Вглядываясь со спардека в воду, Прохоров не мог понять: по какой рыбе они идут, мелкой или крупной? Спустившись на палубу, он прошел на нос и, приставив козырьком ко лбу ладонь, уперся взглядом в воду.

— А вон, вон! — подсказывала Галка.

— Два, три, четыре... — считал косяки Семочкин.

Не было сейчас на судне человека, который не мнил бы себя знатоком.

Вдруг за кормой Андрей увидел очень яркое свечение, одним махом штурвала он развернул судно и скомандовал:

— Приготовиться!

Рука боцмана легла на штырь, готовая мгновенно отдать невод; напряженившись, замер в шляпке Горох с плавучим якорем на коленях.

— Копылов! Андрей! — позвал снизу Прохоров. — Спустишь, погляди.

До боли в висках Андрей всматривался в свечение за кормой. **Добрый косяк!**

— Копылов! — снова позвал Прохоров. — Кому говорю!

Круто развернувшись, судно на полном ходу зашло на замет...

— Отставить! — властно крикнул на все судно Прохоров.

Андрей растерялся.

— Передаю управление! — зло буркнул он в слуховую трубку и сбегал вниз. — Косяк был, косяк! — раздраженно выпалил он в лицо Прохорову.

— Какой там косяк... — уклончиво сказал Прохоров.

— Мы ж не слепые,— поддержал Андрея боцман.
 — Центнеров на четыреста,— заверил механик Бритиков.
 — Найдите теперь другой!— кивнул Андрей на светлеющее небо.

Прохоров что-то вспомнил:

— Вот в пятьдесят шестом году, в августе месяце...

— В четверг? — насмешливо перебил Андрей.

Прохоров подумал, почесал затылок.

— Верно, в четверг. А ты откуда знаешь?

— После дождичка? — со слезами в голосе выкрикнул Андрей.

— Нет, в ту пору даже речки пересохли. Так вот...

— А-а! — в бессильном отчаянии отмахнулся Андрей и, дернувшись всем телом, резко шагнул к борту.

— Опять не видать мне квартиры. Бежать надо...— И, сплунув, механик Бритиков полез к себе вниз, в машинное отделение.

— Толковали, будто вы когда-то хорошо рыбу брали... Не брешут? — с иронией спросил кривоносый боцман.

— Приходилось, брал.

— Слышал, заговор на нее знаете?

Прохоров хмыкнул.

— А что? Как же там, дай бог памяти... Да! Херувимы и серафимы, помогите рыбакам божьим. Иди к нам, селедка, беспопятно и бесповоротно, против быстрых вод и во всяк день. Назад не оглядывайся, в сторону не отворачивайся, и наскakало бы рыбы в наш невод яко блох.

Рыбаки невольно заулыбались. Один Высоцкий стоял как каменный.

Глянув по сторонам, Прохоров закончил:

— А которое слово забыл, пусть и оно обернется селедкой. Аминяам аминь!

«Шут гороховый, «демократ!»— возмутился Андрей.— А коснулось дела — и не доверил».

Так и не взяли в эту ночь рыбы.

5

Пряча друг от друга глаза, рыбаки садились за стол. Через маленькое окошечко Галка подавала тарелки с супом.

— Трава,— попробовал боцман.

— Соли! — отложил ложку механик Бритиков.

Со скучающим видом Галка вышла в кают-компанию и, небрежно привалившись к стенке, скрестила на груди руки.

— Чего изволите?

— Оглохла?! — возмутился боцман.

— Ах, соли! — точно только что вспомнила Галка.— Сейчас будет!

Она слетала на камбуз и, вернувшись, бухнула на стол пачку. Рыбаки потянулись к ней.

— Мыло! — отдернул механик руку.

— Ты что, спятила?! — заорал боцман.

А Галка стояла у стенки, нагло улыбалась и в упор разглядывала Гороха и Гошку, уткнувшихся в свои тарелки. Семочкин понимающе присвистнул.

В кают-компанию вошел Прохоров, сел за стол, зачерпнул ложку, хлебнул, поморщился, но тут же решительно отправил в рот следующую... Плотнее сжались тонкие губы Высоцкого, еще сильнее выдвинулся подбородок, теперь он будет есть как автомат.

Горох ел с ожесточением, но добросовестно. Гошка же только махал ложкой — сколько зачерпнет, столько и опустит.

— Хлебаешь, хлебаешь, а не убавляется! — толкнул его в бок боцман.

Гошка скривился от боли.

— У меня живот болит... — промямлил он, вставая из-за стола.

— А ты черного хлебца с солью прешь — и пройдет, — отечески посоветовал Семочкин.

Боцман вылавливал из супа последние ломтики картофеля, механик Бритиков всухомятку жевал хлеб.

— Самодеятельность, а не команда! — задирал Прохорова Андрей.

— Силен суп, — облизал ложку Прохоров. — Молодец, Галина, положи-ка еще поварешку, — передал он через Гороха свою тарелку.

— А ты мог бы, — укоризненно обратился Семочкин к механику, — из морской воды в котле выпарить.

— Ты бы и выпарил, раз такой умный, — огрызнулся механик, — Давай кисель! — крикнул он в камбуз.

Галка вернула Гороху тарелку Прохорова.

— Тебе тоже добавить? — любезно спросила она.

Горох сердито сверкнул на нее подбитым глазом.

— Мы ему сами добавим. — Боцман пододвинул к Гороху свою тарелку. — Ешь, Горох, наедай шею!

— Говорят, когда-то совсем без соли жили, — вспомнил Семочкин.

— Доисторический обед! — съязвил Андрей.

Взглянув на усмехающегося капитана, Высоцкий незаметно пнул под столом кота.

Один за другим рыбаки выходили из-за стола, и каждый придвигал к Гороху свою тарелку с супом, этих тарелок около Гороха становилось все больше. Наконец чья-то рука слила в его пустую тарелку свой суп. Горох рванулся из-за стола.

— «Быстрый» зовет наливать! — на все судно закричал Семочкин.

Этот крик и остановил Гороха.

«Болонь» тихо подошла к «Быстрому» и робко остановилась на некотором отдалении. Нередко бывает, что рыбаки не могут взять на судно весь улов и тогда часть его передают другим.

Сейчас шестерили болонцы. Такого унижения Андрей не испытывал никогда. Сами рыбу поймать не могут.

Из рубки вышел капитан Василега.

— Давай подходи ближе! — крикнул он. Это прозвучало как «режьте, ешьте наш каравай!».

Высоцкий с открытой завистью смотрел на властного Василегу.

Болонцы взяли на борт пробку, наладили каплер — бросай и черпай рыбу, — но на «Быстром» что-то замешкались, вот и стоят болонцы в нерешительности: можно ли начинать? Или неудобно первым? Стоят и посматривают на Прохорова, а тот и сам не знает, первый раз в жизни чужой рыбой заливается. И только после того как на «Быстром» бросили свой каплер, болонцы начали черпать из их невода рыбу.

Живым серебром лилась сельдь на палубу, но не было радости в глазах рыбаков.

— Вот так бы всегда! — не понимая происходящего, радовался один Гошка.

И захохотали на «Быстром».

Увидел Василега, как закусывает губу Андрей, и представилось ему... Прибегает Андрей и просит: «Возьмите меня к себе...» А он глянет ему в самые глаза и спросит: «А где ты раньше был?» И будет оправдываться и каяться Андрей...

Очнулся от грез капитан Василега и насмешливо бросил Гошке:

— Вы малосольную селедку пробовали?

— Мы такой-то еще...

И опять захохотали на «Быстром».

— Насыпь им! — широко, по-купечески крикнул Василега своему матросу.

И пошло позорное ведро по рукам матросов «Быстрого».

— Квитанцию на рыбу пусть Андрей принесет! — крикнул напоследок капитан Василега.

После сдачи рыбы в каюту к Прохорову вошел с чемоданчиком Андрей и молча подал заявление. Прохоров видел, как переживал Андрей, когда они заливались чужой рыбой, и наверняка знал, о чем это заявление.

— Ну что ж, воля твоя, — не читая отложил он его в сторону и засуетился. Открыл дверь, позвал радиста: — Включи-ка музыку.

Время для нее было, прямо скажем, неподходящее.

— «Валенки»? — подковырнул Семочкин.

— «Валенки», — радостно согласился Прохоров.

В каюту донесся голос Руслановой. Андрей поднялся и с раздражением захопнул иллюминатор. Подписал бы скорее...

Прохоров поднял взгляд, виновато посмотрел Андрею в глаза и со вздохом проговорил:

— Серчай не серчай на меня, Андрей, а заявление я не подпишу.

Андрей растерялся:

— Как не подпишете?!

— Нам же не зря дают две недели.

— Ничего не понимаю.

— Ты что, законов не знаешь? — удивился Прохоров. — Разве вас этому не учили? Ну тогда послушай... Работнику предприятия или учреждения, — официальным тоном принялся объяснять Прохоров, — и руководителю даются две недели затем, чтобы и тот и другой как следует подумали и не поролли горячку.

— А что руководителю думать? Он все равно обязан подписать.

— А может, этот работник ему до зарезу нужен.

— Значит, на уговоры две недели даются? — съехидничал Андрей.

— Ты вот не веришь, а на хорошего работника никакого времени не жалко. Вот женишься, тогда узнаешь.

— При чем тут женитьба?

— А при том, что там два месяца на раздумья дается, а здесь две недели.

— Вы что, серьезно?

— Какие ж с законом шутки?

— Так вот, — решил положить конец этому разговору Андрей. — Будет вам известно, что две недели даются для того, чтобы — раз — работник сдал свои дела, два — чтобы руководитель мог за это время подыскать другого.

— Все верно, но хоть ты и недавно мореходку кончил, а самого главного не знаешь.

— Хорошо. Ответьте тогда на такой вопрос. Работник подал заявление, через неделю руководитель его подписал, работника уволили, а потом в конце второй недели он приходит и говорит: «Извините, ошибся». Возьмут его снова?

— Если хороший — возьмут, — уверенно ответил Прохоров.

— Нет, не возьмут.

— А я как руководитель говорю тебе, — пошел в наступление Прохоров, — что дельного работника и неделю и две можно подождать, ничего за это время не случится. И раз на то пошло, я тебе тоже задам задачку: ты когда-нибудь суп с мясом варил?

— Ну варил, — неохотно согласился Андрей, не понимая, куда клонит капитан.

— И что из него получится, если накипь не снять?

— Как что?

— Ну вот не знаешь, а споришь. Оглянись-ка, сколько на свете всякой бурды. Иди по сути вещей.

— Как это «иди»?

— Ну, живи.

— По сути... В одной и той же вещи для одного одна суть, для другого — другая.

— Ну, есть отклонения, я не спорю, но главная суть у всякой вещи одна. Вот собрал я вас, например, как капитан и два часа несу какую-нибудь ахинею, демагогию развожу. Ведь всем будет противно?

— Всем,— не мог не согласиться Андрей.

— Ты вот что, Андрей, сделай. Возьми-ка квитанцию да отвези ее Василега.

Андрей сообразил: неплохо. Вдруг с Василегой выйдет осечка? Квитанцию тот, конечно, неспроста именно его попросил привезти, и Прохоров это прекрасно понимает. «Но если он не хочет, чтобы я уходил от него, то зачем сам толкает меня к нему?»

— Что-то я еще хотел... — Поморщившись, Прохоров потер поясницу.

Андрей решительно встал и взял чемоданчик. Прохоров поднялся проводить. Вместе они вышли на палубу.

— Да! Вот в пятьдесят шестом году со мной такой случай произошел. Как сейчас помню, в четверг...

Андрей скривился, но промолчал.

— Идем ночью, ищем рыбу. Погода как нынче: малая луна, звезды... Обернулся, вижу позади кормы белую шапку, аж прямо горит вся, ну, думаю, косяк, кричу: «Отдать невод!» А вытянули пустышку.

Андрей шагнул в шлюпку и опустил весла на воду.

— А что ж было, если не косяк? — механически спросил Андрей.

— След от судна.

— Значит, вы заметили невод на свой собственный след? — засмеялся Андрей и ударил веслами.

Шлюпка рванула, и Прохоров остался один. Муторно было у него на душе.

Василега подсмеивался: славы захотел, на отстающий сейнер пошел? Славы... Стоп, стоп, когда ж это было? Лет пятнадцать, наверное, назад. Тогда говорили, что днем рыбы не поймать, а он пошел, взял на шумок и до отказа налился. Встречали с музыкой, все улыбались, в ладошки хлопали. Приятно. А потом, в комбинате, два начальника при нем заспорили, один кричит: «Моя инициатива!» — а другой: «Моя!» — а он сидел и ушам своим не верил: зачем им такая слава? Театр ведь, наружность одна.

Он был капитаном сейнера «Колыма», таких сейнеров во всем флоте, считай, два: его да Василеги. Ребята все делали сами, ты только посматривай. Дель в руки не давали взять. Радоваться бы надо, а он пенсионером себя чувствовал. С этого всегда и начиналось, уходил из жизни интерес, и он искал себе новую обузу. Пришли просить на «Болонь», он и согласился — пожалел. Слушать было тошно, на каждом совещании мусолили: не команда, а сброд, один к одному. А про капитанов молчали, будто они ни при чем. Один рыбу на замок закрывал, с матросами за стол брезговал садиться, другой горячего пожег столько — никакими уловами не покроешь. А третий прибежал и кричит: «Анархия! Я двадцать лет плавал в транспортном флоте, а такого бардака не видел! Матрос Горох, а не я капитан! Где это выдано?» «У нас,— говорю,— на рыбе. Что будет, если ты начнешь делать заметы? Пустышка за пустышкой. А ты не мешай, присматривайся и еще каким рыбацким капитаном будешь».

Так он глаза вытарачил: «Чтоб я — рыбацким капитаном?!» А на кой хрен тогда шел? Свою шкуру спасать? А чужая хоть тресни? Точь-в-точь как Высоцкий, нашел зал ожидания.

Жалко Андрея, пропасть может парень. Только уж теперь-то кровь из носа, а нужно вылезти с этой командой.

6

Андрей не торопясь шел на шлюпке к сейнеру «Быстрый», на душе была какая-то дурацкая умиротворенность. От беседы развезло, что ли? Лекарь...

Да и вообще, послужив под началом Прохорова, Андрей размяк, из него словно вынули какую-то пружину, и уже не испытывал он постоянной легкой стремительности, как прежде: идешь, а тело твое как будто уже впереди тебя бежит. Иногда ему казалось, что он попал в какое-то дремучее захолустье, а команда только-только вывалилась из парной да так и застыла в этом блаженном состоянии.

«А я капитан?» Эти слова из разговора Прохорова с Гошкой застряли у Андрея в ушах. Их можно было бы произнести с угрозой: «А я капитан?» Или со спокойным ощущением власти и достоинства. Или с этакой легкой барственностью. Любая интонация устроила бы Андрея, кроме той, с какой Прохоров спрашивал Гошку — спрашивал с чистосердечным недоумением: неужели, мол, я и в самом деле капитан? На что Гошка с таким же чистосердечием отвечал: «Капитан...» То есть никакой ты для меня не капитан, но коль тебе угодно быть капитаном, так будь им, только отвяжись ты от меня ради бога!.. А ведь этот Гошка должен питать к Прохорову уважение, пусть не к нему лично как к человеку, но как к лицу, облеченному властью...

Андрей подошел к «Быстрому», поднялся на сейнер. На палубе никого не было, и он прошел в рубку.

— Опять «Колыма» обогнала? — распекал кого-то Василега.

Увидев Андрея, он вспыхнул в догадке, но тут же подавил радость и повысил голос:

— Я приказываю — ты делай!

Перед Василегой стоял второй помощник Қозырев. Маленькой головой, короткой шеей, сливающейся с туловищем, небольшими глазами он походил на скользкую нерпу.

— Так двигатель у нас того... Сорвем.

— Не об этом речь! Стихию, спрашиваю, разводишь?! Сегодня ты, завтра боцман, а послезавтра матрос начнет командовать? Супа с мылом захотел? — кивнул он в сторону Андрея и расхохотался. Потом резко оборвал смех и с преувеличенной угрозой спросил: — Кто дал команду сбавить ход?

— Я...

— А кто ты?

— Второй помощник.

— Чей?

— Ваш.

— Ну то-то, помощник, знай свое место! Или свободы захотел? — взглянул Василега на Андрея, и помощник понял его взгляд.

— Я свободы с драной задницей не хочу, — откестился помощник.

— Раньше шагу без меня не ступал, почему?

— Брюхо подтягивало, — деланно засмеялся помощник.

— А теперь дворняжка в бульдоги метит?

— Ну что вы, где уж кильке быть селедкой.

— Хороша килька! — взглянул Василега на упитанное лицо помощника. — Дом — полная чаша, машина... «Жигули»?

— «Жигули», — согласился тот.

— А чьи они? — подмигнул Андрею Василега, как бы приглашая и его принять участие в этом спектакле.

Андрей промолчал, а про себя подумал: сначала промолчишь, потом поддакнешь, а затем и...

— Ваши,— ответил помощник.

— Как мои?

— Рыбу ж ловите вы?

— Я? Рыбу ловит команда! Слышишь, команда! — грозно прикрикнул Василега.

— А, чего там! Вы нам кусок даете, а мы не всегда... должной мерой... Вот я... Прогулял? Прогулял. Вы рапорт не подали? Нет. С кошкой шуры-муры были? Были.

— Ну ты не очень-то хорохорься! — Противно стало и самому Василеге.— Шагом марш!.. Видел? — спросил он Андрея, как только за помощником закрылась дверь.— Откуда они берутся?

Андрей посмотрел на его властный подбородок, сухие, плотно сжатые губы и вновь промолчал.

— «Я свободы с драной задницей не хочу»!.. Далекое уйдешь с такими помощниками! Если бы ты знал, Андрей, как такие вот портят нас, капитанов, да и не только нас, сколько из-за них на свете всякой мерзости!.. Квитанцию привез?

— Да.

— А я думал, Прохоров на халяву хочет прокатиться.

— Прохоров, между прочим, всегда наливает даром.

— Вот я и говорю, любит поиграть в демократию. Или он не играет?.. Ну, один черт. Все наши беды от расхлябанности, демократии много. Да, я иногда строжусь, но почему? Порядок люблю. Ежели бы мне дали власть, я знаешь как закрутил бы?

— Закручивали уже...

— Я не о том, единая воля нужна, чтобы все пальцы в одном кулаке были... На стол! — потребовал Василега.

— Что на стол? — не понял Андрей.

— Селедку. У кого-то она будет, а у меня она есть.

Андрей держался настороженно, и Василега почувствовал, что тот может совсем уйти из-под его влияния. Он подошел к Андрею и отечески обнял за плечи.

— Будь реалистом, Андрей. Главное в жизни — хорошо начать. Я с тобой говорю сейчас как с сыном, пора тебе открыть глаза. Вот пример: на дистанцию вышли два бегуна — можешь с уверенностью сказать, который из них победит? Неизвестно. Потому везде и называется: состязание, соревнование. Одну, две путины ты плаваешь со мною помощником, затем отдаю тебе свою команду. И самым молодым капитаном самого передового сейнера кто будет? Копылов, мой воспитанник. А дальше все само собой, по инерции! Ты еще не знаешь, что это такое — инерция. Это тебе не физика в школе, а физика в жизни. Я по своему брату знаю. У других как? Школа, институт, аспирантура, кандидатская, докторская — и пошло накатом, и все время он молодой, выдающийся. А мой брат после института поработал три года — и его сверстники уже пятки ему показывают. Да, главное в жизни — хорошо начать! Тогда и азарт есть и уверенность, все при тебе. Я проворонил свое счастье, так ты хоть моим опытом воспользуйся. Ведь каким человеком можешь стать! Посмотри вокруг! Ему за пятьдесят, а он молодой директор, молодой кандидат наук, молодой полковник. Вечно молодые неудачники... И не потому, что они менее способны, а потому, что проиграли во времени, потеряли темп, инерцию. А потерял инерцию — все потерял.

Внезапно в душе Андрея шевельнулся вопрос: «А вот если бы Василега предложил кому-нибудь из матросов «Болони» перейти к нему на судно?» И подумав, он должен был признать, что к Василеге никто не пошел бы.

Но почему? Неужели никому из них не хотелось зарабатывать столько же, как матросам с «Быстрого»? Да нет, вряд ли...

А ведь он тоже кончал мореходку, вспомнил Андрей василеговского помощника и брезгливо поморщился, представив себя на его месте... Ему вспомнилось время, когда он рыбачил с Василегой. Приписки, завышенная сортность... Правда, Андрей стоял от этого в стороне, но благами, добытыми таким путем, пользовался и он.

Сейчас даже от памяти об этом хотелось держаться подальше, как от проказы.

— Мне пора, — объявил Андрей.

Василегу передернуло, он ждал другого ответа.

Андрей сидел на берегу, в голове был полный сумбур. Что помешало ему сказать «да», как хотелось вначале? Противоречивость ли самого Василеги, едва уловимая неискренность, какая-то фальшивинка в его доводах, несмотря на откровенность? «Два бегуна, дистанция, соревнование...» А Прохоров рассуждает просто: где больше справедливости, честности, там и сила.

И вспомнил давнее-давнее.

«Живем мы в бедности, — говорила в детстве мать, — и если нам совесть потерять, то с чем же тогда жить?» Прописные истины о преимуществах добра не вызывали сомнений, пока за него думали и решали другие, но детство прошло, и жизнь предстала со всеми своими искушениями и соблазнами. Поначалу подлость и грязь возмущали его, но затем, поняв, что жизнь вечно ходила на двух костылях — света и тени, зла и добра, — Андрей присмирел.

Однажды он нашел в магазине кошелек, в нем было девяносто два рубля с мелочью. Девяносто рублей — по трешке, по рублю — были завернуты в листок, вырванный из ученической тетради. Значит, деньги потеряла женщина, у которой есть ребенок, и, может быть, не один. И ясно, что они собирались по крохам, — когда денег много, их не заворачивают в бумажку. А два рубля с мелочью были, очевидно, предназначены для текущих расходов.

Андрей направился было к продавцу, чтобы тот передал их владельцу, но лицо продавца ему не понравилось, и он без всякой задней мысли положил кошелек в карман. Положил и вспомнил, что на днях видел в универмаге темный шерстяной костюм в полоску. Он так ему приглянулся, что Андрей, не имея денег, все-таки его примерил. Теперь деньги были, он пошел в универмаг и купил этот костюм.

Ни на минуту он не забывал, что носит чужой костюм. И этот костюм стал ему тесен, неловок, все тело начало чесаться, по коже пошла сыпь. Через неделю он продал костюм. Потерял на этом десять рублей, доложил свои и отдал тому продавцу, лицо которого показалось ему сначала подозрительным. Деньги, как потом выяснилось, принадлежали восьмидесятилетней старухе, которая собирала их на свои похороны. Кажется, и небольшая подлость, а он и ходить-то стал сутулясь.

...Голубым атласным одеялом расстилалось перед ним море, на рейде уткой покачивалась «Болонь». От нее отчаливала шлюпка. Кто бы мог быть? Может, Прохоров? — с надеждой и боязнью подумал он. Как Андрей взглянет ему в глаза? Ведь он едва не предал своего капитана.

Шлюпка держала курс прямо на него. Галка! — узнал Андрей.

Шлюпка подошла к берегу. Галка, выпрыгнув, подтянула ее, закрепила и пошла по косе в сторону поселка.

— Ты чего? — окликнул Андрей.

— За продуктами, — остановилась Галка и торопливо стала перечислять: — Риса десять килограммов, песку сахарного восемь, хлеба десять булок...

— Как же ты понесешь?

Галка неопределенно пожала плечами и шагнула от него. Андрей поднялся и пошел вслед. Зашли в магазин, стали в очередь, затем Андрей брал продукты и складывал на столик — гора их росла, и рос ужас в глазах Галки.

— Тридцать девять рублей сорок четыре копейки, — щелкнула костяшками продавщица.

Галка начала шарить в карманах, и вдруг лицо ее стало пунцовым. Продавщица, закипая, ждала.

— Забыла! — ахнула Галка.

— А я в кредит не отпускаю!

— Поверьте, я сразу после рейса...

— Наверилась! Чуть в тюрьму не попала! — прорвало продавщицу. — Наберут всяких пигалиц, только мальчишки в голове! А может, вы утопнете?

— Не каркай! — одернул ее Андрей, вытаскивая деньги.

Галка отошла к столику и заозиралась. Андрей понял ее без слов. В деревянном ящике, который он нашел у магазина, продукты снесли к берегу. Пока Андрей отдавал шлюпку, вставлял весла в уключины и устанавливал ящик, Галка принесла его чемоданчик.

Шлюпку провожала крикливая стая чаек, море было тихим и ласковым, каким оно бывает в ясную погоду перед закатом. Андрей, насупившись, сидел на корме, Галка на веслах.

— А ты знаешь, что любая птица может жить в клетке, а чайка — нет, она не ест, не пьет и умирает, — спросила она.

Андрей покосился, но промолчал.

— А вот и не знаешь, не знаешь! Ха-ха-ха! — что-то вспомнив, вдруг залилась она. — Собрались однажды наши мальчишки на танцы, я ж в детдоме выросла, нагладились, пошли в баню. А мы залезли в окно и обрезали пуговицы на рубашках, пиджаках, брюках. Вот была потеха!

— Ты можешь помолчать? — прикрикнул Андрей.

— Не-а!

И взглянув на нее, светящуюся озорным смехом, Андрей невольно улыбнулся. Но даже ее вид только на какое-то время смог отвлечь его от той же самой гнетущей мысли: «Как я покажусь на глаза?»

Оказалось все просто. Увидев их, Прохоров сердито окликнул:

— Можете поживей?

И больше ни звука.

7

На этот раз перед ловом Прохоров провел летучку.

— Какие ошибки мы сделали в аварийных заметах? — задал он вопрос команде. Неаварийных заметов, между прочим, не было.

Начали вспоминать, вспоминали долго и нудно, настроение рыбаков становилось все мрачнее. Тогда Прохоров задал другой вопрос:

— А какие ошибки мы еще не сделали?

Этот вопрос поставил всех в тупик, некоторые усмехнулись.

— Значит, все ошибки, которые можно было сделать, мы уже сделали, — закончил летучку Прохоров.

Полный штиль, на небе ни облачка, а солнца не видно, вместо него над головой висит желтый расплавленный шар и все купается в теплой пене парного молока, в невесомой зыбкости белого тумана.

Машины заглушены, застыли у бортов рыбаки — прислушиваются... Кто-то кашлянул.

— Тихо... — сердито прошептал Прохоров.

Из глубины донесся шум, очень похожий на шум мелкого дождя. Шум приближался, нарастал, как будто дождь становился крупнее и сильнее.

— Что это? — наклонился к Гороху Гошка.

— Рыба, — одними губами ответил Горох.

Шум стал стихать.

— Уходит... Самый малый, — махнул Прохоров механику.

Судно осторожно, как кошка, подкрадывалось к косяку. Теперь его совсем не было слышно.

— Стоп...

И судно заскользило по инерции.

Снова тишина. Галка показала Андрею на кота: Матвей сидел на самом краю борта, вся шерсть на нем встала дыбом. Прохоров, приставив к уху ладонь, чутко прислушивался и поглядывал изредка на Матвея. Сейчас Прохоров был похож на мага, и все рыбаки чувствовали себя очевидцами какого-то таинства и чуда, которое вот-вот произойдет на их глазах.

С правого борта всплыла еле видимая рябь, затем послышался тугой нарастающий шум, рыба заплескалась на поверхности, подрачивая рыбаков, а Прохоров все выжидал, всматривался. Морщинистая рябь пошла вперед...

— Полный! — прорезал тишину голос Прохорова. — Отдать невод! Ураганный был замет.

В это же время на виду у «Болони» заметал «Быстрый». И разом вспомнилось все. Прохоровцы знали, что василеговцы только на людях грудь выгибали, а на судне они тише воды, ниже травы, и все-таки не могли они позволить себе такого гонора, как василеговцы, — все упиралось в рыбу.

Гошка, поглядывая на «Быстрый», вел репортаж:

— Отдали невод!..

— Начали кольцевать!..

— Скольцевали!..

— Выбирают!..

Все ждали очередного Гошкиного рапорта, но он молчал.

Андрей проследил за его взглядом и увидел на воде огромное фиолетовое пятно. То сокращаясь, то удлиняясь, зловеще поблескивая холодным неестественным светом, оно подступало к судну и было похоже на живое существо.

— Вот собаки! — выругался механик Бритиков и зло сплюнул за борт. — Кто-то, видать, танки свои в нейтральных водах прополоскал. Ну, невезуха!..

Уж он-то, старый рыбак, знал, чем будет пахнуть поднятая рыба.

Знал и Андрей. Лихорадочно размышляя, он вглядывался в наплава, широким кругом опоясывающие нефтяное пятно. Если сейчас он возьмет эту рыбу, значит, он тряпка, значит, все, к чему он пришел, летит к черту и его снова будет гонять по жизни, как перекати-поле, любым ветром. И так будет до бесконечности: только дай себе слабину — и всю жизнь проходишь в детских штанишках, не совершив ни одного действительно самостоятельного поступка. Но эту рыбу столько ждали, столько раз были близки к ней, неужели опять все сорвется? И на глазах василеговцев они опять останутся с носом, и снова, в который раз, выберут пустой невод, и снова пойдут на поиски? А ведь эту рыбу с запашком нефти можно и сдать — на определенных условиях. «Я не капитан. Прохоров капитан. Пусть он и решает. Вдруг он будет против?» Но это была только уловка, Андрей с уверенностью мог сказать, что Прохоров не будет против, наоборот, он заставил бы отказать от такой добычи.

— Выбрать невод!

— Так мы ж еще не скольцевали! — удивился радист Семочкин.

— Я приказываю!

Команде Андрея никто не поверил. Непонимающе заозирался Гошка, остолбенело уставился в решительное лицо Андрея старший помощник Высоцкий, от греха подальше ушел на корму Горох.

Какое-то еще не окрепшее чувство подтолкнуло Андрея к лебедке и заставило врубить ее.

— Рехнулся?! — выскочил из машины с побелевшим лицом механик Бритиков.

— Малый ход! — жестко скомандовал ему Андрей, и важность всего происходящего, очевидно, передалась и Бритикову.

Судно двинулось, рыбаки сгрудились у борта, за кормой длинным жгутом тянулся пустой невод.

— Плакали наши денежки!

— И-эх, сотенки наши, сотенки уплыли...

Галка с испугом переводила глаза с рыбаков на Андрея, который дрожащими руками зажигал спичку за спичкой, прикуривая папиросу. Горох, как самую мягкую проволоку, завязал узлом толстый железный прут, обвел всех помутневшими глазами и прохрипел:

— Ну, шкура!..

Мимо Андрея просвистел брошенный кем-то гаечный ключ.

Высоцкий подбежал к трюму и, наклонившись, крикнул:

— Кто здесь капитан — Копылов или вы?!

Не переставая сновала длинная деревянная иглица, которой Прохоров чинил старый каплер.

— Сейчас поглядим, — отозвался снизу Прохоров.

— Поглядите, поглядите!

Прохоров поднялся из трюма, глянул на невод и удивился:

— А где рыба?

— Рыба в море, — сказала Галка. И пояснила: — Мы чуть нефтяное пятно сейчас не выловили!

— Нефтяное пятно? Никогда не пробовал... Хотя постой, вот в армии еще, в походе, решили мы однажды киселя похлебать, а он лежал около бочки с соляжкой. Сварили котел, попробовали — и собакам. Думаете, стали есть? Подбегут, понюхают и морды в сторону. — Помолчал и с сочувствием спросил Гошку: — Много рыбы-то взять могли?

Гошка засопел.

— Центнеров семьсот! — не выдержал Семочкин.

— Какой семьсот — всю тысячу! — заспорил боцман.

— Так... значит, тысячу, — прикинул Прохоров. — Четыре пятьдесят, шестнадцать... По три сотни на каждого?

— Не по три, а по четыре! — возразил Бритиков.

— Нет по три, — уперся Прохоров.

— А я говорю, по четыре! — стоял на своем Бритиков.

— Как дети, как дети! — носился по палубе Высоцкий. — Ну что вы делите неубитую шкуру?

— Как неубитую? — не согласился Прохоров. — Она ж наша была!

— Была, да сплыла!

Но Прохоров снова повернулся к Бритикову.

— Первым сортом могли сдать?

— Ну...

— Я множу тысячу на четыре пятьдесят — это четыре пятьсот, так? Сорок пять делю на шестнадцать, кругло на пятнадцать, получается по три. А ты как считал?

— А я считал тысячу двести! — чуть не плача, выкрикнул Бри-
тиков.

— Ну вот, а еще споришь, — укорил Прохоров. — По три, значит.
И в график бы вошли, и директор комбината был бы доволен.

Андрей ждал байки и не ошибся.

— Вот был случай... Приходят ко мне на баржу с проверкой, а у
меня, сами знаете, как бывает... Ну и взял я для отвода глаз даже
цепи покрасил. Сверху, конечно. А цепи те — по триста метров каж-
дая, и лебедки ручные... Вот один глядел-глядел и говорит: «Молодец,
и цепи покрасил?» Да, отвечаю, покрасил. «А ну, говорит, отдай левый
якорь». Я отдаю левый, а он как ухнет правый, и загремели мои не-
крашенные цепи, все шестьсот метров. А он сел на катер со всеми —
и поминай как звали. С меня сто потов сошло, пока я их вручную на-
верх выбрал. На последних метрах у меня голова уже кружится,
смотрю, заявляется. Рассчитал ведь. «Ну как, — спрашивает, — будешь
еще цепи красить?» Вот был человек, а?..

8

Разве только пожар может сравниться с рыбной путинной.
Руки — шершавые, просоленные, потрескавшиеся, в рубцах и
ссадинах, уже не чувствующие боли. Рыбаки спят часа по три,
ложатся под вечер. К этому времени каждый ходит как пьяный, в ка-
ком-то сумеречном состоянии — движения замедленны, слух притуп-
лен, все отодвинулось куда-то, расплылось: очертания берегов, звуки,
запахи, даже холод. Сон не освежает, тело по-прежнему гудит, слов-
но только что побывало на наковальне, сознание также мутно, и лишь
сплошной шорох, который стоит в ушах, будто туда поналезли тара-
каны, становится глуше...

Шла рыба!

Если кому-нибудь становилось невмоготу, Прохоров говорил:
«Иди спать и спи, пока не выспишься». Выпало однажды такое счастье
и Гошке. Да, именно счастье: спать, пока не выспишься. Гошка спал не
торопясь, основательно, спал на спине, на правом боку, затем на ле-
вом, на животе, спал раскинув руки. Просыпаясь, злился: «Ну спи же,
спи!» Он был похож на путника в пустыне, который наконец-то до-
брался до источника и пил, пил, пил, а напившись, пил уже не ртом, а
глазами.

Шла рыба. Директора приемных баз уже молили о шторме, а ры-
баки все чаще жаловались на засольных мастеров. Надо же, до чего
дошли! Положат на палец селедку и говорят: «Видишь, гнется!» А она
еще живая. Артисты! Второй сорт, говорят. Небось, когда план трещал,
не чванились.

Дымящиеся валы стремительно катились от бортов «Болони». Анд-
рей напряженно всматривался в море. Всегда готовые к новому заме-
ту, тревожно дремали на своих местах рыбаки. Неожиданно откуда-то
сбоку вывернулся быстрходный директорский катер. Захваченный
врасплох, Андрей оглянулся по сторонам, норовя уйти от него, но кат-
тер уже шел наперерез.

«Болонь» сбавила ход, затормозила и остановилась. На борт под-
нялся директор комбината Глазков, махнул Андрею рукой и напра-
вился в капитанскую каюту. Снова застучали двигатели, и «Болонь»
рванулась, набирая ход.

В каюте тем временем шел разговор.

— А что будет, если каждый в драку ползет? — спрашивал
Глазков.

— Да уж хорошего мало. Он вот с таким синяком пришел. А по-
том еще и обедал без соли, — пожалел Прохоров.

— Кстати, этот обед с мылом... Хочу по-дружески предупредить: больше таких обедов не устраивай!

— Так это ж не я, а Галка.

— Какая Галка?

— Да повариха наша.

— А кто на «Болони» капитан? Галка или Прохоров? Ну и гусь...

А по результатам опять в хвосте плетемся? — обаятельно улыбнулся Глазков.

— Срам, срам, — каялся Прохоров, поглаживая кота.

— Я знаю, ты сейчас начнешь о трудностях... И для меня прежде всего главное — человек, но важен и конечный итог. Рыбу-то вы тоже ведь для людей ловите!

Матвей прыгнул Глазкову на колени, но тот его сбросил.

— И ты, Прохоров, не удивляйся, что я тебе выговор вкатил. Меня бросили на укрепление, и я укрепляю. А ты разваливаешь. Тебя ведь тоже бросили.

— Да нет, меня никто не бросал, ты ж сам был против.

— Ну, значит, ты сам себя бросил. И тогда с тебя еще больший спрос — как с добровольца. Согласен?

— Выговор в самый раз... Вот у меня заявление, Степан Петрович, — полез Прохоров в стол.

Глазков с опаской посмотрел на Прохорова: об увольнении или обжалование?

— Если на курсы, больше посылать не будем! — схитрил Глазков.

— Да нет, не на курсы, механик...

— Какой механик? Опять с «Колымы»?

— С «Болони», Бритиков Михаил Алексеевич. Дельно пишет: «Капитанов сменилось четыре, а я все живу в той же лачуге. При чем тут я?». — Прохоров вопросительно взглянул на Глазкова.

— Обожди ты с механиком, — поморщился Глазков. — Ну и масштабы, ему о сейнере в целом, а он... Вот что, Прохоров, демократии у тебя много.

Вдруг режущий звук обрушился в уши. Глазков вздрогнул. Но столь же внезапно звук оборвался, и стало удивительно тихо.

— Опять что-нибудь? — испуганно спросил Глазков.

— На замет пошли, — успокоил Прохоров.

— Так о чем я говорил?.. Да, демократии у тебя много. Василега может позволить такую роскошь, у него люди доросли, а тебе рано. Тебе надо сначала что?

Матвей снова прыгнул на колени к Глазкову. Глазков бережно опустил кота под стол, и оттуда послышалось сдавленное мяуканье.

— Закрутить гайки? — с жалостью спросил Прохоров.

— Именно тот случай.

— А я все думаю, резьбы нет...

— Какой резьбы?! Ты закручивай! А потом отпустишь. Договорились?

— О чем?

— Опять двадцать пять, за рыбу деньги. Ну что ж, будем говорить фактами.

В каюту вбежал радист Семочкин.

— Вас ищут! — выпалил он Глазкову.

— Меня нет! — отпарировал Глазков.

Семочкин хлопнул дверью и выбежал на палубу.

Разговор в каюте продолжался.

— Значит, первое, — говорил Глазков. — Хватит нашим юношам до сорока лет ходить в коротких штанишках. Копылов тот же... Подал, забрал заявление. Забегаловка, а не судно. И никакого урока.

— Что ты, Степан Петрович, он не знал, куда деться от стыда, я не чаял, как к нему и подойти.

— А на что мы? Сам не знаешь — иди ко мне. Во-первых, мы при-
дали бы широкую общественную огласку, во-вторых, пусть бы без ра-
боты походил, прочувствовал.

Прохоров поморщился.

— Ты не стесняйся, есть возражения — возражай.

— Да нет... Только без работы не дело. Сломаться мог парень, не
в ту сторону пойти. Так-то вот. Вон у механика с потолка течет.

— Ну, это мелочи! А в целом, по существу нет возражений?

— Да нет...

— То-то, брат! Дальше...

Прохоров нетерпеливо встал и открыл иллюминатор.

Сейнер заливаясь рыбой. Трепещущая сельдь слепила глаза се-
ребром, темно-фиолетовым — с густым бархатным отливом — блеском,
красной медью, зелеными искрами. Вся палуба была залита рыбой.

За время путины рыбаки так изменились, что их было не узнать.
Бурая, шелушащаяся кожа, пухлые воспаленные веки и красные от
недосыпания глаза, выгоревшие на солнце волосы, брови, прилипшая
к щекам чешуя. С этих лиц как бы стесалось все лишнее. Землистого
цвета лицо механика Бритикова было так плотно обтянуто кожей, что
прорисовывалась каждая косточка, а у Гошки оно вытянулось и стало
плоским и длинным...

С большой неохотой Прохоров отвернулся от иллюминатора и сно-
ва сел перед Глазковым.

— А теперь подсумируем. Может, сам попробуешь? — с недове-
рием посмотрел он на Прохорова.

— Отчего ж... Если говорить как на духу, то у нас только машин-
ная часть и в порядке — механик старается, ценный для комбината
человек.

— Что ты с ним ко мне пристал?! — не на шутку рассердился
Глазков. — Бери шире. Копылова в тени оставил? Раз. Пьяных не нака-
зал? Два. За обед? Три. Это что? Это уже система, стиль руководства.
Стиль?

— Да какой там стиль... Одно горе.

В каюту снова вбежал облепленный рыбьей чешуей радист Се-
мочкин:

— Вас нашли!

— И здесь не дадут спокойно поработать... — проворчал Глазков
и вдруг озорно улыбнулся. — Передайте, что я умер.

Семочкин обалдел.

— Да-да, умер! — энергично подтвердил Глазков.

Семочкин на ходу выключил рацию и вернулся на палубу.

Прохоров удивленно смотрел на Глазкова.

— Видишь? Меня ищут, зовут, требуют, я кому-то нужен, без ме-
ня не могут...

— Вот и механик собирался зайти, — вставил Прохоров.

— Ну пусть, пусть заходит! — вышел из себя Глазков и, немного
успокоившись, продолжал: — А ты в корне меняй свое направление,
ведь я с тобой шуточкой шутить не буду...

Директор пристально посмотрел в глаза Прохорову, но наткнулся
на твердый спокойный взгляд капитана, который как бы говорил:
«Рыбу у меня никто не отнимет».

— Надеюсь, теперь-то понятно? — раздраженно спросил Глазков.

— Разжевано, только глотай.

— Ну, так тоже нельзя...

Перед глазами директора рыбокомбината в иллюминаторе мельк-
нули вершины береговых сопок.

— Вернулись? Зачем?

— Рыбу сдавать.

— Уже? Молодцы... — не очень уверенно похвалил Глазков и про-
тянул на прощанье руку.

Пять засольных цехов, вытянув резиновые глотки рыбонасосов, всасывали в засольные чаны сельдь. Около цехов громоздились мешки соли, бочки, штабеля ящиков. Люди торопились, подгоняли друг друга и кричали. Кричали капитаны рыболовных сейнеров: «Давайте рамы!» Кричали на рыбонасосе: «Смотри, дель засосет!» Кричал председатель местного колхоза на засольного мастера: «Вытащу на бюро!» Кричала на свою лошадку буфетчица, везущая в цехи свежие булочки и горячий кофе, хотя столовая находилась в пяти шагах. Весь поселок ходил ходуном.

И вдруг рыбу как обрезало, наступила тишина, опустели засольные цехи, выдохлись резиновые глотки рыбонасосов да так и остались лежать на песке плоскими стометровыми лентами. С тоскливыми криками металась голодная чайки, бесцельно и вяло бороздили море сейнеры, от скуки и безделья рыбаки не находили себе места. «Траваните что-нибудь...» — просили рыбаки Прохорова. Надо же как-то убить время.

— Вот был такой случай, я тогда в матросах ходил,— начинал он.— Был у нас на судне старпом. Так себе старпом, но никто его не трогал, человек пожилой, на пенсию скоро, да и весело с ним было. А поспать любил — страсть! «Прилягу на чча-а-сок...», — нараспев, медовым голосом тянул Прохоров.— И спит: час, другой, третий. Станет будить его капитан, а он ворчит: «Ну чего пристал?» «Как чего? На лов идем!» «Ну чего ты жужжишь над ухом, как тая муха...» «Какая?» — не понимает капитан. «Да тая...» «Какая еще тая?» — злится капитан. «Да тая, что из человека кровь сосет...»

Через некоторое время и травля осточертела. Рыбаки потянулись к книжкам, потом взялись за карты, а когда и они наскучили, добрались до лото.

Сейнеры сонно покачиваются в бухте; на палубе «Болони», залитой солнцем, все будто загнипнотизированы. Из забытого на рубке шланга вода капает Прохорову на голову, а тот машинально вытирает ее платком и выкрикивает:

— Очко! Пенсионер! Хорошо!

— Не успеваю! — пожаловался Гошка.

— Буду реже... Столичная! Дед!

— Ну куда она могла деться? — разумея рыбу, как бы сам себя спросил Горох. И как бы сам себе в раздумье ответил: — Штормом рассеять не могло.

— Поймаем! — уверенно заявил Гошка.

— Рыба не насморк, это насморк легко поймать,— осадил его Горох.

— Несчастье! Туда-сюда! День Коммуны! Уточка! Горох родился! Высоцкий вопросительно посмотрел на Андрея.

— Тридцать,— ответил Андрей.

— Фу! — зевнул Семочкин.— Какой сон приснился. Будто на телеге возил по морю зайцев, почему-то бордовых, и сдавал их только третьим сортом. Ну послушайте, говорю, дадите тузлучок покрепче, они и дойдут. Приснится же...

Молчание.

— А потом днем. Уснул — и опять та же телега, снова зайцы, только не бордовые, а зеленые...

— Ки-но! — воскликнул Гошка.

— Отчего бы это? — робко спросил Семочкин.— Один и тот же...

— Отчего, отчего! — разозлился боцман.— Спать меньше надо, вот отчего!

— А что делать?

— Квартира! — объявил Бритиков.

— Девяносто девять! — прокричал Прохоров.
 Боцман бессмысленно крутил по сторонам головой.
 — Шестьдесят шесть, — подсказал ему Горох. — Шевели мозгами!
 — Шесть? — отупело переспросил боцман.
 — Шестьдесят шесть! — заорал ему на ухо механик.
 — А-а... понятно, — сказал боцман и закрыл цифру «6».
 — Пионер! Мои годы! — кричал Прохоров.
 Тут приостановились многие.
 — Вы так и говорите! — обозлился на Прохорова Гошка.
 — На, ты кричи, — протянул он ему мешочек.
 — Кончила! — крикнула Галка.
 — Тихо! — И Горох мотнул головой, прислушиваясь; нет, и в самом деле по палубам соседних судов забегали люди. — Ры-ы-и-и-ба-а! — истошно завопил он.

Все — врассыпную: механик в машинное отделение, Андрей в рубку, радист к рации, Гошка в канатный ящик. На трюме остался один Прохоров.

— Сейчас проверим. — Он взял Галкину карту.

Застучал двигатель, заскрежетала якорная цепь, Матвей гонял по палубе лотошный бочонок. Прохоров, дав ему наиграться, неторопливо нагнулся, поднял бочонок, посмотрел: «88» — и, довольный (хорошая примета), опустил в холстяной мешочек.

10

Весь флот рванулся в море. Последней, как всегда, выходила «Болонь». В рубку ворвался Горох, запыхавшись, он не мог выговорить ни слова. Прохоров повернулся к нему от штурвала и перевел ручку телеграфа на «средний ход». Горох опешил.

— Никифорович! Давай! Давай!..

Горох видел в окно, как суда отрывались от «Болони» все дальше и дальше. И среди них «Быстрый».

— Вот в пятьдесят девятом году, в июле месяце, пошли мы на Халпили зорить гнезда, а острова те, сам знаешь, скалисты...

— Да знаю, знаю! — приплясывал Горох. Ему бы сейчас штурвал, он бы навел шороха.

— А накрапывал дождь, — продолжал Прохоров. — Я говорю: не успеем...

— И-эх! — выдохнул Горох и кинулся к выходу.

— Ты куда? Постой!

Горох выскочил на палубу, подбежал к машинному отделению и, нагнувшись, во всю глотку закричал:

— Самый полный!

Бритиков и сам бы давно это сделал, но команды не было.

С носа был виден весь флот. «Быстрого» так заволокло дымом, что едва виднелся кончик мачты.

— Воткнули на всю железку! — позавидовал Горох и взглянул на ведущую «Колыму». — Нет, не догонят...

Но «Быстрый» черным клубком вырвался вперед, обошел один сейнер, другой... Разгоряченный Горох вбежал в рубку. Не оборачиваясь Прохоров двинул ручку телеграфа — «полный». И Горох немного обмяк.

— Так вот, — вернулся к своему рассказу Прохоров. — Залезли, набрали яиц, стали спускаться, а тут дождь. Скала вся в помете, скользкая. Гришка Селиванов, который больше всех кричал, прилип к скале, дрожит весь, шагу не может сделать. Пришлось ноги ему переставлять, — нравоучительно закончил Прохоров.

Горох с недоумением посмотрел на Прохорова: при чем тут дождь, скала, ноги?..

— Самый полный! — дал Прохоров команду.

— Ага, завиял! — подметил Горох, не спуская глаз с «Быстрого». «Болонь» нагоняла сейнеры. Разжались презрительные губы Высоцкого, и в глазах появился лихорадочный блеск, по спардеку в нетерпении носился Андрей, замороженно смотрела вдаль Галка, а рядом с нею, как бы подталкивая судно, упирался в борт Гошка.

Черный клубок впереди таял, а когда дым рассеялся совсем, стало ясно, что «Быстрый» идет только по инерции.

— Двигатель сорвали! — догадался Горох.

Андрей представил, как сгрудились сейчас у входа в машинное отделение орудие рыбаки «Быстрого», а Василега свирепее всех, как искажилось злобно поднятое вверх лицо механика, как рванул он на себе рубаху: «Нате, жрите!..»

— Кидай буксир! — крикнул Андрей, когда «Болонь» поравнялась с «Быстрым».

На «Болони» били в таз и свистели.

— Банзай!!!

Горох на радостях схватил Галку и показал василеговцам ее обтянутый джинсами зад. Галка вырывалась, дрыгала ногами и радостно визжала.

— Матрос Горох! — раздался возмущенный окрик Андрея. — Что за вольность?!

«Ага, заедает», — ухмыльнулся Горох.

Ветер гнал по небу низкие облака, по морю пошла рябь, выросли гребешки волн, потом, догоняя друг друга, побежали белые барашки. Не сбавляя скорости, суда спешили в район лова.

Смахивая с лица крупный пот, Прохоров что-то записывал в журнал. Он то и дело хватался за поясницу, его лихорадило, и Андрей предложил вернуться в бухту, но тот только отмахнулся.

Андрей принял вахту, а Прохоров прошел на корму, открыл дверь сушилки, поднял с батарей мокрую одежду, тронул горячие трубы. Постелив на них телогрейку, он лег и укрылся сверху другими, решив хорошенько прогреться.

«Судам, находящимся на рейде и в море! — принимал в это время радист Семочкин. — Судам, находящимся на рейде и в море! Ожидается шторм семь баллов. Всем! Всем! Всем! Укрыться в бухте. Судам, находящимся...»

И суда одно за другим возвращались в бухту. Вперед шли только «Колыма» и «Болонь».

Андрей поднялся на спардек, обвел взглядом вершины береговых сопкок, проследил движение облаков, подставил ладонь ветру, определяя его силу, перевел взгляд на море, с моря на часы и спустился в рубку.

Там, беззвучно шевеля губами, он склонился над картой, что-то вычитывая, затем подошел к окну и показал Гороху, стоящему за штурвалом, на самую высокую сопку, над которой висел кисейный туман.

— Прохоровская метеорологическая. Если вершина чистая, значит, погода будет хорошая.

— Должны успеть, — сдержанно ответил Горох. — Был случай в Камчатском тресте... Отчитывается начальник бюро погоды: нами сделано то-то и то-то, денег израсходовано сто тысяч и наши прогнозы оправдались на сорок шесть процентов. Встает рыбак: а я, говорит, ни копейки не истратил и мои прогнозы оправдались на пятьдесят четыре процента.

Море разгулялось, свистел ветер, по склонам волн длинными белыми языками вытянулась пена. «Колыма» повернула назад.

В рубку вошел Высоцкий, его лицо и взгляд были суше, чем обычно.

— А положение о мореплавании для вас существует?

— Существует, — сдержанно ответил Андрей.

— В такой шторм в море выходить категорически запрещено.

- Но и в бухте мы отстаиваться не будем.
- Это анархия!
- А вам известно, сколько дней в Охотском море штормовых?
- Я лично из-за трехсот центнеров рыбы рисковать не намерен.
- Общий прогноз не всегда совпадает с местным.
- Вот именно: не всегда. Геройство решили показать?
- Да поймите ж вы, мы — рыбаки!
- Этот вопрос должен решить капитан.
- Будить мы его не будем, он болен.
- Знаем мы его болезнь,— скривился Высоцкий.

Андрей исподлобья взглянул на него, и этот тяжелый взгляд доконал Высоцкого.

— Вахта ваша! И я не собираюсь делить с вами ответственность. Я вынужден записать свое особое мнение.

Горох смерил Высоцкого насмешливым взглядом: транспортник. С подчеркнутым равнодушием Андрей подал Высоцкому вахтенный журнал.

Море ошалело. В дьявольской пляске метались по небу темные тучи, ветер остервенело нахлестывал волны, и они испытывали на судне свою пробойную силу. В сушилке Прохоров беспокойно ворочался во сне, а в дверь его каюты скребся кот Матвей.

За кормой на буксире шла шлюпка. С нее Горох и Гошка будут отдавать невод. Шлюпку бросало из стороны в сторону, каждую минуту она могла перевернуться. Гошка был в нагруднике.

- А ты? — испуганно крикнул он Гороху.
- Первый разряд по плаванию! — не моргнув глазом соврал тот. Приготовиться! — взревел аварийный сигнал.
- Неужели будем метать? — с удивлением спросил кто-то на палубе.

— Отдать невод!

Взгляд Андрея был прикован к шлюпке: неверное движение штурвалом — и ее разнесет в щепки.

Скольцевали удачно, но наплава тут же опоясали корму. Работали молча, изредка раздавались короткие команды Андрея. Тяжелые волны валили судно с боку на бок, с поднятого вверх невода ледяная вода лилась за шиворот, ноги скользили даже в резиновых сапогах. Андрей всем телом навалился на наплава, стараясь охватить невод стропом, площадку резко качнуло, и он не удержался, сорвался вниз. Сползая по неводу, он хватался за дель, но пальцы соскальзывали.

Из камбуза выскочила Галка, ледяные прутья воды наотмашь хлестнули ее по лицу. Андрей падал за борт, а ей казалось, что он не падает, а плавно съезжает по неводу. Она машинально повторяла его движения, беспомощно хватаясь за воздух.

Как впервые попавший в воду щеноф, Андрей отчаянно бил по ней руками. Горох протянул ему навстречу длинный шест.

— Так тебе и надо,— глядя на хватающегося за борт Андрея, прошептал Высоцкий.

К Андрею подбежала Галка, и он, еще не успев отдышаться, глянул на застывшее в безмолвном крике лицо Галки и заорал:

— Дура!

Галка отпрянула и споткнулась о канат.

— Но-но, не очень! — вступился Горох.

Становясь на прежнее место, Андрей скомандовал:

— Гошка! Посыпать площадку солью!

Рыбаки снова взялись за невод. Галка деловито подошла к капитанской каюте, намереваясь разбудить Прохорова, но дверь каюты была распахнута. Прохорова в ней не было, кота тоже. Не обратив на это внимания, Галка быстро достала из тумбочки бутылку спирта и налила в кружку.

Гошка посыпал площадку солью. Галка сунула в руки Андрею кружку. Он безропотно взял, хлебнул и задохнулся. Затем допил и пробурчал:

— Калекой можешь сделать.

Но Галка уже отвернулась от него и озиралась по сторонам.

— И здесь не видно,— обронила она.

— Что? — не понял Андрей.

И вдруг увидел Матвея. Чудом удерживаясь на палубе, цепляясь за нее когтями и прижимаясь к борту, Матвей пробирался к корме. Сейчас, как обычно, вслед за котом появится и хозяин, но проходили минуты, а Прохорова не было. Галка сорвалась с места, подхватила кота на руки и побежала на нос.

— Ищи-ите!..

Рыбаки замерли. Потом, натыкаясь друг на друга, кинулись обшаривать жилые помещения, отсеки, лезли наверх, заглядывали в сушилку.

— Рыба уходит! — крикнул Бритиков, только что вылезший из машинного отделения.

— Какая рыба?! — возмутился Горох.

— Запускай машину! — скомандовал Андрей.

Радист вбежал в рубку и включил рацию. Взревел, выворачивая душу, аварийный сигнал, в воздух взлетела ракета, прожектор щупал воду.

— Ну ищи, ищи, Матвеюшка,— просила Галка кота, хлюпая носом.

Гошка еще раз спустился вниз, в жилое помещение. Справа в открытой каюте мелькнуло обнаженное тело. «Что за черт!» — оглянулся он. Волосатые руки скользили по белой коже, растирая желтую вязкую жидкость. Почувствовав на себе взгляд, человек обернулся. Это был Высоцкий.

— Хочешь? Это нерпичий жир, от холода, не пропускает воду. Дольше продержишься... Бери! — суетливо протянул он банку.

Гошка с омерзением посмотрел ему в лицо.

— Не хочешь? — удивленно пробормотал Высоцкий и вылил остатки жира на спину. Желтой гнойной полоской пополз он вниз по позвоночному желобку.

И тут на судне раздался такой треск, будто оно переломилось пополам. Гошка мигом выскочил наверх. Палуба была пуста, все теснилось у прожектора, тревожные серые лица напряженно следили за лучом света, который шарил по взбесившимся волнам.

Прохоров вышел из сушилки, глянул на площадку и удивился: никого нет, невод беспризорно болтается у борта. Прохоров поднял брошенную Горохом отпеху, лег на площадку и начал отталкивать наплава. Сверху из рупора до него донеслись сильные выдохи Андрея:

— Руби невод! Полный машинам!

Прохоров обаддел, винт действительно заработал.

— Твою мать! — вскочил он.— Стоп машины!..

Оборвался аварийный сигнал, застыл на волнах луч прожектора.

— Никифорович! — завопил Горох.

Слома голову рыбаки бросились на корму.

— Горох, добавить крепление! — кивнул Прохоров на площадку.

Горох стоял и во все глаза смотрел на Прохорова.

— Два раза без берега,— тихо произнес капитан.

Горох расплылся в улыбке.

— Пять раз без берега! — повысил голос капитан.

Горох бросился выполнять команду.

Остальные все еще не могли прийти в себя.

— Передай на берег,— сухо сказал капитан Семочкину,— все в порядке. Приготовить спасательные средства! — повернулся он к боцману.— Переодеться! — приказал он Андрею.— Усиль оттяжку! — механику.

— А мне что делать? — напомнила о себе Галка с котом на руках. Тем же четким голосом Прохоров скомандовал:

— Пеки блины! Кота закрыть в каюту!

Поднимаясь на площадку, Прохоров бурчал:

— Столпились, как овцы... Шторма не видели.

К нему, чуть ссутулившись, мелкими шажками подошел Высоцкий, вполголоса доверительно доложил:

— Товарищ капитан, предупреждаю: я записал свое особое мнение...

— Как стоите?! — неожиданно рявкнул Прохоров. — Марш на место!

Рыбаки исподтишка удивленно посматривали на капитана.

Сообщение Семочкина на берегу получили, но тревога от этого не убавилась. В напряженном ожидании застыли люди у рыболовного бота, вросшего в землю, — своего рода памятника, который поставило рыбакам само море. На его ржавых облезлых бортах виднелись надписи, выбитые зубилом: боцман Шкурат, матрос Громов, капитан Прохоров Никифор, кок Сапсай.

Залитая рыбой, «Болонь» возвращалась с лова. Несколько шквальных порывов ветра и водяных валов, глухо громяхая, обвалились на палубу — судно угрожающе заскрипело.

За штурвалом, сгорбившись от боли, стоял Прохоров.

— Был приказ возвращаться в бухту? — глухо спросил он Андрея.

— Думали, успеем.

— Почему старшего помощника не послушал?

— Все-таки взяли...

— Какой ценой?! Месяц походишь в матросах вместо Гороха!

Рыбаки толпились при выходе из носового помещения. Из камбуза тянуло чадом. Галка затеяла невозможное. Первый блин у нее лежал на плите комом и горел, горело выплеснувшееся масло, гремела в ногах раскаленная сковорода, она дула на обожженный палец и всхлипывала. Хорошо, что никто не видел.

При спаде воды стоявший впереди всех Горох вдруг увидел, как трепыхнулся кусок трюмного брезента и вылетел клин. Зальет — крышка.

— Кто задраивал трюм?! — заорал Горох.

Гошка, не отвечая, взялся за ручку двери, но Горох дернул его назад.

— Пойду! — заупрямился Гошка.

Горох сердито схватил манильский трос и в два счета опоясал им себя и Гошку.

— Сразу крепись за лебедку! — Он подал ему свободный конец.

Высокая пенистая лавина катилась через палубу. Как только из-под воды показался брезент, Горох распахнул дверь и они с Гошкой нырнули к трюму.

Гошка торопливо набрасывал на лебедку конец.

— Короче крепись! — крикнул Горох.

Обернувшись, Гошка увидел надвигающийся вал и прилип к палубе. Вода с грохотом обвалилась на него, придавила и потянула за собой, сдирая одежду.

У Прохорова враз перестала болеть поясница. Андрей побелевшим лицом прижался к стеклу: неужели смоем? Он сверлил воду взглядом и искал под ней черное.

Снова придавила вода и потянула, стягивая с палубы. В первый раз Гошка даже не успел испугаться, теперь он изо всех сил вколачивал молотком клинья, стараясь выбить из себя озноб. Почувствовав облегчение, открыл глаза — сколько света!

— Кончил? — крикнул Горох.

— Да!

При новом спаде воды они вскочили и вбежали в открытую дверь каюты.

— Ну и струхнул же я,— сознался Горох, выжимая куртку.

Гошка стоял в оцепенении, смотрел на грозные валы, прокатывающиеся по палубе, и никак не мог поверить, что это он только что был под ними. По щекам вместе с водой стекали слезы.

— Мореман! — притянул его к себе Горох, и Гошка еще чаще зашмыгал носом.

Море немного утихомирилось, взошло солнце, и мир вокруг заиграл сверкающими красками. Все ближе берег, над бухтой гремит любимая прохоровская песня: «Валенки, валенки, эх, не подшиты, стареньки...» Мелькают по сторонам стоящие на якорях порожние сейнеры...

Прохоров в робе сидел за столом, перед ним стояла тарелка с блинами, похожими на лепешки, он наливал из бутылки в блюдце подсолнечное масло, сворачивал блин, макал и смачно ел. У его ног, урча, расправлялся с блином кот Матвей.

В кают-компанию заглянул Андрей.

— Все поели? — обернулся Прохоров.

— Все.

— Ну тогда построй команду.

Необычное приказание капитана Прохорова вызвало у рыбаков недоумение. Они, уже в костюмах, белых рубашках и начищенных до блеска ботинках, торопливо строились в шеренгу. Четверо, которым предстояло сдавать рыбу, были в робах и казались выходцами из другого мира.

— Зачем? — становясь в строй, спросил Бритиков.

— Никифорович речь будет толкать, — ухмыльнулся Горох.

Дожевывая блин, капитан вышел на палубу. Впереди, переваливаясь с боку на бок, важно шагала кот Матвей. Он по-хозяйски сел перед шеренгой рыбаков и облизнулся. Прохоров остановился около кота и замялся.

— В общем, так... За самоотверженное, — с трудом выговаривая непривычное слово, начал он торжественно, — поведение во время замета объявляю благодарность Галине Егоровне Деминой.

Прохоров помолчал, показалось мало, и добавил:

— С записью в трудовую книжку.

И снова замолчал, а рыбаки ждали.

— Все! — выдохнул он.

— Вопрос можно? — по-школярски поднял руку Горох.

— Ну спрашивай, — не очень дружелюбно разрешил Прохоров.

— А в чем выразилась ее такая самоотверженность?

Прохоров посмотрел на Матвея, нагнулся и почесал его за ухом.

— Вот в старое время, читал я в книжке, жил один человек... Фамилии не помню, но такого крутого нрава, что даже от невесты отказался. За что отказался? А вот за что. Гуляли свадьбу, родители у нее были богатые, и на столах чего только не было: сметана, икра кетовая, икра паюсная...

Рыбаки глотали слюни, а Прохоров продолжал:

— Семга, балычок, маслице... А самого главного не хватало. Как по-вашему, чего?

— Блинов! — уверенно ответил Горох.

— В точку, — подтвердил довольный Прохоров.

— Так, значит, за блины благодарность! — с обидой и разочарованием воскликнул Гошка.

Прохоров отступил и с удивлением посмотрел на рыбаков.

— Так вы что, блинов не ели, что ли?

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

★

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Черный хлеб

Есть в этом мире то, что вечно ново,
что не изменит сути от шального,
от не додержанного в сердце слова,
от не вошедшего нам в кровь и плоть.
Есть то, что не лукавит на лукавой
дороге меж безвестностью и славой:
держу я в основной ладони — в правой —
ржаного хлеба будничный ломоть.

Держу не потаенно, а открыто
среди чудес сегодняшнего быта.
На них, родимых, смолотого жита
пошла, конечно, не одна щепоть.
Бывал он с добавленьями и ситным,
излишне аппетитным или сытным.
И перво-наперво не самым сильным
давался этот хлеб. Его ломоть.

Хлеб бородинский. Докторский. Столовый.
Орловский хлеб. Целинный. Не с половиной.
Лепешковидный, формовой, подовый —
родства его со мной не расколоть
и тем, что продается он без нормы.
А впрочем, тут и подошли в упор мы
к единству содержания и формы:
краюха хлеба, каравай, ломоть.

За то, что жизнь сберег он нареченному,
молись ему, жена, простому, черному,
на совесть в наше время пропеченному,
а в дни войны — не приведи господь.
Отчизна в бликах огненного шквала
по карточным пайкам — не до отвала —
его нам, как в аптеке, выдавала...
Смотрю я на увесистый ломоть.

Смотрю и вижу: рвутся в миг опасный
снаряды — то бризантный, то фугасный.
Свет вижу белый, флаг под ветром красный,
лесок бесптичий да безрыбью водь.
Гляжу я на ломоть ржаного хлеба

и вижу не ломоть ржаного хлеба,
а маму и ломоть ржаного хлеба:
тот с отрубями, липкий, но — ломоть.

Ломоть, что был могущественней бога.
Так что такое мало или много?
И шепчет мне крестьянская тревога,
какой в себе нам век не обороть:
цена всему, где был ты или не был,
цена стремленью к женщине и к небу
в осознанной цене ржаному хлебу..
И греет мне ладонь его ломоть.

Дальняя дорога

Светало во мне понемногу,
манило к недалней тропе:
тропа-де впадает в дорогу,
а та, мол, выносит к судьбе.

И крепи мальчишечьи ноги.
И надоедало жильё.
Ну вправду же: как без дороги,
без вечных соблазнов ее?

Держись на миру молодчиной,
с приснившихся лестниц лети —
все будет напрасно: мужчиной
становишься только в пути.

В движении.
И оттого-то
смешеньем тепла и порош
дорога в крутых поворотах
мне под ноги кинулась все ж.

Шагай, мол, вперед помаленьку,
как будто забыв о езде:
идуший точнее оценку
выносит всему и везде.

Разумней берется за службу,
смелее приветствует новь,
по-новому смотрит на дружбу,
полней ощущает любовь.

Справляется легче с кручиной,
себя не держа взаперти.
Оно и понятно: мужчиной
становишься только в пути.

В пути, открывающем глазу
то озеро, то перевал.
В дороге — хотя б и ни разу
ты из дому не уезжал.

В движенье — и в том, от порога,
и в том, что в особых шагах.
Уносится в дали дорога
рекою о ста берегах.

Влечет сквозь рыдания и песни
к тому, что во-он там, впереди.
Дорога — само поднебесье
ее прижимает к груди.

Дорога — в ней легкость и бремя,
в ней собранность и кутерьма.
На месте не стынут ни время,
ни ты, ни дорога сама.

Не стынут — смирять же заботы
и вновь их сыскать норови.
Иди же дорогой работы,
ошибок, удач и любви.

Страдай же от пыли и жажды,
не прячь от ненастий лица.
Тропа оборвется однажды —
дороге не будет конца.

Дорога подладится к шагу,
хоть твой он, хоть целой земли.
Ты чуешь в себе эту тягу?
Ну, если решился — пошли!

* * *

В ряду обычных не совсем обычный —
приземистый, старинный, симпатичный —
стоит у магистрали дом кирпичный,
как будто среди будней торжество.
Стоит и прямо и, видать, упрямо
среди толкучки, суеты и гама.
Стоит — и всей столицы панорама
идет в своем размахе от него.

Стоит как выходец из наших сказок,
не ведая усадок и утрясок.
Стоит и помнит пересвист фугасок,
мелькающих сквозь сорок первый год.
Он помнит о семнадцатом и пятом.
Он, отягченный опытом богатым,
стоит и патриархом, и солдатом,
и просто домом, где живет народ.

Стоит и удалцом и ветераном,
объят то сном, то явью, то туманом.
Гостям что областным, что иностранным
и впредь тут перемешивать слова.
Хвалить добротность старорусской кладки,
когда дома ни валки и ни шатки,
когда они загадка, в чьей разгадке —
простое проявленье естества.

Журавли

Летят над степью журавли, а следом
(за чем вдогон — за тенью или светом,
чему навстречу — счастьем или бедам?)
легко и гибко девочка бежит.

Бежит, доверчиво раскинув руки,
еще не цепевевшие от муки.
А в травах — ни колючки, ни гадюки.
А в сердце — ни сомнений, ни обид.

Бежит — выкрикивает что-то звонко
бесстрашным голосом полуревенка.
Бежит девчонка — впрямь она девчонка
или сама небесная звезда,
что отразилась в полуночных росах,
запуталась в былинках на откосах
да в паутинках легких и белесых
и на земле осталась навсегда?

Осталась, внутреннему гласу внемля.
Осталась, покоров себя не тем ли —
привольные, немеряные земли,
где некогда бродил угрюмый росс,
а ныне плещется девичье платье?
Ну вот и смог загадку разгадать я:
Россия как созвучье и понятие
идет от древних россов и от рос.

Идет и вещим свистом бьет мне в уши.
Сквозь чьи-то судьбы и сквозь чьи-то души
бежит девчонка по воде и суше.
Бежит — то холодней ей, то теплей.
То снегом ей в лицо пуржит, то пылью.
То сказкой сердце ей теснит, то былью.
А синеву наотмашь хлещут крылья
осенней вереницы журавлей.

А за девчонкой тень бежит косая.
Губя себя вконец или спасая,
безгрешная, беспечная, босая
девчонка наудачу, наугад
сто дней или сто лет уже куда-то
вслед веренице мчится без возврата..
И ты могла бы стать
лишь тем крылата,
что над тобою журавли летят!

АРМЕН ЗУРАБОВ



«КАМО. НАПОМНИТЬ МНЕ!»*

Роман

Глава седьмая

За окном еще лежал снег. По небу легко плыли большие облака. А всю зиму небо было серое, как будто затянато льдом, подумал он. Вероятно, на небе весна наступает раньше, чем на земле. Революция тоже как весна, подумал он, только на земле... Соня вчера сказала:

— Революция — это насилие, Семен. А насилие что такое? Сильный побеждает слабого. Сильный должен помогать слабому.

— А революция для чего, Соня? Революция победила того сильного, который до сих пор побеждал слабого. Теперь сильный будет помогать слабому.

— Мир не может быть справедлив.

— Почему?

— Для этого должен быть справедлив человек, а это невозможно.

— Почему, Соня?

— Человек несовершенен, Семен, он для того и приходит в этот мир, чтоб достигнуть совершенства.

— Значит, когда-то достигнет?

— Да, когда сольется с миром.

— Это как?..

— Очень просто. Как в «Чайке». Помнишь: «Люди, львы, орлы и куропатки...»

Несколько дней назад, вечером, пришел Луначарский с женой, и с ними какая-то актриса. Луначарский рассказывал о Камо. Красиво рассказывал, а в одном месте он остановил Луначарского и сказал, что этого не было. Луначарский рассмеялся: но могло быть, вполне могло быть, мой дорогой Камо, и уверяю вас, в этом не меньше правды, чем в том, что было, и стал говорить о правде искусства и правде жизни — обоим до истины, конечно, далеко, но правда искусства ближе, несомненно ближе к истине, и в этом вы сейчас убедитесь, если сумеете уговорить нашу актрису что-нибудь прочесть, она пришла увидеть легендарного Камо, и у нее не хватит строптивости ему отказать... Потом актриса читала монолог из «Чайки». Хорошо читала. Просто. О том, как все сольются в одну мировую душу.

После их ухода он попросил Соню прочесть еще раз, но пьес Чехова дома не было, и только вчера Соня принесла книгу из больницы библиотеки. Он прочел монолог Чайки сам и удивился: ничего не понял. Прочел всю пьесу, снова вернулся к монологу и опять не понял. Стал читать вслух, вспоминая интонации, с которыми читала актриса, и даже повторял ее жесты. Луначарский прав: когда читала актриса, была правда искусства, а сейчас он хочет правду жизни... В этом все дело, подумал он, дело не в том, сольются на самом деле все жизни в одну мировую душу или нет, а в том, что это все равно

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. 7.

правда, даже если не сольются, ясно, что не сольются — и все равно правда, все внутри связаны, и это только не видно, а искусство для того и существует, чтоб делать все видимым.

Он медленно ходил по комнате, останавливался перед фотографиями на стене, разглядывал умные интеллигентные лица всех этих Стасовых, снова ходил, по привычке мысленно разговаривал с Соней. И все-таки я ничего не понял из того монолога. Слова правдивые, а ничего не понял. И Нина Заречная — сама Чайка — тоже не поняла, так и говорит: не поняла!.. Интересно, как это понял Ленин, Ленин, конечно, читал.

Он вспомнил, как в Куоккале — он тогда впервые приехал к Ленину, и у Ленина был Красин, а он привез Ленину арбуз и засахаренные орехи от тети Лизы — Ленин сказал:

— Эти орехи — произведение искусства. Они предназначены радовать глаз, поэтому есть их мы не будем ни в коем случае!

Красин серьезно возразил:

— Всякая вещь — факт искусства, дело только в том, кто на нее смотрит. Для вас этот орех — произведение искусства, а для Камо — орех в сахаре, продукт, включает нужные для жизни вещества, занимает мало места и удобен, особенно в конспиративных условиях.

Ленин смотрел на Красина смеющимися глазами.

— А вот в этом молодом человеке, Леонид Борисович, смею вас заверить, вы ошибаетесь: перед вами не рационалист, как вы его сейчас изволили определить, а романтик, да, да, именно романтик, то есть, с вашего позволения, — революционер до мозга костей. А знаете почему? Революция прежде всего открытие и, как всякое открытие, требует людей бескорыстных и смелых.

Красин опять возражал:

— Революция прежде всего новая идея, а идеи открывают не на баррикадах, Владимир Ильич. На баррикадах их только защищают. Ленин удивился:

— По-вашему, революцию делают так: посидели в кабинете, открыли идею и затем — на баррикады, защищать?! Прекрасно!.. Нет, батенька, революция — творчество, она творит новые формы, и никто их не откроет ни в каком кабинете, пока они не возникнут из самой революции! Именно на баррикадах!.. Поразительно, но вы повторяете тезисы Мартова. Мартов на Втором съезде хотел впустить в партию вот этих самых кабинетных, с позволения сказать, революционеров. Знаете, что из этого было? Болтовня! В лучшем случае, сплошная либерально-прекраснодушная болтовня!.. Революцию творят те, кто идет за нее умирать. И прежде всего — романтики, да, да, такие, как Камо!.. Кстати, и вы, Леонид Борисович, при всем своем рационализме вы самый типичный революционный архиромантик!

Ленин рассмеялся. Потом пришла Крупская, потом обедали, потом гуляли по лесу, вышли к серому, холодному Финскому заливу. Красин говорил о резолюции Женевской конференции, запрещающей экспроприацию. Ленин спокойно объяснял: Женевская конференция — съезд меньшевиков. Меньшевики запрещают не экспроприацию, а восстание.

Он привез тогда в Куоккалу пятнадцать тысяч, взятые в Кутаиси. После Коджорского экса меньшевики подняли шум, кричали о престиже партии, писали в Комитет, требовали вернуть деньги. Красин из Питера сообщал, что денег для закупки оружия все еще не хватает. Он отправился в Кутаис: Барон Бибенейшвили узнал, что готовится вывоз денег из кутаисского казначейства. Барон работал в банке. Потом в Кутаис приехали Бачуа, Элисо, Илико, Ваню и девушки — Анета и Саша. Девушек он вызвал после того, как местом нападения выбрал перекресток около женской гимназии. Линейку с деньгами сопровождали конные полицейские. Четверо. Бомбу бросил Бачуа. **Лошади**

дико заржали, одна из тех, что были в упряжке, повалилась, вторая протащила линейку и упавшую лошадь и, видимо, тоже упала, потому что не показывалась потом из белого плотного дыма, который окутал линейку, а полицейские выныривали из дыма, лошади ошалело уносили их по улице...

Собрались через несколько часов на Архиерейской, в доме Барона. Анета и Саша пришли позже всех (флиртовали с казаками на полицейской заставе), не стесняясь, долго доставали деньги из-под платья, опускали юбки, чулки. Всего было пятнадцать тысяч рублей.

В Петербург он выехал через несколько дней, как только прорвался в Тифлис. Деньги уложили в бочонок для вина и в бурдюк с двойным дном. Бурдюк он взял с собою, бочонок сдал в багаж. В вагоне обсуждали кутаисское ограбление. Газеты сообщили подробности. Он узнал из газет, что вторая лошадь линейки осталась жива. О том, что кассир жив, он знал из рассказа Бачуа: увидев Бачуа с наганом, кассир молча кивнул на ящик с деньгами, но Бачуа все-таки оглушил его рукояткой нагана — обезоруживать кассира было некогда. Всю дорогу он угощал попутчиков вином из бурдюка, рассказывал, изображал в лицах, шутил, прослыл балагуром и добрым малым, а у самого Питера чуть не выдал себя.

На какой-то станции вошла старуха — без вещей, в вылинявшем платке, с темным мясистым рябым лицом и синими глазами. Села к окну, увидела на столике налитые стаканы, отпила из одного, похвалила, спросила, чье вино, достала карты, молча быстро разложила и стала гадать.

— За винцо буду гадать, мои хорошие, за винцо!..

Говорила о казенных домах, дорогах, долгих хлопотах, удивлялась, что нет дамы, и вдруг ахнула:

— Господи, знак на нем!.. Отмеченный! Не тот он, кого видите, — посланный!..

Он вскочил, схватил с полки бурдюк, решил, что старуха — из окранки, а старуха уже не смотрела в карты, смотрела на него и испуганно, с восторгом повторяла:

— Отмеченный!.. Бог послал... Бог послал... За всех муки примешь, мой хороший. Бог послал!

Он рассмеялся и перебил старуху:

— Бог меня послал вот с этим бурдюком, мамаша, не мучиться, а веселиться буду! Вместе с вами!

И уже не дал ей рта раскрыть — говорил тосты, разливал вино, что-то выдумывал, изображал бога и апостолов, а старуха смотрела на него печальными глазами и бесстрастно сокрушалась: беда, беда, такой молодой и такая беда!..

В Петербурге явка была в столовой Технологического института. Был еще адрес Арчила Бебуришвили — из Кавказского комитета. Арчила дома не оказалось. Оставил у него чемодан и бурдюк и пошел искать Технологический.

«Люди, львы, орлы и куропатки...» Бред какой-то! А Чехов видел в этом смысл — раз написал!.. Он взял книгу, заходил по комнате, снова стал громко читать. Потом подошел к окну, долго смотрел на пронизанные светом счастливые облака. И облаков не будет, все сольется — одна душа, а что такое душа? Один серый мягкий мозг все поглотит, покроет землю и будет думать... О чем? Надо действовать, а не думать. После смерти тоже, может быть, продолжают думать, но действовать не могут. Это и есть смерть. Жизнь — действие. Это всемирная душа — о чем она будет думать, если жизнь исчезнет? Все жизни сольются? И это все, чего ты ждешь? Или смеешься?.. Верить в мировую душу и не верить в то, что мир будет справедливым? Если мир нельзя сделать справедливым, для чего тогда жизнь? Самому стать

несправедливым? Или бороться, зная, что не победишь? Какой тогда смысл жить, Соня? Луначарский прав, я не знаю, что такое правда искусства, но правда жизни одна: надо действовать.

— Лев Толстой говорил: надо думать!

— Толстой не делал революцию...

— Толстой отказался от собственности. Без всякой революции. Потому что думал.

— Чтобы всем так думать, как Толстой, надо сначала сделать революцию.

— Слава богу, революция сделана, и у тебя есть время думать!

— О чем думать, Соня? О монологе Чайки? Или о том, что такое революционер после того, как революция победила?

— Думай об опричниках! Владимир Александрович задал, кажется, написать об опричниках по «Песне» Лермонтова?

— Ты права, мое дело теперь — писать об опричниках! По произведению Лермонтова «О купце Калашникове и опричнике...» Купца вот помню, а опричник — сволочь, и имени не могу запомнить!

— Кирибеевич! Он не виноват, что полюбил чужую жену.

— Опричник что такое, Соня? Опричник из выгоды все делает, ему на совесть наплевать, революционер действует не из выгоды, революционер пойдет на смерть. А теперь? Революция победила, на смерть идти не надо. Революционер теперь кто? Такой же, как все? Ему дают деньги — он работает. Семью кормит. Будет хорошо работать — будет хорошо жить.

— Кто-то сказал: смиренно жить ради идеи труднее, чем жертвовать ради нее жизнью.

— Тот, кто это сказал, не жертвовал жизнью.

— Может быть. Но тот, кто жертвует жизнью, требует потом за это хорошую плату. И занимает лучшие места..

— Я не хочу платы, Соня, я не хочу дома, не хочу денег, я хочу только знать, что негра в Африке никто не обижает. Ты это можешь понять?

— Не могу. Негр ничем не лучше тех, кто его обижает. Негр тоже может обидеть.

— Я буду против всех, кто обижает. Соня, даже если это будешь ты.

— А ты?..

— Что я?

— Ты не можешь обидеть?

— В Льеже мы были у одного рабочего. Говорили о восстании. Рабочий заснул. Я его обозвал старой калошей. Еще хуже — сказал, что я бы на его месте вообще не стал жить. А он в ночной смене работал, на оружейном заводе, Литвинов потом сказал...

— Значит, можешь обидеть?

— Могу. Характер плохой.

— А с тобой кто будет бороться?.. Или ты не разрешаешь обижать только другим?

— Что ты хочешь сказать, Соня?

— Кто хочет справедливости, борется прежде всего с собой.

— Значит, так: на улице бьют старуху, а ты сидишь дома, смотришь в окно и борешься с собой?!

Как-то Соня сказала:

— У тебя был предшественник, Семен, он боролся с ветряными мельницами.

Он не знал тогда еще о Дон Кихоте и спросил, о ком она говорит. Она серьезно ответила:

— О хорошем человеке. Он готов был за каждого пойти на смерть.

— И боролся с мельницами?

— Какое имеет значение — с кем?

— Он умер?

— У него была только душа, а душа, говорят, бессмертна.

— А! — сказал он. — Ты это о Христе? Ты веришь в бога?

Так, неожиданно, он спросил ее о том, о чем давно хотел и не решался спросить. И она ответила не задумываясь, что да, верит, в непостижимый разум, который устроил мир таким, каков он есть, и поэтому не верит в разумность тех, кто хочет изменить мир.

— Что же делать, Соня, сидеть сложа руки?!

Она рассмеялась, чему-то обрадовалась, обняла его, быстро весело говорила:

— Ты типичный, законченный, неисправимый, неистребимый Дон Кихот! Ты больше Дон Кихот, чем сам Дон Кихот! И знаешь что? Ты никогда не умрешь — как Дон Кихот. А еще что знаешь? Я тебя люблю. Я тебя люблю очень нежно!.. Так можно любить только ребенка. Видишь, как я удобно устроилась — у меня в одном лице и муж и ребенок. И никого мне больше не надо. И бог с ним, с миром — у нас хватит своих дел!

Потом рассказывала о Дон Кихоте, а он слушал и удивлялся: так любит этого Дон Кихота и не верит в справедливость!

Он оглядел фотографии на стене — интеллигентные люди, что они знают о справедливости? Ждут, пока львы и куропатки сольются в одну душу? Если даже и сольются — когда это будет? Чехов пишет — через миллионы лет! А до этого? До этого все равно надо жить, как люди. Соня и все эти ее родственники всегда жили, как люди. И не знали, что другие живут, как скоты. Он вспомнил, как мать говорила об отце — о том, что отец не знает, что с собой делать. Отец всех топтал. И мать топтал. И меня бы растоптал и сестер.. А я бы сидел и ждал, когда отец сольется со всеми в одну душу. Нет, Соня, я знал, что делал, я не искал выгоды даже для сестер. Справедливость что такое? Это — когда выгодно для всех. Когда-нибудь все поймут, что самое выгодное — справедливость. Но если одни это поймут, а другие не поймут, что толку, что одни поймут? Другие все равно будут им мешать. И в этом все дело, Соня. Все дело в том, чтоб все поняли. И для этого нужна мировая революция. Чтоб никто не тратил жизнь на то, чтобы топтать другого.

— Революция тоже топчет, Семен.

— Ты не веришь в справедливость революции?

— Я не верю в справедливость людей.

— И мне не веришь?

— Тебе я верю. Тебе — и больше никому.

— Говори серьезно, Соня!

— А ты не понимаешь, что я говорю серьезно?

— Я перестану тебя понимать. Я вообще чего-то не могу понять!..

За куполами кремлевских церквей садилось солнце. Купола стали плоскими. Небо густело. Он постоял у окна, прошелся по комнате, посмотрел на часы — удивился: семь, а еще светло?.. Середина апреля, вспомнил он с облегчением и как будто решил задачу, которая его мучила. Сел за стол, перечел то, что написал об опричниках и подумал: интересно, что стало с опричниками после смерти Грозного?.. О чем я думаю, удивился он, Ленин проводит нэп. Игнатъев едет в Англию торгпредом, Богданов создал институт крови, Владимир Александрович преподает в двух школах, по вечерам читает лекции, Соня с утра до ночи в больнице, засыпает, сидя за столом, — а я думаю об опричниках. И Соня говорит: слава богу, у тебя есть время думать!.. Если остановиться посреди реки и думать, что будет? Река унесет. Не пришло время думать. А если и пришло — не мое это дело. Мое дело — действовать. Ты не видела, когда я действовал. Без всякой академии, без Дон Кихота, без опричников!.. Все было ясно: меньшевики против восстания, Ленин — за. А я доставал для восстания оружие. Большевики почему запретили эксы? Почему погибла «Зора»?

Из-за шторма? Если бы вышли вовремя, осенью — шторма не было бы. Вышли зимой — пять месяцев ждали. Чего ждали? Большевики не хотели, чтоб оружие попало в Россию, не присылали денег. Пока мы покупали в Льеже оружие, большевики в Стокгольме на съезде прошли в Цека, запретили восстание. Мартов так в резолюции и записал: о восстании не думать! А у нас оружие, уже в Варну привезли, уже «Зору» купили. Литвинов сам поехал в Питер, вырвал деньги — все равно не успел, начались штормы... Все оружие погибло. Все, что мы с Литвиновым купили в Льеже. Все, что взяли на Коджорском шоссе и в Кутаиси — больше двадцати тысяч, — все на дно моря! Ты не видела, как «Зора» тонула! Когда я добрался до берега, еще виднелась мачта. Я видел, как мачта исчезла. Я тогда поклялся, что все равно привезу Ленину оружие.

На верхушке мачты что-то сияло, какой-то болт или зацепившийся за мачту обломок — волны поглощали мачту, а она выныривала, и в сером хаосе шторма то и дело вспыхивала ее сияющая верхушка, и это было как сигнал, который кто-то подавал из глубины моря.

Спасли румынские рыбаки. Потом он нанял на берегу людей, пытался выловить сетями оружие...

В Тифлис вернулся в конце зимы, удивлял всех веселостью, благодушием, таскался по духанам, исчезал, появлялся студентом, князем, кинто, офицером, карачогелом, в марте уехал в Питер — в бурке, в белой черкеске, с паспортом князя Дадиани, в вагоне первого класса, был изящным, строг, пленил всех манерами и достоинством, объяснился в любви соседке по купе — молодой, рыхлой жене инженера (возвращается после курорта, знает петербургский свет), в Питере жил в лучшем номере гостиницы «Европейская», по ночам изготовлял бомбы в лаборатории Игнатьева, утром пьяно вваливался в гостиницу, давал швейцару рубль, требовал молока (все знали — грузинский князь опохмеляется молоком), ездил в Куоккалу к Ленину, читал о себе в «Петербургских ведомостях» («Вчера князь Кока Дадиани посетил графиню N»), уезжая в Тифлис, на прощанье огорошил швейцара гостиницы пятаком, на вокзале, еще в фазтоне, подозвал полицейского — снеси, голубчик, чемоданы! И уже в вагоне, медленно поднявшись вслед за полицейским, дал ему сэкономленный на швейцаре рубль, до Тифлиса отсыпался, сошел с поезда перед станцией, у стрелки, где ждали Анета и Саша, сбросил чемоданы, спрыгнул, потом шел с ними через сады, по кривым переулкам и улочкам Нахаловки, шутил: полицейскому дал мало, чемоданы тяжелые, в Питере к ним не пригравался, до фазтона донес швейцар...

После его приезда Анета и Саша стали жить в Сололаках, в комнате с балконом и кружевными занавесками, по вечерам играли в лото, сплетничали с соседями, целыми днями сидели у окна, смотрели на улицу, никуда не выходили, зазывали мацонщика с хурджином, кинто с корзиной, иногда заходил знакомый офицер или студент — и так за несколько дней он переправил из Авчал в Сололаки все бомбы. Потом в Авчалах, в заброшенном сарае посреди сада, стал изготовлять бомбы вместе с Илико и Ваню. Однажды бомба взорвалась, осколки вошли ему в левую руку и повредили левый глаз. Джаваир водила к знакомому глазнику Мухелишвили, потом — в частную лечебницу Соболевского, Соболевский лечил ему руку. Анета и Саша прождали десять дней, взяли извозчика и приехали в Авчалы. Он их выругал, в наказание, сэкономя деньги, велел вернуться в Сололаки пешком.

Потом с утра просиживал в тесных портняжных, слесарных, часовых мастерских, что напротив главной почты на Михайловской улице. Улица у почты суживалась, лица чиновников, входящих по утрам в большую нарядную дверь почты, ясно разглядывались... Один из чиновников как-то обернулся на проходившую мимо женщину, наткнулся на дерево, поспешно извинился. Лицо чиновника было худое, узкое,

с большими кроткими глазами. Вечером он прошел за чиновником до самого его дома, на Черкезовской, недалеко от почты, дождался, когда в маленьком окне первого этажа зажегся свет, убедился, что чиновник живет один, и на следующий вечер познакомился: чиновника толкнул проходивший мимо кинто, выругался, толкнул еще раз, с силой нахлобучил чиновнику на глаза фуражку, тот присел, молча, удивленно смотрел на обидчика; кинто, уже раздражаясь от его пассивности, громко ругался; и тогда он вышел из-за угла дома, откуда следил за ними, схватил кинто за шиворот, отбросил, поднял упавшую с головы чиновника фуражку, кинто убежал, чиновника звали Гиго Касрадзе.

Через несколько дней Касрадзе сообщил, что из главной почты деньги отправляют по трем направлениям: на Джульфу — для русских отрядов в Персии, на Батум — для чиатурских копей — и в самом Тифлисе с почты — в контору Госбанка.

Сначала был поезд. Поезд уходил из Тифлиса на Батум утром. Ночью проезжал Сурамский тоннель. Деньги везли так: кассир и помощник — в первом купе, двое солдат — рядом, в служебном отделении, с проводниками. За час до тоннеля, после Хашури, проводники должны были напоить солдат чаем, подсыпав в чай снотворное, и перед самым тоннелем открыть купе кассира. Грохот колес в тоннеле заглушал любой шум, даже крик.

Поехали вчетвером: он, Бачуа, Ваню и Датико. Весь день, открыв двери купе, играли в карты, пили подкрашенную вишневым соком воду, Бачуа пел. Несколько раз заходили проводники, говорили, что все в порядке. В Хашури проводники пошли за кипятком и не вернулись. Первым узнал об этом Датико: солдаты спросили его, не видел ли он проводников. Солдаты стояли в коридоре и выглядывали в окно. Потом солдаты разбудили кассира. Бачуа хотел спрыгнуть, найти проводников и убить. До конца тоннеля все четверо сидели в купе, молчали, смотрели в грохочущее черное окно. Сошли сразу после тоннеля, в Ципе. К вечеру следующего дня вернулись в Тифлис. В тот же вечер Касрадзе сообщил о двухстах пятидесяти тысячах. 13 июня утром из главной почты в Госбанк повезут двести пятьдесят тысяч. 13 июня было на следующий день.

Собрались у Бочоридзе, ночью. Бочоридзе советовал напасть у Александровского сквера, сразу после моста. Кто-то, кажется, Бачуа, предлагал — у почты, когда будут укладывать деньги в фазтон. Эриванскую площадь назвал он. Бочоридзе принял за шутку. Он стал объяснять: на площадь выходит семь улиц, напасть можно со всех сторон и уйти легко, площадь большая, на тротуарах не пострадают, особенно если очистить правую сторону. Кто-то весело сказал: революцию не делают в белых перчатках! К тому времени уже зашел Шаумян, потому что, когда сказали о белых перчатках, ответил Шаумян, как всегда спокойно, негромко, прямо глядя в глаза собеседника грустными прекрасными глазами:

— Вы правы, но только потому, что у революции нет белых перчаток. Поэтому ее делают чистыми руками.

Утром, в белой черкеске с офицерскими погонами и аксельбантами, он прошел вдоль площади, по правой ее стороне, было жарко, у здания городской управы и на углах улиц стояли полицейские. Он подходил к проходом на тротуаре, почтительно, не допуская возражений, просил перейти на другую сторону: сами понимаете, господа, их сиятельство граф Илларион Иванович объявили в городе военное положение, ожидают события, прошу пройти!.. Заметивший его жандарм подошел, откозырял и стал тоже отсылать всех на другую сторону. Он кивнул жандарму и прошел на Гановскую, где его ждала пролетка.

С Гановской просматривалась вся площадь. На белых летних мундирах полицейских четко, вдоль ног, чернели пашки. Слева от Ганов-

ской, вверх к Мтацминда, на Сололакской, рядом с площадью, в тридцати шагах от угла — большой со львами подъезд банка. На противоположной стороне — Дворцовая, Пушкинский сквер, духовная семинария, караван-сарай и две улицы: если поедут с Лорис-Меликовской, объедут караван-сарай слева и свернут на площадь у штаба, если с Пушкинской, объедут караван-сарай справа, и тогда — по диагонали, через середину площади, — на середину труднее добросить бомбы. Касрадзе сказал: поедут в двух фазтонах, в первом — кассир банка Головня и его помощник Курдюмов, во втором — караульный банка и двое солдат, спереди, сзади и по бокам — казаки, деньги — в двух мешках в первом фазтоне, к банку подъедут в 11 часов.

Он чувствовал, как бегут по спине струйки пота. На противоположной стороне площади, на краю сквера, в яркой красной шляпе стояла Пация Голдава. Шляпа на ее голове стала расширяться, и он не сразу сообразил, что это открылся зонт. Он понял это по тому, как Степко Инцкирвели стал закуривать. Степко разглядывал афишную тумбу у ворот штаба, и он увидел, что Степко закуривает, прежде чем сообразил, что Пация открыла зонт. Анета и Саша у ресторана «Тилипучури» заглянули в дверь ресторана, рассмеялись, отбежали, взявшись под руки и поминутно оборачиваясь, пошли в сторону штаба, из ресторана, слегка покачиваясь, выходили Датико, Акакий, Вано и Илико. Навстречу им, мимо штаба, с развернутой газетой, читая ее, медленно шел Бачуа.

Грохот копыт быстро надвигался и завалил площадь прежде, чем передние казаки выехали на площадь. Ехали по Лорис-Меликовской. У караван-сарая лежал верблюд. На длинной надменной шее вздымалась маленькая голова. Передний казак погрозил верблюду карабином, что-то сказал стоявшему у караван-сарая полицейскому, тот снял фуражку, достал платок, вытер голову и помахал казаку платком. Датико остановился у ворот штаба. Передние казаки проехали мимо Датико. У подъезда банка на Сололакской ждали караульные. Забили часы. Передние казаки свернули на Сололакскую. Фазтон с деньгами проезжал мимо штаба. Датико взмахнул обеими руками — словно увидел что-то страшное, и почти вместе с ним взмахнули руками Акакий, Вано и Илико. Взрывы, продолжая друг друга, слились в один протяжный оглушающий гром, потом пронзительно звенели падающие по всей площади и на Дворцовой и во дворце наместника оконные стекла.

Он видел, как фазтон на площади словно провалился и на его месте взметнулся желтый дым. Неожиданно из дыма вырвались и понеслись лошади, вольно по площади фазтон с обломками колес. Он понял, что это провал, и, стоя в пролетке, громко и страшно ругаясь и стреляя из маузера, вылетел на площадь. Через площадь наперерез озверевшим лошадям бежал Бачуа, не останавливаясь, прямо перед собой, в ноги лошадям бросил бомбу. Он успел увидеть, как взлетел и упал Бачуа, как, хрипя, забив ногами, повалились лошади. Потом сквозь клубы дыма мелькнул Датико, и он помчал пролетку к фазтону, продолжая стрелять и думая уже только о том, чтоб подхватить в пролетку Датико. А Датико вдруг возник из дыма перед самой пролеткой, слева от нее, и он увидел в руках Датико мешки — по мешку в каждой руке! — и мешки чудом точно упали в несущуюся пролетку, а Датико потом бежал за пролеткой, и кричал, чтоб не останавливали, и нашел еще силы вспрыгнуть в нее на ходу.

Из желтого расплзающегося по площади дыма выходили раненные казаки, пьяно, наугад шли по площади. Полицейские бежали к Дворцовой. Он тоже погнался пролетку по Дворцовой. Датико лежал на дне пролетки. По Дворцовой навстречу несся на лошади полицейский, и он сразу узнал полицмейстера Тифлиса подполковника Балабанского и не в силах удержать охватившего его радостного безумия во все горло заорал:

— Удача! Деньги спасены! Спешите на площадь!..

Балабанский козырнул и помчался на площадь. С площади доносились выстрелы.

Деньги привезли к Бочоридзе. На площади остался только Бачуа. К вечеру Бачуа пришел к Бочоридзе: полицейские долго не решились вернуться на площадь, и Бачуа успел очнуться. Деньгами набили большой полосатый тюфяк, наняли мушу, поторговались, муша понес тюфяк по Михайловской улице, в обсерваторию, где был тайник. Рядом шла жена Бочоридзе, Маро.

Через несколько дней в коробке из-под шляп он вез деньги в Петербург. В поезде в разделе хроники газеты «Кавказ» прочел сообщение о том, что накануне подполковник Балабанский отправился на могилу своей матери и застрелился.

Почему застрелился Балабанский? Почему я не застрелился после гибели «Зоры»? Балабанский, может быть, неплохой человек, мать любил, но тоже не верил, что мир можно сделать лучше, вообще не думал об этом... Балабанский — опричник, жил, чтоб делать карьеру, карьера разрушилась — Балабанский застрелился. Я бы застрелился, если б поверил, что мир нельзя сделать лучше. Тогда надо жить для того, чтобы сделать лучше себе. Для чего? Чтобы жить лучше, чем живут другие? Для чего жить лучше других? Тот, кто хочет жить лучше других, не хочет, чтоб все жили хорошо. Революционер хочет, чтоб все жили хорошо. Это ему надо, чтоб самому хорошо жить. И ему не надо, чтоб за это платили. Почему пишут книги писатели? За то, что им платят? Как Пушкин и Толстой не обижались, что им платят! Когда отец или мать учат жить, как за это платить?! Человек должен работать не потому, что за это платят. Деньги унижают... Кто это сказал? Владимир Александрович? Нет, Горький, Владимир Александрович сказал, что это слова Горького. А актер, тот, что пел Луначарскому, возразил: меня лично унижает отсутствие денег. Владимир Александрович ответил, не глядя на актера: зато вас не унижает выходить кланяться!.. Актер подтвердил, что это его не унижает. И тогда Владимир Александрович обрушился на актера, все так же не глядя на него и обращаясь ко всем и словно отвечал не ему, а всем:

— Рабство, сударь мой, многовековая тирания привычек!.. Мы привыкли видеть мир изуродованным и ненормальное принимаем как норму, и это несмотря на все великие книги, которые для того только и писались, чтоб не дать забыть, каков мир на самом деле. Мы даже красоте признаем только как маске, прикрывающую уродливое лицо. Человек забыл, кто он на самом деле, и представление о себе стал черпать из опыта своих дурных привычек. Учтите, опыт — тысячелетний и поэтому вполне достоверный, я бы сказал, опасно достоверный. Но смею вас уверить, кончилось тысячелетнее заблуждение! Мы опровергнем клевету, возведенную на человека веками рабства, взорвем к чертям мир, построенный на унижении, и из-под обломков его выведем человека к жизни, единственно его достойной. Человек стряхнет с себя, как жалкую труху, маски привычек и откроет свое истинное, прекрасное и доброе лицо... Нет, нет, я еще не закончил, я знаю, мне возразят, что государство, в котором будут так жить, должно основываться на понимании этой цели всем народом, а это — невозможно. Нет, возможно, господа, возможно, несмотря на трагическую судьбу всех известных до сих пор революций и утопий. Мы не утописты и не романтики, мы — реалисты, больше того, мы — рационалисты. Мы рассчитали и вычислили все, что нужно для того, чтобы построить свое государство, и прежде всего отменили самое чудовищное, самое отвратительное, что до сих пор лежало в основе унижения и самоунижения человека, — частную собственность. Мы не ждем никаких моментальных результатов, но мы знаем: это новое условие жизни освободит людей от всего, что питало их гордыню, же-

стокость и эгоизм, и откроет им все преимущества доброты и справедливости друг к другу. Да, да, все те же свобода, равенство и братство, но прежде — отмена того, что еще Руссо назвал высшим преступлением и источником всех преступлений и чего до сих пор ни одна революция не осмеливалась отменить. Но и это не все. Мы вводим всеобщее образование, потому что, отменив частную собственность, мы обрекли себя на то, что можем опираться только на весь народ, а это значит, что народу должно нравиться то, что мы делаем, и для этого он должен понимать то, что мы делаем, и идти вместе с нами, — и это тоже условие нашего государства. Если народ перестанет нас понимать и не пойдет с нами, нам не на кого будет опираться и в лучшем случае мы продержимся некоторое время на штыках, то есть выродимся в военную диктатуру. И поэтому мы будем идти к своей цели не торопясь, и если для того, чтобы народ понимал нас, понадобится идти к цели в тысячу, в миллион раз медленнее, чем нам хотелось бы, мы пойдем в тысячу и в миллион раз медленнее. Это — слова Ленина. И это не просто слова — они подтверждены нэпом. Нэп не насилие, не принуждение, а свободная воля народа и его сегодняшнее понимание своих интересов, какими бы примитивными и отсталыми они нам ни казались. Но и это еще не все, есть еще условие, которое тоже вытекает из отмены частной собственности: у нас отпали привилегии сословий, и единственное, что определяет человека, — его труд. Ни купонов, ни акций, которые принадлежали бы одному человеку и давали бы ему власть и положение, у нас нет и быть не может, — только труд, то есть то, что и есть человек, и поэтому труд должен быть свободным выражением человека, и это — будет! Это — главное, к чему мы идем, и ради этого мы все делаем, и ради этого мы сделали революцию!

Владимира Александровича не перебивали, слушали, и когда он закончил, некоторое время молчали, а потом Соня сказала:

— На этот раз ваш монолог — тоже диалог с самим собой, или вы окончательно уверены в том, что говорили?

— Уверен, голубушка моя, уверен абсолютно и бесповоротно! И знаете после чего? После Десятого съезда. Нэп снял главную опасность, перед которой нас поставили отсталость и разруха, — опасность соблазна, на который толкал и все еще толкает Троцкий, — соблазна поработить собственный народ, отвергнуть его сиюминутные интересы и в короткие сроки выжать из него средства для создания державы. В этом случае совершилось бы то самое перерождение революционной идеи в национальную, в приверженности к которой вы однажды меня заподозрили.

— И вы уверены, что нэп не приведет к такому же перерождению? — спросила Соня.

— Милая спорщица, Софья Васильевна, согласитесь, что на этот раз у вас нет оснований для спора: нэп только ввели и еще нет результатов, чтоб вы могли сомневаться.

— Я сомневаюсь в том, что остается утопичным, несмотря на ваш вполне искренний монолог. Последние тридцать тысяч лет историю двигал один рычаг — частная собственность. Отменив ее, вы ничего не предложили взамен. И поэтому снова ввели ее. Вы, конечно, хотите возразить: теперь вы сохраняете над ней контроль, чтоб она не могла развиться!.. До каких пор вы будете не давать ей развиваться?

Владимир Александрович сказал, улыбаясь:

— Вы говорите как человек, знающий еще один путь?

— Единственный, — сказала Соня, — предлагаемый всеми великими учителями мира, от Сократа до Толстого, — нравственное совершенствование каждого в меру его слабых человеческих сил, без крови, насилия и героических котурнов.

Владимир Александрович раскинул руки и смешно раскланялся:

— Благодарю покорно всех учителей от Сократа до Толстого! Вы забыли только, что среди великих учителей был и Карл Маркс...

Чем кончился вечер? Ждали Горького. Горький пришел с Андреевой. Пили чай. Горький говорил о болезни Ленина. Владимир Александрович вспомнил, что в восемнадцатом году в Ленина стреляли отравленной пулей, а Горький сказал, что история взвалила на Ленина заботу не только об отсталой России, но и о судьбе мира, который осознает, что жить так, как жили до сих пор, больше нельзя, и Владимир Александрович снова стал говорить о спасении мира, но его перебила Андреева и рассказала индийскую сказку о мудреце, который пожертвовал жизнью ради спасения голубки. Соня сказала: прекрасная буддийская сказка!.. Не знаю, сказала Андреева, буддийская или какая, но это единственное, что спасет мир, и Владимир Александрович подтвердил, что спасет мир только бескорыстие, а практически сделать людей бескорыстными может только отмена частной собственности. А он тогда впервые подумал, что тот, кто отдает жизнь ради спасения других,— тот и есть революционер. И потом, когда все разошлись, он сказал об этом Соне, а она ответила, что важно не то, кем он был до сих пор, а кем он станет теперь.

На чем я остановился? Ничего толком не написал: «В виде эмблемы они носили собачью голову и метелку»... Кто этого не знает? И все-таки что-то я подумал об опричниках такое, чего не читал... Целый час смотрю в окно — мозги окаменели, еще и этот храм сверкает... Говорят, на куполе чистое золото. Несколько пудов. Снять бы золото и накормить людей. Было бы по-божески! А все-таки хорошо сияет. И хорошо, что в любую погоду. Как будто говорит: что бы ни случилось, а я все равно сияю, смотрите на меня и верьте... Соня рассказывала, что на постройку собирали деньги по всей России. Опять не могу сосредоточиться!.. При чем храм? Я хотел закончить об опричниках.

Он встал из-за стола, раскрыл окно, вдохнул влажный, весенний, еще холодный воздух, долго, не выдыхая, мысленно разгонял его по всему телу, осторожно выдохнул, чувствовал, как по рукам и груди перекатываются мягкие теплые шары, закружилась голова, чуть не упал. Хорошо, что этот батумский охранник научил дышать, подумал он, и имени его не знаю, дышать научил, а имя не сказал. Чудак, научился сам у какого-то заключенного, не то перса, не то индуса, тот еще и называл это как-то странно... А, вот: набрать прану! Прану набрал, а умер от аппендицита, в тюремной больнице не было хирурга. А опричники сами потом стали как бояре, вспомнил он вдруг свою мысль. Сел за стол и записал: «Однако с течением времени сами опричники, пользуясь доверием царя и скопив в своих руках громадные богатства, стали не менее родовитее бояр, мечтали о захвате власти...»

Позвонили в дверь. Оказалось, нянька из больницы — Соня остается на ночное дежурство, врач, который должен был дежурить, неожиданно умер от разрыва сердца, молодой был, прибавила няня, вот как ты. В комнате быстро темнело. За окном купол храма все еще удерживал на себе отсвет ушедшего солнца.

Глава восьмая

«Демон как первенец творения был выше всех ангелов и считал себя равным творцу. Он стремился к познанию добра и зла и не хотел подчиняться богу. И потому за свою гордость был изгнан из рая...» Соня еще что-то говорила о гордыне, о том, что вся русская литература учит смирать гордыню, но он не стал это записывать, потому что решил, что не может литература учить тому, чего нет. И у людей и у животных жизнь — борьба, и кто не хочет бороться, тот не хочет жить, и никакое смирение ему не поможет. А то, что Демона выгнали из рая, доказывает только, что и хозяин рая не умел смирать горды-

ню. Ничего этого он Соне не сказал, а вчера, когда читали «Демона», не думал об этом, а подумал сейчас, когда стал писать. Все-таки это осталось тайной, подумал он, когда пишешь, все становится ясным. И Горького не спросил. Горького вообще давно не видел. Говорят, в Италию собирается, легкие ослабли. В молодости Горький стрелял себе в грудь. Из-за любви. С тех пор легкие ослабли. А в седьмом году, когда он уже сидел в берлинской тюрьме, Горький вместе с Луначарским и Богдановым бога искал. Соня одним словом сказала: богоскаты. Какого бога искали? Того, что зовет к смирению? Или того, что выгнал Демона из рая? Для чего вообще бог создал демона? Для чего зло? Чтоб ясно было, что такое добро? Тогда надо бороться со злом — без этого ничего не станет ясно. К какому, к черту, смирению зовет тогда литература, о чем говорит Соня? Горький написал «Песню о Буревестнике», Горький не зовет к смирению. И Пушкин не зовет к смирению. Смирение — перед кем? Перед злом — иначе зачем смиряться? А Пушкин презирал зло. «Да, жалок тот, в ком совесть не чиста...» Какое это смирение? Чего еще искал Горький? И Луначарский? И Богданов? Такие умные люди, что им было неясно, когда все так ясно? Теперь Луначарский — нарком, Богданов институт создал, Горького весь мир читает. А мне — в Германию надо. В Германии давно все готово для революции. Без мировой революции порядка все равно не будет. Если бы Демон вместо того, чтобы столько веков без пользы летать, устроил мировую революцию, он бы теперь в раю был — почище того, из которого его выгнали. А зачем Демону рай? Демону рай не нужен, он в раю вырос, привык ни о ком не думать. В раю всем хорошо — для чего о другом думать? Чтобы думать о другом, надо, чтоб другому плохо было. Кто может понять, что другому плохо? Тот, кому тоже было плохо. Выходит, чтоб помогать друг другу, всем должно быть плохо. А революция делается, чтоб всем было хорошо. Но тогда никто не станет думать о другом?.. Я опять запутался, подумал он, я с чего начал? Демон никого не любил, потому и носился один между небом и землей. А революция делается для того, чтобы все любили друг друга. Мать говорила: люби ближнего! Революция делается для того, чтоб каждый мог любить ближнего. Но революцию делают те, кто уже любит ближнего. Значит, можно любить ближнего и без революции? Сначала любовь — потом революция? А для чего революция, если уже есть любовь?.. Я совсем не умею думать, с отчаяньем решил он, путаюсь в простых вещах. Надо думать о том, что знаю. Что было у меня? В детстве с матерью в церковь ходил, «Отче наш» наизусть знал, раздавал нищим медяки, плакал, мать говорила: душа у тебя рано проснулась, Сенько, бедный Сенько, душа не даст тебе спокойно жить! Мать говорила: пока душа спит, человек думает о себе, когда душа просыпается, человек думает о других. А что делать с теми, у кого душа спит? Как разбудить душу? Словами? Вначале уже было слово — и не помогло. Но начала еще не было. Начало — будет, и вначале будет мировая революция. И на огне революции можно погреть руки... Это сказал Владимир Александрович вчера... Нет, вчера Соня читала «Демона», потом пришли Зоя и этот Леопольд из Тифлиса... А позавчера Владимир Александрович пришел рано, еще до Сони, просмотрел тетрадь, спросил, на чем остановились по литературе, и вдруг стал читать «Три пальмы» наизусть, от начала до конца. Потом посмотрел в окно, подумал и сказал: и на огне революции можно погреть руки, так-то, мой боевой друг! Он впервые разглядел в тот день глаза Владимира Александровича и подумал, что они ясные и беспомощные, как предрассветное небо. Такие же — у Кона, вспомнил он, у Кона еще и что-то застенчивое в глазах, как будто ему неловко, что он видит.

С Коном он познакомился у Либкнехта, а потом Кон стал его адвокатом. У Либкнехта он был один раз, за два месяца до ареста. Аре-

ствовали девятого ноября седьмого года, сразу после Вены, а у Либкнехта — в начале сентября. Он тогда приехал в Берлин из Куоккалы, где прожил весь август после тифлисского экса, и узнав, что он от Ленина, Либкнехт пригласил к себе нескольких друзей, и один из них, Оскар Кон, сказал, — его удивила мягкая застенчивая интонация, с какой сказал это Оскар Кон, а потом он узнал, что Кон вместе с Либкнехтом представляет в рейхстаге социал-демократическую партию, — Кон в тот вечер сказал:

— Истина в том, что все — едино. Мне кажется, все, что способствует единению, — правда, а все, что способствует разъединению, — неправда.

— Это твоя лучшая речь в защиту истины, — сказал Либкнехт. — Прекрасно!

— Это плагиат, — сказал Кон, — из твоей речи на Мангеймском съезде. Ты сказал лучше: кровь, которую проливают русские по ту сторону границы, они проливают за пролетариат всего мира. В этом месте тебе крикнули «браво».

— «Браво» крикнул ты, — сказал Либкнехт. От улыбки лицо Либкнехта покрывалось тонкими морщинками, они расходились от углов рта и глаз во все стороны — к щекам, вискам и по лбу.

Переводил с немецкого Житомирский. Житомирский сидел рядом, и его душный рот он ощущал у самой щеки. Житомирский встретил его на вокзале и повез его на Эльзасштрассе, где была снята для него квартира. На вокзале Житомирский смотрел исподлобья, и от этого взгляд его казался угрюмым. Потом странно, захлебываясь, рассмеялся и, продолжая смеяться, сказал:

— Знаете, как я назвал себя, представляя свою роль при вас в Берлине? Гувернантка! Не находите, в этом что-то есть, какая-то достоинщина: гувернантка Камо!..

Он молча смотрел в глаза Житомирского и видел, что они не смеются. Глаза предателя, подумал он, но вспомнил, что о Житомирском говорил ему в Куоккале Ленин, и удивился своему впечатлению. Но и на следующее утро, когда Житомирский зашел за ним, чтоб свести с Кнунянцем и Багдасаряном (которые тоже приехали для размена тифлисских пятисоток), и во все последующие дни, при каждой ежедневной встрече с Житомирским и без Житомирского, когда он уезжал один в Женеву, к Цхакая, для организации размена в Женевском банке, и когда уезжал в Софию, к Турпаеву, за новыми взрывателями, и в Льеж, где с Литвиновым покупал оружие от имени македонских патриотов, и в Вену, где снова встретился с Литвиновым, чтоб перебросить оружие в Болгарию, а потом в Берлине и в других городах стали вдруг арестовывать всех, кто разменивал деньги, хотя номера тифлисских купюр были известны только в российских банках, и арестовали его самого, в Берлине, в то проклятое девятое ноября, и тут же произвели обыск в квартире на Эльзасштрассе, где он жил, и нашли чемодан с двойным дном, полный динамита, взрывателей и револьверов системы «маузер» (все, что ему передал в Вене Литвинов), а потом в Моабитскую тюрьму пришел на свидание к нему Красин, и охранник был подкуплен, и Красин рассказал, что бумажку с адресом на Эльзасштрассе кто-то выронил во время разгона полицией и что арестованы при размене денег Кнунянц, Багдасарян, Семашко и еще несколько человек, и потом все четыре года в Моабите, Бухе, Метехи, в Михайловской больнице, он помнил этот стиснутый, похожий на кашель смех, и несмеющиеся, навывкате глаза, и походку без ритма, сбивающуюся на каждом шагу, и уже только после побега из Михайловской больницы, в Баку, ранним утром, на квартире у Сегалья — Сегаль со сна принял его за Аршака Зурабова, — а он сказал:

— Житомирский — предатель. Поеду в Париж, найду его и убью.

С Житомирским он больше не встретился. В семнадцатом, в марте, выйдя из харьковской каторжной тюрьмы, узнал, что в архивах полиции найдены донесения Житомирского начальнику русской тайной полиции в Берлине Гартингу — начиная с 1902 года...

Как-то Соня весело сказала:

— Человека ничего не изменит, даже революция!

— Революция на то и революция, что все к черту меняет! — сказал Владимир Александрович.

— Все к черту — да, но не людей! — Соня подошла к Владимиру Александровичу и вдруг поцеловала его в лоб. — Вот вас никакая революция не изменила. Вы все тот же трогательный русский интеллигент конца прошлого века. И вы уже видите небо в алмазах. Но вы заблуждаетесь. И мне это обидно.

Владимир Александрович молча смотрел на Соню, словно хотел убедиться, что это сказала она. Потом говорил тихо, срывая от волнения голос:

— Вы правы, уважаемая, вы абсолютно правы, я вижу небо в алмазах... И вот ваш легендарный супруг видит. А вы не видите!.. Вы, внучка великого Стасова, потомственная русская интеллигентка, вы не видите небо в алмазах! Вы потеряли свою веру и потеряли право называться интеллигентом. Увы, это так, уважаемая, интеллигент идет впереди. Тот, кто не видит, не может идти впереди. И именно поэтому произошла революция — чтоб сменить тех, кто перестал видеть. А вы, голубушка, перестали видеть из страха, да, да, вы не ожидали, что история пахнет солдатским потом, ругается матом, насилует девушек, проливает реки слез и крови, и вы так испугались, милостивая государыня, что забыли все, чему вас учили ваши трогательные интеллигентные предки, вы перестали смотреть вверх и опустили голову, чтоб не дай бог не споткнуться о какой-нибудь обломок этого несчастного мира. Вы забыли, что история наша — все еще история перехода от зверя к человеку. Посмотрите на наших несчастных сутулых длинноруких предков — сколько страданий в их полусогнутых туловищах, сколько им пришлось пережить противоречий и мук, чтоб преодолеть животную привычку к четверенькам, и обрести ноги, и научиться ходить прямо и легко, как ходим мы. Когда-нибудь люди свободного разума так же будут смотреть на изображения наших исчерканных страданиями лиц и будут жалеть нас и думать о том, сколько было противоречий и мук на путях освобождения разума. И я верю в это так же, как верил в это самый трогательный русский интеллигент, Антон Павлович Чехов, которого вы так кстати сейчас процитировали!..

Моя мать тоже верила, Соня. Мать говорила: увидишь, Сенько, люди станут умными и поймут, как глупо жили до сих пор. Когда я в Гори смотрел на нищих и плакал, вероятно, тоже верил. И когда казаки вешали в Нахаловке, и в Берлине... В Берлине я один был против них всех. За Житомирским кто стоял? Эта продажная сволочь Гартинг. За Гартингом в Петербурге — Трусевич, за Трусевичем — Столыпин... Столыпин тоже знал, что я арестован, и в газетах писали, и царь знал — царь газету читает, или жена читала, или Столыпин доложил, чтоб показать, как хорошо служит, — и выходит, я один — против них всех, перед всей Европой и Россией, и я — в тюрьме, а они — на свободе, и у них власть, и все равно я верил...

В Берлине еще и злость была, оттого что в первый раз предали. Это ясно было — что предали: арестовали не на явке — на улице, значит, кто-то показал, и знали, где живу, и сразу чемодан нашли. И не в том дело, что вот до сих никто не мог обмануть, а **какая-то** сволочь, провокатор, сумел. Не в этом дело, Соня, не в гордыне, как ты говоришь, а в том, что провокатор — **это** что такое? Я в поли-

цейских документах прочел: Житомирский в четырнадцатом году получал в полиции две тысячи франков в месяц!.. Вот в той книге, про хижину этого старого негра, людей открыто продают, а тут — скрыто, и деньги — скрыто, и не негры, а про каждого все знал — у кого что: у кого жена, у кого дети — и за всех две тысячи!.. Не в отдельности за каждого, а сразу за всех, оптом, сколько успеешь продать за месяц!.. Ты это понимаешь, Соня! Житомирский в Берлин из Баку приехал, в Берлинском университете учился, встречался с Лениным и Плехановым, был на лондонском съезде, в Цека входил, кончил университет, врачом стал, у врача деньги есть, больше хотел — мог больше работать, почему предавал?.. Тоже дрался? За что? Ни за что! За себя!.. И выходит, он один, отдельно от всех — тоже против меня, хочет доказать, что он прав, а я — дурак, зря погубил свою жизнь!.. С того момента как мне надели на руки эти маленькие красивые немецкие наручники, а потом повезли в тюрьму и, как кролика, посадили в клетку (у них там в камерах со стороны коридора вместо стены решетка, сидишь как в клетке: кушаешь — видно, садишься на парашу — видно), с этого первого дня и все четыре года в тюрьмах и сумасшедших домах я думал о том, кто меня предал. В первую ночь хотел даже решетку сорвать, чуть не задушил охранника.

В ту первую ночь в Моабите было так: за решеткой по коридору ходил охранник, свет в коридоре тусклый, лиловый, сапоги у охранника кованые, пол — каменный, бух-бух, как будто по голове ходит, — вдруг показалось, это не охранник, а тот, что его предал, и разжалась знакомая с детства пружина ярости, и он пытался выломать решетку, бил кулаками в стены, кричал, душил охранника, который прибежал на крик.

Утром пришел следователь. У следователя было круглое упругое лицо, торчащие усики и широко расставленные, почти у самых висков, большие крепкие глаза. Волосы с тонким ровным пробором отливали синевой. Сколько времени нужно, чтоб сделать такой пробор, подумал он, а может быть, ему делала пробор жена, у него молодая пухленькая жена, делает ему по утрам пробор и целует в затылок. Следователь долго и терпеливо задавал по-немецки вопросы, на которые он не отвечал. Потом следователь спросил на ломаном русском, какой он нации? Что за дурацкий вопрос, подумал он, для чего им это?.. И опять не ответил. Следователь спросил, известно ли ему, что его ждет виселица. Следователь спросил это по-немецки и для ясности обвел рукой вокруг шеи, вскинул руку над головой и так, с поднятой рукой, ждал, что он ответит. Он рассмеялся. Следователь опустил руку и сказал, что в его жесте не было никакого гротеска — жест очень реалистический. Он опять рассмеялся — ему уже не было смешно, но смех выплескивал то, что накопилось в нем от молчания. А потом ему больше не захотелось молчать. Почему я молчу, подумал он, надо разговаривать, разговаривать легче, чем молчать, а мне надо доставлять себе хоть маленькие развлечения, иначе я умру с тоски. Следователь снова спросил: какой он нации? Он серьезно, обстоятельно ответил:

— По рождению я армянин, но одновременно являюсь и русским, немцем, англичанином, негром, французом, поляком, болгаринном — во мне, господин следователь, все нации мира.

Следователь слушал не перебивая, потом еще помолчал и сказал, что он зря изображает сумасшедшего — в Моабите лучшие в Германии медицинские эксперты. А ему опять стало смешно: с момента ареста он впервые сказал то, что думал, и его приняли за сумасшедшего. Потом, после ухода следователя, он вспомнил его слова и удивился, как это ему не пришло в голову самому. Лучший способ, подумал он, а потом бежать из сумасшедшего дома... Но я никогда не видел сумасшедших. Я могу только повторить то, что сделал в первую

ночь. И, не откладывая, в ту же ночь стал опять выламывать решетку, стучал в стены, рвал на себе одежду, бросился на охранника. Его скрутили, раздели и бросили в подвал. В подвале был лед. Девять суток голый прыгал на ледяном полу.

Потом пришел Красин. Красин советовался с Лениным: если дойдет до суда, докажут его участие в тифлисском ограблении, дело будет рассматриваться как уголовное и его передадут в Россию и казнят. Красин сказал: напади опять на надзирателя, посадят в карцер, выйдешь — напади снова, опять посадят — опять напади, и так до тех пор, пока не переведут в лечебницу, там увидишь, как ведут себя сумасшедшие — талант у тебя есть. Еще Красин сказал, что адвокатом его назначен друг Либкнехта Оскар Кон.

С этого дня все, что происходило с ним, — и то, что надо было отвечать на вопросы следователя, и то, что пришел из Петербурга ответ на запрос берлинского полицай-президента фон Ягова о Мирском, под именем которого он жил в Берлине, и выяснилось, что настоящий Мирский, страховой агент и австрийский подданный, пребывает в Тифлисе, и выяснилось, что никакого Петрова, который в Вене поручил ему свой чемодан, не было, а был Валах, чья настоящая фамилия Литвинов, и этот-то Литвинов и передал ему чемодан с оружием, и многое другое, что теперь узнавали о нем и от чего зависела теперь его жизнь, — все это больше не имело для него значения, а имело значение только то, сумеет ли он разжать свою бессильную теперь ярость в спокойную, неторопливую, бесстрастную игру, которая не должна прерываться ни на один день и ни на одну минуту предстоящей отныне жизни.

Суд назначили на 14 февраля. Это сказал Кон. Кон был у него 6 февраля. Кон вошел в камеру, а надзиратель стоял за решеткой, в коридоре. Он повернулся к надзирателю спиной и улыбнулся Кону. Кон напряженно смотрел ему в глаза. Он подмигнул. Не меняя выражения лица, Кон спросил, как он себя чувствует. Он крикнул:

— Болит!.. Вот здесь!.. Вот здесь!..

И бил кулаками себя по затылку. Надзиратель за решеткой улыбнулся, смотрел на Кона и вертел пальцами у виска. Кон попросил надзирателя отойти, чтоб не волновать больного. Надзиратель приложил руки к горлу и показал, что Кона могут задушить, но отошел.

Кон говорил спокойно, с паузами, отдельно произносил немецкие слова, иногда повторял. Он понял главное: меньшевики отказываются признать социал-демократами всех арестованных с тифлисскими пятисотками, чтоб их как уголовников выдали в Россию. Аксельрод открыто требует использовать суд для дискредитации и разгона большевиков. Либкнехт готовится выступить в рейхстаге против сговора берлинской и русской полиций. Об этом уже была статья в «Форвартсе». Ленин поднял на ноги демократическую печать — и в Берлине и в Париже требуют освобождения всех русских революционеров. Накануне суда будет статья и в «Берлинер Локаль — анцайгерс» с разоблачением готовящейся на суде провокации. И все-таки главное — лишить их возможности использовать суд.

Когда Кон ушел, принесли еду. Он схватил дымящуюся миску и с силой бросил в надзирателя. Тот поскользнулся, упал, от страха закричал, а он прыгнул на надзирателя, прижал коленями ему грудь, бил ладонями по лицу, тоскливо ждал, когда начнут выворачивать руки, потащат по холодному каменному полу в камеру для буйных.

Наутро в камеру пришел врач. Врач приходил уже несколько раз и каждый раз вежливо по-русски представлялся:

— Доктор Гофман. Имею забота на ваши здоровье.

В камере буйных доктор не представился. Молча сел на вделанный в пол железный табурет и смотрел ему в глаза. Он стоял в углу камеры со связанными руками и тоже не отрываясь смотрел на док-

тора. Глаза доктора говорили: посмотри на мою седину и не трать зря время, может быть, ты хочешь протянуть время? Что это даст? Из Моабита убежать нельзя, а в больницу я тебя не переведу, как бы грустно ты на меня не смотрел. Я честно выполню свой долг!.. Ты честно исполнишь свой долг, герр доктор, и у тебя умные глаза, но у меня нет другого выхода, у меня отобрали даже ремень, чтоб я не мог повеситься. Через неделю суд. Ты прав — я совершенно здоров. Мое здоровье принадлежит не мне, и поэтому я ни разу в жизни не выпил вина и ни разу не закурил, а начиная с батумской тюрьмы, вот уже семь лет, каждое утро делаю зарядку по системе Мюллера. Сейчас не делаю — сейчас я сошел с ума. И вы все — и ты, и другие, и следователь, и судья — вы все, умные, честные, выполняющие свой долг, вы честно признаете, что я сошел с ума, и переведете меня отсюда в больницу, а из больницы я убегу. Извини, ты потеряешь тогда свое место, но у меня нет другого выхода.. Ни на один вопрос доктора Гофмана он в тот день не ответил. Смотрел на доктора грустным, безнадежным взглядом и вздыхал.

На следующий день его вернули в камеру и развязали руки. Он разделся, в одной рубашке сел в углу камеры на пол, по-восточному сложил ноги и бессмысленно уставился в одну точку. Принесли поесть. Он поел, и когда надзиратель пришел за миской, попросил поблагодарить шеф-повара. Сразу после надзирателя пришел доктор — доктор Гофман, имею забота на ваши здоровье! — и стал задавать вопросы. Он молча разглядывал лицо доктора: под нижней отвисшей губой, на незаметной бородавке торчали два коротких крепких волоса. На голове волосы седые, подумал он, а на бородавке черные, если бы на голове тоже были бородавки, и на голове были бы черные, а почему он эти два волоса не сбрил, утром явно брился, кожа на лице гладкая, как у младенца, а ноздри мягкие и большие, как у старой лошади, и когда разговаривает, кончик носа движется, как у морской свинки, а в общем, видно, неплохой человек. О чем это он спрашивает?.. Опять о нации? Они тут на этом вопросе помешались! Кто может сказать, какой он нации? Если я скажу: армянин или немец — это что значит? Был народ, смешался с другим народом — получились немцы. Потом немцы смешаются с другими — получится еще кто-то, и так все время, все с самого начала смешаны, скоро это будет ясно всем, после мировой революции... А вот это уже хороший вопрос! Сколько дважды два?! Ты стал относиться ко мне серьезно, герр доктор! И все-таки я опять буду молчать. Ты извини, я еще не знаю, что лучше: не понять, о чем ты спрашиваешь, или понять и ответить неправильно, или ответить правильно? А если я отвечу правильно, ты поверишь мне во всем остальном? Нет, нет, тут нельзя ошибиться!.. Я еще об этом подумаю, когда ты уйдешь, и, может быть, когда-нибудь я тебе отвечу, сколько будет дважды два, герр доктор, а пока, извини, не могу.

На следующий день, с утра, он отказался от пищи и потом весь день ждал приступа голода, но до самого вечера ничего не почувствовал и заснул крепко, как не спал со дня ареста. Утром надзиратель принес поесть и спросил, против чего он объявил голодовку? Он бессмысленно посмотрел на надзирателя и не ответил. К вечеру второго дня стало звенеть в ушах. Миски с пищей не убрали. Всю ночь до изнеможения он ходил по камере — чтоб заглушить голод усталостью. На третий день перед глазами поплыли круги. Такой пустяк, думал он, все в тюрьмах голодают, а мне так трудно. Я не знал, что для этого надо потратить столько сил. Мне надо еще сохранить силы на суд. Может быть, сейчас вообще голодать бессмысленно?.. В том-то и дело, что бессмысленно! Чем бессмысленнее, тем лучше. Голодать просто так, без требований, может только сумасшедший. И еще это испытание покажет мне, сколько у меня сил.

На четвертый день принесли зонд. Он знал, что голодающих кормят через зонд. Очень простая вещь, думал он, глядя на приготовле-

ния надзирателей, даже санитаров не позвали. Разожмут сейчас зубы и всунут шланг в глотку. Если я сознательно голодаю, я должен сопротивляться, можно перекусить шланг, ударить надзирателя ногой — руки, конечно, свяжут... А если несознательно, если сумасшедший?.. Один из надзирателей неожиданно схватил его сзади за руки, другой с силой толкнул сверху подбородок, поднес ко рту зонд, приблизил белое, в испарине, лицо; боится! — успел подумать он и громко, испуганно закричал:

— Пью, пью, пью!.. Не надо!

Его отпустили, дали миску, он стал есть, затравленно озираясь, тупо, без интонации скороговоркой повторял:

— Где мой шеф-повар, что вы с ним сделали, меня хорошо кормил мой шеф-повар, зачем его убили...

Когда пришел Гофман, он стал ходить по камере и кричал:

— Наказание! Наказание!

— Вы боитесь наказания? — с участием по-немецки спросил Гофман, и этот вопрос его опять обрадовал.

Он подошел к Гофману вплотную, увидел близко его невозмутимые голубые глаза и понял, что вот сейчас, в этот миг Гофман ему верит. Нельзя терять этой секунды, подумал он, и, уже не успев ничего решить, чувствуя только странную уверенность в себе и свободу, стал произносить откуда-то вдруг взявшиеся слова:

— Герр доктор, скажите Воронцову-Дашкову, пусть оставит меня в покое! Я буду кушать все, что он присылает, только пусть оставит меня в покое...

Накануне суда весь день он опять не ел, вечером надзиратель принес очередную миску с едой, он взял ее и молча опрокинул на голову надзирателя. Потом по-деловому, озабоченно рвал на себе одежду, царапал в кровь грудь, плюнул за решетку в сбежавшихся охранников, лег на пол и долго бил кулаками об пол.

Ночью он решил не спать, чтоб наутро больше казаться больным: ходил по камере, прыгал, стоял на одной ноге, но, даже стоя на одной ноге, начинал дремать, и тогда кусал себе руки, бил об пол пятками, прижимался затылком к холодной стене... Утром ему захотелось посмотреть на себя в зеркало. После ареста он видел только большую черную бороду, которая выросла в тюрьме, и мог ощупывать щетину остриженных на голове волос. Зеркала ему не дали. Еще он ждал, что когда его повезут на суд, он увидит улицы, людей, дома и небо, и радость этого ожидания, которую он не скрывал, тоже приняли за признак сумасшествия.

Его никуда не повезли — судили в большом судебном зале Моабитской тюрьмы. Был длинный высокий стол, на нем лежали капсулы и взрыватели из его чемодана, — он сразу их узнал, — торчали за столом высокие спинки пустых кресел, потом в кресла сели люди в черных мантиях, а в зале мерцали сливающиеся белые лица.

Тот, что сидел в центре стола, посмотрел на него и что-то коротко, без интонации сказал по-немецки, он не понял и не поднял головы, которую положил на руки, а руки сложил на широком краю барьера, отделившего его от зала. Перед барьером, спиной к нему, сидел Кон, тоже в черной мантии, и рядом с Коном молодая женщина в костюме, который плотно облегал ее ровную спину, и над темным воротником пышно сияли рыжие волосы. Женщина повернулась к нему и, улыбаясь, спросила по-русски, нет ли у него каких-либо возражений. Ответил за него Кон, и тогда судья стал задавать вопросы, а женщина уже не садилась и переводила то, что говорил судья. Он опять не поднял головы, но охранник, стоявший за ним, обхватил его сзади руками и заставил встать. Он постоял, тупо глядя перед собой, вздохнул и снова сел, и охранник хотел снова его поднять, но Кон остановил охранника

и обратился к суду с просьбой разрешить обвиняемому не вставать. Кон сказал это четко и спокойно, и он понял почти все слова: в связи с тяжелой болезнью, которая обнаружилась у моего подзащитного в следственной тюрьме, считаю судебное разбирательство вообще невозможным, назвал параграф, по которому это невозможно. Еще Кон попросил суд, прежде чем начинать расследование, выслушать медицинского эксперта советника доктора Гофмана. Судья о чем-то спросил сидящих рядом судей, те зашептались... Он видел всех в узкую щелку между руками, на которые опять положил голову, как только сел. Молодец Кон, подумал он, хочет избавить меня от допроса. Что это сказал судья? Говорит без интонации, как дьяк в горийской церкви. Сейчас эта женщина встанет и переведет. У нее красивые белые зубы, и она улыбается, даже когда говорит. Встала. Суд отклоняет просьбу защиты об экспертизе, но разрешает подсудимому не вставать... А у прокурора лицо не прокурорское — худое, глаза несчастные, может быть, болен чем-нибудь неизлечимым, или из домашних кто-нибудь болен. О чем он сейчас думает? Сидит прямо, напрягает спину, так сидят те, у кого маленький рост. Интересно, когда встанет, какой у него рост... Встанет, когда будет требовать для меня десять лет каторги. За то, что нашли в чемодане эти взрыватели и все другое. А может быть, потребует просто передать в Россию. Чтоб там казнили. Сейчас начнется допрос. Кон свое сделал. Теперь все зависит от меня. Молодец Кон — сидеть, конечно, легче, можно иногда прятать лицо. Вот как сейчас. Но все время нельзя. Сейчас начнут спрашивать. Я не верю в бога, но мне поможет сейчас мать. Она все видит... Видит, видит!.. А вон и Гофман. Сразу не узнал. Надел новый костюм. В этом костюме молоде... При чем костюм? О чем я думаю? Надо думать, как отвечать? Нет, сейчас думать не надо. Все придет сразу после вопроса. Еще будет время, пока она переведет. Если очень напрягусь, пойму сам, до перевода. Какие будут вопросы? — фамилия, имя, откуда родом, национальность... Опять национальность!.. А рядом с Гофманом тоже эксперты. Кон сказал: будут судебные эксперты. Сели напротив, чтоб видеть! Судья будет спрашивать, а они будут смотреть. Что они сейчас видят? Худой бородатый человек облокотился на барьер руками, положил на руки голову и как будто спит. Ясно, что не спит. А зачем так сидит? Болит голова, не понимает, что происходит, не понимает, где он?.. Или хочет обмануть? Хорошая мысль: смотреть на себя их глазами! Очень хорошая мысль. Она мне пригодится и дальше. Если суд отложат. Если не отложат — тоже пригодится. Надо оставаться сумасшедшим, даже если будет приговор. И на каторге. Пока не поверят

Заговорил прокурор... Ему еще рано. Что-то говорит Кону. Кон сейчас ответит, и тогда станет ясно, о чем говорил прокурор. Кон не ответил, только кивнул. Ничего страшного. Прокурор опять говорит — теперь судье. Тот тоже кивнул. Это — хуже. Кон опять требует экспертизы. Судья отклоняет. Начинает допрос: имя, фамилия, возраст, откуда родом. На все это можно ответить, дальше вопросы будут труднее — тогда лучше молчать... Наоборот! Все надо делать наоборот: молчать — когда лучше отвечать, и отвечать — когда лучше молчать. Вон этот, рядом с Гофманом — у него самый большой лоб... Может быть, потому что лысый. Не больше сорока, а лысый. Губы тонкие, уголки — книзу, глаза сверкают... Как это называется? Пенсне. Сидит, как статуя. Не отрывается. Может быть, заметил, что я смотрю из-под руки? Не может быть!..

Он поднял голову, посмотрел на судью, приветливо кивнул. Переводчица, улыбаясь, повторила вопросы по-русски. Он наклонился к ней через барьер и почти шепотом, только ей, сказал, что не знает, как его зовут и кто его родители, но знает, что он из России, жил в Тифлисе и лет ему то ли двадцать шесть, то ли сорок шесть. Судья попросил говорить громче. Переводчица перевела просьбу судьи, он с готовностью кивнул и хотел сказать громко, но вместо этого глухо захрипел. Краем

глаза видел того, что сидел рядом с Гофманом: сейчас он подумал, что я играю!.. Он снова попытался ответить судье громко, но получилось что-то невнятное и сиплое, и в зале кто-то рассмеялся. Он решительно откашлялся и все еще сипло, но уже яснее повторил то, что сказал переводчице. И увидел, как тот, в пенсне, не отрывая от него взгляда, что-то шепнул Гофману. Это его успокоило. И от этой ли мгновенной уверенности в себе, или оттого, что он вдруг почувствовал необходимость нарушить ровный спокойный ритм, который позволял экспертам следить за ним, или просто не умея удержать себя от соблазна внезапной идеи, он вскочил с места и стал громко, лихорадочно путая грузинские и армянские слова, ругать того, кто его предал. Переводчица внимательно вслушивалась, пытаясь понять... Неожиданно он застонал, схватился за голову и, продолжая стонать, опустился на стул. Эксперт рядом с Гофманом и сам Гофман наклонились вперед, казалось, хотят лучше расслышать его стон,— это он увидел сквозь пальцы, которыми опять обхватил лицо. Он почувствовал усталость, закрыл глаза и замолк. Стало тихо. Что-то негромко сказал прокурор — он узнал его голос, но опять не понял слов. Громко и резко прозвучал голос Кона. Прокурор выкрикнул: тише, вы его разбудите! Прокурор произнес это с торжествующей иронией, и на этот раз он понял, что сказал прокурор. Надо что-то сейчас сказать, или сделать, или хотя бы открыть лицо, подумал он и опять представил себя. Ему стало жалко себя, и он тяжело вздохнул. И от того, что тут же почувствовал естественность этого, вздохнул еще раз и озабоченно, ожидающе смотрел на экспертов. У них в глазах жалость, подумал он, они сейчас поверили, надо смотреть их глазами и выражать то, что вызывает у них мой вид, это тоже хорошая мысль: реагировать на самого себя,— если это будет то, что они чувствуют, глядя на меня, они мне поверят.

Судья снова стал задавать вопросы. Он понял вопрос уже по-немецки и, прежде чем переводчица повторила, думал, как ответить. Судья спросил, в какой он состоит партии. Судья спросил по-деловому, как спрашивают здорового человека: в какой вы состоите партии? Надо ответить. Переводчица улыбнулась и повторила вопрос. Он встал, выпрямился, с ребячьей гордостью задрал голову, громко сказал:

— Я социал-демократ!

Посмотрел на прокурора, на экспертов, оглянулся на зал и, довольный собою, сел. Судья спросил, нет ли в русской социал-демократии разных течений. Он не понял вопроса и, мучаясь, ждал, когда переведут. Потом небрежно, удивляясь, что кому-то это неизвестно, ответил, что в России имеется только одна социал-демократия. Судья спросил: может быть, имеется левое и правое крыло, крайнее, менее крайнее и другие течения? Он опять не понял вопроса, но и после того, как перевели, ответил не сразу. Чего добивается судья, подумал он, чтобы я сказал о большевиках? Для чего? Просто выясняет, болен я или здоров? Помогает экспертам? А если — меньшевикам?.. Если тут что-то, чего я не понял... Я не знаю, что ответить... Тут сам черт не ответит!..

Наступила пауза. Эксперты неподвижно ждали. Он почувствовал ненависть к ним. Неожиданно со злостью сказал:

— Я этого не знаю! Пусть черт это знает!..

Лысый, рядом с Гофманом, снял пенсне, протер маленьким белоснежным платком и снова надел. Судья спросил: есть ли разница между немецкими и русскими социал-демократами? Он понял вопрос на немецком и, не дождавшись перевода, обращаясь к Гофману, истощно закричал:

— Я не могу больше говорить! Оставьте меня в покое! Герр доктор, пусть меня оставят в покое!..

Гофман не сдвинулся с места. Зато вскочил с места Кон и снова стал требовать экспертизы. Ему ответил прокурор, потом говорил

судья, потом снова Кон, но он уже не понимал даже того, что говорил Кон. Объявили перерыв. Его повели в отдельную комнату. По дороге, в коридоре, какая-то женщина всунула ему в руку коробку папирос. Он успел тут же, в коридоре, открыть коробку и, радуясь, подбросил ее в воздух... В отдельной комнате ему дали поесть. Он опрокинул миску с кашей на стол и весь перерыв сосредоточенно размазывал кашу пальцем по столу.

После перерыва судья спросил его, где находится Кавказ — на севере России или на юге, кто такой Пушкин, сколько дней пути из Тифлиса в Петербург, отчего у него поврежден глаз, какой вкус у рябины, какие женщины ему нравятся больше, грузинки или русские, и еще что-то в этом же роде, и на все это он отвечал спокойно и очень серьезно, дожидаясь перевода и потом еще задумываясь: Кавказ находится на юге России, это знает каждый школьник, неужели господин судья не учился в школе; Пушкин — тот, кто стреляет из пушки; из Тифлиса в Петербург поездом шесть или семь дней, но лучше не ехать — в Петербурге сажают в Петропавловскую крепость, а в Тифлисе — в Метехи, из Метехи легче убежать; глаз у него не поврежден, а у него просто нет глаза, он его съел в тюрьме, потому что убили его шеф-повара и ему нечего было есть; рябина — ничего, вкусная, немного горькая, зато красная, арбуз тоже красный, но арбуз сладкий; больше всего ему нравится вот эта женщина, которая переводит, потому что она все время улыбается, а русские и грузинки не улыбаются, и кроме того она знает немецкий, а русские и грузинки не знают немецкого...

Потом он перестал отвечать на вопросы, сидел, повесив между коленями руки и опустив плечи, и думал о том, что Гофман и тот, лысый, может быть, действительно лучшие в Германии эксперты и поэтому все, что он говорит и делает, напрасно, и они в душе, вероятно, сейчас смеются над ним. Что это опять говорит Кон? Требуется опять немедленной медицинской экспертизы... Судья обратился к прокурору. Прокурор ответил одним словом, и он понял, что ответил прокурор. Прокурор сказал: согласен!..

Все еще могло измениться. Гофман и другие эксперты еще не дали заключения, и прокурор еще мог потребовать свои десять лет каторги, но это было первое признание его болезни, и теперь суд займется не тем, что нашли в его чемодане, и не тем, что узнали о нем через Гартинга и Трусевича, а тем, что он болен — что он, возможно, болен, эту возможность станут сейчас обсуждать и занесут в протокол, и завтра, нет, сегодня об этом напишут во всех вечерних газетах — и все от того, как он сейчас отвечал на вопросы судьи, и от того, как вел себя все эти два месяца в тюрьме, и от того, что, видно, научился все-таки разжимать внезапную пружину чувств медленно и рассчитанно, подчиняя ее мгновенным решениям.

Слово дали Гофману (Гофмана не переводили, но он уже привык к его немецкой речи в тюрьме и почти все понял). Гофман подробно рассказал обо всем, что происходило в тюрьме за два с половиной месяца, и сказал, что налицо столько несогласованностей, что сегодня ни к какому определенному мнению прийти нельзя, и он только может сказать, что у него сомнения по поводу участия обвиняемого в слушании дела.

После Гофмана долго, озабоченно говорил прокурор и впервые встал со своего места — и прокурор оказался, как он и предполагал, маленького роста. После прокурора выступил Кон, требовал отложить суд, пока экспертиза не даст заключения. Прокурор перебил Кона и сказал одно слово, и он узнал это слово прежде, чем понял: согласен. Судьи пошептались, тот, что сидел в центре, без интонации, скороговоркой что-то сказал, переводчица обернулась к барьеру и улыбнулась: суд постановил отложить процесс на неопределенный срок и

подвергнуть психическое состояние обвиняемого врачебной экспертизе.

Донеслись долгие удары колокола... Как странно, что в Моабите слышен колокол храма Спасителя... Я начинаю сходить с ума, подумал он, нет никакого Моабита, есть Москва, двадцать первый год, комната на Воздвиженке, я женат, моя жена Соня — врач, она сейчас в больнице, а этот, с бородой, на стене — ее дед Стасов, и все эти, на фотографиях, — тоже умные и образованные люди, и вот эти часы Репин подарил Стасову... Как я попал сюда? Если б не революция, я бы не попал сюда... Нет, не так, если б не Берлин — не Моабит, не Герцберг, не Бух, не это четырехлетнее сумасшествие на виду у всей Европы, если б не Житомирский... Смешно, подумал он, если б Житомирский не донес, я бы не женился на Соне. Я мог бы, конечно, ее встретить, но она ничего бы обо мне не знала, а так она уже знала все прежде, чем мы встретились. Она уже знала самое главное. И через это главное увидела мою жизнь... Нет, она увидела только меня — и отдельно от моей жизни. Поэтому она хочет, чтоб я начал новую жизнь. Поэтому и с Владимиром Александровичем спорит — чтоб убедить меня... А выходит наоборот — убеждает Владимир Александрович.

После того разговора о «Демоне», когда Соня сказала, что Владимир Александрович заблуждается насчет неба в алмазах, Владимир Александрович несколько дней не приходил, и как-то вечером Соня предложила пойти на его лекцию в Политехнический. Они опоздали. Владимир Александрович уже отвечал на вопросы. Соня послала записку: почему вы к нам не приходите, ждете, когда небо будет в алмазах? Владимир Александрович прочел записку и сказал: тут одна знакомая, с которой мы как-то не доспорили, предлагает продолжить разговор. Речь идет об известной цитате из Чехова — будет или не будет небо в алмазах? Если позволите, я продолжу этот разговор здесь. И стал говорить о том, как все в природе умеет прежде всего приспособливаться — и растения, и птицы, и животные, и даже бабочка, а без этого жизнь на земле давно бы исчезла, но жизнь сохраняется, и меняются только ее формы, и даже возникают совершенно новые виды, и все оттого, что их создают условия жизни, причем, обратите внимание, голубушка Софья Васильевна (Владимир Александрович словно забыл, где он, и обращался только к Соне), обратите внимание, условия, диктующие приспособление, поначалу всегда враждебны, а иначе никакой приспособленности и не надо было бы, и так же и с частной собственностью, отмена ее враждебна психике, которая складывалась тысячи лет, и в результате ее изменения теперь возникнет новый вид человека, и, скажите на милость, уважаемая, почему это приспособление к частной собственности, продиктованное инстинктом, возможно настолько, что человек превратился в раба, а приспособление к отсутствию ее, диктуемое разумом, невозможно настолько, что приводит вас к совершенно ненаучному — простите великодушно! — утверждению о неизменности человека, а если даже он может, как вы изволили выразиться, изменить себя сам, то позвольте спросить, отчего у него появляется такое странное желание? — нет, нет, уважаемая, не утруждайте себя, ответ один, и я отвечу за вас: желание это появится из его опыта, то бишь из тех же условий жизни, — а что есть частная собственность, милостивая государыня, как не отсутствие сознания всеобщего единства, пришло время, и такое сознание возникает, да, да, возникает! — от первого колеса, великих завоеваний, открытий америк, паровых машин, электричества, от этого великолепного единоборства человека с пространством и временем, из века в век и особенно в наш благословенный двадцатый, — не улыбайтесь, именно благословенный, ибо он выбран историей как веха тысячелетий! — постепенно накапливалось сознание единства: народы открывали друг друга, взаимопро-

возможность жизни, отдельной друг от друга,— прошу подчеркнуть: невозможность! — дело не в благих намерениях, их достаточно было во все времена, а дело в том, что мы только первые начали тот процесс приспособления к новым условиям, вне которых отныне уже человек не может жить, и нэп не приведет к капитализму, нет и тысячу раз нет, всему свое время,— время капитализма прошло, для этого другие нужны условия и другая психика, и сколько бы ни орала меньшевики о грядущем за нэпом русском капитализме, он не грядет, и не случайно именно в России прорвалась тысячелетняя цепь — не только там, где тонко, но дело еще и в том, как я это имел честь неоднократно сообщать, Россия психически антикапиталистична, она невидимо для мира вобрала в себя опыт всего, что до сих пор пройдено человечеством, и вышла на арену истории как носитель идеи единства, и потому не было до сих пор в мире такой нравственной литературы, как русская, и не было до сих пор революции, которая бы отменила частную собственность, повторяю, мир шел к этому, он не может больше жить так, как жил до сих пор, он сам создал для этого условия, и теперь сам же должен приспособиться к ним с кровью и муками — о да, конечно, с кровью и муками! — но выхода нет, и это будет, будет, уважаемая, как бы вам ни казалось, что человек не меняется, и не потому ли вам — и не вам одной! — это кажется, что виден человек нам всего лишь на протяжении каких-нибудь тридцати тысяч лет, но даже строя догадки о том, что было миллион лет назад, мы уже говорим не о рабстве, а о первобытном коммунизме, и знаете, из чего мы исходим, голубушка моя? Все из тех же условий жизни. Они, их величества условия жизни,— заметьте, я все время подчеркиваю: они только результат неумолимого развития мира! — они требуют сейчас принципиально нового образа жизни, а кто не приспособится к этим условиям, или, как вы изволили выразиться, не изменит себя, тот погибнет, и это тоже закон природы и закон истории, а в природе и в истории все совершается через насилие, и если бы не насилие, не было бы и борьбы, а без борьбы, как известно, нет жизни...

Владимир Александрович говорил без пауз, не давая возразить, и Соня потом сказала, что вот так, на одном выдохе, он читает все свои публичные лекции, и странно, что на лекции его все-таки трудно попасть — все дело, вероятно, в его ненормальной, патологической искренности...

И все-таки без борьбы нет жизни, Соня, это правда. Я почему сейчас жив? Если б не выдержал, вышло бы, что они сильнее. А я знал, что революция сильнее. И революция тогда через меня только могла показать, что она сильнее.

После суда из камеры с решеткой во всю стену его перевели в камеру с решетчатым окном, красными кирпичными стенами и железной дверью. В двери, как в российских тюрьмах, было окошечко. Через решетку они видели меня лучше, думал он, для чего они меня перевели?.. Чтоб легче застать врасплох, когда я буду уверен, что никто меня не видит? Надо себя чувствовать так, как будто ничего не изменилось и я в той же камере, где они меня видели все время. Это оказалось труднее, чем он думал. Каждый раз, когда окошечко в двери закрывалось, он, уже привыкнув смотреть на себя со стороны, видел, как расслабляется его лицо, становится спокойным — без морщин на лбу, без выражения страха и ожидания, без мученически виноватой улыбки, чуть кривившей рот, и даже видел, как на щеках появляется румянец,— этого не может быть, думал он, в тюрьме у всех лица белые, я давно не видел своего лица, если бы я хоть раз мог посмотреть на себя в зеркало, мне легче было бы представлять его.

Экспертами были Гофман и лысый, в пенсне, что сидел рядом с Гофманом на суде. Гофман вежливо представил его в первый день

после суда, когда они вдвоем пришли к нему в камеру: медицинский советник доктор Липпман. Они и потом приходили всегда вместе, без переводчика, говорили больше друг с другом: ощупывали ему живот, грудь, спину, щекотали пятки и под мышками, стучали молоточком по коленям, заглядывали в глаза... Легче всего было подавить смех от щекотки. Когда впервые провели чем-то холодным по спине, он вздрогнул всем телом и, уже ненавидя себя за эту слабость, улыбался, чувствуя на спине уколы булавки. Ничего нельзя было сделать с ударом по колену: если ногу расслабить, как они этого требовали, от удара молоточком она дергалась, и он понимал, что это признак здоровья, когда же он напрягал ногу, чтоб удержать ее, они замечали это и снова требовали расслабить. Надо сделать так, чтоб нога удержалась сама, без моих усилий, сказал он себе в первый же день, и так сосредоточился на этой мысли, что представил, как от удара по колену внутри ноги сжимаются и разжимаются красноватые, упругие, туго сплетенные мышцы,— он видел такие в детстве, когда отец снимал шкуру с баранов. Он так был напряжен желанием удержать ногу, что не сразу заметил, как она после очередного удара осталась неподвижной. Потом он думал, как это ему удалось, но так ничего и не понял и только решил запомнить то, как представил ногу и как напрягался всем существом до того, что ему стало казаться, что он сам превращается в свою ногу.

Экспертиза длилась больше трех месяцев. В решетчатом окне проплывали облака, гудел дождь, просовывались сквозь прутья толстые, наполненные пылью солнечные лучи. Несколько раз приходил Кон. Однажды — с Либкнехтом. На лице Либкнехта, когда он вошел в камеру, был ужас. Либкнехт поверил в мою болезнь, зная, что я здоров, подумал он, и представил свое измученное, исцарапанное, почерневшее лицо, потом стал спиной к двери и подмигнул Либкнехту,— от углов рта и глаз Либкнехта рассыпались тонкие изумленные морщинки. Либкнехт рассказал, что Литвинова признали социал-демократом и освободили с условием выезда из Германии. Мартов отказался признать социал-демократом Семашко, которого тоже арестовали, но Ленин выступил против Мартова и попросил выступить и Горького, который знал Семашко, и добился освобождения Семашко.

В конце мая Кон пришел еще раз и застенчиво сообщил, что Гофман и Липпман написали официальное заключение о результатах своей экспертизы. О чем заключение, Кон не знал. Четвертого июня ему объявили, что он переводится в психиатрическую больницу в Герцберге. Выйдя из камеры, он попросил зеркало, увидел худое лицо с черными впадинами щек, черной бородой, запавшими глазами и искривленным измученным ртом, плюнул в зеркало и отвернулся.

В Герцберг привезли утром. Коренастый квадратный человек с рыжей шевелюрой и прозрачными голубоватыми глазами встретил у дверей, представился: служитель Фогт! И, стиснув ему плечо крепкими толстыми пальцами, долго вел по лестницам и пустынным коридорам с высокими сводчатыми потолками. Он сначала считал ступеньки, повороты коридоров, двери, но потом заметил, что лестницы и коридоры повторяются, и решил, что его нарочно ведут так долго вверх и вниз, чтоб он не мог сам найти выхода. Неожиданно Фогт ввел его в светлую комнату с большим, во всю стену сводчатым окном. На широком подоконнике сидел по пояс голый человек в кальсонах с маленьким серым лицом и смотрел на вошедших пронзительным взглядом. За его спиной в окне чуть колыхались верхушки кипарисов. В комнате на кроватях спали люди. Служитель Фогт показал на свободную кровать у двери, в углу комнаты, и ушел.

Он подошел к окну и посмотрел вниз. Окно было на третьем этаже. Под окном был двор. Вдоль ровных, ослепительно-белых дорожек стояли черные кипарисы. Двор ограждала кирпичная стена. За стеной виднелись высокие пышные крыши города. Его охватила радость. Он

сел на подоконник, рядом с человеком в кальсонах, и, не замечая его, громко по-армянски запел песню тифлисских кинто — что-то про ишака (каждый шаг ишака — дороже тебя, красавица), а человек в кальсонах вдруг рассмеялся, дернул его за бороду и что-то спросил одним словом (он потом понял, что слово армянское: «откуда ты») и, не дожидаясь ответа, снова рассмеялся и сказал, что он тоже армянин, из Константинополя, и еще что-то, торопливо, не останавливаясь, — как приехал в Берлин, работал грузчиком, женился на немке, а она объявила его сумасшедшим за то, что он бил себя камнем по голове.

— А я ничего не чувствую! — говорил он радостно. — Вот, вот, вот, вот!.. — И щипал себя, глубоко захватывая всеми пальцами щеки, живот, бедра. Потом опустил кальсоны и показал шрам на ягодице. — Прижигали раскаленным железом, не чувствовал, ничего не чувствовал! — И гордо улыбался.

Рассказывая, он заглядывал в глаза, вдруг замолчал и сказал:

— Один глаз у тебя плохо видит, брат! Почему?

Он подумал и спросил:

— Ты Гиршфельд?

— Я — Ваграм, — сказал человек в кальсонах.

— А я ищу Гиршфельда. Гиршфельд — профессор. Я приехал в Берлин, чтоб вылечить у Гиршфельда больной глаз, а меня привезли сюда. Сумасшедшие!..

Снова пришел Фогт, принес больничную одежду и повел мыться. Он попросился в клозет. В клозете было окно. Узкий деревянный подоконник был на уровне головы. На окне нет решетки, подумал он, не за что схватиться... В ванне тоже было окно, но оно было меньше и выше — под самым потолком, Фогт вошел в ванную вместе с ним и помогал мыться. Он думал о Ваграме: если Ваграм провокатор, он здесь недавно, специально для меня — больница не тюремная. Надо узнать, давно ли Ваграм в больнице. Он заговорил с Фогтом, с трудом подбирая немецкие слова. Фогт обрадовался — не ожидал, что он знает немецкий. Фогт сказал, что Ваграм в больнице второй год, у него истерия с полной потерей чувствительности. В больнице его называют Муций Сцевола, но это неверно, потому что Муций Сцевола, когда сжег свою руку, чувствовал боль и не показал этого, потому и стал знаменитым, а Ваграм, когда его прижигали раскаленной проволокой, ничего не чувствовал. Во время приступа Ваграм пытается разбить себе голову. При этом смотрит в зеркало и говорит, что хочет увидеть собственные мозги... Фогту тоже нельзя верить — если Ваграм провокатор, Фогт с ним заодно. Надо ждать. Надо убедить, что Ваграм не провокатор. Главное пока — не побег, главное — отменить суд.

После ванны он весь день лежал на своей кровати, в углу комнаты, никого не замечал, распевал тифлисские песни. На следующий день стал молчалив, от всех шарахался, убегал, лежал с закрытыми глазами, чувствовал смертельную усталость. Самое трудное было, конечно, заставить их поверить в первый раз, думал он, дальше они будут только проверять то, во что поверили. И все-таки что будет дальше?

В восьмом павильоне, куда его поместили, содержались тихие. Врачи заходили редко. Приходил Кон. Суд назначил Кона единственным опекуном Мирского. Он удивился, что его все еще называют Мирским. Кон объяснил: агентурные сведения не являются юридическим основанием. Петербург до сих пор молчал о его настоящем имени, чтоб не подвергать сомнению уголовный мотив преступления. Теперь, когда он не в тюрьме, а в больнице, в Петербурге испугались и сообщили его настоящее имя, чтоб усилить охрану, но это все равно ничего не доказывает, пока не будет документов и показаний свидетелей. Могут только перевести из Герцберга в Бух, где имеется девятый павильон со специальной охраной.

Кон рассказал о заключении Гофмана и Липпмана, он помнил заключение слово в слово: **называющий себя Дмитрием Мирским пред-**

ставляет в настоящее время душевнобольного человека и останется таковым в будущем, насколько это можно представить. Неизлечимой его болезнь назвать нельзя. Гофман и Липпман отнесли болезнь к форме истерии, вызванной пребыванием в тюрьме и наследственным предрасположением.

Еще Кон в первый же свой приход предупредил, что в больнице ежедневно заполняются «скорбные листы» — о поведении больных. После этого каждый вечер мысленно он сам заполнял на себя «скорбный лист» — это помогало ему видеть себя со стороны. Весь день, ежеминутно напрягаясь, он искал и находил поступки, которые подтверждали его болезнь: по неуловимым признакам — по тому, как с ним говорили, по вопросам, паузам, выражению лиц он угадывал, когда ему верят, когда можно быть неожиданным и буйным, царапать в кровь лицо, преследовать по коридору врачей и когда — молчать, лежать неподвижно на кровати, плакать, смеяться, напевать тихие песни, сосредоточенно раскладывать на постели узоры из вырванных усов... Потом эти мысленные «скорбные листы» он помнил всю жизнь.

Вся жизнь после Герцберга!.. Герцберг — в восьмом году, сейчас — двадцать первый. Тринадцать лет... Кажется, прожил одну жизнь и, не умерев, начал вторую. Только второй жизни мешает память. Лучше было умереть — чтоб и память умерла, а потом снова родиться. И голова была бы свежей, запоминал бы все формулы по алгебре. Вообще, если уж родиться снова, лучше с другой головой, без этого бельма на глазу. Но главное — память. Как будто одна жизнь налезает на другую. Все путается... Герцберг был — больше его нет. И Буха нет, и Метехи, и всей той жизни... Как глупо устроена память, подумал он, для чего остается то, что уже не нужно? А может быть, память умнее меня, то, что было раньше, продолжается, и это — все та же одна-единственная моя жизнь? Все, что было до сих пор, было со мной, а я остался, и память моя осталась, как будто у меня длинное тело и, пока я живу, оно удлиняется. Я ни разу об этом не думал. Очень просто: жизнь — одно длинное и удлиняющееся с каждым днем мое тело, и его удлиняет моя память. Память не дает ему оборваться, и пока я живу, ничего не может закончиться. Без памяти я бы не знал, что живу одной целой жизнью, и даже не знал бы, что вот минуту или две назад думал совсем иначе. Без памяти вообще не о чем было бы думать, и ничего нельзя было бы понять, и жизнь стала бы как топтанье на месте, и тогда никакого значения не имеет время. А без того, что происходило до сих пор, не было бы того, что есть сейчас и что будет дальше. Неужели Соня не может этого понять?.. Полгода назад она сказала: это подло со стороны судьбы — что я встретила тебя так поздно. Теперь мне надо хотя бы мысленно прожить с тобой то, что ты прожил без меня. Она сказала это сразу после того, как они поженились. Сейчас она спрашивает: на что ушла твоя жизнь?.. Что же все-таки произошло? Когда она это спросила?.. В тот день, когда сказала насчет неба в алмазах, а Владимир Александрович в ответ принес этот свой монолог и потом сам же смутился, заторопился, и после его ухода она это сказала?.. Нет, сначала долго молча ужинали, потом легли, и она опять молчала, а он сказал, как бы разговаривая с собой:

— Вероятно, все-таки человека можно изменить. И Ленин так говорит, и Горький, и Красин, и Луначарский... Столько умных людей!.. Может быть, и ты, Соня?..

Она перебила:

— Я тоже говорю, что можно.

Он обрадовался:

— О чем же ты все время с ним споришь?

И тогда она это сказала. Она повернулась к нему, обняла и заговорила тихо, с отчаянием, без надежды на то, что он поймет:

— Я спорю не с ним, Семен, я спорю с тобой. Я все время спорю с тобой, я все время думаю о том, что теперь будет с тобой? Человека можно изменить, но сделать это может только он сам. И я хочу, чтоб ты это сделал. На что ушла твоя жизнь? Что ты делал до сих пор?.. Из своих тридцати девяти лет сколько лет ты провел в тюрьмах и сумасшедших домах? Я подсчитала: почти год в батумской тюрьме, столько же в пятом году в Метехи, после Эриванской площади — с седьмого до одиннадцатого в Моабите, Бухе, Метехи и Михайловской больнице, с тринадцатого еще четыре года — в харьковской каторжной, итого — десять лет. Это не считая мелких арестов по несколько месяцев, из которых соберется еще не меньше двух лет. Всего — около двенадцати лет. Сознательная твоя жизнь началась после переезда в Тифлис, с тысяча девятисотого года, значит — двадцать один год. Из них двенадцать — в тюрьмах, остальные девять — скрывался, делал бомбы, бросал бомбы, закупал оружие. И все это — чтоб вооружить Россию и сделать революцию. А революция в России произошла даже без твоего участия — ты сидел в это время в тюрьме. И оружие, ради которого ты столько сделал, не понадобилось — война вооружила лучше, чем ты мог бы это сделать за сто лет. Когда мы поженились, ты говорил: не имею права жениться, не настало время думать о себе, надо делать мировую революцию. Для чего, Семен? Чтобы уничтожить несправедливость? А как ее уничтожить, если она в самом человеке? Владимир Александрович повторяет слова Руссо... Но почему кто-то первый отгородил землю и сказал: мое? Почему ему захотелось это сделать?.. Тот, кто несправедлив, не верит в справедливость. Ты делаешь революцию и заставляешь его быть справедливым. Твое насилие только оправдывает его уверенность, что все несправедливо. Он приспособится к твоему насилию, и все станет таким же, каким было. Ленин мудрый человек — во имя справедливости он отказался от насилия справедливости и ввел нэп. Но сумеет ли он удержать от насилия других? Им не терпится увидеть, за что они проливали кровь. Согласятся ли они идти к цели в миллион раз медленнее для того, чтобы ее поняли все? Посуди теперь сам, к чему все идет: или нэп приведет к капитализму, или нэп будет отменен. И в первом и во втором случае труднее всего придется таким, как ты. Ты не сумеешь служить ни откровенному чистогану, ни скрытой тирании. Ты можешь многого добиться, если приложишь к себе энергию, с какой действуешь ради других. Ты можешь стать врачом, инженером, актером... Ты должен жить так, чтоб остаться верным себе, несмотря на то, что будет происходить вокруг. Это трудно, но это единственный способ продолжать жить. Не новый. И не для одного тебя. Когда-то, еще в гимназии, мне предложили вступить в социал-демократическую партию, я не вступила, но решила стать врачом.

— Ты говоришь, революция победила без меня?.. Ты плохо это сказала, Соня, но я понимаю — ты сказала так, чтобы отделить меня от моей прежней жизни. Ты образованнее меня, но ты не знаешь, что такое революция. Мать говорила мне: душа твоя рано проснулась, Сенько, тебе будет трудно. Она не знала, что будет революция. Революция — моя жизнь, Соня, моя вера, моя совесть...

Он встал из-за стола, прошелся по комнате. В окне был нежный весенний свет, все тонуло в дымке, и даже купол храма не блестел. Все это — то, что я думаю о ней, — я должен ей сказать. Я не говорю, потому что боюсь того, что после этого будет. Пока мы не говорим, все может оставаться так, как есть. Но я думаю об этом, и я знаю, что и она думает... Почему мы молчим? Боимся слов? Сказать — все равно что сделать. Даже больше, чем сделать, — через слово выходит какая-то энергия, и ее уже нельзя вернуть. Соня права: если думаешь о человеке, надо сказать ему... И больше не надо об этом! Почему я стал думать об этом? Я думал о «Демоне», потом — о «Трех пальмах»... Что я записал о «Трех пальмах»? Владимир Александро-

вич ушел позавчера рано, не дождавшись Сони, и я написал сразу после его ухода.

Он нашел в тетради запись о «Трех пальмах»: «Как только на земле спустился сумрак, путники, боясь ночной стужи, стали рубить принявшие их так гостеприимно пальмы. До самого утра они жгли эти несчастные пальмы на медленном огне костра. После ухода каравана остался опустошенный и осиротелый оазис, а от гордых вчера пальм остался лишь седой пепел очага и угли, которые разносились по степи ветром...» Я еще о чем-то тогда думал. Что-то о деревьях... И о людях. Там где-то пальмы жалуются, как люди... Он нашел то место в стихотворении, где пальмы ропщут на бога: «И стали три пальмы на бога роптать: на то ль мы родились, чтоб здесь увядать?..» Пальмы думали о людях, а люди не думали о людях — тех, что придут после них, — и сожгли пальмы. У пальм души не спали, а у людей, что их сожгли, спали. Деревья вообще живут лучше людей, подумал он, они все отдают — и плоды, и ствол, и даже тень... Может быть, люди, у которых душа проснулась, тоже станут деревьями? Может быть, для того мы и рождаемся, чтоб разбудить душу и стать деревом? Тогда все революционеры станут деревьями. О, это будет большой парк, и деревья в нем будут стройные и тенистые, и на них будут плоды — фрукты, или орехи, или какие-нибудь бананы... А пока революционеры, как пальмы, думал он, дают себя сжечь, а остальные люди, как демоны — думают о себе, и души их спят... После записи о «Трех пальмах» оставалось свободное место (о «Демоне» он стал писать с новой страницы), и он дописал так: «В человечестве всегда как-то инстинктивно живет стремление к уничтожению всего прекрасного и полезного. Люди благодаря своей близорукости не могут думать об общей пользе». И опять вспомнил о Ваграме...

Как-то Ваграм рассказал о себе. К тому времени он уже знал о Ваграме все, что мог узнать сам, как он ходит, выбрасывая ноги, и словно стращивает приставшую к подошвам грязь, как, не мигая, сосредоточенно заглядывает в глаза, а потом вдруг безразлично зеваает и блаженно, всем телом, потягивается, как всегда напряжены и слегка разведены в стороны его руки и даже, когда ходит, руки неподвижны и опять чуть разведены, как у куклы, и как будто на них грязь, и он боится запачкать одежду... Кон узнал, что Ваграм действительно находится в Герцберге два года и останется навсегда — во всяком случае, пока жена оплачивает его пребывание, — медицина не знает случая излечения после потрясения подобного рода, к тому же полученного в детском возрасте. В 1896 году, когда это с ним случилось, ему было двенадцать лет. Ваграм рассказал об этом так: сначала перевернули стол, отца и мать привязали рядом к столу, потом раздели и изнасиловали двух старших сестер, потом отрезали им груди и, еще живых, били ногами по отрезанным местам, а груди раскрошили ножом на мелкие куски и всовывали куски в рот отцу и матери, и они не могли кричать и только тихо хрипели, потом отцу разбивали камнями голову, и на глаза и лоб отца текли мозги, а мать умерла сама оттого, что не теряла сознания и все это видела, и Ваграм это видел через щель двери, за которую спрятался, и никакого чуда не было в том, что его не заметили, потому что как распахнулись двери, когда турки ворвались в дом, так уж никто их не закрывал, а после того, как турки ушли, и некому было закрыть.

О том, что случилось в девяносто шестом году в Константинополе, он знал от матери — в поминальные дни она ставила в церкви свечу за убитых в Константинополе, и много других людей рассказывали об этом в Гори, и когда рассказывали, сами плакали, и те, что слушали, тоже плакали, и он знал, что все это правда.

После рассказа Ваграма он решил бежать и уже рассчитал для побега высоту окна в клозете и длину простынь, на которых опустит-

ся, и как поедет сначала в Куоккалу к Ленину, а потом, в Тифлисе, снова устроит экс, и снова — в Льеж, где купит оружие, а потом через Болгарию, морем, перевезет оружие в Россию, и Красин к этому времени через своих боевиков устроит еще несколько экс по всей России, и оружие, которое купят на эти деньги, он тоже перевезет в Россию, и тогда Ленин приедет из Куоккалы в Петербург и будет революция. И он только ждал дождливой ночи, чтоб не светили звезды.

Неожиданно его перевели в Бух. Кон это предвидел. Приказ о переводе был подписан прусским министром внутренних дел по настоянию Петербурга, и в Бухе, как и предупреждал Кон, его поместили в девятый охраняемый павильон.

У главного врача Буха Вернера глаза были круглые и веселые, он быстро, невнятно говорил, то и дело прищуриваясь, гримасничал и сам был похож на больного, но на самом деле глаза у Вернера были хитрые, и как будто он не через глаза смотрел, а притаился в уголках их и выглядывал оттуда. С Вернером приходил в девятый павильон молодой врач с бесстрастным красивым лицом, молчал, что-то записывал, всматривался неподвижным взглядом, и казалось, глаза у него покрыты лаком. Потом он узнал, что это директор больницы Рихтер, и подумал, что и Вернера и Рихтера трудно будет убедить, что он болен, и надо теперь сделать что-то такое, в чем нельзя притворяться, например, убить себя, и не откладывая, в первый же месяц в Бухе дважды себя убивал: первый раз ночью, в час, когда служитель обходит палаты, разорвал простыню, связал полосы в веревку, сделал петлю, привязал конец к крюку, на котором висела лампа в железной клетке, накинул петлю на шею, отбросил ногами стул, на котором стоял, повис, схватившись руками за петлю (в палате все спали, шаги служителя раздались уже у двери), отпустил петлю, захлестнула духота, потемнело, в последней вспышке сознания — лицо служителя, и услышал крик, и крик так и остался в ушах, пока не очнулся, а потом, в тишине, с разных сторон склонившиеся над ним люди и среди них — Вернер и Рихтер; а во второй раз спрятал баранью кость, днем, когда все ушли на прогулку, разорвал костью на руке вену, другой рукой зажал вену выше раны, дал крови просочиться на простыню, когда вошли в палату, отпустил вену, кровь забрызгала фонтаном, потом перевезли в лазарет и лечили, а Кон требовал, чтоб отпустили на поруки.

В лазарет Кона пускали чаще, чем в девятый павильон. Кон рассказывал, что Либкнехт выступил в рейхстаге с требованием освободить всех русских революционеров. И Роза Люксембург выступила, и Жорес, а в Женеве, на пленуме Цека, выступил Ленин, и пленум осудил позицию Мартова и меньшевиков в отношении экс.

После лазарета о нем как будто забыли, ни Вернер, ни Рихтер не приходили, и так прошло несколько месяцев, и он уже стал думать, что ему наконец поверили и теперь, видно, не могут только решить: выслать, как Литвинова, из Германии, или передать в богоугодное заведение для неизлечимых больных, как вдруг его перевели в Моабитскую тюрьму и объявили, что третьего мая суд. Тот же следователь, с крепкими давящими глазами и ровным пробором в густых, иссиня-черных волосах, вежливо сообщил ему, что суд назначен на основании заключения директора больницы в Бухе доктора Рихтера, который считает, что он выздоровел. К тому же участие его в тифлисском ограблении и его подлинное имя установлены на самых законных основаниях: все подтвердил Касридзе, бывший боевик, сейчас Касридзе в кутаисской тюрьме, ему показали фото, присланное из Петербурга, и он все рассказал. (В Тифлисе тете Лизе тоже показали фото, и отцу — в Гори; тетя Лиза сказала, что не знает, кто на фото, а отец сказал, что похож на сына, только борода мешает.) Еще ничего не поняв

из того, что сказал следователь, и не зная, что делать дальше, от внезапного отчаяния он схватил следователя за горло и стал душить и задушил бы, если б тот не успел крикнуть, но уже когда ему крутили руки и раздевали, он знал, что все начнет сначала.

После ледяного моабитского карцера в камеру пришел Гофман: имею забота на ваши здоровье! — а он опять молча, неподвижно сидел перед Гофманом, а потом опять бил надзирателей, рвал одежду, пел, плакал, отказывался от пищи и даже отказался от встречи с Коном. Суд не состоялся, и его снова перевели в Бух.

Потом была усталость — как если бы убежал, а его бы поймали и снова посадили в Бух. Чтоб вернуть силы, думал о Житомирском, о том, что Житомирский — предатель. Однажды увидел его во сне: Житомирский наклонился над ним, дышал ему в лицо, а у самого лицо все сморщилось, как будто не может откашляться, а это он смеется и говорит: я — гувернантка Камо. Он проснулся и подумал: Житомирский сейчас надо мной смеется. Было душно. В окне нежно мерцало небо. Май, вспомнил он, уже май, звезды неяркие — сплошной Млечный Путь. А Кон опять добивается, чтоб отпустили на поруки. Не отпустят. Кон рассказал о последнем заключении Гофмана: судебное разбирательство невозможно в течение нескольких лет. Все равно не отпустят. Экспертиза будет длиться вечно.

Среди звезд светилась узкая полоска. Он вспомнил, что в Куоккале говорили о комете, но почти весь июль, что он был там, стояли пасмурные погоды, и он ее не смог увидеть. Как будто ударили по небу кончиком хлыста и остался рубец, подумал он. Или как если бы прижгли небо раскаленной проволокой... Он вспомнил, как Ваграм показывал на заднице шрам и хвастал: не больно!.. Если бы я был тогда вместо него в Константинополе, я бы тоже теперь ничего не чувствовал. Но я могу это представить, вдруг подумал он, я могу представить, что я тоже был там... Один раз я уже это почувствовал — когда Ваграм рассказывал... Он тогда как бы слился с Ваграмом. с его шрамом, с его памятью, с его щелкой в распахнутой двери, вошел в его окаменевшее бесчувственное тело, ощущал его чуждую неподатливость, ходил, невольно отряхивая, как Ваграм, ноги, чуть расставлял напряженные деревянные руки, пронзительно вглядывался в окружающих, тупо, как Ваграм, улыбался, когда с ним заговаривали... Теперь мне остается только ничего не чувствовать, подумал он, и я уже знаю, как надо просить ногу, чтоб она не дергалась. Надо попросить ногу, или задницу, или другое место, которое они выберут. Ничего трудного нет, надо только увидеть это место и увидеть, что внутри это обыкновенное мясо, и даже если прожгут до кости — кость еще легче представить, она белая и твердая, кость и сама не почувствует боли. А после этого у них уже не будет сомнений, и они поверят, как в Герцберге поверили Ваграму.

Первому он сказал о том, что не чувствует боли, соседу по койке. Соседом был наркоман, врач-психиатр. Родные посадили его в тюрьму за то, что он воровал из дому деньги. Потом его прислали в Бух лечиться. Про него говорили, что он очень образован и знает много языков. По-русски он говорил плохо. В палате его называли Доктором. Доктор выслушал его, кивнул, помолчал и сказал: бывает!.. И улыбнулся. Тогда он стал хватать себя за щеки, живот, бедра, как делал это Ваграм, и, удивляясь, кричал: не чувствую, ничего не чувствую, не больно!.. Его окружили, щипали, дергали за волосы — он тупо, растерянно улыбался. Пришел Вернер, заглядывал в глаза, проводил по спине холодной металлической рукояткой своего молоточка, рассматривал кожу, вдруг быстро, ловко расстегнул ему брюки и с силой дернул за волосы в паху, казалось, вырвал их с мясом — и опять заглядывал в глаза. Он виновато улыбался...

На следующий день с Вернером пришел Рихтер. Вернер что-то весело, невнятно говорил Рихтеру, Рихтер кивал, потом Вернер вышел

и вернулся с санитаром, который нес шприц. Санитар засучил ему рукав, протер ваткой руку выше локтя, а Вернер взял шприц и уже поднес к его руке, но Рихтер отобрал у него шприц и сам с силой всадил иглу в руку, а потом, не вытаскивая, еще наклонял шприц в разные стороны, и тогда игла словно удлинялась и пронизывала руку до плеча.

После этого его кололи каждый день, когда он не ждал, во время обеда, в клозете, внезапно будили ночью... Однажды не разбудили. Он успел проснуться, почувствовав, как откинули одеяло, и мгновенной реакцией удержал себя в неподвижности, не открыл глаз и продолжал ровно дышать. Игла была большая — медленно, долго входила в него, заполняя болью живот и грудь, и казалось, это не игла, а толстый кол и от него разрываются внутренности. Страшное уже позади, думал он, я мог проснуться от укола, и тогда ясно было бы, что я его почувствовал. Теперь только надо вбирать боль в себя, чтоб она не прорвалась наружу. Он продолжал ровно, спокойно дышать и подумал, что ровное дыхание тоже помогает вбирать боль — как будто с каждым вздохом он заталкивал ее все глубже. Потом боль сразу иссякла, он почувствовал холодок спирта, которым протирали место укола, и почувствовал, как осторожно накрыли его одеялом.

Утром Доктор сказал ему, что ночью его кололи. Он пожал плечами.

— Мне нравится то, что ты с ними делаешь, — сказал Доктор. — Я вижу больше, чем Вернер и Рихтер, — я день и ночь рядом с тобой. Тебя здесь называют анархистом. В России сейчас много партий, но мне нет дела до того, в какой из них ты состоишь. Я — врач. Мне интересно, что ты еще можешь. Тебя не оставят в покое. Даже после сегодняшней ночи. Я хочу дать тебе совет. Они будут следить еще и по зрачкам. От боли зрачки расширяются. Мне будет обидно, если из-за этого пустяка прервется такой великолепный эксперимент. Ты понял меня?

Он не ответил, отвернулся и подумал: если это провокатор и я сделаю то, что он говорит, станет ясно, что я все делаю сознательно. Но зрачки, вероятно, действительно расширяются. Надо что-то придумать.

Он не успел придумать. В тот же день два санитаров молча, быстро повели его по коридору и втолкнули в маленькую глухую комнату без окон. С потолка свисали яркие лампы в железных клетках, и он сразу увидел в углу комнаты маленький примус.

В комнате были Рихтер, Вернер, два санитаров, что его привели, и переводчица с рыжими волосами, — он ее узнал по улыбке. Все стояли. Ему предложили сесть. Переводчица сказала:

— Доктор Вернер извиняется за несколько экзотические методы, которые придется применить, но это необходимо для установления окончательного диагноза.

Он понимающе кивнул и сел на стул. Один из санитаров нажал ногой на педаль под сиденьем, и стул стал подниматься. Когда ноги его повисли, санитар отпустил педаль и туго перехватил двумя ремнями, прикрепленными к спинке стула, его грудь и живот. Руки остались свободными.

Он чувствовал, как мокнет все его тело. Сейчас они увидят пот на лбу и поймут, что я испугался, подумал он. Они нарочно делают все медленно, чтоб я испугался. Еще даже не разожгли примус... Они хотят увидеть, что я жду боли?.. А почему я не должен ее ждать? Я никогда этого не испытывал и должен ждать и бояться. Они все равно увидят это по глазам. Есть какая-то русская поговорка. Про страх. Что-то про глаза и про страх... От страха глаза расширяются?.. Не так, короче. Надо обязательно вспомнить! То же самое сказал Доктор. Он сказал насчет зрачков. Все равно, одно и то же! Он ска-

зал: расширяются от боли. От страха тоже расширяются... Почему они не заглядывают мне в глаза? Они будут следить за глазами потом, когда будет больно. Надо чтоб сейчас!.. Они должны знать, что зрачки уже расширились. А когда начнут прижигать, я удивлюсь, что нет боли. Раз сейчас жду — потом должен удивляться, что ее нет. Лучше даже обрадоваться. Удивиться, что не чувствую боли, и потом обрадоваться!.. А зрачки, вероятно, уже расширились. Я ничего для этого не делал. Я действительно боюсь. И лоб уже весь мокрый. Надо еще больше думать о том, что сейчас будет, и тогда страх станет больше. Тогда и легче будет потом перенести боль. Да, да, это хорошая мысль, пока боли нет, думать о том, какая она будет. Сейчас разожгут прирус, нагреют вон ту длинную спицу и приложат... Куда приложат? Раз посадили, значит не к заднице и не к спине. А почему руки не связали?.. Вернер подходит — что-то заметил...

Вернер подошел, посмотрел на его лоб, и Рихтер тоже подошел. Рихтер стал всматриваться в глаза, даже оттянул на правом глазу веко. Почему он рассматривает только один глаз? Ах да, на левом бельмо, как я мог это забыть, они могут следить только по правому глазу. Рихтер что-то коротко сказал переводчице, она улыбнулась и спросила:

— Вы боитесь?

— Да, да! — кричал он неожиданно для себя и радуясь, что правый глаз не подвел. — Я боюсь! Что со мной хотят делать?

Рихтер бесстрастно, одним словом что-то приказал Вернеру, и он понял, что Рихтер приказал начать, потому что переводчица быстро отвернулась к стене, и теперь он видел ее красивую ровную спину, которую тоже помнил по суду в Моабите.

Один из санитаров достал из ящика со стержнями и щипцами короткую иглу с круглым набалдашником на тупом конце. Как большая булавка, успел подумать он, пока санитар подходил. А примус так и не разожгли?..

Тот, что поднимал стул, перекинул вдруг через его голову со спинки доску, наподобие той, что бывает на стульях для младенцев, и торопливо просунул кисти его обеих рук под натянутый на доске широкий ремень, и теперь из-под ремня выглядывали только кончики его пальцев, — и он увидел свои ногти, и все понял... Я ждал не этого, подумал он с тоской, я представил совсем другую боль! К этой боли я не готов. Я не сумею так сразу выдержать... И уже в последнюю секунду, когда санитар протер иглу ватой и поднес к его руке, он, не сдерживая охватившего его страха, опять закричал, и тут же почувствовал, как в левую руку, медленно и неотвратимо усиливаясь, вползает отвратительная боль, и сначала он даже не мог понять, в какой палец всунули иглу, потому что не смотрел на руки и ему показалось, что на левой руке у него только один палец и в него, под ноготь, вдавливают огромный гвоздь, и он уже оторвал ноготь и теперь проходит сквозь руку в плечо и в голову, и голова уже набухла и сейчас разорвется... Я ничего не вижу, подумал он с ужасом, я теряю сознание... Ах нет, я просто закрыл глаза!.. Я закрыл глаза от ожидания боли. Сейчас, когда боль пришла, надо открыть их... Я хотел удивиться чему-то, вспомнил он. Я что-то решил и даже обрадовался, что нашел?.. Что?! Я сейчас опять крикну... Если я не крикну, боль разорвет меня. Вспомнил!.. Я должен удивиться тому, что нет боли... Как я хорошо жил до боли! Неужели когда-то ее не было?! Теперь она никогда не кончится... Что это за рыжее пятно? Это переводчица, она отвернулась, чтоб не видеть меня, а я вижу ее рыжие волосы. Жаль, что не видно ее лица, она, вероятно, улыбается... А это Вернер и Рихтер, я их сразу узнал, они чего-то ждут. Чего они ждут?... Только что я крикнул... Когда это было? Еще до боли. Я крикнул от ожидания боли, чтоб потом удивиться, что нет боли... Это я

и хотел вспомнить! Теперь я вспомнил... Сколько все это длится? Я опоздал. Надо обрадоваться, хотя бы улыбнуться... Он открыл глаза и, не отрываясь, смотрел в глаза стоявшего прямо перед ним Вернера, потом опустил голову, посмотрел на свои руки и увидел, что игла вошла не в руку, а только под ноготь, и из-под ногтя тоненько сочится кровь, а санитар давит на круглый набалдашник иглы, и лица санитаря не видно, а видны только его волосы и мокрый лоб, потому что санитар тоже смотрит на его руки, и это его действительно удивило — то, что такая страшная боль от такой маленькой иглы, и оттого, что этот несчастный санитар так озабоченно давит на иглу, а потом снова увидел глаза Вернера и опять удивился: чего Вернер ждет? Ах да, Вернер ждет, чтоб он улыбнулся!.. И он улыбнулся Вернеру — облегченно и как бы извиняясь за то, что вот, только что так испугался, что даже крикнул от страха.

Рихтер что-то сказал переводчице, она повернулась от стены, улыбнулась и сказала, что доктор Вернер и доктор Рихтер благодарят за представленную им возможность поставить окончательный диагноз.

Потом его перевели в лазарет и держали там, пока не зажили на пальцах под ногтями нарывы. А когда зажили, привели не в девятый павильон, а снова в комнату без окон и на этот раз не посадили, а уложили на железную койку, животом книзу, и примус, когда он вошел в комнату, уже гудел.

Кроме Вернера и Рихтера в комнате было еще несколько человек в белых халатах, но после того, как он лег, он уже никого не видел, потому что лицо его упиралось в черный брезент койки, и можно было не улыбаться, когда приложили к спине, в нескольких местах сразу, стержни и казалось, что огонь прожиг спину насквозь и уже некуда прятать боль... Его не привязывали, и руки были свободны, и это с самого начала ему не нравилось, потому что свободное тело труднее удержать от реакции, и все так и случилось, и когда стержень прикоснулся к спине — от этого первого мига взметнувшегося по всему телу ожога руки его невольно дернулись, и мгновенно осознав это, и проклиная их, и еще не зная, что с ними теперь делать, он инстинктивно продолжил их движение, неторопливо поднял их к голове, сложил перед собой и удобно положил лицо на руки, но кто-то схватил его сзади за уши и резко откинул голову, и он понял, что это хотят посмотреть на его лицо, он открыл глаза и увидел среди склонившихся над ним лиц испуганное лицо Вернера — и вдруг, громко, легко рассмеялся, выплескивая накопившийся крик, и еще успел — прежде чем ему опустили голову — подмигнуть Вернеру, а потом кто-то сказал: шреклих! И он узнал голос Рихтера и вспомнил, что «шреклих» по-немецки «ужасно».

О том, что все закончено, он понял по тому, что не стало слышно шипения, кто-то похлопал его по плечу, он поднял голову, увидел санитаря и увидел, что в комнате никого больше нет, но боль на спине не утихла. Он встал, надел рубаху и пошел за санитаром по коридору.

На этот раз его привели в его палату, и он лег на свою кровать, у стены, лицом к стенке, чтоб хотя бы расслабить мышцы лица, а Доктор, к которому он теперь лежал спиной, стал вдруг тихо ему говорить:

— Ты — эмбрион, нераскрытая почка, зерно в навозе, что из тебя выйдет, неизвестно. Скорее всего тебя убьют. Но если не убьют, из тебя что-то выйдет. И тогда вспомни, что я сейчас скажу. Ты как птица, которая изобретает летательный аппарат, чтоб летать. Для чего тебе твои дурацкие анархистские игры, когда бог дал тебе такую психическую энергию? Человек — слаб, он не в силах подняться даже над собственной вонючей плотью. Он забывает, кто он на самом де-

ле, и свою грязь и мерзость принимает за самого себя, и начинает презирать себя, а вместе с собой и всех других. Это случилось со мной. Тебе дана другая судьба — не та, которую ты выбрал, а о которой ты еще не знаешь. Но, видно, для того я так идиотски и встретился с тобой, чтоб тебе это сказать. Тебя отпустят. Ты молод. Уезжай в другой город, в другую страну — в Париж, Лондон, Америку, достань деньги, поступи в институт и стань врачом. Из тебя выйдет великий психиатр. Бог дал тебе энергию. Психиатр лечит энергией. Я понял это поздно. После того как растратил все, что имел. Поэтому из меня ничего не вышло. Со мной случился отвратительный фарс. Но будет еще отвратительнее, если ты, с твоей силой, будешь продолжать свои анархистские шутки. Самое смешное, что это так и будет. Но может быть, когда-нибудь, в какой-нибудь тюремной одиночке, когда у тебя будет время подумать о себе, ты вспомнишь о моих словах. Ты понял меня? Можешь не отвечать. Мне не интересно, что ты ответишь! Скорее всего ты ни черта не понял!

Он слушал, не поворачиваясь, а потом решил, что надо все-таки ответить. Он повернулся и спросил:

— Ты не знаешь, как найти Гиршфельда? Это — профессор. Я приехал в Берлин к Гиршфельду, чтоб вылечить глаз, а они меня схватили и привезли сюда. Сумасшедшие!..

Глава девятая

Сначала было заключение Вернера. Кон передал его опять слово в слово.

— Вы должны знать признаки, по которым поставлен диагноз,— сказал Кон.

Он спросил:

— Меня не отпустят?

— В худшем случае вас передадут в попечительство для бедных,— сказал Кон,— но я как ваш опекун уже сообщил, что средства на вашу жизнь у меня есть.

В заключении Вернера говорилось, что о преднамеренной симуляции или преувеличений болезненных явлений не может быть речи. О том, что главный прокурор при Королевском суде в Берлине Шениан написал письмо министру юстиции, он узнал в сентябре, когда Кон был у него в последний раз. Прокурор предлагал прекратить дело.

Потом, уже в октябре, ночью, ему принесли одежду и все, что отобрали при аресте, он переоделся, и его вывели на больничный двор. Во дворе ждали полицейские. Везли в машине, и он понял, куда его везут, только на вокзале, где его пересадили в арестантский вагон. В вагоне, кроме него и охранников, никого не было. Вагон шел всю ночь, а наутро остановился и стоял весь день. Когда стемнело, его вывели на перрон, и он увидел написанное русскими буквами название станции: Колиша. И он понял, что с ним делают то, что могли бы сделать без этих двух лет в Герцберге и Бухе, сразу после моабитского суда и даже без суда, потому что суда так ведь и не было. Он шел по земле Российской империи, и вокруг него с обнаженными шашками гудел взвод русских полицейских, а потом он сидел перед полицейским полковником и ждал, когда тот закончит читать его бумаги. Полковник прочел бумаги и спросил:

— Как все-таки вас называть, любезный, Мирский, Аршаков, Петросянц или Камо?

Он подумал и спросил:

— А вас?

У полковника были пышные, сливающиеся с усами старомодные бакенбарды. Полковник посмотрел на него повеселевшими глазами и сказал:

— Извините, забыл представиться: полковник Крыжановский.

И еще раз извинился за то, что вынужден предложить всего лишь лучшую камеру в колишской тюрьме. Потом Крыжановский несколько раз приходил к нему в камеру, расспрашивал о жизни в Париже и в Берлине и в других городах, которые значились в его деле, спрашивал, где красивее женщины, как выглядят сумасшедшие в немецких сумасшедших домах, — как выглядит русский сумасшедший, можете убедиться сами, он перед вами! — и ругал себя за то, что не находит силы уехать из России, — а в революцию не верю, увольте, да и что за удовольствие сидеть в сумасшедших домах! Благо еще в своем, российском, на отечественных харчах, а то ведь посадят где-нибудь в Берлине, потом тебе же и счет предъявят, на сколько их тюремной бурды нажрался. Вот ты для них кто? Самый популярный русский террорист, анархист, социалист... Кто ты там еще? Я в ваших программах не разбираюсь. На тебе сейчас любая больница рекламу сделает, тебе еще платить должны за то, что ты у них сидел! А они что?.. Не находят возможным содержать. Министр юстиции пишет: берлинское попечительство для бедных больных не находит возможным содержать русского подданного и ходатайствовало о высылке в Россию! Согласились оплатить дорогу... До границы! То ли дело Россия — за казенный счет до самого Тифлиса докатим!..

Прощаясь, Крыжановский предупреждал, что полковник Бельский в Варшаве, в распоряжение которого он дальше поступит, — язва, неудачник и лишен юмора.

У Бельского было узкое желтое лицо и проступающие с обеих сторон лба узловатые жилы, казалось, они вот-вот лопнут, и, боясь этого, Бельский говорит тихим ровным голосом.

— Весьма польщен, — говорил Бельский, стоя к нему спиной и глядя в окно, забитое серой громадой Варшавской крепости. — Молодец. Можно сказать, обвел вокруг пальца всю Европу. Туда им и дорога. Пусть знают, что даже российский уголовник умнее их вонючих лопухов.

И смеялся — беззвучно, не открывая рта, изгибая тонкие длинные губы.

В Варшаве его держали в крепости. Кормили хорошо, и он все ел, потому что уже думал о том, что в Тифлисе тетя Лиза и Джаваир добьются свидания с ним, и, вероятно, это будет последняя их встреча перед казнью, и не надо огорчать их своей худобой.

После всего пережитого он думал о возможной смерти спокойно, и его только удивляло, что все сложилось так глупо: избежать каторги в Германии, чтоб попасть на виселицу в России. Неужели это надо было только для того, чтобы перед самой смертью стать знаменитым?.. А когда стать знаменитым, перед самой смертью или задолго до смерти, какое имеет значение? Каждый знаменитый когда-нибудь умрет. Против смерти только одно средство — оставить то, что не умрет с тобой. Хотя бы оставить сына. Или дочь... У меня нет детей. И я ничего не сделал такого, что останется. У меня, по всей вероятности, и не будет больше для этого времени.

Тогда, в одиночной камере Варшавской крепости, он не знал, что будет жить и после революции. Чтобы читать книжки!.. Все-таки я чего-то не понимаю. Что значит читать? Кто-то написал, о чем он думает, я читаю и тоже думаю. Как будто разговариваю... Разговариваю с Пушкиным и Лермонтовым. Очень хорошо! Для чего мне знать, что Борис Годунов убил царевича, а потом о совести думал? Что такое совесть? Человек сделал то, что считал нужным, — вышло против со-

вести. Когда делал, не знал, что от этого будет плохо? Выходит, совесть предупреждает, от чего будет плохо? А человек не слушает совесть и делает то, что ему сейчас выгодно. И совесть потом за это его мучает. И даже царь ничего не может с совестью поделать. Как это умно устроено, подумал он, что в человеке с самого начала внутри кто-то есть, кто все понимает, и надо только слушать его. Если бы те, у кого есть деньги, слушали совесть, они бы разделили деньги с теми, у кого их нет. И не убивали бы друг друга. И Житомирский бы не предал... И для этого существуют книги — чтоб помнили о совести прежде, чем она начнет мучить. Почему я стал думать о совести? Ах да, об этом я думал в Варшавской крепости. Не о совести... Я тогда впервые подумал о смерти и о том, для чего я жил. Испугался, что не доживу до того, ради чего жил. И думал о жизни — что от нее останется? А о совести сейчас подумал. Революция для того, чтоб все могли думать о совести. Но революцию делают те, кто уже думает о совести. Выходит, с обеих сторон от революции совесть. Так и должно быть, решил он, к революции приводит совесть, и революция потом сама должна вести к совести. Если до революции о совести думали тысячи человек, после революции должны думать сто тысяч человек, миллионы, все люди... В этом все дело. Очень хорошо! Совесть не может жить только внутри человека. Она должна на что-то опираться. То, что становится опорой совести, и есть главное дело. У каждого должна быть опора совести. Больше всего тех, у кого совесть опирается на детей. А у меня? Даже если бы у меня были дети?.. Мои сестры мне как дети. Но я ничего не делал для них. Я хотел для всех. Моя опора — революция. Революция — это когда совесть каждого находит одну общую для всех опору. Это хорошая мысль, подумал он, Владимиру Александровичу тоже понравится. А Соне не понравится. Соня говорит: у каждого своя истина, и каждый идет своим путем, иначе народы были бы как тысячеголовые существа и не было бы отдельных людей.

В тот вечер Соня читала вслух «Демона», потом пришел Владимир Александрович, и говорили о «Демоне», и вдруг пришла Зоя и с ней этот Леопольд.

Зоя приходила редко, и он знал о ней только то, что она хирург и работает в той же больнице, что и Соня. Зоя хорошо одевалась, выглядела моложе своих пятидесяти лет и не была замужем. Соня говорила, что женщине, которая ежедневно видит беспомощных мужчин, трудно выйти замуж. Разве если только бог пошлет второго Камо...

А Леопольда он видел впервые. Зоя сказала:

— Этот очаровательный юноша — сын одного из самых замечательных людей века — моего бывшего учителя гимназии. Он преподавал в гимназии и одновременно сам учился в Московском университете, а после окончания университета вернулся в Тифлис, откуда он родом. Кстати, с отцом Левочки Семен Аршакович знаком. Во всяком случае, он о вас рассказывал. А Левочка учится в Рижском университете и в Москве проездом. Я привела познакомиться его с знаменитым земляком.

Оказалось, Левочка, Леопольд, — сын того самого немца Рамма, что был соседом тети Лизы. Он вспомнил лицо Рамма и сказал, что сын похож на отца.

— Но вы видели моего отца всего раз и то ночью, в саду, при свете фонаря «летучая мышь», — сказал Леопольд.

Его обрадовало, что отец так подробно рассказал об их встрече. Вслух он сказал, что «летучая мышь» — хороший фонарь и при свете его вполне можно разглядеть человека.

— Особенно — хорошего! — сказала Зоя. — Лицо хорошего человека как хороший фонарь — тоже светится.

Неожиданно Леопольд стал объяснять, отчего это происходит: хороший человек тот, кто ближе к истине, а истина — в преодолении эгоизма, и кто приблизился к истине, тот не видит себя отдельно от других и стремится отдать свое другим, а на языке физики это означает не что иное, как излучение энергии, и это-то и производит ощущение исходящего от хорошего человека света, или тепла, или просто спокойствия, которое тоже передается окружающим.

Потом Зоя рассказала, что отец Леопольда дал ему дома образование, какое не дадут и десять университетов, а после окончания гимназии Леопольд отправился в кругосветное путешествие, точнее отец устроил его юнгой на торговое судно, которое шло вдоль берегов Америки, Африки и Индии, одним словом, я не знаю человека, который дал бы сыну больше, чем отец Левы, сказала Зоя.

— Самое большое, что может дать отец, — это право уважать себя, — сказал Леопольд. — Это помогает потом верить другим людям.

— Вы верите другим людям? — спросила Соня.

— Если б мой отец не был моим отцом, он был бы для меня одним из других людей, — сказал Леопольд.

— Ничего подобного! — сказала Зоя. — Он — лучший из людей. Когда-то, девочкой, я призналась ему в любви, да, да, представьте себе, этакий гадкий утенок в гимназическом переднике однажды на перемене в коридоре гимназии призналась в любви роскошному красавцу учителю. Он был всего на десять лет старше меня, но сумел объяснить, что сотворять кумиры — самое безнадежное дело. И все-таки лучше его я так никого и не встретила. Это до сих пор спасает меня от идиотского фарса, именуемого браком без любви.

Потом о чем-то говорили еще, кажется, о любви, что значит брак по любви, и Соня говорила, что любой брак без любви может привести к любви, если люди уважают друг друга и имеют общие взгляды, а о любви следует судить не в начале, а годам к шестидесяти, когда пройдены испытания, да и вообще так называемая любовь — только стимул, вовлекающий в вечный и, по существу, единственный сюжет жизни, который исчерпывает все возможные человеческие проявления, и еще говорили о чем-то в этом же роде, а он думал об отце, о том, что будь у него такой отец, как у этого Леопольда, его жизнь пошла бы иначе.

Как все странно, думал он, то, что у меня отец — такой, а у Леопольда — такой, и то, что мне нужен был именно мой отец, чтоб моя жизнь пошла так, как пошла, и еще, вероятно, много других причин нужно было для этого. — если б мать была другой и ее не надо было бы защищать, тоже все пошло бы иначе. и то, что я мог так любить мать, — это от матери, а то, что мог защищать ее, — это от отца, и как все сложно, думал он, одно в другом, и от одного зависит другое, и невозможно ничего отделить, а главное, нельзя понять, где начало... Если бы кто-то вначале сказал, что этот родится, чтоб стать тем-то, а этот — тем-то, и сделайте все, что для этого нужно, — подберите каждому отца и мать, город, дом, лицо, характер?... Или — ничего никому неизвестно, родились двое, и от того, что у одного все — так, а у другого — иначе, один стал Камо, а другой Леопольдом? И я мог стать даже капитаном, что вез его в Индию, или купцом, или нищим, или при родах меня бы уронили — и на всю жизнь горбун?... Вся жизнь — от случайности? Если жизнь — от случайности, тогда не о чем думать. И нет ни в чем смысла. В самой жизни нет смысла. Но этого не может быть, думал он, все имеет смысл, и поэтому все так связаны друг с другом, не случайно то, что у меня такой отец, а у него — такой, и мать, и все остальное, и то, что он — Леопольд, а я — Камо. Но если все не случайно, значит, все так и должно быть? С самого начала было известно, что все так и будет? И для революции сначала нужен был Ленин. До того, как произошла революция, Ленин все написал — ничего случайного не было. Сначала было слово

Ленина, а до этого — слово Маркса, и так можно дойти до того, кто сказал про революцию первый... Кто-то должен был сказать первый! Или подумать... Мысль — тоже слово, вначале было слово... Об этом я уже думал, вспомнил он, об этом Горький сказал Ленину в тот день, когда все пришли сюда после фильма о Шатуре, и Ленин ответил, что вначале была революция. А революция от совести... Об этом тоже я думал, но так ничего до конца и не понял, а в тот вечер, когда пришел Леопольд, я об этом не думал. Об этом я думаю сейчас... Все, что я делал до сих пор, и то, что я сейчас думаю, это все — я, а все остальное — и отец, и то, что в Индию не поехал, — это моя жизнь, Владимир Александрович говорит: его величество жизнь! А где я? Для чего совесть, если все зависит от жизни? Я опять запутался, подумал он, я хотел вспомнить, о чем думал в тот вечер, а это я опять думаю сейчас.

Но в тот вечер он подумал, видно, примерно о том же, потому что сказал Леопольду — после того, как тот сказал, что уважение к родителям помогает верить людям, — после этого он сказал:

— А я не уважаю своего отца, но верю, что люди будут хорошо жить.

— Это оттого, что вы встретили хорошего человека, которому поверили больше, чем отцу, — сказал Леопольд.

Его удивило, как уверенно и спокойно сказал это Леопольд, и он ответил, что да, Леопольд прав: больше, чем отцу, и вообще больше всех на свете он верил матери, а мать всех жалела, даже отца, от этого и умерла.

Потом Зоя увидела на столе томик Лермонтова, раскрытый на «Демоне», и сказала, что это юношеская и ужасно беспомощная вещь, но она любит ее за то, что в ней очень много самого Лермонтова — больше, чем в этом проходимце Печорине, и стала говорить о том, какой Лермонтов был несчастный человек, и как его дурной характер обрекал его на вечное самоосуждение, и что в отличие от Демона в Лермонтове одновременно с демоническим было и божественное, и ранняя смерть Лермонтова — это и есть победа божества над демоном, потому что демон умер вместе с Лермонтовым, а божество, явленное в его таланте, осталось бессмертно. И тогда Владимир Александрович опять сказал, что Демон хотел стать лучше и клялся служить добру и что вообще многое в человеке можно изменить, если отменить частную собственность. Зоя замахала на него красивыми полными руками из-под золотистой шали с бахромой и быстро, весело заговорила:

— Не знаю, как с вашей частной собственностью, слава богу, в этом я ничего не понимаю, но что касается Демона, то, во-первых, на то он и демон, чтоб нарушать клятвы, а во-вторых...

Но что во-вторых, она не успела сказать, потому что ее перебил Леопольд.

— А Демону незачем исправляться, — сказал Леопольд, — он и так служит добру.

Владимир Александрович спросил, не считает ли Леопольд лишней и борьбу со злом.

— Не считаю, — сказал Леопольд, — И бог не считает. Потому и создал демона.

— Это, очевидно, следует из того, что и все остальное создал бог? — Владимир Александрович спросил это почти с состраданием.

— А вы знаете кого-нибудь еще, кто все создал? — сказал Леопольд.

И на это Владимир Александрович, заметно раздражаясь, ответил, что бесконечность на то и бесконечность, что у нее нет ни начала, ни конца.

— Вы предпочитаете бесконечность, — сказал Леопольд, — дело ваше. Бог тоже на то и бог, что не имеет ни начала, ни конца.

— Я породила этот спор, я его и убью! — вмешалась Зоя. — Давайте пить чай.

Владимир Александрович, не слушая ее, спросил, что все-таки имеет в виду Леопольд, говоря о борьбе со злом, может быть, непротавление Толстого?

— Можно и так, — сказал Леопольд. — Непротавление Толстого или, что то же, — индийское сатьяграха Ганди, обозначающее ненасильственную политическую борьбу, по-моему, единственно возможная борьба, при которой добро не рискует перестать быть добром.

— И попробуйте с этим не согласиться! — снова вмешалась Зоя. — Бойтесь ответить? Прекрасно! И давайте пить чай! Мы принесли настоящую восточную гату. И еще кое-что. Нет, нет, мы знали, куда идем, — никакое не вино и не коньяк — чистая мистика и общение с духами!.. Кстати, Семен Аршакович обязан рассказать, как ему удалось ни разу в жизни, даже в Тифлисе, не прикоснуться к спиртному? Или это преувеличение в жанре легенды? Говорят, вы ничего не пили, кроме материнского молока и воды?

Он ответил:

— За меня все выпил отец.

— Вот вам наглядное служение зла добру, — серьезно сказал Леопольд.

За чаем опять говорили о «Демоне», о «Борисе Годунове», о том, что «Бориса» трудно ставить на сцене и маленькие трагедии Пушкина трудно ставить, потому что все это не пьесы, а поэмы. Потом Владимир Александрович рассказывал о премьеры пьесы Луначарского «Канцлер и слесарь» в Художественном театре и острил по поводу легендарной святости Станиславского, которой, однако, не хватало, чтобы удержаться от плохой пьесы наркома просвещения.

— Луначарский умен и образован, — говорил Владимир Александрович, — и прекрасный оратор, и публицист, и даже ученый, но всего этого недостаточно, чтобы написать пьесу. «Канцлер и слесарь» не пьеса, а социально-политический трактат в диалогах. А так как он рассчитан на широкую аудиторию, то примитивен и как трактат. Иллюстрация к идее вроде евангельской притчи.

Леопольд возразил: вся мировая литература — тоже развернутые евангельские притчи. О чем притчи? Да и все Евангелие? Жизнь самого доброго и разумного человека в условиях все той же всеобщей неразумности и жестокости. И какой правдивый грандиозный финал — распятие! Ничего другого с Христом и не могло произойти. И то же происходит с героями книг — в конце концов у каждого своя Голгофа. Впрочем, это относится и ко всем людям. Даже в самой преступной жизни есть своя Голгофа. Пагубность страстей утверждает нравственную идею с не меньшей очевидностью, чем торжество разума. В принципе любая жизнь утверждает нравственную идею. Все идут одним путем — через страдания опыта к неоспоримости десяти заповедей.

И тогда Соня, которая до этого молчала, сказала, что у каждого свой путь и свои десять заповедей, а иначе не было бы отдельных людей и народы были бы как тысячеголовые единые существа. Соня это сказала для него: у каждого свой путь, и революция не может стать путем для всех!..

В последнее время мысли о Соне рождали в нем тоскливое и тревожное чувство. похожее на отчаяние, и это было как в те редкие дни, когда он терял веру... Собственно, это с ним было один раз — после того, как его привезли из Германии. В каждом городе по дороге в Тифлис его встречали полковники, а во Владикавказе ждал взвод солдат, присланных из Тифлиса, и здесь впервые надели ему на руки и на ноги кандалы и так, в кандалах, везли через Крестовый перевал, и он думал о том, что едет к смерти, и нет больше надежд, и нет сил, а потом, в Тифлисе, сняв кандалы только с рук, посадили

в одиночную камеру Метехи, и маленькое решетчатое окно безнадежно пробивало толщу кирпичной стены, и в первый же день долго и изнурительно терпеливо допрашивал следователь по особо важным делам Малиновский, которого он помнил по батумской тюрьме, и это тоже не оставляло надежд, и тогда ему помог воробей Вася.

Он назвал его Васей потом, когда тот подрос и стал взрослым воробьем, а сначала это был птенец длиной в пол его мизинца, и однажды его занесло ветром в окно камеры.

Был ноябрь, дул холодный ветер, на низком кирпичном потолке исчез вытянутый оттиск решетчатого квадрата,— он мысленно представил, как солнце быстро садится за развалины Нарикалы, что напротив Метехи. Потом в камере сразу стало темнее и стало слышно, как тонко и противно подывает над Курой ветер. Что-то упало на каменный подоконник окна, донесся писк, едва различимый в сумерках комочек соскользнул с покатога подоконника на пол и невидимо замер. Он присел и стал осторожно шарить по холодному полу, пока не наткнулся на что-то пушистое и мягкое, что вдруг затрепетало у него под рукой. Он взял это в обе ладони, встал и разглядел в свете окна. Это был птенец, он судорожно, рывками открывал яркий желтый рот, и глаза его были закрыты.

Он представил, как только что ветер носил птенца в сером пространстве над Курой — сдул из гнезда, подхватил, понес как пушинку,— и как только у него не разорвалось от ужаса сердце! — а потом ветер понес его к стене тюрьмы и мог расплющить о стену, но птенец попал в окно,— его и здесь могло убить, если б он ударился о прутья решетки, но он попал между прутьями, словно кто-то точно забросил его в отверстие решетки, и поэтому птенец упал прямо на подоконник, а с него соскользнул на пол и был жив.

Он поднял птенца к лицу, вложил едва различимый клювик себе между губ — клювик тотчас же раскрылся, и он понял, что птенец принял его за мать и ждет пищи.

— Родной ты мой! — сказал он птенцу и удивился радости, которая зазвучала в его голосе, и от этого еще несколько раз повторил: — Родной ты мой!..

А потом положил птенца под рубаху, слева, где было сердце,— слева теплее, подумал он,— и почувствовал, как бьется сердце птенца. Он не сразу понял, что это, и его охватил страх — показалось, что сердце птенца вот-вот остановится, и он стал дышать под рубаху. А что будет с ним, когда меня повесят? — вдруг подумал он, но тут же вспомнил, что еще должен быть суд и за это время птенец окрепнет и сумеет улететь, а воробьи и зимой выживают, хотя лучше, конечно, выпустить его весной, когда потеплеет, надо как-нибудь дотянуть до весны, может быть, опять добиться экспертизы, здесь никто не поверит, но хотя бы протянуть время, чтоб птенец мог улететь весной. И он стал думать о том, что теперь надо все начать сначала, и удивился тому, что до сих пор об этом не подумал, я решил, что больше нет сил, и после того как я это решил, мне даже казалось, что я спокоен, но на самом деле я потерял голову, думал он.

Потом он кормил птенца крошками, оставшимися после вечерней еды, и птенец не сам клевал их, а он в темноте, уже на ощупь, подбирал крошки со стола и осторожно вкладывал в хрупкую крохотную створку, которую тоже находил на ощупь, а потом ему показалось, что птенец хочет пить и если сейчас же не выпьет, то умрет, потому что ясно, что давно уже не пил, с тех пор как ветер носит его, и от этой мысли — что птенец все-таки умрет — он так испугался, что стал бить в дверь кулаками и ногами и кричал, чтоб принесли пить, а когда надзиратель принес кружку с водой, он не стал поить птенца при надзирателе и вообще не показал ему птенца, а выпил воду сам, и последний глоток задержал во рту, и, когда надзиратель ушел,

снова приложил клювик к губам и стал медленно, по капле вливать в клювик воду.

Всю эту ночь птенец пролежал у него на груди, а он не спал, боясь во сне его раздавить или неудачно задеть рукой, и ему казалось, что это не птенец прижался к нему, а он сам прижался к кому-то живому, а потом уже ясно чувствовал, что прижался к матери — он узнал ее по теплой волне, которая обдала его, и было еще чувство благодати, которое приходило только от матери, и он погружался в волну все глубже, пока не проснулся, и тогда мгновенно вспомнил про птенца и только не мог сразу понять, приснился он ему или был на самом деле, и вдруг услышал, как тонко бьется у него на груди второе сердце... Это мать послала мне птенца, подумал он, кто еще мог так точно забросить его в отверстие решетки, и ветер нужен был для этого, а теперь, когда птенец здесь, ветра нет, и за окном тихо и светло, и, вероятно, уже встало солнце. Солнце вставало с противоположной стороны, и лучи его попадали в камеру, только когда оно заходило.

В тот день был допрос, и он пошел на допрос с птенцом за пазухой. Малиновский опять спрашивал о буграх на левой руке — на ладони и пальцах левой руки, — где и когда он ранил руку? Он сказал то, что говорил несколько раз: резал ножницами патрон, задел капсюль, патрон разорвался, осколки попали в руку и в глаз.

Малиновский отворачивался, думая о чем-то своем, не глядя, слово в слово повторял вопрос. Лицо Малиновского, когда он смотрел прямо, было пухлое, и рот пухлый, с тяжелыми губами, а профиль — жесткий, римский, и только кончик носа свисал.

Он снова стал подробно рассказывать о патроне, и вдруг ему показалось, что птенец под рубахой замер, и тогда он невольно замолчал, чтоб лучше слышать биение.

— Продолжайте! — сказал Малиновский и кивнул писарю, который вел протокол.

Писарь вышел.

Он выпрямил спину, чтоб птенец плотнее прижался к груди, и почувствовал на груди тихое биение... Малиновский повторил:

— Продолжайте.

— А кто будет записывать? — спросил он, не скрывая радости.

Малиновский внимательно посмотрел на него, помолчал и сказал:

— Вас незачем записывать. Вы повторяете одни и те же слова. У вас отличная память.

— В школе историю лучше всех знал, — сказал он весело. — Для истории тоже память нужна.

— Но вы не можете вспомнить, что это было: бомба или патрон? — сказал Малиновский.

Он развел руками.

— Я хорошо помню — это был патрон.

Вошел писарь, и с ним — грузный человек в штатском, с золотой цепочкой, перекинутой из одного карманчика жилета через округлый живот к другому карманчику. Лицо человека, строгое, с рыжими усами и бородкой, было знакомо. Малиновский сказал:

— Ординатор Тифлисского военного госпиталя господин Внуков. Если не имеется возражений, господин Внуков освидетельствует.

Он узнал Внукова — в Гори он носил Внукову фрукты из их сада и еще что-то вспомнил о жизни Внукова в Гори, а Внуков слушал молча и смотрел не на него, а на Малиновского, а потом также молча ощупал бугры на его руке и сказал, что до извлечения осколков определенного суждения не имеет.

Он подумал: если его переведут в госпиталь на операцию, птенец останется в камере и надзиратель выкинет его, и он стал напоминать Внукову, как он играл с патроном, и потом Внуков же лечил ему руку

и глаз, и как отец потом прислал Внукову за это барана, но Внуков не дослушал все это и опять повторил, глядя на Малиновского:

— До извлечения осколков определенного суждения не имею!

Потом было свидание с Джаваир, и он хотел незаметно передать птенца Джаваир, но свидание проходило через две решетки и между ними ходил охранник, и в комнате никого больше не было.

Джаваир сказала, что передала ему теплую одежду, и что у нее уже второй год болит голова, и ее опекун дядя Кон... Джаваир закашлялась и повторила, что опекун, дядя Кон-стантин, считает, что у нее опять что-то с мозгами.

Он понял, что Джаваир связана с Коном и что Кон советует продолжить сумасшествие. И что Кон будет и дальше бороться за него на правах опекуна, и, вероятно, уже написал Воронцову, а может быть — самому Столыпину, и напечатает теперь в газете, как его обманули и не сообщили о передаче его подопечного в Россию, и Либкнехт выступит в газете, и Роза Люксембург, и Жорес, и все другие, кто боролся за него в Германии, а Ленин снова поднимет всю прессу в Германии и во Франции, и это поможет добиться экспертизы, и тогда его переведут в больницу, а из больницы Тифлисский комитет организует побег.

Теплую одежду он получил сразу после свидания. Надзиратель долго ощупывал фланелевые кальсоны, и майку, и толстую, ручной вязки, куртку и, передавая все это в окошечко двери, тупо улыбаясь, сказал:

— Ты того... Ежели не понадобится... Когда поведут... Оставь на память.

— Дурак, — сказал он надзирателю, — скоро будет революция, всем дадут одежду.

Надзиратель плюнул.

— Жмоты вы, смертники!

Захлопнул окошко и, не отходя от двери, долго, бессвязно ругался.

А он разложил вязаную куртку на койке, постепенно подбирая с краев, собрал ее в кружок — посередине образовалась ямка, и в нее он положил птенца, куртку с птенцом положил на табурет рядом с койкой, сам надел теплое белье и лег на койку.

Это случилось наутро. Он проснулся и почувствовал чей-то взгляд. Окошко в двери было закрыто. Он вскочил с койки, оглядел камеру и увидел два глаза, смотревших на него с табурета. Он подошел к табурету, присел на корточки, долго, с удивлением смотрел в эти открывшиеся вдруг, маленькие, напряженные глаза, и ему стало жутко. Ему показалось, что это смотрит на него не птенец, а человек с птичьим телом.

Ночью опять дул холодный ветер. Он положил птенца на грудь, и это место поверх одеяла накрыл еще вязаной курткой. Потом он почувствовал, что птенец ползет по груди, и, когда птенец остановился, он передвинул куртку на одеяле в то место, где теперь был птенец. Потом птенец снова полз, и он снова передвигал за ним куртку, и только к утру, когда проступили на лиловом небе черные прутья решетки, птенец устроился где-то у него на животе и больше не двигался, а он, чувствуя всем телом чуть слышное биение, вдруг представил маленькое, величиной с булавочную головку сердце, которое производило это биение и которое так много теперь значило в его жизни, и удивился тому, как странно его жизнь со всем, что в ней было и есть, связалась вдруг с жизнью этого вылупившегося несколько дней назад и так непостижимо заброшенного сквозь тюремную решетку птенца.

Весь день он думал опять о предстоящей операции и о том, что будет с птенцом, и решил, что не надо скрывать птенца от надзирателей, а, наоборот, надо сделать так, чтоб они его видели и привыкли

к нему, и эта мысль успокоила его настолько, что он стал думать потом только об операции и решил, что во время операции естественнее всего будет показать, как он не чувствует боли.

Через неделю птенец передвигался, перелетая с места на место, а когда он брал его на руку, перелетал с руки на плечо. Надзиратели знали о птенце и теперь чаще заглядывали в окошко двери, и он был им благодарен за их интерес к птенцу — и так, через птенца, он стал лучше относиться к надзирателям.

Потом, с птенцом на плече, он пришел на допрос, и Малиновский, прежде чем начать допрос, подошел к нему и слегка прикоснулся к птенцу пальцем, а тот не испугался и спокойно, с доверием задрал голову и посмотрел на Малиновского. Малиновский сказал, что операция откладывается — в госпитале не могут обеспечить охрану.

— Боятся, что убежишь во время операции! — сказал Малиновский. — Пеняй на себя, будем ковырять руку в тюремной больнице. Без морфия. В тюрьме нежности не полагаются.

Он сказал, тоже переходя на «ты»:

— Ты не читал заключение?.. Германские профессора написали заключение: я не чувствую боли.

— Хорошо, — сказал Малиновский, — я скажу, чтоб во время операции вам не привязывали руку.

Операцию сделали через месяц, в декабре. Когда его выводили из камеры, птенец взлетел и сел ему на плечо. Он осторожно переложил его на стол. Птенец задрал голову и смотрел на него. Надзиратель сказал:

— Насчет этого не сомневайся!..

Неожиданно птенец взлетел со стола, полетал по камере, подлетел к решетке окна и исчез. Он бросился к окну, схватившись руками за прутья решетки, подтянулся и посмотрел в окно. На противоположной стороне Куры, на горе, покрытая тонким снегом, празднично сияла Нарикала.

Надзиратели ждали, когда он сам отойдет от окна, потом молчали с ним по коридору. Из-за дверей камер на звон кандалов кричали:

— Товарищ, ты кто?

— Мы с тобой, товарищ!

— Долой тиранов!

Он не отвечал и шел медленно, ссутулившись, с трудом переставляя тяжелые звенящие ноги, и думал о том, что не надо было приучать птенца к теплу, теперь, с непривычки, он наверняка замерзнет и обратно в камеру залететь не сумеет, да и не найдет среди других окон свое. Мысли о птенце так напрягли его чувства, что он видел все вокруг себя как бы несознательно, и даже то, что во время операции рука его должна оставаться неподвижной, это тоже казалось неизбежным и не зависящим от него, и он только с отчаянием думал о том единственном, что зависело от него и чего он не сумел сделать, — продержат птенца до весны, а теперь птенец не выдержит холода и погибнет.

Он думал об этом и во время операции и машинально улыбался, глядя на врача (а тот не смотрел на него и продолжал выковыривать узким ножом из ладони красные крупинки, и каждый раз словно в ладонь одним ударом до самого плеча вбивали длинный зубчатый гвоздь, и крупинки, падая на эмалированный поднос, тихо звенели), а рука неподвижно лежала на подносе, потому что еще с того дня, когда он сказал Малиновскому, что не чувствует боли, он все время помнил, что рука должна оставаться во время операции неподвижной, и теперь бессознательная память об этом решении словно сама придавливала руку к столу, и все это время тяжелым, остановившимся на одной точке сознанием он представлял, как птенец носится над городом, а потом падает...

И только уже в маленькой больничной палате, куда его повели после операции, лежа на единственной в палате койке, он понял, что птенец опять помог ему — тем, что улетел перед самой операцией.

Через несколько дней в палату пришел Малиновский и сел перед ним на табурет, а он все еще лежал, потому что после операции поднялась температура и ноги подгибались, когда он пытался встать. Малиновский был растерян и хмур, и он решил, что экспертизе не удалось выяснить, от чего осколки — от бомбы или от патрона. Малиновский сказал:

— Имею сообщить следующее: извлеченные из рук предметы есть осколки красной меди. Осколков больше сорока штук. Наличие такого количества осколков, проникших так глубоко внутрь, можно объяснить только взрывом оболочки из красной меди, вызванной капсулом гремучей ртути, — порох такого дробления не дает. Установлено также, что в начале лета тысяча девятьсот седьмого года вы лечили руку в частной лечебнице врача Соболевского. По времени — полное совпадение, перед самым ограблением на Эриванской площади. Все это — впервые за время, что вы арестованы, не конфиденциальные сведения агентуры, а вещественные улики, которые могут быть предъявлены суду. Кавказ на военном положении. По законам военного положения военно-окружной суд будет иметь суждение о вас по обвинению в преступлении, предусмотренных статьей сто второй уголовного уложения, статьями тринадцатой, тысяча шестьсот двадцать седьмой, тысяча шестьсот тридцатой, тысяча шестьсот тридцать второй и тысяча шестьсот тридцать четвертой уложения о наказаниях и статьей двести семьдесят девятой книги двадцатой второго свода военных постановлений. Любой из этих статей в отдельности достаточно, чтобы вас повесить. Дело окончено, и в ближайшие дни я донесу о нем прокурору судебной палаты, затем дело будет направлено генерал-губернатору. Всего этого я мог не говорить. Но я выполнил служебный долг и хочу теперь выполнить человеческий. У меня правило: когда я как следователь отправляю человека под смертный приговор, как человек, перед богом, я считаю себя обязанным сделать все, чтоб ему помочь. Я следил за вами во время допросов и уверен, что вы совершенно здоровы. Но сейчас вас может спасти только болезнь. Я докладывал уже прокурору о том, что во время операции вы не чувствовали боли. Прокурор ответил: человек, который берется обезглавить российскую монархию, вполне может не заметить, что ему режут руку. Я хорошо помню вас в батумской тюрьме. Тогда я был помощником прокурора и присутствовал на всех допросах. Потом я следил за процессом в Берлине. Вы вызываете мое уважение, и мне будет трудно жить с сознанием, что я отправил такого человека на смерть. Мне известно, что ваш берлинский адвокат Кон настаивает на вашей болезни и обратил с письмом к президенту Государственной думы Гучкову, он также прислал все заключения немецких врачей и открытым письмом сообщил обо всем русскому послу в Берлине. В прусском ландтаге сделан о вас запрос, на который вынужден был ответить министр внутренних дел Фридрих фон Мольтке. Дела обстоят так, что Россия сейчас не захочет перед лицом Европы нарушить юридические законы. Поэтому все будет зависеть от того, насколько вы убедите их, что вы больны. Это все, что я имел сообщить.

Малиновский тоже говорил о совести — человеческий долг перед совестью... А служебный — против совести? Испугался только, когда под виселицу подвел. Чего испугался? Опять совести? А надзиратели?.. Почему после появления птенца стали добрее? Тоже испугались? Чего им бояться? Они у смертников одежду просят, на память...

А птенец сделал свое дело — и улетел. Без него, может быть, и Малиновский не вспомнил бы про совесть. Но что делать дальше? Кон тоже советует продолжить болезнь. Кон не знает, что такое Россия.

В России не замечаешь, что тебе режут руку, и никого это не удивляет.

Через несколько дней после посещения Малиновского в палату пришел начальник тюрьмы — начальник был худой, с длинной шеей и голым черепом, и с начальником пришел тот врач, что делал операцию. Врач осмотрел руку и сказал, что рана зажила. Начальник тюрьмы стал шутить — голос у него оказался тихий и глухой и, казалось, доносился издали, — говорил, что тифлисский климат, видно, подходит для берлинских сумасшедших, ни одного признака из тех, что указаны в немецком заключении! — и спрашивал врача, не замечал ли тот признаков, и врач сказал, что не замечал, и начальник тюрьмы опять сказал по этому поводу какую-то шутку, беззубо улыбнулся, и на белом лице его мелькнули широкие красные десны.

— Вы подводите Европу, господин Петросянц, — сказал начальник тюрьмы. — Лучшие врачи Европы установили, что вы псих, а вы плюете на них. Нехорошо! Я вас понимаю: то, что проходит в Германии, в России не пройдет. Я ценю вашу догадливость, и все-таки это неуважение к науке, вы оскорбляете науку. Следствие по вашему делу закончено, но, будь моя воля, я присовокупил бы к делу и это преступление. По моему темному разумению, оно еще важнее того, за которое вас будут судить.

И так, балагурия и веселье, начальник тюрьмы попрощался и ушел, а врач после его ухода сказал, что в петербургской «Речи» перепечатано сообщение из берлинской газеты о том, что в прусском ландтаге обсуждался факт о незаконной выдаче в Россию душевнобольного, которого теперь собираются приговорить к казни.

В тот же день его перевели из тюремной больницы в камеру. Но это была уже не та камера, в которой он сидел до этого, и он стал требовать, чтоб его отвели в его камеру, а в ответ на то, что камера его занята, требовал перевести арестанта из его камеры сюда, а его — туда и угрожал, что будет жаловаться начальству. Потом снова пришел начальник тюрьмы и спросил, почему, собственно, ему так надо вернуться в прежнюю камеру, камеры в Метехи все одинаково комфортабельные, особенно одиночные, и тогда он сказал о воробье, улетел воробей, которого он выкормил, воробей вернется в ту же камеру и не найдет его.

Начальник тюрьмы помолчал и спросил, как звали воробья? Он не задумываясь ответил, что воробья звали Васей.

— Хорошо! — сказал начальник тюрьмы. — Если воробей Вася вернется, его передадут тебе. Но только, если это будет именно Вася. Ты понял? Я сам проверю.

Он хотел спросить, как начальник будет проверять, Вася это или не Вася, но вдруг увидел его осторожный изучающий взгляд и понял, что начальник в этот момент подумал о заключении немецких врачей. И он спокойно, с достоинством поблагодарил начальника тюрьмы. Он знал, что начальник сейчас же прикажет осмотреть его прежнюю камеру и проверить, не перепилена ли там решетка окна, и после этого им не останется ничего другого как поверить, что он хотел вернуться в камеру из-за воробья, и тогда начальник опять, еще серьезнее, подумает о заключении берлинских врачей. А может быть, не найдя в камере ничего подозрительного, все-таки его переведут туда, чтоб потом проследить за ним... К вечеру того же дня его перевели в прежнюю камеру, а через несколько дней в камеру пришел начальник тюрьмы и спросил, не прилетал ли воробей Вася?

Он сказал:

— Вася прилетит, вот увидишь! Я все время о нем думаю. В Гори жил один человек, его тоже сумасшедшим называли, а птицы прилетали и ему на плечи садились.

— Запомни, — сказал начальник тюрьмы, и на лице его мелькнули красные десны. — В моей тюрьме не бывает сумасшедших!

Но он заметил, что взгляд начальника опять был изучающим. И он вдруг понял, что воробей не только вернул ему силы, но и научил, что делать дальше. Как это просто, думал он, надо теперь жить только этим — тем, что я жду воробья, и больше ни о чем с ними не говорить, и в тюрьме, и на суде. Не будь воробья на самом деле, я бы сам никогда не придумал это. Воробей пробыл со мной ровно столько, сколько нужно было, чтоб я стал думать о нем, а дальше мне поможет именно то, что я буду думать о нем. А почему, собственно, воробей не может вернуться? Если кто-нибудь покажет ему мое окно, он вернется, а так и человек не найдет, в какое окно залететь... Как отнесется суд к тому, что я жду воробья? Снова начнутся экспертизы?.. Что будет проверять? Пусть проверяют. Я на самом деле думаю о воробье. Я хочу, чтоб он вернулся. Если он вернется, будет ясно, что он жив.

Начальник тюрьмы больше не приходил. И не было больше допросов. И не давали свиданий. Дни переходили один в другой, сливая сумерки с вялыми зимними рассветами, ночи были как провалы, и казалось, день начинается сразу после вечера, и так прошла зима, потом завывали бешеные мартовские ветры, и вдруг небо за решеткой стало ясным и легким, и потеплело, и надзиратель Прохоренко, тот, что просил оставить одежду, однажды, передавая в окошко еду, сказал, что суд назначен на двадцать шестое апреля. Ему показалось, что это еще не скоро, но Прохоренко прибавил, что сегодня девятнадцатое и осталась ровно неделя, и еще говорил, что прокурором на суде будет генерал Афанасович, а главный судья — тоже генерал, и остальные — все полковники и подполковники, ниже не будет.

— Значит, казнить будут, — сказал Прохоренко. — На смерть всегда высшим чином собираются.

Он не помнил, как прошла эта неделя, но помнил, что накануне суда, ночью, ему приснился Житомирский, — может быть, потому, что на всю жизнь запомнил потом пробуждение от этого сна.

Житомирский говорил, — вернее, не говорил, а опять, как и в прошлый раз, наклонился над ним и дышал прямо в лицо, — что-то о предательстве, о том, что он предавал и будет предавать и все их идеи ничего не стоят перед одним его доносом, а потом стал вдруг свистеть, подражая какой-то птице, и это было так неожиданно, что он проснулся...

Свист еще доносился — это было тонкое верещание, и оно доносилось сверху. Он вскочил с койки и увидел сидящего на решетке окна воробья. Он четко вырисовывался на предрассветном небе. Воробей спрыгнул на подоконник, взлетел, сел ему на плечо и несколько раз ткнулся клювом ему в шею.

Он боялся притронуться к воробью и стоял посреди камеры, расставив руки, словно удерживая равновесие, а воробей клевал его в шею и верещал.

В окошке двери замерло бородатое лицо Прохоренко.

— Прощаться прилетел, — сказал Прохоренко.

И он тихо, все еще боясь испугнуть воробья ответил:

— Это — брат мой...

— На, покорми, — сказал Прохоренко и бросил в окошко большой кусок хлеба. — Тебе сегодня не положено. На суде накормят.

Он осторожно, стараясь не звенеть кандалами, присел, поднял хлеб и протянул воробью. Тот клюнул, торопливо проглотил, задрал голову, оглянулся по сторонам, снова клюнул. Прохоренко рассмеялся. Донеслись шаги конвоя. Прохоренко захлопнул окошко.

Он снял воробья с плеча, положил за пазуху, спрятал в карман хлеб, быстрыми резкими движениями в нескольких местах разорвал рубаху и штаны и стал ждать, все так же стоя посреди камеры.

Везли его в фэптоне, на мягком сиденье, под низко опущенным верхом, и рядом с ним с обеих сторон, плотно прижавшись к нему

и обдавая запахом пота, сидели двое полицейских, и еще двое стояли по обе стороны фэзтона на ступеньках, и впереди и позади фэзтона ехали конные полицейские, и всю дорогу оглушал грохот копыт, а перед глазами был широкий зад и большая плоская спина кучера.

Фэзтон пошел медленнее и стал, и он почувствовал дыхание при- тихшей толпы. Раздалась команда. Кто-то выругался. Полицейские, сидевшие рядом, взяли его под руки и вывели из фэзтона. Он увидел пустой тротуар и красивые белые ступеньки подъезда. От фэзтона к подъезду с обеих сторон стеной стояли полицейские. За ними сплошным телом колыхалась толпа.

Его быстро повели к подъезду. В тишине ясно звенели кандалы. Издали крикнули:

— Да здравствует Камо!

По широкой мраморной лестнице внутри здания его вели уже медленно, давая на каждой ступени останавливаться, а когда повели по просторному темному коридору, он уже чувствовал усталость в ногах и думал только о том, чтобы скорее сесть. У высокой белой двери его остановили, повернули лицом к двери и предупредили, что когда дверь откроется, он войдет один — за дверью его ждет другой конвой.

Как странно, думал он, через несколько минут произойдет то, что решит мою жизнь, а я еще не знаю, что это будет, и не может быть, чтоб такая важная вещь, как моя жизнь, решилась от того, что произойдет за несколько минут,— все уже давно готово: вся моя жизнь до сих пор подготовила то, что сейчас будет, иначе моя жизнь до сих пор не имеет никакого значения для того, что со мной произойдет дальше, а этого не может быть, потому что в каждой жизни, от начала и до конца, должен быть один главный смысл, и значит, то, чего я сейчас жду, уже есть, и между мной и тем, что уже есть,— только эта дверь, и так было в каждую минуту моей жизни, думал он, то, что происходило в каждую минуту, на самом деле уже давно было подготовлено всей жизнью, и мне только казалось, что все происходит от того, что я делаю в эту минуту, на самом деле все зависело от того, что я делал всю жизнь до этой минуты, и все уже есть, и тем, что я делаю, я только открываю дверь, за которой все меня уже ждет...

Но тогда, перед той дверью, я не думал об этом, а только чувствовал усталость в ногах и думал о том, чтоб скорее сесть, а об этом я подумал сейчас. Может быть, я и сейчас стою перед такой же дверью и от этого путаю время? В конце концов, что такое время? Что из того, что это происходило тогда-то, а это тогда-то? Не могло все происходить сразу — тогда все смешалось бы и снова был бы хаос, и для этого существует время, чтоб не было хаоса... Главное же в том, как я жил до этого — до того, как что-то произошло. Как я жил внутри себя... Но все время что-то происходит, и значит, главное — как я живу внутри себя каждую минуту. И от этого все зависит?.. А от чего зависит то, как я живу внутри себя?.. Опять — совесть? Выходит, в конце концов все от совести, все, что я делал, и делаю сейчас, и каждую минуту, и то, о чем думаю... О чем я сейчас думаю? О том, что опять стою перед дверью? И боюсь ее открыть?.. Я уже полгода стою перед дверью, с тех пор как женился... Все оттого, как мы жили внутри себя до сих пор — как жила она и как жил я. Внешне Леопольд тоже жил не так, как я, но он понимает... Как сказал Кон? Все, что ведет к единению, правда, а что не ведет — неправда. Что ведет Леопольда к единению? То, что вокруг света плавал? Или образованность? Соня тоже образованна, и людей читит, но Соня не верит в единение. И не в том дело, что говорит об этом, а в том, что внутри себя так живет, Леопольд внутри живет не отдельно — в этом все дело. И отец его жил не отдельно, в ту ночь в

саду он сразу это почувствовал. Это сразу можно почувствовать. Горький прав: человека в первые три минуты видишь, потом привыкаешь к лицу... Я о Соне думал, о том, что она внутри отдельно живет.

Важно только это — что чувствует человек на самом деле, внутри себя: чувствует себя отдельно от всех или чувствует, что он — только часть... Это, вероятно, и есть совесть — когда чувствуешь, что ты — только часть? Тогда можешь думать о других. А кто может думать только о других? Пока человек жив, он думает хотя бы о том, чтоб поесть. Все дело в том, о чем думает больше — о себе или о других? Люди делятся на тех, кто думает о себе больше, чем о других, и на тех, кто думает о других больше, чем о себе. Те, что больше думают о себе, получают радость от того, что берут. Те, что больше думают о других, получают радость от того, что отдают. И от них свет идет, или тепло, или еще что-нибудь... В общем, что-то идет, Леопольд прав. А может быть, все дело в том, что Соня — женщина? Женщина так устроена, что о себе должна больше думать. Моя мать тоже женщина, у нее было двенадцать детей, и она мучилась оттого, что люди теряют время на вражду. Всех жалела. И верила в царство божье для всех. А Соня говорит: у каждого свой путь и своя истина, а иначе не было бы отдельных людей! Леопольд очень ясно ей ответил. Истина — одна, сказал Леопольд, и одному она открыта, а другому еще нет, а если истина у каждого своя, никто никому ничего не открывает и нет смысла спорить. И после этого говорил о том, что духовные законы едины и неизменны для всех времен, и пророки — это не накопления времен, а перпендикуляры, восставленные к вечности, и поэтому Сократ говорил примерно то же, что и Будда, и Христос, и Толстой, и Рамакришна, и великий ученик Рамакришны Вивекананда совсем недавно, на всемирном религиозном конгрессе в Америке, призывал объединить все религии мира в одну. Люди так едины, говорил Леопольд, что в идеале у всех может быть даже одно лицо. Статьи, судя по сохранившимся изображениям и рассказам, пророки разных времен и народов похожи друг на друга, а все остальные люди не похожи на пророков в той мере, в какой не достигли совершенства. Иначе говоря, вид, именуемый «гомо сапиенс», имеет в идеале совершенно определенный образ, но так как в чистом виде его нет, а есть пока только его переходная форма — человек плюс все, из чего он произошел, от головастика до обезьяны, и плюс вообще вся природа, венцом которой он призван стать, — то пока он не стал этим венцом, он и не похож на него, то есть на самого себя. И это логично, говорил Леопольд, все больше увлекаясь, логично хотя бы потому, что внешность человека выражает его мир полнее и глубже, чем любое его проявление, и чем ближе люди к общему для всех идеалу, тем больше должно быть между ними сходства...

Соня слушала, улыбаясь, потом сказала:

— Насколько я понимаю, Христос для того и пошел на смерть, чтоб раз и навсегда избавить мир от категорических суждений.

— Христос сам был достаточно категоричен, — сказал Леопольд. — Христос изгнал торговцев из храма не смирением, не уговорами, а бичом. И для полной ясности сам же сказал, что пришел не с миром...

— Господи, опять этот меч и эти торговцы! — Зоя воздела руки, и от этого золотистая шаль ее сползла, обнажая розово-белые плечи. — Можно подумать, что Евангелие открывают только для того, чтобы прочитать эти две фразы!

Он перехватил взгляд Владимира Александровича — как тот смотрел на открывшиеся плечи Зои, а Зоя натянула шаль и еще закуталась в нее, как будто ей сразу стало холодно.

— И все-таки меч есть меч, — сказал Владимир Александрович, — и Христос сказал о нем вполне определенно. Осмеливаюсь задерживать на этом ваше внимание еще и потому, что считаю вопрос осно-

вополагающим не только для нашего спора, но и, так сказать, для всего дальнейшего хода многотрадной человеческой истории.

— Извольте,— сказала Соня,— меч Христа призывает не соглашаться со злом, например, с вами, что я и делаю в меру своих слабых женских сил, но он не призывает уничтожать зло, и о том, что я и в этом следую призыву Христа, свидетельствует тот факт, что вы живы и пребываете в полном расцвете своих спорщицких сил.

— А что бы вы ответили, если б я не спорил, а собирался вас убить?

— Логика солдата!— сказала Соня.— С такой логикой вполне можно уничтожить мир: убей его — или он убьет тебя!

— А вы предлагаете сложить руки и ждать, когда тебя убьют?

— Я предлагаю не убивать.

— О да, вы хотите делать историю в белых перчатках!..

И в этом месте в разговор опять вступил Леопольд и сказал, что Ганди в Индии хочет победить не убивая и что только в этом случае и возможна вообще истинная победа, и еще говорил опять о непротавлении, что это борьба не с тем, кто несет зло, а против самого зла, и нет ничего нелепее, чем убивать того, кого как раз и надо спасать, и еще — о том, что все едино и человечество одно целое, и ясно, что, убивая другого, всегда убиваешь себя, и поэтому ничего не остается как любить друг друга, и еще что-то в этом же роде, а потом Владимир Александрович сказал о борьбе — что это тоже связь, и не только людей: деревья, травы, камни, птицы, животные, насекомые, всякие невидимые существа и растения и все остальное — одно без другого не может жить и все борются, а без борьбы нельзя ничего связать, то есть можно — но на другой планете, где уровень жизни другой, там, может быть, ничего и не разделено, а все слито, как один сплошной мозг, а на земле все разделено и поэтому все связано только через борьбу, и без борьбы на земле поэтому нет жизни... И на все это Леопольд ответил, что в одном он согласен: история действительно во многом зависит от того, насколько верно будет понят призыв Христа.

Потом снова пили чай и хвалили гату и еще о чем-то говорили, видно, смешно, потому что много смеялись, а он опять думал о том, как странно, что этот Леопольд сегодня пришел, и то, что он знал отца Леопольда, и думает теперь о своем отце, и о себе, и о том, как Леопольд красиво и умно жил до сих пор и, вероятно, так же будет жить и дальше, и впереди у него все ясно, а я так и не знаю, что теперь с собой делать, и не открываю дверь, перед которой стою, и это — трусость и самообман, потому что за дверь все давно готово и от того, что не входишь, ничего не изменится...

Тогда, десять лет назад, в Тифлисе, перед той высокой белой дверью зала военного суда он был уверен, что все зависит от того, что произойдет, когда дверь откроется и начнется суд, но уже когда дверь только приоткрылась, и рослый красивый солдат испуганно оглядел его с ног до головы, и он увидел за дверью второго солдата и совсем недалеко, слева от двери, уходящий к высокому сводчатому окну длинный стол и за столом людей в военных мундирах и лица их на фоне окна — четкие темные профили, а слева, в зале, лица слиты, и ни одно не увидишь отдельно, с этого момента и пока он медленно шел, гремя кандалами, к столу, а солдаты так же медленно шли с обеих сторон от него, он почувствовал себя вдруг необыкновенно уверенно и с каждым шагом все увереннее, как будто сразу понял, чем все кончится, а когда подошел к столу, увидел перед столом пустой стул и так обрадовался, что тут же сел на него и все так же уверенно и спокойно достал из-за пазухи воробья, посадил на стол, достал из кармана хлеб и стал крошить хлеб на стол, и воробей клевал хлеб, а он смеялся, глядя на воробья, и его действительно

радовало, что воробей ест, потому что в камере он его накормить не успел. И еще ему казалось, что все теперь зависит не от генерал-прокурора Афанасовича, и не от второго генерала, что сидел посередине стола и был, очевидно, главным судьей, и не от других членов суда, среди которых — он сразу увидел это — никого не было ниже подполковника, а все зависит от того, что его связывает с воробьем, и это было для него так ясно, что он стал говорить об этом — о том, что воробей его брат и тоже человек, только на нем перья и маленький, но какое это имеет значение, если он понимает, когда надо прилететь, правда, он не сам прилетел, он еще был птенец и не умел летать, а его задул в окно ветер, и дело, конечно, не в ветре, а в том, что воробья прислала мать, все думают, что она умерла, а она не умерла и прислала воробья...

Он видел, как переглядывались сидящие за столом, а генерал-прокурор Афанасович о чем-то его спросил, но он даже не расслышал и вправду не расслышал, и уже никому больше не дал рта раскрыть, и говорил только сам, и, когда солдаты подняли его под руки с обеих сторон и отвели от стола, он все еще продолжал говорить, а Вася взлетел со стола и сел ему на плечо, и так, с Васей на плече, его вывели из зала в коридор и завели в маленькую полутемную комнату, и там он сидел часа два или три, пока судьи решали, что с ним делать, а он с аппетитом поел все, что ему дали, и, кушая, опять разговаривал с воробьем и кормил его.

О том, что суд отложили и снова будет экспертиза, ему сказал на следующий день новый следователь. Он пришел в камеру чуть свет, сел на стул рядом с койкой, долго молчал, глядя на воробья, а воробей сидел на краю стола и смотрел не на него, а куда-то в сторону. Он заметил, что следователь хорошо сложен, хотя был уже не молод, а голова у него маленькая, и на лице еле помещаются большие роговые очки. Следователь сказал, что Малиновский от дела отстранен, и теперь дело будет вести он, и он — следователь по наиболее важным делам Русанов. И подробно рассказал, что хотя эксперты на суде и заключили, что он болен, все из-за подполковников Вачнадзе и Пентко, они никогда в судебных заседаниях не участвовали и потому были приведены к присяге, а после присяги человек всерьез верит, что может быть честным и, хотя длится это недолго, несколько минут, за эти несколько минут вполне можно принять дурацкое решение, и именно такое решение вчера принял суд, определив Петросянцу длительное наблюдение в больнице. Но, слава богу, в Тифлисе нет больниц, в которых можно предотвратить побег, и поэтому экспертиза будет проведена в тюрьме, и сидеть он будет там же, где сидел, только с сегодняшнего дня под двумя замками, и еще Русанов сказал, что в донесении начальника тюрьмы прокурору сказано, что Петросянец совершенно здоров и это он в суде сделался психически больным.

Вопросов Русанов не задавал, поговорил еще немного о приближающемся лете, о том, что лето в этом году обещает быть особенно жарким, а Тифлис в котловине и поэтому будет еще и душно, особенно в Метехи, который на дне котловины, у самой Куры, и такое лето будет лучшей экспертизой, — ничего больше не надо для психически больного человека, чтобы умереть, а если не умрет, ясно будет даже и для этих олухов Вачнадзе и Пентко, что Петросянец здоров, что касается его, Русанова, так ему это ясно и сейчас, и поэтому наблюдать за Петросянцем в тюрьме он не собирается, а после лета, осенью, соберет смешанное присутствие суда и раз и навсегда покончит с этой затянувшейся комедией.

Русанов сдержал слово, только до смешанного присутствия Произвел еще в сентябре освидетельствование, были понятые, его раздели, и доктор из Михайловской больницы Орбели, которого он узнал на суде, выслушивал его, приятно щекоча пышными мягкими

усами его грудь, выворачивал веки, постукивал по ребрам и лопаткам, прикладывал к спине зажженную папироску, вздыхал, что-то быстро, волнуясь, говорил, — но он не понимал слов, потому что все время ждал боли и воспринимал только ее, и она то и дело возникала в разных местах, и он, уже привычно, всем телом напрягаясь, гнал ее в глубь, куда-то в центр живота, подальше от рук и лица, которые могли ее выдать.

И насчет лета Русанов не обманул: каждое утро сквозь решетку тяжело вползал в окно новый день, неотвратимо разбухал, наполнял камеру душащей безысходностью, и он ложился тогда не на койку, а на каменный пол и лежал так на полу до самого захода, и весь день на прутьях решетки дремал воробей, и его четкая, ясная на фоне окна безмятежность напоминала о неистребимости жизни — и так, ничего не делая, воробей опять помогал ему находить силы, а к вечеру, когда солнце заходило и лучи его освещали окно, воробей слетал на пол, ходил подпрыгивая по камере и верещал, и было видно, как клубящимся маревом уползает сквозь решетку еще один день.

Смешанное присутствие окружного суда состоялось в ноябре: долго и утомительно читали «скорбные листы» тюремной больницы, опрашивали врачей — военных, тюремных, гражданских, опрашивали свидетелей и среди них — доставленный из Гори отец Аршак Тер-Петросянц, и тетя Лиза, и Джаваир, и следователь Малиновский, и надзиратель Прохоренко, и артиллерийские специалисты, и пиротехники, понимающие толк в бомбах и осколках, и опять кололи и прижигали папиросками, и теперь это делали уверенно, не торопясь, не сомневаясь в его нечувствительности и только подтверждая ее перед судом, а он опять разговаривал с воробьем или обращался вдруг громко ко всем и объяснял, что Вася его брат, и все — тоже воробьи и братья, только не знают этого, потому что никто не сидел в одиночной камере и не знает, что такое, когда день и ночь ты один, и вдруг прилетает к тебе воробей, и ты больше не один, а он может улететь, но не улетает, и тогда ясно, что это твой брат, и думаешь, как это раньше я не понимал, а они и сейчас не понимают и думают, что это он сошел с ума, а это они сошли с ума, потому что не понимают, — и за все эти слова, и потому еще, что он опять не замечал, что в это время с ним делали, а воробей Вася все время сидел у него на плече и не взлетал даже, когда шипела у него на спине от папироски кожа, за все это смешанное присутствие второго уголовного отделения окружного суда постановило подвергнуть арестанта Семена Аршакова Тер-Петросова наблюдению в психиатрическом отделении Михайловской больницы, и это было единственное, чего не предвидел следователь Русанов.

Двадцать первого декабря, на рассвете, ему сменили кандалы и вывели из Метехи. У ворот ждали солдаты. Воробей Вася сидел у него на плече. Шел мелкий снег. Под ногами хлюпала грязь. Под Ишачьим мостом бесшумно кружили завораживающие кольца водоворотов. Он обернулся на Метехи и представил в одном из окон свое лицо.

На противоположной стороне моста, у голубой мечети, стоял мулла в красной чалме, бесстрастно смотрел на проходивших мимо солдат, увидев человека в кандалах, не меняя позы, чуть заметно задвигал губами, приложил ладони к груди и вискам.

Через Майданскую площадь, сверху, от церкви Суп-Геворка спустился мацонщик. Он сидел на крупе ишака, а перед ним с обеих сторон свисали набухшие карманы хурджина. Мацонщик соскочил с ишака, достал из хурджина кувшин и, оставив ишака посреди площади, побежал к солдатам. Его отгоняли, но он не отставал, и тогда один солдат с силой оттолкнул его, он упал, и по коричневой грязи долго растекалась из кувшина белая масса. Мацонщик так и остался

на земле и, словно и не заметил, что упал, приподнялся и смотрел им вслед.

Потом шли по Армянскому базару, мимо лавок и растворов, еще перекрытых длинными железными засовами, и мимо караван-сарая с башенкой, похожей на широкий шпиль, а чуть ниже, сразу за ним, врывшийся в землю низкий вход в Сионский собор, и священник уже, вероятно, ходит по двору вокруг церкви, то и дело останавливается и как будто здоровается со стенами, и мимо синагоги — большой, массивной, из красного кирпича, с круглыми окнами, внутри которых рамы в виде шестиконечных звезд, и синагога еще закрыта, но у ворот во дворе синагоги уже стоят старики с настороженными глазами, и в лицах их озабоченность пастухов, охраняющих свое стадо, а потом — Эриванская площадь, и в Пушкинском сквере, у бронзового бюста Пушкина, на том самом месте, где Пация раскрыла свой красный зонт (а не раскрой Пация зонта, не было бы тифлисского экса и ареста в Берлине и сумасшествия), на том самом месте, на скамейке перед бюстом Пушкина, сидел городской и спал, и на лице его — беспомощное блаженство младенца, а ниже по Пушкинской на ступеньках хашной замерли и сонно смотрят на солдат два карачогела в остроконечных высоких шапках и с ними еще один — в пальто и шляпе, с ярким зеленым шарфом вокруг шеи, вероятно, художник или поэт, и вдруг этот в шляпе крикнул: «Да воздаст тебе бог за все твои муки, брат!», снял шапку, поклонился и так, склонившись, стоял, пока он с солдатами проходил, и карачогелы тоже сняли свои остроконечные бараньи шапки и тоже поклонились, а у Солдатского базара еще было пустынно, и только женщина курдианка, подметавшая улицу, что-то крикнула двум курдам, которых он сразу и не заметил в маленькой подворотне, они вышли и стали посреди улицы, и солдаты чуть свернули, чтоб не натолкнуться на них, и шли мимо Александровского сада, под большими белыми платанами — их голые ветки протягивались из сада на улицу, и за стволами их и за пышными зелеными кустами город исчезал, а на Воронцовском мосту сразу стало просторно, и в обе стороны от моста стал виден весь город — и Авлабар с огромной даже издали желтой кирпичной Армянской семинарией, и над самой Курой, на скалах, дома с веселыми деревянными балконами, и нарядная круглая башня древнего царского дворца, и вокруг башни тоже деревянный балкон, и у самого моста, внизу, задумчиво вынырывающие из Куры большие почерневшие колеса водяной мельницы, а с другой стороны от моста, вдали, схватившись за перекинутый через Куру канат, окруженный белой пеной, перерезает течение паром, и над всем этим — большая, легкая, спустившаяся с неба гора обнимает город долгими мягкими склонами, и по ним, становясь друг на друга, взбираются к ней красивые дома, а сверху, с горы можно увидеть их красные железные крыши, и Нарикала сверху — маленькая, прижавшаяся к городу с краю, а за ней, из ущелья Дабаханки выползает Ботанический сад, и видно Коджорское шоссе, и прямо, вдали, под самым небом большие темные квадратные пятна Ходжеванки и Худадовского леса, и между ними тесно, беспорядочно вбитые в крутые склоны домики Окросубани и Нахаловки, и Махат-гора, и там, под горой, в каком-то сарае казаки никак не могли его когда-то повесить...

После Воронцовского моста свернули на Михайловскую, и она сначала опять была узкой, а после Главной почты расширялась, и Михайловская больница по-прежнему напоминала средневековую немецкую крепость, а отделение для сумасшедших было у самой Куры — розовое, с решетками на редких узких окнах, окруженное глухой, высокой, тоже розовой, каменной оградой. И когда вошли во двор, там под пустыми деревьями уже бродили несколько человек в серых халатах, но они не обратили на солдат и на него внимания, а он обрадовался им, как радовался каждому, кого встречал, пока шел,

и еще, пока он шел, все казалось ему как бы продолжением его тела, и ему даже пришла странная мысль — что, может быть, это и есть его настоящее тело — этот город, и гора над ним, и все горы вокруг, и небо, и воздух, а его руки, ноги, глаза, уши, кожа — только то, что связывает его с телом, вероятно, это чувствует каждый, кто долго сидел в тюрьме, подумал он, а я впервые сидел так долго, целую жизнь, и поэтому сейчас сразу это почувствовал, а Житомирский — дурак, пока все это есть и даже если останется только пыль от всего этого, я еще буду жить, и каждый так живет, и нет смерти, а есть то, что я сейчас чувствую, но еще до того, как он об этом думал, от самого Метехи, всю дорогу была разрывающая горло нежность ко всему, что он видел, и земля, по которой ступали его ноги, была их бесконечным продолжением... А потом это прошло, и осталась странная, спокойная благодарность за все, что он почувствовал, и даже — к солдатам за то, что они все это время шли рядом, и к воробью, что по-прежнему сидел у него на плече...

Воробей улетел в день побега. Потом, рассказывая о воробье Ленину, Горькому и многим другим, он говорил, что воробей улетел в день побега, потому что знал, что все пройдет удачно и он больше не понадобится.

И все-таки побег мог сорваться: уже когда он спускался по веревке из окна клозета, пытаясь зажать веревку руками и ногами (но веревка была тонкой, и ноги теряли ее, и от этого вся тяжесть приходилась на руки, и руки сразу стали болеть, казалось, веревка насквозь перерезает ладони, а он смотрел вниз, на жесткую, высохшую траву у подножия стены и видел, как она приближалась), вдруг трава колко прижалась к лицу, и он не сразу понял, что упал, потому что никакая боль в руках не заставила бы его отпустить веревку, и руки его продолжали сжимать веревку, а она лежала рядом с ним в траве. Он встал на ноги, посмотрел вверх, увидел над собой болтающийся обрывок веревки и только тогда понял, что веревка оборвалась, и, уже думая только об этом — что ему прислали гнилую веревку, — устало пошел к реке.

На середине реки он остановился, снял с шеи кандалы и бросил их в воду. Брод здесь был по пояс, и он увидел несущееся на него со всех сторон пространство. Навстречу ему по пояс в воде шел Коте Цинцадзе.

— Все могло сорваться! — крикнул он Коте. — Я мог сломать ноги... Какой ишак дал тебе эту веревку!

И все время, пока шел к берегу, разгребая руками воду и задыхаясь от усталости, говорил о гнилой веревке.

Коте подхватил его под мышки и помог выйти на берег. Он без сил повалился на песок. Коте набросил на него плащ, надел фуражку и стал поднимать. Он сам схватил Коте за шею, и Коте почти тащил его по крутому откосу.

По набережной они шли под руку, тесно прижавшись друг к другу, как пьяные, и так перешли Верийский мост, а на Великокняжеской стояли извозчики. Потом долго ехали на извозчике по разным улицам и переулкам, пересели в трамвай, снова, не торопясь, под руки шли по Пушкинской и через Эриванскую площадь, а на Веняминовской вошли в управление тифлисского полицмейстера и спустились в подвал — там уже были приготовлены свечи и еда.

В подвале полицмейстера он просидел несколько дней. Коте приносил газеты, в которых сообщалось о его розыске. Комитет предлагал перебросить его в Константинополь, но он поехал в Баку — чтоб узнать у Сегалья о Житомирском. (Сегаль знал Житомирского еще до того, как тот уехал в Берлин учиться.) Комитет запретил ему ехать в поезд, и он добирался до Баку сначала пешком, потом на лошадах и через несколько дней, рано утром, пришел на

квартиру Сегалю, разбудил его, и тот со сна принял его за Аршака Зурабова, а он сказал:

— Житомирский — предатель. Поеду в Париж, найду его и убью.

В Париж он приехал поздней осенью. До этого еще месяц прожил в Тифлисе, в разных домах, на Авлабаре и в Нахаловке, потом ему достали велосипед, и на велосипеде проселочными дорогами он добрался до Мцхет. В Мцхетах, до прихода из Тифлиса батумского поезда, просидел в овраге, недалеко от станции, и сел в поезд, когда поезд уже отходил. В Батуми его повели к глазнику, доктору Шатилову. Шатилов покрасил бельмо на его левом глазу. Потом был тихий солнечный день и он, в парике, с черными закрученными усами, с документами турецкого купца Шавки-бея, проходил в батумском порту таможенный досмотр, заметив в руках полицейского свою фотографию, по-турецки, помогая жестами, спросил, не проник ли преступник, которого ищут, на корабль (он хотел знать, будут ли искать его на корабле), и полицейский вежливо улыбнулся и жестом показал, что он может быть спокоен, и он тогда облегченно вздохнул, по-турецки поблагодарил полицейского и неторопливо поднялся по трапу, всем видом показывая, как он теперь спокоен и как доволен жизнью.

В Париже была поздняя осень, время каштанов и его любимого миндаля. Он попросил Крупскую купить миндаля и, рассказывая, все время ел миндаль, и сам смеялся, представляя в лицах надзирателей, следователей, служителей больницы, врачей и даже воробья Васю. Ленин слушал молча и не улыбался, и только когда он сказал о Житомирском, Ленин перебил и потребовал доказательств — а иначе, извините, это нечаевщина. Он не знал, кто такой Нечаев, но не спросил об этом и не возражал Ленину, а решил, что все равно Житомирского найдет, и тогда все станет ясно.

О разногласиях с Богдановым и Красиным Ленин заговорил сам: репрессии Столыпина расшатали нервы русских социал-демократов, и они опять бросились в разные стороны. А Богданов и Красин стали ультимативистами. Ленин объяснил, что ультимативисты предъявляют социал-демократической фракции Думы ультиматум: беспрекословное подчинение большевистскому центру, в противном случае фракция должна быть отозвана. Ленин возмущался — на деле, в условиях реакции, это тот же отзовизм и означает неминуемую изоляцию партии от масс. К тому же Луначарский и Горький ударились в богоискательство, создали на Капри свою школу и проповедуют слепую веру в социализм, а иначе массы все равно ничего не поймут, и эти, с позволения сказать, божественные отзовисты (Ленин потом еще несколько раз их так называл) считают, что борются за сохранение партии, а на деле ведут ее к ликвидации, то есть к тому же, к чему ведут Мартов и Троцкий. Но Мартов и Троцкий знают, чего хотят, вернее, чего не хотят, — они не хотят революции, а Красин, Богданов, Луначарский и прочие и Горький хотят революцию, но они не хотят понять, что нельзя делать революцию, оторвавшись от тех, кто единственно может ее сделать.

Взволнованность Ленина его удивила. Он понял, что разногласия, о которых он слышал еще в Тифлисе, в Комитете, и которым не придавал значения, на самом деле серьезны, и от того, кто теперь победит, зависит — будет или не будет в России революция. Он сказал Ленину, что сейчас же вернется на Кавказ, проведет новый экс-курт в Бельгии оружие и перевезет в Россию. Ленин сказал: оружием сейчас некого вооружать, оружие, конечно, понадобится, но сейчас главное — перебросить в Россию нелегальную литературу, надо все начинать сначала, удобнее всего создать склады для литературы в Константинополе — оттуда морем, через Кавказ, но сначала в Бель-

гию, сделать пластическую операцию лица, на худой конец — оперировать глаз, без этого ехать на Кавказ архиепископу.

В Бельгии операцию делать отказались — и в Брюсселе, и в Антверпене, и в Льеже. Он вернулся в Париж и сказал Ленину, что задерживаться из-за бельма в глазу больше не может. Ленин пошел с ним к известному профессору-хирургу, которого рекомендовал Жорес, и опять настаивал на пластической операции. Профессор сказал, что такого рода операции давно не делает, и посоветовал, уходя от ищеек, обрызгивать подошвы эфиром — эфир испаряется и уносит запах. Он спросил профессора, а как уходить от предателей, — доказательства, быстро ответил Ленин, только доказательства, других способов нет!..

Он взял в партийной кассе несколько неразменных тифлисских пятисоток, нашел художника, который изменил номера, купил немного оружия и уехал в Константинополь. Прощаясь, Ленин подарил ему свой плащ на теплой подкладке, — а иначе будет холодно ходить по палубе, и Крупская рассмеялась и объяснила, что на пароходе Ленин любит ходить по палубе, а плащ подарила Ленину мать, когда приезжала повидать его в Стокгольм. Он отказался от плаща, а Ленин, не слушая его, говорил:

— И ни при каких обстоятельствах не забывайте — революцию делаем не мы, не вы, не я, не Красин, не Богданов, а — массы, и наша задача вести массы, а если мы потеряем связь с массами, мы выродимся в жалких авантюристов, и подумайте сами, кому тогда будет нужна наша революция?

Потом был Константинополь и в окрестностях его — в предместье Ферикуси — грузинский католический монастырь Нотр Дам де Лурд, а в Куспри, в монастырской школе, прятали беглецов из России, и была эмигрантская социал-демократическая группа Ноя Буачидзе, которая уже выступила в поддержку Ленина. Он тоже поселился в монастырской школе, называл себя отцом Бернардом, посещал все службы и даже пел в церковном хоре, а потом, наладив явочные квартиры и склады для литературы, под именем Семена Севчука уехал в Софию.

В Софии его арестовали как турецкого шпиона. То, что он русский социал-демократ, подтвердил Благоев. Благоев был лидером болгарских социал-демократов и членом болгарского парламента. (Благоев его никогда не видел и не мог узнать, но он успел шепнуть Благоеву, что он не Севчук, а Камо, и Благоев тут же позвонил губернатору, и его освободили.) И после этого он еще познакомился с македонскими воеводами, выдал себя за члена комитета помощи турецким христианам, приобрел у македонцев оружие и с их помощью выехал в Турцию, чтоб сдать часть оружия в Трапезунде. В Бургасе, куда он приехал из Софии, прямого парохода на Трапезунд не оказалось, и он отправился в Константинополь, чтоб там пересест на попутный пароход, но таможенная охрана задержала лодку с его грузом, и его восемь дней продержали в политическом управлении. У него был паспорт на имя Ивана Зоидзе, и он доказал начальнику полиции, что он грузинский федералист и приехал в Турцию предложить помощь в будущей войне с Россией. Его кормили дорогими блюдами и на ночь отправляли в лучшие отели, но на второй день своего комфортабельного ареста он узнал, что отели и дорогие блюда оплачиваются за его счет, и заявил, что не терпит двусмысленных положений и раз уж его арестовали, пусть отправляют в тюрьму. Заявление его приняли за шутку, и тогда он стал жаловаться на нездоровье и плохой аппетит, и его стали кормить еще более изысканными и дорогими блюдами. На восьмой день министр внутренних дел Турции вернул ему паспорт на имя Зоидзе и предложил любые тайные услуги, а груз его так и не раскрыли и отправили

вместе с ним поездом в Афины. (Из Афин легче попасть в Россию, не вызывая подозрений в связях с Турцией.) И так, неожиданно, он попал в Грецию, куда мечтал попасть с детства — с того момента, как узнал о греческой истории. Он посмотрел в Афинах все древние развалины, и прежде всего развалины Парфенона, и все музеи, но сначала нашел армянских эмигрантов, и они его приняли за члена партии дашнаков, а он отобрал из них надежных людей и наладил связи для постоянной переброски оружия из Брюсселя на Кавказ. Потом закрыли Дарданеллы. И он остался в Афинах еще месяц. И была эта гречанка, певица, она хотела все бросить и поехать за ним в Россию...

Он целыми днями бродил по развалинам и по улицам и удивлялся строгим, почти суровым лицам греческих женщин, а в ее лице была обнаженность души, какая бывает на иконах, и серые, радостно-доверчивые глаза, и это он увидел сразу, потому что она шла ему навстречу, а он шел с Парфенона и, увидев ее, остановился и спросил первое попавшееся — как пройти к Парфенону. Она ответила, что он идет прямо в противоположную сторону, и только тогда он понял, как удачно спросил, потому что теперь мог повернуть и идти обратно вместе с ней. Она говорила по-болгарски, а он знал несколько десятков болгарских слов, и так, разговаривая по-болгарски и жестами, они дошли до Парфенона, и он, неожиданно для себя, сказал ей, что только что здесь был, и тут же подумал, что теперь она решит, что он ловкий и опытный с женщинами человек, потому что так хитро спросил о Парфеноне, а с ним это было впервые, да и не было у него никогда раньше свободного месяца, чтоб он мог вот так ходить без дела по улицам и кого-то встретить, и еще ему захотелось ей рассказать свою жизнь... Но он не сказал даже как его звать, потому что уже ни в чем не хотел ее обманывать, и она, видно, о чем-то догадывалась и, помогая ему, тоже не назвала себя и еще шутила — в имени есть что-то оскорбительное, как будто без имени бояться не узнать друг друга, что касается ее, то имя ей даже мешает, потому что то, что есть в его лице, этого больше ни в чьем лице нет и не может быть, а имя, такое же, может быть и у другого, и обязательно есть у кого-нибудь еще и, даже вероятно, у многих, и это-то ей мешает, и еще говорила что-то такое же веселое и странное, и так они провели остаток этого дня и еще несколько дней и вечеров, и однажды она сказала ему, что все бросит и поедет с ним в Россию, если понадобится, и на край света, а он ответил, что не понадобится, потому что на каторгу он уже не попадет — если его арестуют, тут же повесят. Это у него вырвалось оттого, что вдруг стало странно что-то от нее скрывать, но больше он ничего не сказал, а для нее это было как признание, и она молча, испуганно прижалась к нему.

После этого несколько дней он не приходил на развалины Парфенона, где они встречались, ходил один по городу и думал, что теперь делать. Все произошло так, чтоб он ее встретил: и этот арест в Константинополе, и то, что его отправили в Афины и закрыли Дарданеллы... Судьба то ли испытывала его, то ли хотела спасти от того, что его еще ждало, то ли награждала за прошлое, — а потом ему стало ясно, что надо думать не о своей судьбе, а о ней, и тогда решение пришло сразу.

А она не стала больше ждать, когда он придет к Парфенону, и однажды утром встретила его у подъезда дешевой гостиницы на окраине, где он жил. Она не здороваясь, с надеждой спросила, не болен ли он был все эти дни, и он, отвергая то, что она подкашивала, ответил, что нет, не был болен, и, с трудом подбирая болгарские слова, прибавил, что ему было некогда, а еще резче, развязнее, с ненавистью к себе, почти выкрикнул:

— Надоело! Скучно! Скучно... Я устал...

Она смотрела на него с ужасом и состраданием. Потом сказала: — Если бы я поверила тебе, это было бы хуже, чем то, что ты решил уйти. Я так и не знаю, кто ты, но я знаю, что ты самый чистый человек, которого я за свою жизнь встречала. Я буду думать о тебе и молиться, чтоб бог тебя берег.

В тот же день он выехал в Константинополь: Дарданеллы все еще были закрыты.

В Константинополе начальник полиции принял его как старого знакомого и сказал, что на этот раз его никто не тронет, но и после этого он называл себя в Константинополе отцом Бернардом, пел в церкви Санта Анна, и Цвета, сестра болгарина Трайчева, который привозил из Софии нелегальную литературу и снимал в Константинополе квартиру, говорила, что, когда он поет в Санта Анне, туда нельзя попасть, и что у него действительно редкий и красивый голос, и после революции в России он обязан стать певцом, а он смущался и отвечал, что после революции надо будет еще сделать мировую революцию, а к тому времени голос у него пропадет.

Неожиданно в Константинополь из Персии приехал бывший боевик Гиго Матиашвили, и он обсудил с Гиго план нового экса, а для начала, с паспортом Трайчева, послал его в Трапезунд, и Гиго все сделал, как он сказал, и сдал кому надо в Трапезунде груз с оружием, а потом через Персию поехал в Тифлис и стал ждать его в Тифлисе.

Потом были неудачи.

Тифлисский комитет запретил экссы: остатки боевиков во главе с Инцкервели провалились в девятом году, Шаумян, Джапаридзе, Сталин были в ссылке, Серго — в тюрьме, Цхакая — в эмиграции, надо было уходить в подполье, собирать новых людей, — и на все это он отвечал, что именно поэтому нужны деньги, и нужно еще разоблачить всех провокаторов в центре и за границей, а иначе все лучшие люди исчезнут, как песок в решете, и на это нужны деньги; и все-таки экс ему запретили, и тогда он впервые пошел против Комитета и поехал в Москву, к Красину, хотя знал, что Красин отошел от линии центра (а может быть, именно поэтому и ждал, что Красин его поддержит). Красин сказал: ты действительно сумасшедший, если берешься сейчас за экспроприацию.

Вернулся в Тифлис, ездил в Баку и Эривань, денег не достал, послал Кахояна в Алаверды на медные рудники за динамитом и сам, вместе с Гиго, приготовил бомбы. Это был его последний экс — и на том же Коджорском шоссе, где случился первый, но этот провалился: две бомбы не взорвались, остальные разбили на мелкие куски повозку с охраной, а стражник с первой повозки, где были деньги, открыл пальбу. Убежали через Ботанический сад, Шел дождь, и собаки потом не могли взять след.

Арестовали его через три месяца — в январе тринадцатого года в Тифлисе, у «Северных номеров», — подошли сразу со всех сторон и скрутили руки. Девятого февраля освидетельствовали и признали здоровым, второго марта приговорили к смертной казни.

Прокурор Голицынский до суда несколько раз приходил к нему в камеру, сожалел, что нет ни одного облегчающего обстоятельства, говорил, что сочетание воли и бескорыстия — предмет подражания, а не уничтожения, что берлинская симуляция не имеет равных во всей истории судебной медицины, расспрашивал о семье, прочел на английском и пересказал сонет Шекспира о том, что надо иметь детей, а он ответил, что Шекспир, вероятно, писал свои сонеты не для приговоренных к казни, и Голицынский согласился — прищурил и без того узкие, спрятанные за пухлыми щеками глаза и несколько раз сокрушенно кивнул, и он тогда подумал, что, может быть, Голицынский тоже, как Малиновский, выполняет перед богом челове-

ский долг, но прокурор не следователь, за ним последнее слово, и он его скажет, все статьи ведут к смерти, и он успокаивал Голицынского и опять шутил: должен когда-нибудь и Камо умереть, на его могиле давно могла вырасти высокая трава, и Голицынский опять соглашался, а в последний свой приход, перед самым судом, больше молчал, поблескивал из узких щелок острыми скорбными зрачками и как будто хотел в чем-то признаться, но вдруг стремительно вышел из камеры, и после этого он видел его только на суде: Голицынский перечислил все его преступления и все предусмотренные на них статьи и потребовал смертной казни. Через месяц после приговора ему объявили, что казнь заменяется двадцатью годами каторги, и он узнал, что Голицынский послал приговор на утверждение с опозданием, дождавшись амнистии по поводу трехсотлетия дома Романовых, и за это получил выговор и испортил себе карьеру.

Потом провалились две попытки бежать. Одна — из поезда, по дороге в харьковскую каторжную тюрьму, в Баку: поезд стоял два дня, и Джаваир приехала в Баку и сделала все, как он написал ей из Метехи, — испекла хлеб и сорок пирожков, положила в них снотворное, а в хлеб — пилку, и все это передала ему на вокзале, когда его сажали в поезд, и он видел, как сел в соседний вагон Бесо Геленидзе, его боевик, а потом караульные заснули, и он перепил кандалы на одной ноге, и когда пила на второй, пила сломалась, а второй пилки не было, и он дал знать Геленидзе, чтоб тот сошел, потому что все провалилось; и второй раз — из самой харьковской тюрьмы, через мертвецкую, и для этого он пил махорочный настой, — чтоб быть похожим на покойника, но заведовавший тюремной коробковой мастерской Вайн (с ним связалась приехавшая в Харьков Джаваир), сказал, что перед выносом по старой традиции покойника бьют молотком по темени — и так провалился и этот план, но от него осталась болезнь желудка.

В тюрьме он делал зарядку по системе Мюллера, во время прогулок и в сильные морозы не надевал шапку, чтоб не снимать перед начальством, и в письмах сестрам писал, что здоров и до невозможности бодр. Уголовники уважали его и называли Большим Иваном. 5 марта 1917 года он написал сестрам, чтоб они не верили совершившейся революции и никого не просили об его освобождении и снова звал в Харьков Джаваир, чтоб устроить побег. 6 марта его освободили. Он поехал в Баку, оттуда — в Тифлис.

В Тифлисе был особый закавказский комиссариат — меньшевиков, мусаватистов, кадетов, дашнаков и социал-федералистов. Большевики выступали на рабочих собраниях. Он уехал в Петроград. Он был худ и бледен, у него ослаб голос и мучали боли в желудке. В Петрограде, на первой линии Васильевского острова, в актовом зале Кадетского корпуса проходил первый Всероссийский съезд Советов. Он не пропустил ни одного заседания и был в зале, когда Ираклий Церетели, прекрасно одетый, в костюме и с бабочкой, жестикулируя, предвещал анархию и говорил, что в России нет партии, которая бы согласилась взять власть, а Ленин с места крикнул, что такая партия есть и потом вышел на трибуну и повторил, что партия большевиков готова взять на себя всю полноту власти. 18 июня на Невский и Дворцовую весь день с окраин шли рабочие и солдаты, несли красные знамена и требовали хлеба, мира и свободы. В тот же день он выехал в Тифлис — Ленин уговорил его лечиться.

Весь июль семнадцатого он пил минеральную воду в Уцерах, в августе, окрепший, снова приехал в Петроград, но Ленин уже жил в финской деревне Ялкала, потому что Керенский распорядился Ленина арестовать. И уже 4 июля казаки и юнкера расстреляли рабочую демонстрацию на углу Невского и Садовой, и был манифест VI полулегального съезда партии — «Грядет новое движение и на-

ступает смертный час старого мира», и на Кавказе уже запрещали солдатские митинги, формировали «батальон смерти» и офицерский «союз защиты отечества».

О событиях в Петрограде он узнал в Тифлисе, к вечеру 26 октября. Декреты о земле и мире читали на митинге, на Арсенале. Было несколько тысяч человек. Подписывали клятву о защите новой власти. В Комитете спорили о тактике в новых условиях. Закавказский комиссариат меньшевиков, дашнаков и мусаватистов договаривался с белыми на Северном Кавказе, с английскими и французскими военными агентами в штабе Кавказской армии и с американским консулом в Тифлисе Смитом. Через Кавказ готовилось наступление на Россию. В ноябре Тифлис объявили на военном положении. Шаумян написал Ленину письмо. О том, что письмо повезет он, никто не спорил.

На Военно-Грузинской дороге уже лежал снег. Во Владикавказе он встретил Кирова и Ноя Буачидзе. Они готовили восстание в Терском казачьем войске и в Дагестане (генерал «дикой дивизии» Пловцев через Терек и Дагестан шел на Баку). В Петрограде несколько вечеров отвечал на расспросы Ленина, уезжал на германский фронт под Нарву и Псков, где не хватало людей, видел Сталина, потом Сталин докладывал о кавказских делах на заседании Совета Народных Комиссаров, и Совет постановил отправить в Баку 500 тысяч рублей для борьбы с Калединым и назначил председателя Бакинского совета Шаумяна чрезвычайным комиссаром Кавказа. Деньги и мандат для Шаумяна по предложению Ленина поручили ему. Шаумян был в Тифлисе, и из Баку он в тот же день выехал в Тифлис. Тифлиссские газеты сообщили о назначении Шаумяна.

Потом в Тифлис вошли немецкие войска. Он жил уже на Великокняжеской, у тети Лизы. С утра бродил по улицам, уходил в Ботанический сад, часами просиживал у подножия водопада, смотрел, как падают с неба большие сверкающие куски воды, думал о том, что с собой делать, — как будто шел до этого вдоль реки, ни о чем не задумывался, знал только, что надо идти и река выведет, и вдруг — водопад... В Ботаническом саду, у водопада, сидели художники, писали этюды. Его узнали, предлагали написать портрет, он отказывался, один из художников настаивал больше всех, говорил, что в лице его есть что-то такое, что может быть только у революционера, — чистота и самоотверженность и ничего героического — и еще что-то говорил о воле, и тогда он вдруг с неожиданной яростью сказал, что легче найти волю, когда сидишь в тюрьме или в сумасшедшем доме, чем когда свободен и все зависит от тебя... И после этого — четкие ясные дни: вставал до рассвета, делал зарядку, обливался ледяной водой, читал, повторял вслух, чтоб глубже вдавить прочитанное в уставший мозг. Помогал ему Цивцивадзе — доставал книги, диктовал, объяснял, просиживал на Великокняжеской с утра до позднего вечера, в конце концов поселился в соседнем доме, чтоб не терять время на уходы и приходы.

Однажды, перед рассветом, он еще лежал, Цивцивадзе без стука распахнул дверь, сел на стул, молча протянул газету — сообщали о падении бакинской коммуны и аресте Шаумяна. Потом пал Владикавказ. В мае девятнадцатого белые победили на всем Северном Кавказе. Серго приехал в Тифлис. С ним была его жена Зина. Жили в доме тети Лизы, на Великокняжеской, в его комнатке. (Серго женился в ссылке, и с тех пор Зина была с ним даже в окопах.) Он повез Серго, Зину и жену Джапаридзе Варо в Баку. Там ждал Микоян. Из Баку в Астрахань на парусных лодках тайно отправляли в Россию бензин. В Астрахани работал Киров. На Каспии патрулировали англичане.

Микоян подготовил парусный баркас. Баркас принадлежал дельцу Рогову и курсировал между Баку и персидским портом Энзели. (Через

несколько месяцев английский эсминец задержал баркас на пути в Астрахань, и на баркасе был Рогов, его судили и тут же повесили.) Баркас вел помощник Рогова Дудин. Шли тринадцать дней, уходили от курса, чтоб не встретить англичан, нечем было дышать и не хватало воды, потом стало не хватать пищи. Недалеко от Астрахани, в самом опасном месте, стояли пять суток — не было ветра, и парус висел. Он собирал всех на палубе и рассказывал о том, как его пытали в Берлине, и тогда у каждого было с чем сравнивать то, что происходило сейчас, а иногда он рассказывал о веселом: как ехал в одном купе с генералом Афанасовичем, который его судил, как был в Петербурге князем Коккой Дадиани, как в Тифлисе вечером шел в женской одежде, и к нему пристал молодой жандарм, и все хотел поднять чадру и поцеловать, а он надавал жандарму пощечин и старался бить слабо, чтоб не выдать себя, но жандарм все-таки упал, и тогда пришлось поднять платье и бежать, и как вез в коробке из-под шляп 250 тысяч, и про воробья Васю, который жил с ним в Метехи и в Михайловской больнице, а в день побега улетел, и еще о многом другом, весело и представляя в лицах, а ночью, с Серго, когда все засыпали, обсуждали, что делать, если баркас обнаружат, и был план взорвать баркас.

Из Астрахани он поехал в Москву и с вокзала пошел в Кремль. У Троицких ворот было бюро пропусков, ему сказали, что прием закончен. Он попросил позвонить Ленину и сказать, что приехал Камо. Дежурный позвонил секретарю Ленина. Ленин ответил сам — это он понял по тому, как вытянулся дежурный. Ленин жил в Кремле и повел к себе пить чай. Он поставил на стол кувшин с ореховым вареньем, который вез от самого Тифлиса. Он наклеил на кувшин бумажку с надписью «Фабрика тети Камо». Ему хотелось чем-нибудь рассмешить Ленина и отвлечь от забот. Он знал, что на Москву шли три деникинские армии — Кавказская, Донская и Добровольческая, и знал, что Ленин написал письмо к народу: «Все на борьбу с Деникиным», которое начиналось с того, что наступил самый критический момент революции, и знал, что на Западный фронт уже выехал Сталин, а через неделю от Сталина была телеграмма с просьбой прислать на Западный фронт Орджоникидзе, Камо и еще несколько человек.

Он не поехал, потому что предложил Ленину план борьбы в тылу Деникина, и Ленин его план принял. Потом на Садово-Каретной в 3-м Доме Советов был штаб, и туда приходили те, кого отбирали по поручению Ленина Загорский и Стасова. Все были молодые. Он расспрашивал, требовал подумать о родных, предупреждал, что придется идти на смерть. Собралось человек сорок. Он устроил проверку. К тому времени он познакомился с Атарбековым. Атарбеков тоже приехал из Астрахани и работал в Чека. Атарбеков переоделся в белого подполковника и со своими людьми, тоже переодетыми, напал на его отряд, а он проводил в лесу стрельбище, и уже расстреляли по мишеням все патроны, и Атарбеков прежде всего выстрелил в него, и он упал и слышал, как Атарбеков каждому угрожал смертью и предлагал перейти в свой отряд, несколько человек испугались и согласились, а один оказался провокатором. Потом на все его объяснения Ленин грустно говорил:

— Все равно нельзя так, есть нормальные способы проверять людей.

Отряд отправили в Курск. По дороге, в Орле, ему дали курсантов. Под Курском он высадился уже с запасами провизии, с походной кухней, с сестрами милосердия, со штабом и с начальником штаба Хутулашвили. Курск сдали прежде, чем его отряд вступил в бой, и он вернулся в Орел, а потом оставил отряд своему помощнику Сандро Махарадзе, и уехал в Москву, и на заседании Чека доказывал, что Курск сдали благодаря измене, но у него опять не было доказательств, а Сандро, пока он был в Москве, поймал тех, кто предал под Курском —

всю верхушку, двенадцать человек, бывшие офицеры, при них документы и золото, и они хотели бежать к белым.

Деникин бешено наступал, и все части красных отходили к Орлу. В Орле он встретил отряд и вернулся с ним в Москву. Орел сдали, и сдали Воронеж, и подходили к Туле. Он настаивал, чтоб его послали в тыл Деникина. С ним согласились. Он отобрал шестнадцать человек, научил их бросать бомбы, достал грим, костюмы и парики, провел последнюю репетицию в заброшенных зданиях под Москвой и выехал с отрядом в Астрахань. На Кавказе начиналось партизанское движение, и из Астрахани он взял с собой в Баку полный трюм оружия. Шли две недели, был ноябрь, дули ураганные ветры, и, может быть, это и помогло не встретиться с деникинскими катерами.

В Баку он узнал, что началось контрнаступление по всему Южному фронту и взяты Орел, Воронеж и Ростов, и Деникин отступал. Тыл Деникина быстро переменялся. Он разбил отряд на отдельные группы, чтоб действовать в разных местах одновременно, и, взяв семь человек, поехал в Тифлис — он решил пробраться через Батум в Новороссийск и взорвать штаб Деникина. В Тифлисе на перроне, перед выездом в Батум, его окружили меньшевистские гвардейцы. Но не подходили к нему. Он сказал:

— Не бойтесь. Нет у меня бомбы. Нечего в вас бросить. Пойдемте.

В Метехи его привезли во время прогулки заключенных, его узнали и устроили овацию. Он стал требовать встречи с главой правительства Ноем Жордания, но Жордания не захотел встречаться, и он стал готовить побег. Джаваир поселилась в смежном с тюремной доме, и он стал подкапывать стену, прикрывая ее шкафом для одежды. Но еще до окончания подкопа написал письмо министру внутренних дел Ною Рамишвили. В письме он спрашивал, неужели Рамишвили думает, что он останется в тюрьме. Рамишвили пришел в тюрьму, просил войти в его положение, обещал освободить, если он уедет со всей своей группой из Грузии.

Вернулись в Баку в начале апреля. В середине апреля Одиннадцатая армия подошла к границе Азербайджана. 27 апреля мусаватистскому правительству вручили ультиматум с требованием сдать власть. 28 апреля в Баку вошли бронепоезда Одиннадцатой армии. 30 апреля приехали Орджоникидзе и Киров. Он встретил их и уехал в Москву.

Потом по предложению Ленина к нему прикрепили педагога — Владимира Александровича Попова, потом Горький и Игнатъев были свидетелями, когда он расписывался с Соней, потом — всю зиму и весну — эта комната, эти фотографии, этот персидский ковер, чернильница Репина, Боровицкая башня, купол Спасителя, колокольный звон, эти странные сливающиеся узоры обоев, и всю зиму и весну приходил Владимир Александрович, и они с Соней спорили, а на самом деле это Соня спорила с ним, и потом, позавчера, Зоя привела этого Леопольда, и в тот же вечер, вернее, уже ночью, когда он пошел провожать их, все для него решилось...

Владимир Александрович шел впереди с Зоей, а он с Леопольдом — сзади, и вдруг Владимир Александрович остановился, дождался их и сказал, что только что сделал Зое предложение и она отказала — сказала, что не хочет делить его с мировой революцией, и Владимир Александрович говорил об этом так, как будто Зоя открыла ему что-то, о чем он до этого не знал. Потом шли все вместе, и Зоя была оживлена, рассказывала что-то веселое и шутила, а он уже думал о Соне и о себе, а Леопольд говорил о возвращении человечества к духовности.

Но сначала, еще дома, после того как выпили чай, Леопольд показывал детекторный приемник, который принес с собой и с которым Зоя сказала, что это чистая мистика и общение с духами, и это действительно напоминало общение с духами, и даже казалось, что

духи тесно наполнили комнату, потому что голоса в наушниках смешивались и тонули друг в друге, и все происходило от того, что Леопольд тонкой проволокой притрагивался к маленькому кристаллу. А когда звуки исчезали, Леопольд надевал наушники, и ошупывал кристалл со всех сторон, и, успокаивая, повторял: сейчас, сейчас! Глаза у него темнели, лицо сжималось, волосы прилипали ко лбу, и казалось, он пытается сдвинуть дом. Потом молча, быстро снимал наушники и почему-то первому протягивал ему, и он опять слышал этот странный гул, и из гула выныривали звуки, а над ними бушевал ветер, и он различал отдельные слова и узнавал их — немецкие, французские, турецкие, и было много незнакомых слов, и музыка, и все это сталкивалось и тонуло в тихом вселенском грохоте. А Леопольд говорил, что теперь жизнь изменится, потому что всем станет ясно, что на самом деле нет расстояний и все живут рядом, как эти звуки, смешиваясь и сталкиваясь, и все это, конечно, давно известно, и приемник только это подтверждает, — если б раньше кто-нибудь сказал, что слышит голоса на другом конце света, его бы высмеяли и приняли за сумасшедшего, а теперь вот он трогает какой-то кристалл — и никакой мистики, все можно услышать собственными ушами.

Он напрягался, чтобы сквозь звуки в наушниках слышать то, что говорил Леопольд, и не отрываясь смотрел на кристалл и вдруг подумал, что весь мир как этот кристалл, только намного больше — один очень большой кристалл, и на нем разные страны и народы, и сколько б они ни враждовали и ни воевали друг с другом, все равно кристалл один, и все на нем — как его грани, если прикоснуться, у каждой — свой голос, но кристалл все равно один, и потому права революция, которая всех объединяет, и не может быть объединения ни для кого в отдельности, а может быть только для всех.

Его так взволновало то, о чем он подумал, что он стал говорить об этом вслух, все замолчали и стали его слушать, а Соня вдруг перебила. Соня сказала:

— Каким же ненужным делом занялся бог, создав разные народы и разные языки только для того, чтобы революция потом все смешала!

Он смутился — не оттого, что теперь все ждали, что он ответит, а оттого, что Соня могла так сказать, и в то же время он знал, что она сказала то, что думала, но ему было обидно, что от его слов у нее ничего не изменилось, а она, видно, поняла это и, успокаивая, прибавила:

— Каждый живет отдельно, только не все это понимают.

И после этих ее слов вмешался Леопольд. Он сказал, что ни одно дело не может быть самоцелью, а только — средство, и так же и жизнь человека — не самоцель, а только средство для достижения высших целей. Соня очень серьезно спросила, что такое «высшая цель», но Леопольд словно ждал этого вопроса и стал торопливо и радостно объяснять: у человечества одна высшая цель, она отражена во всех учениях и религиях, во всяком случае за последние две тысячи лет, — преодолеть добротой вражду и объединиться, и бог на то и создал разные народы, чтоб люди сами пришли к этому, потому что иначе они не узнают, что на пути к этому стоят все их пороки или, вернее, один порок всех пороков, источник корысти, жадности, лжи и трусости, порождающий войны и убийства, — эгоизм, всяческий эгоизм — отдельного человека, рода, семьи, племени, и то, что называют национализмом — тоже эгоизм, и вообще все, что заботится только о себе и о своем, будь то один человек или целое государство. А объединение людей возможно только, когда нет своего и чужого, и к этому-то человечество и идет через заблуждения и страдания, а что такое страдание? — компас, показывающий, куда идти, потому

что, только страдая от ошибок, люди признают их и, таким образом, как слепые, нащупывают путь, но есть и не слепые, они знают путь и говорят о нем, и их слушают и называют великими, но не идут за ними, потому что одного знания мало — пока каждый сам не вылезет из ослиных шкур своего эгоизма, никакое знание не поможет, и все-таки объединение пока единственная высшая цель, и, вероятно, поэтому все, что ведет к объединению, называют достоинствами, а все, что уводит от него, называют пороками, и что такое доброта как не условие для приближения к этой цели, и не потому ли у всех народов во все времена почитается доброта, которая объединяет людей, и осуждается эгоизм, который их разъединяет. И то же — с совестью, совесть тоже ведет к высшей цели, а того, кто не следует ей, ждет страдание как единственный способ убедить его в реальности этой цели. И в этом месте Леопольд опять говорил о «Борисе Годунове» и о том, что Пушкин указал в нем путь совести как единственный путь жизни, а все остальные ведут к страданиям и смерти, и об этом же в конце концов и говорят все пророки и мудрецы, но Пушкин сказал так просто и ясно, как говорят только великие, и Леопольд повторил слова Бориса о совести, а потом стал вдруг говорить о нем:

— Семен Аршакович извинит, что я говорю о нем в его присутствии, но лучшего примера мне не найти, — откуда вся его неистребимая психическая энергия? Жалок тот, в ком совесть не чиста, а в ком чиста?.. Люди стремятся к счастью как к благополучию и пытаются накопить его из выгод каждой минуты, но прийти к счастью они смогут только когда поймут, что ничего нет выгоднее чистой совести, и на пути к ней — все тот же эгоизм.

Потом говорил Владимир Александрович, но не спорил, а ответил Зое, которая вдруг сказала Леопольду:

— Мой дорогой мальчик, ты не говоришь о главном — как отказаться от этой прелестной тысячелетней привычки губить душу эгоистическими наслаждениями? Не мучайся — ответа нет, и я надеюсь, в ближайшее тысячелетие не будет.

И тогда Владимир Александрович ей сказал:

— Я сожалею, что вынужден ответить на вопрос, на который вы не нашли ответа, но, поверьте, делаю это не из тщеславия, а из исключительного к вам расположения, которое не хочу больше скрывать.

— Bravo! — сказала Зоя. — Наконец вы заговорили как мужчина. Только не вздумайте теперь убеждать, что спасение от эгоизма в мировой революции.

— Увы, это так, — сказал Владимир Александрович, — и именно это или почти это я и должен вам сказать, моя прекрасная...

— В таком случае, я скажу это вместо вас, чтоб у вас не осталось сомнений в том, что лично меня мировая революция не спасет.

— Спасет! — сказал Владимир Александрович с такой убежденностью и так искренне, что Зоя замолчала.

И Владимир Александрович стал говорить о мировой революции, о том, что она уже началась, и то, что произошло в России, дело не только России, а всего мира, потому что действительно ведь впервые речь идет об отмене вообще всяческого рабства, и в конечном итоге это и означает уничтожение эгоизма. И что такое Коммунистический манифест как не программа освобождения человечества от всех видов эгоизма, и заметьте, голубушка, речь идет не об отдельной стране, а о человечестве, и это — впервые, впервые за всю историю, потому что никогда еще до сих пор люди не могли так ясно осознавать зависимость друг от друга, а значит — и своего единства, как в двадцатом веке, а о том, что речь идет именно об отмене всяческого рабства, свидетельствует тот простой факт, что революция

в России — первая революция, отменившая частную собственность, этот оплот и порождение эгоизма, и, может быть, вполне естественно, что такую революцию совершил народ, которому меньше, чем другим, свойственна забота о себе, и еще естественнее, что именно такой народ первым стал на путь всеобщего объединения. Русская революция первая провозгласила основой жизни братство и преодоление корысти как движущих сил жизни, и такая основа — не утопия, человек всегда был и остается духовным существом, и каким бы он ни казался зверем, к нему в конце концов приходит страдание и напоминает о его духовной сущности, само страдание и есть проявление этой сущности, и поэтому нет ничего достовернее на свете, чем то, что добро сильнее зла, и на добре, несмотря на все страшное, что ежедневно и ежеминутно происходит в мире, — только на добре столько тысячелетий держится мир, и какая это утопия, если то, что выдержало столько испытаний, провозглашается наконец основой жизни? Это и сделала революция в России и тем самым впервые прямо призвала мир к объединению, или, пользуясь терминологией нашего юного гостя, «высшую цель» жизни превратила в конкретную государственную задачу. Это-то и называют утопией. Но скорее утопия — предлагать сегодня собственность как цель жизни, то есть превращать жизнь в самоцель, простите великодушно еще один плагиат из вашей терминологии, молодой человек, но я с вами солидарен и хочу, чтоб это было ясно: жить, чтобы жить, может только тот, кто не знает, для чего на самом деле дана жизнь, и тогда он говорит, что у каждого своя истина...

— А вот это уж вовсе не великодушно! — прервала Зоя. — Вдвоем на одного, да еще — на женщину. Впрочем, Левочка говорил, помому, совсем о другом, и вы зря напрашиваетесь ему в единомышленники. Левочка обошелся без мировой революции и без отмены собственности, для меня это решает все, я хоть и врач, но не выношу запаха крови, тем более — пороха!

И тут Леопольд снова вмешался и сказал, что он действительно не принимает насилия как средства, но в русской революции главное сейчас не средства — они унаследованы от всех революций до сих пор, а главное — новая цель, и она неминуемо вызовет к жизни и новые средства, а пока надо знать, что эта новая цель — не порождение русских революционеров, а следствие великих мировых процессов, и, может быть, сейчас, после двухтысячелетней паузы, человечество вновь возвращается к духовности, и уже на новом витке — оснащенное материальной цивилизацией, которую, по всей вероятности, нельзя было создать, не принося ей в жертву духовность древнего мира, и без которой в то же время невозможно было бы осознать единство человечества, — и это только доказывает, что и материальная цивилизация ведет к объединению, или, так сказать, к «реальной» духовности, потому что древняя духовность давала только как бы божественный отсчет для нравственных оценок, а новая, или, вернее, будущая, станет повседневной жизнью. И, может быть, Россия, первая вставшая на этот путь, и закладывает сейчас основы новой духовности — и в своей великой нравственной литературе и в своих кровавых социальных поисках, и это вовсе не означает, что Россия делает историю, а означает только, что истории для того, к чему она идет, потребовалась сейчас именно Россия, как когда-то для основ древней духовности потребовался Египет. И борьба России со старым миром сейчас так же неизбежна, как неизбежна и ее победа, которая в конце концов станет победой человечества. И об этом же говорил Леопольд на улице, когда он пошел их провожать.

Он вдруг испугался, что после их ухода может быть разговор с Соней, и сказал ей, что пойдет провожать, а она не удивилась, что он не предложил пойти и ей, и даже сказала, что устала и ляжет спать. Потом, проводив всех, один, он шел по ночной Москве и ду-

мал о том, что открыл наконец дверь, которую так давно не решался открыть, и за дверью все было так, как он предполагал. Все было ясно с самого начала, подумал он, но я не хотел этого видеть, мне захотелось иметь свой дом, у меня никогда не было дома. И опять не будет... И для чего мне дом? Та гречанка это поняла. И Зоя понимает. А Соня не поняла. Я тоже не хотел понимать... Теперь надо уехать. Опять с учебой ничего не вышло.

Он перелистал тетрадь для домашних занятий и подумал, что в ней теперь навсегда остались эти семь месяцев его московской жизни, и вот даже эта комната останется в моей тетради: «Сидя в своей маленькой комнате и глядя через единственное окно, я вижу старый сад с большими деревьями...» Когда это было? Соня задала описать комнату. Жаль, что писал карандашом,— карандаш сотрется... А что не сотрется? Кто это сказал — все проходит?.. Какой-то мудрец. И все равно что-то останется. Даже если уничтожить весь мир, что-то останется. И из этого потом снова возникнет мир. Как из зерна. Иначе откуда вначале было слово... Настоящее слово — это когда хочешь сказать правду. А в чем правда?.. В том, что есть на самом деле. На самом деле есть то, что все связаны, все — в одном... «Люди, львы, орлы и куропатки...» Чехов это знал. И совесть ведет к этому. Вначале была совесть?.. А что — совесть? Никто не знает. Но без совести что делать с жизнью?.. Леопольд прав, Пушкин — великий человек, никто так просто не сказал: «Да, жалок тот, в ком совесть не чиста...» Ничего больше о жизни не скажешь!

Он нашел запись в тетради о «Борисе Годунове»: «Вот этот сильный человек, который из рода татарина сделался царем, перешагнув даже через труп младенца царевича Димитрия, не мог долго устоять против угрызений совести. И как будто слова Григория Отрепьева постепенно исполняются. „И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от божьего суда...“». Он машинально перелистал тетрадь еще и прочел первую попавшуюся страницу: «рискуя, рискуя, рискуя, риск, рис, киска...» Это было в тот день, когда я смотрел на стены и думал о том, как все связывают узоры на обоях, вспомнил он. И через эти дурацкие слова осталось то, что я тогда почувствовал...

Донеслись удары колокола из храма Спасителя. Скоро придет Соня, подумал он.

Эпилог

В июне двадцать первого года на Третьем конгрессе Интернационала в Москве Камо послал Ленину записку, в которой просил о встрече. (На записке рукой Ленина — «Камо. Напомнить мне!») Ленин принял его, и в том же двадцать первом Камо отправился в Персию для проверки работы советских внешнеторговых учреждений. Потом он стал работать в Тифлисе начальником Закавказской таможни.

15 июля двадцать второго года утром он заполнил в Тифлисском комитете регистрационную анкету и просил поручить ему работу среди молодежи. Потом пошел к своему старому другу Сереже Кавтарадзе и уговаривал отпустить его против шайки бандитов, которая появилась в Кахетии: переоденусь в крестьянскую одежду, возьму косу и пойду по Кахетии, увидишь, всех выловлю!.. Потом навистил гостившую в Тифлисе семью Шаумяна. Потом на велосипеде поехал к Атарбекову и пробыл там три часа. Потом, в одиннадцать часов вечера, на велосипеде поехал домой. Атарбеков жил на Головинском проспекте, напротив Казенного театра. Он проехал по Головинскому, потом по Верийскому спуску, потом, на повороте Ве-

рийского спуска, у цирка, перед самым Верийским мостом, в темноте его сбила легковая машина, и шофер машины сам повез его в ближайшую Михайловскую больницу, где он и умер в два часа ночи, не приходя в сознание.

18 июля, в день похорон, с часу дня предприятия Тифлиса прекратили работу. Вдоль Головинского проспекта шпалерами стояли войска. Хоронили на Эриванской площади, в Пушкинском сквере. У гроба стоял венок от Ленина и Крупской. От Цека выступал Орджоникидзе. К концу речи, заглушая слезы, он крикнул:

— Когда я встречусь с Лениным, я не знаю, что буду говорить!..

Последним от Закавказского Совета выступил Нариманов.

Он сказал:

— Мы до конца проведем твою идею и создадим царство мира и любви.

Надгробное слово сказал Аракел Окуашвили. Он плакал.

— Здравствуй, Камо, здравствуй... Здравствуй, вечно голодный борьбой, вечно бодрый брат мой, здравствуй...



ВЛАДИМИР КОСТРОВ



КУКУШКА

Поэма

А в реке уж лещи да язи плавники кажут. Ждут.
Приезжай..

Из письма.

И звенит и струится вода —
Ни минуты Ветлуге не спится.
Над Ветлугой считает чужие года
Одинокая серая птица.
Вдовый, меланхолический счет
Повторяется как наважденье.
Но покуда Ветлуга, как время, течет —
Ненавистно душе отчужденье.
Подстегни меня,
Словно ямщицкая плеть,
Чтоб замкнуться не смог, отрешиться,
Чтобы сердце мое никогда не устало болеть,
Голова не устала кружиться.
Сокрушаюсь, не видя тебя.
Сокрушаюсь, тебя покидая.
Отучи меня жить, никого не любя,
Не страдая и не сострадая.
Научи иван-чаем гореть,
На страже
Белой рыбою плавать,
Перелетною птахой в черемухе петь,
Куликом над болотиной плакать,
Понимать облака, и дожди,
И частушки твои посвистушки.
Об одном лишь прошу: отведи,
Обойди
И судьбою и песней кукушки.

1

Приходил Санька. Говорить стал внятно, да беда —
сплавщики ругаться научили.

Из письма.

...Я из памяти б это исторгнул,
Стер, забыл. Да забыть-то нельзя!
Вот, сограждане, что за история!
Вот какая загадка, друзья.
Светел дед и особо сердечен,
Словно полдень горячий в тени:

— Заходи, Александра Сергеич,
Вытри сопли, штаны подтяни.
Ты, известно, толковый парнишка.
Скажешь слово — убьешь наповал.
Ишь, под глазом багровая шишка.
Знать опять сеновал штурмовал?
Востроносый. Двойная макушка.
От загара блестит, как скворец.
— Ну а кто твоя мама?
— Кукушка! —
Не моргнув отвечает малец.
Так сказал. И, доверчиво глядя,
Человек, два вершка от земли,
Поделился раздумчиво:
— Дяди
С лесопункта ее увели.
И пошел из избы, не простился.
И проворны зрачки, как сверчки.
Вдоль деревни бежать припустился,
По конфете зажав в кулачки.
Дед скривился:
— Убить ее мало.
А красивая девка с лица.
Ну, в войну с голодухи, бывало,
Оставляли детей у крыльца.
Да всего-то два случая знаю.
А теперь — ни туды, ни сюды.
Было там от последнего края,
От голодной, горючей беды.
Мать о доченьке бога молила.
Что имела — все ей отдала.
Ты кукушку, соседка Мария,
В долгих муках на свет родила.
Шесть парней перед тем — работяги.
А седьмая, поди ты, беда.
По деревне идут бедолаги,
Головы не поднять от стыда.
От какого вражиного сглазу
Завязалась такая душа,
На году не приедет ни разу
И с полочки не даст ни шиша.
Стыдно, парень, в лесу появиться.
Ведь закон материнский простой
Понимается серой волчицей
Или, скажем, сорокой пустой.
А по-нашему так говорится:
Что трухою не полон сусек.
Неужели и над материнством
Силу воли возьмет человек?
Применив эту линию к жизни,
И концы нам, пожалуй, не свесть.
В городах-то живут в эгоизме?
— Есть, — ответил я дедушке, — есть...
...Свято место бывает и пусто,
Словно черная сажа в трубе,
Есть кукушество это, кукуйство,
И во мне оно есть и в тебе.
Одолжась у природы судьбою,
Может быть... Может быть, и любя,
Слишком часто мы жили с тобою

Про себя, о себе, для себя.
 С чем-то главным самим по соседству,
 В суете забывая как раз,
 Что глядит востроглазое детство
 Зорче господа бога сквозь нас.
 И случайною лаской живущий,
 Он на землю пришел не вчера —
 Александра Сергеич Кукушкин
 Из деревни Крутая Гора.

2

А твой Яшка опять куренка унес.

Из письма.

Я в светлой Ветлуге,
 Где в глине промыты откосы,
 Туманными утрами
 Этого жаркого лета
 На грузах свинцовых
 Забрасывал в воду вопросы,
 Нечастой тяжелою рыбой
 Со дна подсекая ответы.
 И не было ясности
 В небе, являющем ясность,
 Гитарной струною
 Звенела натянута леса.
 И каждое утро парил надо мною
 Мой ястреб.
 Я звал его Яшкой —
 Грозу разнотравья и леса.
 Пред тенью скользящей
 Прибрежная прыскала мелочь,
 Куриная живность
 От страха почти цепенела,
 И если он падал, как камень,
 На пестрое с белым,
 То слышался хруст
 И трава непременно адела.
 Какая угроза таилась
 В паренье спокойном!
 Казалось,
 Что в мире и нет ничего беззаботней.
 Цель жизни —
 На крыльях нести этот клюв, эти когти,
 Кормить ястребят
 В грозном клюве трепещущей плотью...
 ...Я женщину знаю:
 Квартира, супруг и зарплата.
 Но как же ей близок
 Тот тихий полет и обычай.
 И падает сердце —
 В зрачках у нее ястребята.
 Так хищно и сладко
 Заходит она над добычей.
 Ей нету закона.
 И нечем жалеть и считаться.
 Угроза и чувственность
 Могут и не торопиться.
 Такая порода —

Украденным счастьем питаться,
 Такая задача —
 Чужою печалью напиться.
 В краю звонких сосен,
 Лугов, клеверов и скворешен,
 Где Яшка парит,
 Где ликует и плачет природа,
 Ее вспоминаю.
 И этою памятью грешен.
 Люблю, презирая, —
 Такая смешная порода.

3

Владимир Андреевич, поговори в районе, пусть разрешат усыновить внука. А то дочь совсем с пути сбилась.

Из письма.

...Что б молва ни говорила,
 Точно вызнал я как раз.
 Повторяю, мать Мария,
 Немудренный твой рассказ:
 — Не могу молчать об этом,
 И сказать нельзя точь-в-точь.
 Родила я давним летом
 Прошенну в молитве дочь.
 Я, однако, поседела
 За минуты, не часы.
 В том году как раз до леса
 Были сеяны овсы.
 За полгода до приплода
 Утонул у нас отец.
 Я девчонку спеленала
 И положила в ондрец.
 Шибко бойко от больницы
 Меринок понес вразброс.
 А медведь, как иностранец,
 Любит есть с утра овес.
 Конь рванулся вдруг с дороги
 И в кусты по дышло влез:
 Медвежонок-несмышлениш
 Выбежал наперерез.
 Взвизгнул он, и рев раздался.
 Батюшки, смотрю — она,
 Вывалилась на дорогу
 Словно бурая копна.
 Поднялась на задни лапы —
 Морда от овса бела.
 Медвежонку, словно баба,
 В попку лапой поддала.
 Соскочила я с телеги —
 Страх-то был уж больно скор.
 Выхватила из-под сена
 И держу в руках топор.
 И стоим у края леса —
 Ни во сне, ни наяву.
 И глядим в упор друг другу.
 Та ревет, и я реву.
 И стоим, и глаз не прячем,
 На одном пути торчим,
 Над детьми своими плачем,

Над судьбой своей кричим.
 Как припомню — даже нынче
 Слышу корни в волосах.
 Мерин ржет, девчонка хнычет,
 Птички тренькают в овсах.
 На краю родного поля
 Я стою белым-бела.
 Поворчала. Замолчала.
 Отвернулась. Поняла.
 Напрямик ушла не тужась,
 Только треск стоял в кустах.
 И тогда настал мне ужас,
 В дрожь забил меня мой страх.
 Мерин голову воротит
 И не может продохнуть.
 Грудь сую девчонке в ротик,
 Но тверда, как камень, грудь...
 Если буква есть в законе —
 Матерь я теперь вдвойне.
 Подскажи ты там, в районе:
 Пусть припишут Саньку мне...
 ...И в столичном доме,
 И в осеннем дыму
 Горло стиснуто туже и туже.
 Глухо сердце стучит:
 «Почему, почему,
 Почему, почему,
 Почему же?»
 Вспомнил я,
 Как за мамкин держался подол
 И тянулся к простору и свету.
 И с кукушкой
 Настенные грохнул об пол
 Да и вымел механику эту.

4

Жду лета, вижу его во сне. Теперь с дочкой приеду.

Из письма.

Мне явился ответ оглушающе прост
 На извечный вопрос о свободе.
 От мельчайших частиц до пылающих звезд
 Нет свободных процессов в природе.
 Мой знакомый,
 Всю жизнь прожигающий жизнь
 И себя сознающий едва ли,
 Нет, не зря мне лукаво шептал:
 — Отрешись!
 Этот мир не приемлет морали.
 — Будем жить на земле, как кому повезло,
 Из вчера устремляясь в сегодня.
 Может быть, и бывает свободное зло —
 Доброта не бывает свободна.
 Все равно от ответа и ты не уйдешь,
 Как ты там ни вертись
 И ни прядай.
 Может быть, и бывает свободная ложь, —
 Не бывает свободною правда...
 Над Ветлугой струится ветла
 Серебром уходящего лета.

То темна эта жизнь, то светла:
Я молюсь на источники света.
На стакан золотого огня,
Ожигающий чаем с морозу,
На шмелиный огонь фонаря,
На свечу, на слезу, на березу.
Белизну зимним зайцем приму,
Оттрещит мне сорока-воровка.
По дороге из тьмы и во тьму
Жизнь — короткая командировка.
Ухожу, как Ветлуга. Шурша,
Лист пожухлый на волны ложится.
Но любить продолжает душа,
Голова продолжает кружиться.
Я к воде прикасаюсь рукой —
И безумство в глазах окаянных.
Я хотел бы проснуться рекой,
Светлой в плесе и темной на ямах.
Чтоб когда из лесного угла
Выйдет в красной рубахе Ярило,
Снова жизни шепнуть: — Ты была.
Часто била, а все же любила.
И когда мне становится тяжело,
Обращается память назад,
Здравствуй, ястреб по имени Яшка,
Кот Василко и дятел Деллат!
Верю в то я, что снова и снова
Не сошла роковая черта
И что скажет последнее слово
Человеческая доброта.
И войдет в крайний дом у опушки,
И вовек увенчаются сим
Александра Сергееч Кукушкин,
Мать Марья и дед Серафим.

АНАТОЛИЙ ТКАЧЕНКО

★

ДВА РАССКАЗА

Моторный друг

Все случилось мгновенно: передние колеса упали в пустоту и словно бы ударились о невидимую стену, машину вскинуло, повело вправо, она не удержалась на узкой скользкой дороге, сунулась боком в заросший травой кювет, и одно мгновение казалось — устоит, заклинится ребром меж двух земляных стенок, но канава была мелка, машина перевернулась, ее кувырком покатило по широкому склону к ручью.

От удара лбом в ветровое стекло, грудью в жесткий круг баранки у Старшова затмилось сознание, и хоть видел он, понимал, какое бедствие терпит его машина, помочь ей не мог, оглушенный, обезволенный. На каком-то повороте Старшова выбросило в распахнувшуюся дверцу — быть может, сам он, спасаясь, открыл ее, — и Старшов распластался посреди гулкой, каменно твердой поляны. Тут он забылся, вероятно, надолго, ибо, очнувшись, увидел: его «Жигули» лежат вверх колесами возле трех старых раки и дымятся не то теплом мотора в холодеющем сумеречном воздухе, не то тлением чего-то горючего внутри.

Он попытался вскочить, но застонал и выругался, ощутив во всем теле единую, глухо растворенную боль, медленно, боязливо поднялся, потрогал ноги — вроде бы целы, руки тоже двигались, — медленно, полусогнувшись, побрел вниз; шел будто по свежепробитой дороге, усеянной тем, что вывалилось из багажника и салона машины: всяческий инструмент, разбитая корзина с длинно рассыпанной черникой, ведро целехонькое, резиновые сапоги — один от другого на огромный шаг, — куртка, аптечка, роман Хейли «Аэропорт»... Лопату он подобрал и, опираясь на нее, приблизился к «Жигулям».

Разглядев вблизи уже в меркнущем поздневечернем свете свою машину, Старшов понял: ее нет. Груда мятого металла не была даже самым примитивным механизмом, способным хоть как-то передвигаться. И жестокая боль сотрясла его, душевная, заглушившая всякую иную, — боль потери, нестерпимой жалости к моторному другу, как он называл свой автомобиль.

Старшов повалился наземь, его корежило, трясло, он скрипел зубами, задыхался, взмахивал кулаком, грозя кому-то, рвал, расшвыривал вокруг себя траву. Он понимал не замутненным до конца сознанием — постыдно, жалко, дико все это, но не мог укротить бушевавшей внутри его ярости бессильного отчаяния, доселе никогда не испытанной, незнакомой.

На ракиety слетелись вороны, чуя поживу, долго, удивленно следили за барахтавшимся человеком и разом возмущенно каркнули. Их крик сперва испугал, а затем усмирил Старшова: поздний вечер, он один в лесу, никто ему не поможет, машину не спасти — зачем же

выматывать себя глупыми страданиями? Не он ли с усмешкой понимания и сочувствия успокаивал друзей и знакомых, помявших личные транспортные средства: «Потерпел, да, нарушил свой психодинамический комфорт на какое-то время. Колеса круглые, согласен? Вот оттого это...» И говорил Старшов нарочито простецки, подражая натерпевшимся всяческих аварий шоферюгам, полагая, что с ним такое может случиться лишь предположительно да и то в каком-то грядущем времени, когда он состарится, одряхлеет, что ли; у него талант вождения, любви, понимания автомобиля, он не только называл, а и чувствовал его своим другом. Старшов погрозил, горько посмеиваясь, нацеленным на него клювам ворон:

— Оттого, птицы. Но это когда у других. Человек посложнее своего всякого внешнего облика, к каковому привыкает и окружающих приучает. Ясно вам, свидетели живые?..

Вороны вроде заинтересованно слушали, одна только, самая настырная, прошипела недоверчиво, тут же замолкнув.

— Пойду напьюсь, умоюсь, а вы налетайте, санитары, из багажника и съестное вытряхнуло.

Ручей звучал бессонным говорком, был холоден и опажнул Старшова такой пронзительной свежестью, что досада вновь стиснула ему горло: ведь это его места, леса, поляны, овраги, деревенька за сосновым бором, речка Суходрев, в которую течет этот ручей, тишь, ягодное и грибное урочище — и все в каких-то ста тридцати километрах от столицы, почти под боком, мало кому известное, почти заповедное: одна захудаленькая дорога сюда... Как, когда он теперь побродит здесь? Да и не мыслил Старшов этого рая подмосковного без своих послушно бегущих в нужном ему направлении колес.

Старшов вернулся к машине, сел на старый, закаменелый ракиновый пенек. Вороны дрались, расклеывая кусок колбасы, расшвыривая белыми хлопьями хлебный батон. Может, отнять немного себе на ужин? Есть, однако, не хотелось, во рту было железисто-солоно — кровоточили разбитые десны, — от машины несло гарью синтетики, крашеного металла, и смрад этот, казалось Старшову, отравил ему внутренности.

Делалось сыро, зябко; осенне-дневное тепло жадно впитывалось ночной землей, не желающим умирать лесом, водой ручья. Старшов сидел, уперев руки в колени, все явственнее чувствуя кожей спины колкий, мертвенный холодок настывающей поролоновой куртки, такой красивой, модной, да вот, оказывается, непригодной для серьезной природы. Он не пошел смотреть дорогу, то ее место, где провалились передние колеса машины, понял, что угодил в глубокую канаву, припомнил: недели три назад, проезжая здесь, заметил у обочины железные трубы; вероятно, тянут газовую нитку куда-то, а поставить какой-либо знак и не позаботились шабашники-землекопы, мудро порешив: зачем? Глухой, заброшенный проселок.

— Шабашники! — вслух подтвердил Старшов. — По стилю видно — лишь бы зашибить.

Этот народ он знал хорошо, сам не один отпуск потратил на сельское строительство. Да еще главенствовал. Сколачивал бригаду из сотрудников конструкторского бюро, спортивно тренированных, не страшущихся временного дискомфорта, и — в отсталый колхоз нечерноземной полосы: наши неумомимые руки, ваши стройматериалы, товарищ председатель, изобразим в натуральном виде, чего вам позарез не хватает для дальнейшего процветания, — коровник, овощехранилище или дорогу с твердым покрытием. В кратчайший срок, без выходных, выпивок, прогулов. Всем владеем, все умеем. За хорошую плату, конечно. И зарабатывали, случалось, прилично, и коровники их не валились, а все же, если интеллигентно признаться, шабашка есть шабашка, иным словом сей ударный труд не назовешь: выматываешься до умопомрачения, но и материально-технические ценности,

окружающую среду не шибко жалеешь. Сколько бетонных плит, блоков зазря зарыто, кирпича покрошено, земли разворочено! Помнится, трактор в неогороженную ямину сверзся, по кабину увяз, неделю вытаскивали колхозники... Себя тоже уродовали. Один инженер-шабашник топором пальцы левой руки посек, другой сквозь хлипкие доски-леса провалился, обе ноги сломал. Но каждое лето вновь и упрямо собирались в бригаду, принимали новичков, ехали, озверело трудились.

Хотелось приработать. Кому на что, по фантазии и потребностям: Сочи, кооперативная квартира, стереосистема, круиз вокруг Европы, постоянный столик с красоткой из Москонцерта в ресторане «Арбат»... Старшов копил на автомобиль. Мечта была. Вернее, тяга унаследованная: дед, отец, дядя Старшова токарили, слесарили, механизмы всяческие своими руками сотворяли. Он из потомственных заводчан, из династии, так сказать. А что инженер-конструктор, так это только звучит внушительно, его родной дедусь побольше всего их бюро наконструировал, сейчас бы еще образованного внука кое-чему поучал. О личном транспорте, однако, и помышлять не смел, в скромное время жил, больше о духовности заботился. Старшову же деньгами помог, сказав при этом: «Я так и думал — внуки наши пешком ходить не будут, кататься и радуйся, Валера!»

Старшов огорчился вдруг до острой обиды, припомнив дедовское «кататься и радуйся», резко вскинул голову от нервной спазмы в груди: это юнцы катают и радуют джинсовых девиц на даренных папами «жигуленках», подражая западным кинобоям! Разве таков он, чувствующий машину, как свой организм, любой ее проводок, как свою малую живую жилку? Он знал, на чем и почему ездит. Он не катался, не красовался в машине, она была для него не роскошью, а воистину средством передвижения: на работу, в магазин, за город, в гости... Машина берегла его время, заменяла тихоходные ноги, делала жизнь современно комфортной, что вполне естественно. Да, не мыслил он своего существования без автомобиля. И ничего удивительного. Разве кто-либо на теперешней планете обходится без машин, пусть общественных? Может, неоткрытое племя где-нибудь в джунглях Амазонки, если таковое сохранилось.

— А кому не нужен личный автомобиль? Ну-ка признайтесь!

Старшов открыл влажно смеженные глаза и словно очнулся, ясно поняв, где он и что с ним стряслось. Было холодно, тихо. Вороны доели припасы, расселись по раkitам, надеясь поутру еще чем-нибудь поживиться. «Охранники мои...» — подумал Старшов и обернулся на блеклый свет, медленно возникавший за его спиной. Взошла луна, огромная, прозрачно-ледяная. Кромка дальнего леса все более чернела, точно обугливаясь в холодном бездымном ее огне.

Кусты за ручьем шелохнулись, вроде плеснула вода. А вот зашуршали шаги. Кто-то идет? Или мерещится ему?.. И Старшов почувствовал, как тяжкая досадная горечь внутри его начала убавляться, вытесняемая страхом, надвигавшимся неотвратимо со всех сторон мертвенно поседелой, затопленной обильной росой поляны.

«Кому я нужен? — успокаивал он себя. — Машина разбита, денег — десятка в кармане... А кто об этом знает? — тут же спрашивал себя же, укрощая нервный смешок. — Может, на запчасти кое-что пригодится. Два колеса, кажется, уцелели, инструмент, прочее разное. А документы, водительские права, паспорт машины? Бандитам все годится, за десятку удушат...» Шевельнулись страницы романа «Аэропорт», и он едва не вскрикнул. «Ветер! — догадался. — Костер бы разжечь... Люди едва ли здесь объявятся, а зверье может напасть. Охотники рассказывают — какие-то бешеные лоси бросаются на человека. Кабаны, так те любого в клочья раздерут клыками... Хорошо бы костер, да из чего, как — все сырое, холодное, и не подманишь ли огоньком двуногого зверя?..»

Старшов впервые оказался наедине с ночным лесом. Он и стыдился своего страха, и изумлялся ему — не думал, что внутри его пробудится нечто темное, подсознательное, от диких предков, — и не мог овладеть собой, как ни напрягал волю, всегда такую услужливую, верную, натренированную.

Он тихо поднялся, пригнувшись, озираясь, прошел к выпавшему из багажника, свернутому валиком брезенту, которым обычно накрывал машину, поднял его, трусцой пробежал до раakit, сел на оголенное корневище и с головой накрылся брезентом — защитного цвета, невидимым, должно быть, в сумраке, среди блеклой сентябрьской зелени. Надышал тепла под полог, согрелся, немного успокоился. Намерился было вздремнуть, но болел ушибленный лоб, ныли грудь, бок, спина — не переломал ли ребра? — в голове, вероятно от сотрясения, мысли, видения, воспоминания прямо-таки сумасшедше ярились, неуправляемые. Одно, правда, крепко язвило сознание: как порадуетса кое-кто его беде! Шуточки, хохоточки, а в глаза — елейное сочувствие. Начальник бюро, при случае с деловитой нахмуренностью остривший: «В сочетании Старшов — «Жигули» пятой модели мы имеем редкостную биомеханическую конструкцию, пример единения машины и человека, достойный технического прогресса конца двадцатого века», — не преминет осведомиться, оглядывая синяки и шишки своего сотрудника: «Неужели полная расконструированность и вы надолго обремените себя метром?» Так и изречет — «метром», под улыбочки окружающих. А ведь сам без автокомфорта жизни своей интеллигентной не мыслит, на работу в зелененькой «Ладе» подкатывает, за три квартала от завода проживая. Но уж кто позлодаствует, так это его бывшая жена Нинуша (узнает, в заводской поликлинике терапевтом трудится), встретит как бы случайно, заботливо удивится: «О, вижу, Валера, вместе с бензином у тебя не вся кровь вытекла, вовремя отключился!» Глупую шутку придумала: мол, садясь за руль, Старшов подсоединяет к мотору свою кровеносную систему.

Они и разошлись, можно сказать, из-за его автомобильной мечты. Нина хотела жить просто, как многие рядовые и обыкновенные, в коммунальной комнате, на скромные зарплаты инженера и врача, с поездками на юг, опять же скромными, ну и ребеночком обзавестись немедля — для упрочения молодой семьи. Потребности довоенного уровня, не выше. Старшов сказал ей: «Подумай, даже пещерные женщины хотели носить модные шкуры». Не поняла. Он по колхозам-совхозам начал распределять свой отпуск, она в аспирантуру поступила. Через три года развелись, не сойдясь характерами. Нинуша вскоре стала женой хирурга, известного теперь, у них ребенок и машина, тоже «Жигули» и тоже пятой модели. Случайно? Или ему в укор подстроила бывшая подруга такое совпадение?

А он не женился. Невест сколько угодно, позови — в очередь станут. Но странно, ему как раз и перестали нравиться те, которые подкакивают каждому его слову, соглашаются жить по его воле, капризу, хоть на хлебе и воде, хоть в кузове автомобиля; а одна весь свой отпуск коровник вместе с ним строила; на этой он чуть было не женился, заявление в загс отнесли — не смог все-таки, сердца своего не одолел, было неживым к ней, таковым и осталось. Понял тогда: любил, любит Нину. Да время свое упустил. Не верит, что Нина уж очень счастлива с хирургом, а разве можно что-то переменить? Им, образованным и разумным? Решил ждать — придет другая, похожая на нее, ему ведь только тридцать. Ждал. Теперь ему сорок. Обзавелся подругой, вроде гражданской жены, без семейных обязанностей. Ждет. А чего?..

«Чего? — спросил Старшова возникший перед ним человек, бородастый, седой, весь в неуловимо мерцающем одеянии, чужой и вроде бы очень похожий на кого-то из близких — отца, а больше деда.—

Здравствуй,— хрипло сказал старик.— Не узнаешь меня?» Старшов немо, в жутком ознобе помотал головой. «Себя, значит, не узнаешь, да еще пугаешься. Я — это ты в старости. Приглядишься — вполне благообразный старец, доктор технических наук, и вот...— Старик повел рукой чуть в сторону, там Старшов увидел новенький, серебристо мерцающий лимузин.— Не «жигуленок» какой-то, вещичка экстра-класса, такой «Волги» ты и вообразить себе не мог, нет ее в твоём технически недоразвитом времени. И это тебе незнакомо — биоэлектронная связь с личным транспортом. Смотри, я трогаю пуговицу-кнопку на своем одеянии — и сам включается мотор, машина подъезжает ко мне. Я могу с нею говорить, доверять ей свои мысли, секреты, у нас единая температура организмов, теперь нет двигателей внутреннего сгорания, не отравляем окружающую среду, впрочем, вы успели ее вытравить, именно до травы». Старик засмеялся негромко, вероятно дивясь полной растерянности Старшова, то есть себя младшего, давнего, а теперешний Старшов, немного осмелев, спросил: «Живете-то как вообще, Валерий Валентинович?» «Соответственно двадцать первому веку — при полном психодинамическом комфорте, не говоря уж о джинсах и охотничьих сосисках». «Семейно тоже устроены?» — осмелел Старшов-младший. Рассмеялся Старшов-старик, назидательно проговорил: «В мире всеобщего единения людей, машин, прирученных животных, демографической регуляции, всего искусственно воспроизводимого вплоть до народонаселения высшее состояние духовности человека — обособленность. Вы к этому стремились, мы этого достигли. Кстати, не хочешь ли воссоединиться со мной до срока?»

Тут Старшов-младший почувствовал, как понемногу его тело, сделавшись податливым, почти растворимым, начало болезненно переливаться в Старшова-старика, в его холодную, тесную, невесомую синтетическую оболочку, и он вскрикнул от ужаса, начал воротаться, отмахиваться, вырываться из себя будущего...

И вывалился из-под брезента на мокрую траву поляны возле раки.

Светало, блеклая, истаявшая луна запала в черные ветви деревьев за ручьем, а сверху над проселочной дорогой широко и нежно рдело заревое холодное небо.

Понизу поляну накрыл тонкий туманец, будто залило ее водой; Старшов не сразу увидел свою разбитую машину, на малое время несказанно обрадовался: приснилось, привиделось все!.. Но болела голова, ныла грудь, валялся смятый брезент, разбуженные им вороны возмущенно колыхали ветки раки — сыпались жгучие капли росы,— и Старшов нехотя вернулся в немилосердную житейскую обыденность. Припомнил сон, сейчас он показался ему вовсе нестрашным, даже посетовал, что не захотел раствориться в себе будущем (испугался потери теперешнего жалкого существования — всего лишь!), и пристально огляделся вокруг — не стоит ли где поблизости Старшов из двадцать первого века?

— Обиделся, ушел...— сказал сокрушенно вслух и звучанием своего голоса как бы окончательно пробудил себя.— Заговариваюсь вроде? Ничего удивительного, вполне рехнуться можно. Абсурд ведь, парадокс, ирреальность! Намотал на колеса сотни тысяч километров, за пятнадцать лет ни царапины, ни единого прокола в талоне предупреждений, видел кавказские пропасти, буксовал среди степных барханов, в города въезжал по-хозяйски, натренированный столицей, легко ориентировался в любых населенных пунктах, от столкновений увертывался, из явных аварий уходил. И вот... срезался на заброшенной проселочной, знакомой дороге! Злой рок?

Как по воде, оставляя позади себя темную борозду в промытой росой траве, Старшов подбрел к машине.

Остов ее обнажился, омертвел. Изящное, осмысленное превратилось в безобразное. Поскорее уйди! Позабыть! Осенние дожди омоют

поляну, затем накроет ее снег, а по весне зарастет выгоревшее место густым бурьяном. Но, конечно, долго еще грибники будут находить покореженный автомобиль, гадать: с кем, когда, по какой причине?..

И это вдруг особенно растревожило Старшова, ему почудилось: всякий раз, как кто-то, любопытствуя, сочувствуя или насмехаясь, остановится здесь, он, Валерий Старшов, немедленно ощутит сердцем неодолимую печаль, где бы ни находился — дома, на работе, в любом месте планеты. «Именно так будет, — вполне уверовал он и неожиданно с облегчающим просветлением понял, что нужно сделать. — Закопать!» Да, вырыть яму и закопать останки моторного друга.

Подобрав лопату и примерившись к отсыревшей рукояти, Старшов знобко, застуженно передернул плечами, даже зубы клацнули — так он остыл, онемел в ночи и одиночестве. Начал копать у самой машины, во всю длину ее снимая дерн, откладывая кусками в сторону. Разминался медленно, едва сгибая спину, чувствуя — неохотно оживает кровь в его жилах («Надо же, полумертвецом сделался!»), но разошелся, работал бодрее, однако далеко не так сноровисто, как когда-то на сельхозстройках: одрябли мышцы рук, потяжелели ноги, отвыкшие ходить, пивное брюшко тряслось под курткой. Тело его привыкло свободно перемещаться в пространстве, не тратя на это мускульной силы. И он невесело решил: нет, не сможет без мотора. Но как приобрести новый? Само собой, пятнадцать лет он ездил не на единственном автомобиле, вовремя продавал подношенный, почти не теряя номинальной стоимости, покупал более усовершенствованного друга. Нехитрая коммерция. А как теперь? Дед умер, потратив оставшийся капитал на дачку с огородным участком, отец — пенсионер, из тех машиноделателей, которые всю жизнь пешком ходят, мать отдаст сыну Валере свое сердце, попроси только, но оно, увы, не «пламенный мотор». Значит, придется вспомнить старые профессии — плотника, каменщика, землекопа. Не иначе. Вот и первая тренировка.

За лесом широким светом взошло солнце, исчезли ночные страхи и утренние невнятные тени, по склону поляны пополз к ручью туман, вновь обращаясь в текучую воду. С деревьев ссыпались вороны на остатки вчерашней трапезы, затеяли ворчливую перебранку. Одна, склевывая рассыпанные ягоды черники около Старшова, все поглядывала на него, запрокидывая вверх черный плутоватый глаз: не найдется ли чего повкуснее? Никогда он так близко не разглядывал ворон, считал их неряшливыми, вредными, но эта показала ему вполне приличной птицей, даже по-своему симпатичной.

— Красотка! — сказал ей Старшов, передыхая. — Смотри как к зиме приделась — серое с черным, перышки пышные, блестят. А ягоды могла бы и в лесу наклевать, небось знаешь ягодные поляны? Хотя...

Он вспомнил, что чернику купил вместе с корзиной у старухи в деревне, сам не особенно любил обдираться по кустам, паутиной обвешиваться. Продавала ему старуха грибы, яблоки, соленья... Дивились друзья припасам его, а их жены редкостному хозяйскому умению Старшова. Это была его маленькая тайна. Отшучиваясь, он восклицал: «Все, все из моего лесного урочища!» Затем и наведаясь сюда, потому и оказался на гиблой проселочной дороге, сокращая обратный путь к шоссе.

— Вот именно, — покивал он вороне, — все мы цивилизованные, теперешние люди, птицы, вещи, явления природы... Поглядываем, у кого что вырвать из-под клюва. Се ля ви, птица! Мне в принципе это нравится, я еще посоревнуюсь за психодинамический комфорт. — И Старшов неожиданно для себя пропел, спугнув ворону: — Благословенны смиренные и бедные, ибо они унаследуют землю. Благословенны оплакивающие, ибо они утешатся... Унаследую и утешусь, но сперва добуду личный транспорт!

Он копал, медленно погружаясь в землю, часто и подолгу отдыхая. Но чем больше он утомлялся, тем яснее, ему казалось, делалась его голова, легчала, высветлялась, и мысли возникали неторопливые, вполне разумные. Он понимал уже: колхозно-совхозные заработки не для него. В сорок лет томить себя грубым трудом — психику надирать, она ведь окончательно сложилась. И диссертацию пора одолеть... в двадцать первом веке доктором полагается быть, верь не верь, а приснилось, может, знамение, о подсознании теперь много пишут. Да и по жизни (и для жизни) — время остепениться, куда же дальше оттягивать, хватит, нагулялся, плешь молодежная просверкивает. Значит, надо прикидывать иные, более дельные варианты. Почему бы, например, не жениться? Нет, не на подруге верной и беззаветно влюбленной, Аня была, есть и будет юрисконсультом с окладом в полторы сотни, наследства от трудовых предков — учителей — не предвидится, богатых родственников за границей нет. Любовь, правда, тоже чего-то стоит в век психологических стрессов, духовного отчуждения, экологического кризиса. Но если она беззаветная, ее можно сохранить в прежнем виде — для души. А жениться извольте, Валерий Валентинович, вернее, почтительно предложите руку (этого достаточно) дочери главного конструктора объединения мадам Люсьен, дважды побывавшей замужем, с ребеночком, однако женщине вызывающе современной, состоятельной, конечно, и, что немаловажно, выказывающей вам, Старшов, навязчивую симпатию. Технику Люсьена обожает самозабвенно, ее, кажется, породили вместе с «Ладой» в экспортном исполнении, пешком ходить разучилась, по жизни на быстрых колесиках катится, не раз видел: подьедет к табачному киоску, метнет в окошко деньги, продавщица — в кабину ей сигареты. Водит мотор классно, с разумным риском. Женихов — любого возраста и калибра, а на тормоза жмет около него, Старшова. При встречах вроде чуть пугается, запрокидывает маленькую носатую голову... да, да — он даже хохотнул от удачного сравнения, — очень похожа вон на ту красавицу птицу, доедающую чернику, и так же плутовато приглядывается темной стекляшкой глаза: мол, долго размышляешь, мальчик, очнись, это же то, что тебе требуется! Банальный вариант, ясно. Но современный. Пусть кинет камень тот, кто... Разве только у него потребности опережают возможности? Характер такой — жить, прихватывая светлое будущее. Он укрепит свои дела в конструкторском бюро и легко уживется с Люсьеной: она будет в настоящем времени, он — чуть впереди. Без повседневного соприкосновения. Комфорт раскрепощает, чем теснее от вещей, тем меньше тесноты в общении. Не зря же и «авто» означает «сам». Сам управляю, сам еду, сам решаю, как и куда ехать. Свобода в машине, свобода в заботе о машине, а за рулем и законная жена не смеет поцеловать... Можно надеяться, главный конструктор посодействует упрочению, смонтированности молодой семьи — одарит зятя «жигуленком» хотя бы первого, ширпотребского выпуска. Или «Запорожцем» откредитится? Нет, Люсьена не позволит унижить любимого, к тому же почти кандидата технических наук. Она чувствительная, поймет: одно воспитание ее ребенка чего стоит, каких нервных перегрузок!

— Считай, перевоспитание, — искренне, со вздохом проговорил Старшов. — Знаю этих теперешних у обеспеченных мамочек, при выдающихся дедах! С ними в одной квартире опасно жить. А я найду подход: чуть подрастет Игорек — мотоцикл ему. Каску на голову, руки на железные рога — и газуй от дурных влияний, вживляйся в технику конца двадцатого столетия, она основательно мозги перетряхивает.

Он сидел, вероятно, давно уже на краю ямы, потому что солнце высушило траву, начало по-осеннему неторопко обогревать лес, напекло ему непокрытую голову. Яма была вырыта приблизительно в метр глубиной, мелковата даже для сплющенного кузова автомоби-

ля, надо выбрать этой сырой, тяжелой глины хотя бы еще сантиметров тридцать, но силы у Старшова иссякли. Не чувствовалось, правда, и боли: усталость, слабость отяжелили все ощущения, казалось, сердце перестало биться в потерянном теле. Упрямо твердя себе: «Надо, надо!» — Старшов все-таки наклонился взять лопату и вдруг четко уловил отдаленный моторный рокот. Машина! Кто-то ехал по проселку. Может, подняться к дороге, попросить шофера помочь зарыть погибшие «Жигули», или просто пусть подождет немного, а потом проехать с ним до шоссе?.. И сразу же упрекнул себя: «Раскис! Никаких свидетелей. Лучше издохнуть в этой яме, чем терпеть расспросы, сочувствия, насмешки!..» Шум мотора быстро приближался. Старшов упал на дно ямы, уткнувшись лицом в ладони.

Он притих, словно бы забылся, уснул, однако все слышал, по земле отчетливо прокатывались звуки: грузовик скрипнул тормозами на дороге у канавы, из кузова попрыгали люди, громко разговаривая, переругиваясь, зацокали ломы, лопаты — работяги для чего-то прибыли; через какое-то время, сочно рокоча, приполз тяжелый трактор с прицепом; стало ясно: будут грузить трубы; довольно долго гремело железо, затем почти все стихло, лишь позвякивало что-то звонкое о сухую землю. «Зарывают канаву!» — догадался Старшов. Снова затишье, теперь нарушаемое негромкими голосами людей — работяги перекуривали. А вот взревели моторы, с гудом забились трубы на прицепе, узкий лесной проселок отозвался плеском луж, скрежетом каменистых взгорков и понемногу затих за урочищем, у шоссе.

Старшова не заметили, не увидели и поляну, исполосованную кувыркавшимся автомобилем. Кто иной подивился бы человеческой невнимательности, слепоте — не приметить рядом беды, не ощутить и малой тревоги! — но Старшов был человеком города, как и те, приезжавшие сюда, и полагал: природе свойственно извечное умиротворение, она для отдыха, бездумного созерцания, а значит, никаких бедствий на ее лоне происходить не должно. Зато с обидой, злостью подумал о другом: «Привезли трубы, выкопали канаву. Забрали трубы, засыпали канаву. Четко, деловито. Сволочи!»

Он почти бодро вскочил, холодная земля остудила его, уняла жар и дрожь в теле, вроде бы даже укрепились мышцы от соприкосновения с обнаженной землей. Схватив лопату, он принялся копать, и не прошло, наверное, часа, как он сказал, смерив взглядом глубину ямы:

— То, что надо!

Вылез, передохнул на пеньке. Отыскал у ручья подходящую жердину, подважил остов машины, напрягся и свалил груды мятого железа в яму. Оттуда взлетела горькая пыль горелой краски, синтетики. С ветвей ракит сорвались вороны, недовольно закаркали, носясь над поляной: им так и не удалось обследовать искореженный кузов.

Оглядев усеянный всяческим имуществом склон поляны, Старшов подумал было с прежней хозяйственностью: не припрятать ли в кустах кое-что?.. Но тут же приказал себе: зарыть, уничтожить, чтоб ни следа, ни памяти! И принялся швырять, сбивать пинками в яму все, попадавшее под руки и ноги. Катились, летели ведро, пустая канистра и бабкина корзина, резиновые сапоги, аптечка и прочая мелочь. Поднял роман «Аэропорт» — библиотечный, недочитанный, про любовь и западный супердинамический комфорт.

— Ну его! — выкрикнул, швырнув в яму к моторному другу.

Все восстало против него, хотело беды, гибели, а потому пусть канет здесь вместе с последним ржавым гвоздем, напоминающим о той, прожитой жизни.

Яму закапывал яростно, не чувствуя усталости, не ощущая кровавых мозолей на ладонях; когда взбугрилась бурая продолговатая насыпь, Старшов решил обложить ее дерном, ранее срезанным, штабелеванным горкой. Укладывал куски дерна неторопливо, даже

охотно: думалось, зарастет новой травой эта могила — и успокоится его душа. Дерна не хватило, пришлось нарезать свежего возле ручья.

Плотно укрыв зеленью мертвую глину, он присел на холм, уткнул локти в колени, ладонями подпер голову и надолго занемел, вновь обессиленный, более прежнего одинокий. Он почти ни о чем не думал, сами по себе возникали, вторились мысли: «Сегодня понедельник, меня ищут на работе, беспокоятся отец и мать, надо идти к шоссе, добираться домой... Теперь будет все по-иному. Как?.. Начну сначала, начну новую жизнь. Пора идти в эту жизнь...» Он сидел, выжидая: вот сейчас появятся силы, он взбодрится, упруго вскочит на ноги, — но прохлада земли не исцеляла, и он чувствовал — тело его немеет от все большего безволия.

Вдруг испугавшись, что непременно уснет, а уснув, никогда уже не проснется, Старшов с болью во всех суставах, с горячечным шумом в голове медленно поднялся. Солнца не было, небо хмурилось. Кажется, вечерело. Рокотал диковато ручей, и лес глубинно, мощно гудел неощутимыми ветрами. Ни ворон, ни малых, весь день звеневших, чиликавших пернатых.

Страх сумеречности, пустоты, потерянности заледенил Старшова. Он резко шагнул, чтобы затем бегом одолеть крутой склон поляны, но ослабевшие ноги его подломились. Старшов упал на четвереньки и, уже смутно осознавая себя, наборматывая ругательства, сердито взревывая, сноровисто пополз вверх, туда, где над проселочной дорогой светилось не затемненное тучами небо.

Вечный гость

Зазвучал телефон. Я поднял трубку, услышал:

— Привет! Это я... Сивакин. Ты дома? Беру такси, через часик буду у тебя! — И в трубке забились короткие сигналы, словно упрямо твердившие: буду, жди, буду...

Я задумался: кто такой Сивакин?.. Или он сказал: «Свакин»? А может, с нарочитой игривостью: «Я-с, Ивакин»?

Ивакина помню, еще бы, и имя не забылось.

...Позвонил он мне из Боткинской больницы, бодро, как вот сейчас, проговорил.

— Это я, Ивакин. Не узнаешь? Аркадия Антоновича Ивакина?.. Портит, портит столица земляков! А мы с тобой родичи к тому же, деды наши были свояками. Навести, повидаемся!

На пространстве от Сахалина до Москвы у меня рассеяно немало друзей, земляков, родственников. Почему бы Ивакину не быть кем-либо из них? И не беда, что я не могу припомнить его в лицо — годы, расстояния... Надо быть отзывчивым. Кому не приходилось слышать, видеть, как кто-то кого-то намеренно не узнал, отвернулся, не помог? Кажется, нельзя горше обидеть, унижить человека. Надо повидаться с Ивакиным. Я попросил жену купить апельсинов, печенья самого дорогого, кефира и, выдержав стойко ее сочувственную усмешку — мол, поздравляю, обзавелся еще одним родственничком неизвестного происхождения, — поехал в больницу.

И там начались мои приключения. Без улыбки теперь не вспомнить. День был воскресный, посетителей в эту огромную больницу наехало неисчислимо, я занял очередь в справочную и когда наконец сунул голову в окошко, то смог назвать лишь фамилию родственника — имя и отчество начисто позабыл. Не знал, конечно, и номера корпуса, палаты. Намучилась со мной пожилая терпеливая женщина, вероятно, из бывших медсестер, но бумажку с фамилией Ивакина и его местонахождением выдала. Я быстро отыскал отделение гипертоников, представился. Вскоре стоял предо мной лысенький одуло-

ватый старичок в полосатой застиранной пижаме, с палочкой в дрожащей руке.

— Вы Ивакин? — спросил я.

— Так, — подтвердил старик.

— Я к вам, вы звонили, мы родственники, вот принес...

— Нет у меня в Москве родственников, вы ошиблись, молодой человек.

— Ну не так уж и молодой, — попытался я немного развеселить хмурого старика. — Вы же Ивакин?

— Ивакин Семен Иванович, из Астрахани.

— Правильно. Звонили мне.

— Ничего не правильно, — забагровел и пристукнул палкой старик-старичок. — Больница большая, поищите своего Ивакина, а мне чужих передач не надо. — И сутуло удалился в палату.

Пришлось выстоять еще одну очередь к справочному окошку, добиться второй бумажки с фамилией родственника, зато на этот раз я попал в нужное отделение, вежливая медсестра под ручку провела меня прямо в палату, улыбчиво окликнула больного, сидевшего у окна с газетой:

— Аркадий Антонович, к вам гости!

Навстречу мне упруго пошел крепкий мужчина лет сорока, с жестковатыми, породисто подбеленными сединой волосами, аккуратно причесанный, чисто выбритый, попахивающий хорошим одеколоном, в новенькой шерстяной, какой-то даже фасонистой пижаме; он сильно обнял меня, рожоча хохотком, я ощутил здоровую тяжесть его мускулистой плоти — есть такие люди, сотворенные, кажется, не из обычной телесной, как все прочие, а иной, специально для них дарованной природой материи, — попробовал высвободиться, но он не выпустил меня, полуболивая, держа руку на моем плече, провел к стулу, усадил, слегка даванул плечо — чтоб не торопился уйти, наверное, — и с маху рухнул на свою койку, заставив ее запеть, застонать всеми железками и пружинами.

— Ждал, как же! Воскресенье, думаю, явится душа родная пообщаться на умном уровне. А ты изменился, стареешь, понимаю — работа творческая. Да ведь и мы не тюхи-матюхи, без творчества не живем, конец двадцатого века, хоккеист шайбу не забьет, пока ее творчески не обработает. Так что не зазнавайся!

— Какое зазнайство, что вы... — попытался оправдаться я, но был остановлен решительным взмахом руки, устыжающей полуулыбкой твердых и молодо свежих губ:

— Ай-яй, выкать родному человеку! Ты пойми — я образно выразился, для полного взаимопонимания, чтоб точки над «и» поставить. Вижу, не такой, как некоторые, наш. А то понаедут с блокнотиками, в полуботиночках на микропорке жизнь изучать — дай им героя, подвиг. У нас каждый шаг — подвиг при пятидесяти градусах ниже нуля. Да ты не смущайся, не про тебя речь, ты из наших, выходец, так сказать... Ну, чего там принес, показывай.

Я раскрыл на тумбочке портфель.

Серые, с дымчато-холодноватой синевою глаза Аркадия Ивакина усмешливо и откровенно умиленно прижмурились, он зарокотал хохотком, тыча интеллигентным, белым пальцем в портфель:

— Ну развеселил, ну представление для несовершеннолетних устроил: апельсинчики, яблочки, кефирчик! Я это только в тесном семейном кругу себе позволяю, для примера деткам. Шел родственника навестить, верно?

— Вроде бы...

— Коньяку армянского найди, колбасы сухой. Не видались-то сколько?

— Больница ведь.

— Сойдет на первый раз! — проговорил он, вынужденно примирясь. — Апельсины-яблоki оставь, печенью тоже — сестрице Ирочке отдам, а кефирчик старичку какому-нибудь пожертвуй, тут их как в пансионате для престарелых.

— Был у старичка, попал по ошибке. — И я рассказал Аркадию о его однофамильце, неловком и комичном разговоре с ним, прибавив: — Сердитым оказался старичок.

— Они такие, особенно заслуженные перед народом, капризные. А кефирчик ты ему занеси, все-таки тоже Ивакин, может, из наших отдаленных, и одинокий в столице. Хе-хе, не обижайся, люблю пошутить, это, говорят медики, жизнь продляет, нервные клетки восстанавливает.

— Чем болен?

— Я? — искренне удивился, сожалеючи оглядывая меня, Аркадий. — Пока не дурак, чтобы болеть. При нашей медицине, заботе о человеке — ты что? Приехал провериться, проанализировать свой организм. Имею возможность. Пробил направление. Лечись, пока здоров, хе-хе. Больных кто когда вылечивал? То-то. Сам-то как?

— Ничего пока.

— Вижу — ничего хорошего. Бледный, утомленный, перегрузки стрессовые, спорта никакого, на нервах живем и трудимся. Эх, интеллигенция! Да ты вырвись на месяцишко в Сибирь, мы там такие дела развернули, эпохальные, небу жарко стало. Подышишь здоровым воздухом, на охоту сажу, рыбку организуем. Без браконьерства, конечно, но с икоркой, шашлычком из дикого мяса, спиртиком в норму. Скажи, когда спиртик последний раз пробовал? Правильно, вкус позабыл. Он для тех, высокий градус, кто при низком трудится. В ресторанах, под музыку не идет, знаю. Ну, приедешь к родственничку, даешь слово?

— Интересно, конечно.

— «Интер-ресно»... — растяжисто передразнил меня Аркадий, чуть брезгливо пошмыгав крупным носом с маленькими, чуткими и вроде бы хищноватыми ноздрями. — Жизненно необходимо. Глобально смотри на современность, разом охватывай свершения, а то копаешься в душонках мелких героев... Вспомни гениальные слова великого Ломоносова: богатство Руси будет прирастать Сибирью. Туда теперь крен. Вникни, осознай.

Он открыл дверцу тумбочки, вынул бутылку коньяка, армянского, уже ополовиненную, выставил на тумбочку нарезанный лимон в блюде, два толстенных, явно не больничных стаканчика, плеснул в них экономно, с хмуровой серьезностью сказал:

— За Сибирь.

— А это... — Я глянул на дверь палаты. — Если кто зайдет?

— Боишься? Ай-яй! — Аркадий зарокотал своим особенным, глубинным смехом, при котором лицо его не меняло ранее приданного ему выражения. — Удивляют меня некоторые интеллектуалы. Вот ты живешь в столице, жил в других местах, знаешь страну, можно сказать, от Москвы до самых до окраин и везде — как гость. Боишься, оглядываешься. Да ты же у себя дома, ты хозяин. Расправь грудь, дыши широко. Ну войдет сестрица Ирочка или там дежурный врач — что скажут? Кому? Они же знают, кто я. Пьянки не устрою, режима не нарушу, здоровье свое не подорву. Я не гость, чтоб торопиться с едой или там с выпивкой. И на соседнюю койку не смотри, выписался сосед, нового пока не подселили. Попрошу — никого не будет. Но я не хам, понимаю, мест не хватает. Пусть. И общение люблю, обогащает. Ну, за нашу Сибирь, за хорошее чувство хозяина еще. Шагай бодрее, смотри веселее!

Я немного обиделся, но глоток коньяка выпил и, пока Аркадий Ивакин заедал пахучий напиток лимоном, а потом, полуочистив ножиком апельсин, ловко высасывал сок, думая о нем так: человек он

бывалый, видно, что-то строит, воздвигает, жизнь в тех местах суровая, характеры там вызревают жестковатые, не надо сердиться на него, хоть он и напорист, нагловат даже, но это, может, только кажется мне, давнему горожанину, мы тут нервные, стрессовые, как сказал он, чуть кто кого толкнет, словом заденет — обижаемся, а у них — простор, тайга, тундра, работа серьезная, да и вообще он интересен мне, Аркадий Ивакин, надо ближе познакомиться, подружиться, чтобы понять его истинную натуру, ведь явно же напускает вокруг себя нарочитого дыму-туману.

— Вот что,— сказал Аркадий, утираясь, вдыхая одеколонный запах чистейшего платка, сказал чуть задумчиво и строго.— Я кое-какие наброски делаю, мысли, эпизоды записываю, проблемы сегодняшнего дня, материал имею богатый, на пару книг хватит, но давай скромно — выступим с документальной повестью, мои факты и прочее, твоя литературная обработка. Как, потянем?

— Так ты журналист?

— Приходилось. Да это не важно. Появляйся на неделе, дообсудим. А сейчас Ирочка придет с капельницей, подпитает мой организм целебной плазмой. Давай руку, позвоню.

Ошалелым ехал я из больницы и потом, дома, то хмурился досадиво, то подхихикивал над собой: неопознанный родственничек соавторство предлагает, а кто он, откуда, в каком чине-звании, постеснялся узнать! Но через неделю с коньяком, сухой колбасой, вареной курицей был у Ивакина, выслушивал его волевые высказывания, смелые мысли о нашей будущей книге, которая непременно сделает переворот «в структуре прирастания Сибирью богатства Руси», так сильно и выразился, много говорил о морально-нравственной ценности нашего творения. Прощаясь, крепко поцеловал.

Дважды еще он вызывал меня, брал мои приношения (кстати, пришлось отстоять очередь в «Ганге», купить ему индийские джинсы и рубашку), охотно благодарил, рокоча хохотком, раскладывал на тумбочке закуски, приглашал сестрицу Ирочку продегустировать армянский, веселил шутками и анекдотами. В третий раз, не дождав-шись звонка, я поехал сам — может, случилось что с моим родственником, много ли мы понимаем в своем здоровье? И та же прежде мило приветливая Ирочка, мельком обозрев меня, намеренно грубовато сказала:

— Выписали вашего Ивакина, улетел.— Увидев мою растерянность, она прибавила с едким смешком: — Прирастать Сибирью!

Расспрашивать я не стал, поняв, что и без того довольно глупо смотрюсь с полной сумкой провизии в руке. Выписали Ивакина досрочно, вызван он немедленно телеграммой — зачем мне знать это? Ясно главное: здесь, сейчас Ивакина нет. Он, конечно, не исчезнет вовсе, явится в другое время, найдет меня. Подожду. Ведь я нужен ему. Да и он мне интересен.

Глянув на часы, я отметил: прошло пятнадцать минут со времени, когда прозвучал телефонный звонок и в трубке послышалось: «Привет! Это я-с, Ивакин...» Всего пятнадцать минут, а я уже столько вспомнил, да так подробно. И от этого, вероятно, усомнился: Ивакин ли мне позвонил? Вроде бы голос не совсем его, похож, но без нагловатой напористости, и обязательного ивакинского рокотка-хохотка не было.

Может, все-таки в одном из столичных аэропортов приземлился Сивакин? Он, правда, спокойный, в телефон не кричит, однако ж — человек, переволновался в полете, выпил пару рюмок спиртного, вот и представился не совсем своим голосом.

Сивакин! Конечно, он. Не узнать Сивакина!

С ним я знаком давно, еще по Сахалину. В то наше молодое время он был тренером на областной спортивной базе «Горный воздух» и при-

шел ко мне в издательство со стихами, одно четверостишие из коих помню до сих пор: «К спорту и туризму ты душой прильни — будешь к коммунизму ближе, черт возьми!» Стихи я вернул ему, но Сивакина это ничуть не обидело, он протянул руку, цепко ухватил мою и, глядя ласково, почти влюбленно мне в глаза, сказал:

— Тимофей. Будем дружить.

Сказал — как печать наложил. Мы дружим более двадцати лет, точнее, он со мной, ибо с того года, где бы я ни жил, куда бы ни уезжал на месяц-другой для работы, он находит меня, является «пообщаться». Совершенно неожиданно он возникает передо мной в домах творчества, на Валдае в заброшенной деревеньке, на совещаниях, во время застолий. И, конечно, оказываясь в столице, немедленно звонит, приезжает, располагается в моей квартире, никогда заранее не говоря, сколько дней, недель погостит.

За эти годы Сивакин переменял столько профессий и должностей, что я запутался в них и теперь обычно не спрашиваю, откуда приехал, кем работает: был он инспектором горспорткомитета и облпотребсоюза, уполномоченным по каким-то важным страховым делам, коммерческим представителем на торговых судах, директором турбазы на Кавказе, еще и еще кем-то; а сейчас, кажется, возглавляет туристическое бюро в одном краевом центре. Но утверждать не стану, сужу так по его прошлогоднему приезду.

Вошел тогда Сивакин, как много раз прежде, почти так же, как в тот давний день, когда принес мне стихи, — уверенно и воспитанно-вежливо, с грустной улыбкой усмешечкой всепонимания и радушием прирожденного жизнелюба на округлом румянном лице; войдя, сдернул шапочку (летом и зимой он носит шапочки с козырьками — замшевые, кожаные, меховые), пригладил ладошкой раннюю, гладкую, тугую на вид лысину, затем вскинул плечи, спортивно подобрался, вытянулся во весь свой небольшой росток, словно бы говоря: «Ну, как смотрюсь?» И только после этого обязательного ритуала нарочито серьезно выкрикнул:

— Сивакин! Явился по вашему приказанию!

Я сказал ему (почти всякий раз говорю это), что такого приказания не давал. Сивакин заученно ответил: приказы мои чувствует интуитивно, как экстрасенс, на любом удалении, — и внезапно, цепко притянув меня, поцеловал в губы (как ни изворачиваюсь, непременно попадает в губы), резко оторвался, кинул на стул импортный чемодан под крокодиловую кожу — утверждает, что настоящий, крокодиловый, — выхватил из него бутылку итальянского рома, сунул мне:

— Открой, за встречу по рюмочке, такого ты не пробовал.

Пока я придумываю, чем бы накормить гостя, Сивакин сноровисто бреется, моется, набуркивая себе ритмичный эстрадный мотивчик, все и всегда он делает «в темпе», и вот уже сидит в любимом низеньком креслице за удобным журнальным столиком, распахнув замшевый пиджачок, вскинув ногу в тугой джинсовой штанине, шведском желтом полуботинке, неизвестной мне фирмы носке со змеиным орнаментом, раскуривает трубку с изображением хитровой головы беса на чубуке, бодро сообщает:

— Представь, в аэропорту встретила элегантная дама из «Интуриста», пару гвоздик вручила, естественно, машина ждет, у нас все в темпе, едем из Домодедова, она мне: «Вам, Тим Аристархович, номер в «Космосе» заказан». Я отвечаю: «Благодарю, но не могу лучшего друга обидеть, так что прошу доставить по такому адресу», лично к тебе то есть.

Он давно уже Тим Аристархович и слегка обижается, если я по забывчивости назову его Тимофеем. Понятно, вернее, можно понять человека — бывает за границей, в окружении интеллигентной публики, изъясняется по-французски.

— Не терплю, представь, гостиничного комфорта, даже люксового. Ну, там еще в «Новотел Сержи» под Парижем или в марсельском «Селекте» — ладно, жизнь иностранную, для нас все-таки странную, изучаешь, а в родной стране семейный уют мне дороже. Вот сижу с тобой — тепло, духовно и душевно. Лягу спать — дорогие мне люди рядом. Верить, не привык за долгие годы, одиночество давит в номерах, иной раз проснусь среди ночи — все сияет, блестит, а неживое, умирай — никто таблетку валидола в рот не сунет. Помоложе был, ясно, компания находилась, иной раз амурная, теперь не желаю тратить финансово и физически, надо жить согласно возрасту, хотя и чувствовать себя лет на десяток моложе, как говорит наш шеф из «Интуриста».

Сивакин попивает маленькими глоточками ром, заедает бутербродами с колбасой и сыром, рассказывает мне смешные истории из своей интуристской жизни, я вежливо слушаю его и думаю, как бы необходимо выспросить у Сивакина, сколько дней он проживет у меня. Вот-вот явится жена, увидит моего гостя, и у нее сразу испортится настроение, Сивакина она не любит, называет лаковым петухом и не преминет осведомиться, вызвав меня на кухню: надолго ли это нашествие? Конечно, жену я могу урезонить, но через три дня приедет брат с семейством (так и сказал по телефону: «Едем пограбить московские магазины»), завтра сын-студент вернется из колхоза — словом, скопимся, как в коммуналке, будучи, однако, уже не столь коммунально уживчивыми, все теперь привыкли к отдельным квартирам, бытовой тесноты не переносят... Слушаю я Сивакина, думаю и наконец догадываюсь, мне кажется, как намекнуть ему на эти мои размышления.

— Согласен, Тим, гостиница не дом родной, но есть способ почувствовать себя в номере, будто ты дома. Что нужно сделать? А не знаешь! У себя почему уютно, тепло? Да ведь домовой же в каждой квартире, как раньше в хатах. Он в твоих вещах, в тебе, в твоём чемодане. Переступил порог номера — открой сразу чемодан, скажи: домовой, поживи-ка здесь со мной, — и вещи скорее раскладывай, развешивай. На себе испытал, помогает. Нет, я в гостиницах хорошо себя чувствую, а вот в гостях...

— Ценный человек был бы для «Интуриста», жаль, по другой линии пошел! — Сивакин усмешливо толкнул меня тугим кулачком в плечо, поднялся, застегнул пиджак на агатовые пуговицы. — Ну, я тороплюсь, дел невпроворот, привет хозяйке, вечером принесу чего-нибудь фирменно-градусного для теплого общения. В темпе! — скомандовал он себе, оделся, ушел.

Гостил Сивакин две недели, утром, позавтракав, уходил, вечером, к ужину, являлся, вынимал из «дипломата» джин, виски, что-либо еще фирменно-градусное — покупал он только спиртное, — угощал, балагурил, озирая многолюдный стол, где, кажется, и приткнуться некуда было, наговаривал что-нибудь находчиво-шутливое: «В тесноте обижаются англичане, а китайцы ничего, терпят» — или: «В тесноте главное — голодным не остаться» — и ел все, чем угощали, имея отменный аппетит и не выбирая блюд; «Кто кушал змеиный супчик в Шанхае и рагу из саранчи в Африке, тот всеяден»; после ужина укладывался на диван, закуривал «бесовскую» трубку, подзывал молодежь — моего сына и дочь брата, — рассказывал им о заграничье:

— Так, юноши и девушки, мечтающие «сделать жизнь с кого», о чем мы вчера толковали? Ясно. Про Малмззон, дворец Жозефины, возлюбленной Наполеона, и Эйфелеву башню, с которой смертники бросаются вниз головой... Между прочим, на этой башне был фирменный ресторан, но хозяин продал его целиком за большую сумму американцам, те вывезли, собрали снова по дощечке и гвоздику, теперь у них процветает ресторан «Эйфелева башня». Доки эти американцы, в темпе все прокручивают... Так, какую тему затронем сегодня? Обе-

щал, говорите, про папу римского? — Сивакин спрашивает и сам же отвечает себе, ибо слушающие молчат, замороженно как-то, с улыбочивым, осторожным недоверием глядя на него, этакое важного, столько повывавшего, а все-таки по сути своей малосерьезного, что ли. — Был я на фестивале в Венеции, ну, там Дворец дождей, картинные галереи, каналы вместо улиц, гондолы — это вам известно из «Клуба кинопутешествий». Все прекрасно и удивительно. Ну, думаю, как не познакомиться с папой? Хоть и бестия религиозная, а фигура заметная. Задумано, оформлено, сделано: у гостиницы «Бьясутти» беру такси, еду на вокзал Санта-Лючия, там экспрессом до Рима, на перроне вокзала Термини опять такси, снимаю номер в отеле «Люкс-Мессе» на улице Вальтурно. Через сутки экспрессом 722 — в Венецию. В темпе. Даже газета «Стампа» обо мне писала: один русский и тэ дэ. За шпиона, наверное, приняли, хе-хе!

— А папу видели?

— Какой вопрос! Для этого ездил, рисковал, можно сказать. На площади возле собора Сан-Пьетро отметился. Папа по вечерам к верующим выходит, благословляет в темпе. Крепкий старикан...

Я нехотя, а все же прислушиваюсь к рассказам Сивакина и удивляюсь: как быстро он осваивается в своей очередной должности, ином положении и окружении, меняет не только внешний облик — пиджаки, рубашки, сигареты на трубку, — но, кажется, внутренне перерождается, и жесты не те уже, и язык другой, вот только напористость (а может, нахрапистость?) в нем постоянна, да еще со своим «в темне» никогда не расстается.

Когда-то Сивакин говорил исключительно о спорте, знал десятки фамилий чемпионов, был лично знаком «с мастером шайбы» Фирсовым, имел первый разряд по лыжам и женат, помнится, был на бегунье, называл ее ласково «моя спринтерка»; затем с горячностью рассказывал про нелегкую службу инспектора облпотребсоюза, как безжалостно засаживал в тюрьмы воров, жуликов, спекулянтов, всегда останавливаясь на эпизоде: один завбазой предложил полмиллиона и, естественно, получил достойный ответ: «Дешево ценишь, шкура! Я всей страны хозяин, а ты рубли краденые суешь?!» О своей службе коммерческим представителем на торговых судах Сивакин говорил скупно, неохотно: «Много соленой зыбкой воды, теряешь надежную почву под ногами». Зато уж пребывание в должности директора турбазы расписывает с восточным красноречием и даже кавказским акцентом: «Вай-вай, какой плохой человек был толстый, жирный повар, сапсем пустой вода наливал вместо харчо; вай-вай, нехороший запсклад был, жирный, толстый, из целый баран шашлык делал для близкий друзья, хотел меня зятем иметь, дочку в жены давал; вай-вай, старый, толстый, жирный старший тренер ружьем пугал меня, шипко хотел дружить со мной...» Конечно, Сивакин навел образцово-показательный порядок на турбазе, которая вскоре «засверкала драгоценным алмазом среди белоснежных гор Кавказского хребта», а потом был переведен, непременно с повышением и наказом: укрепить другой слабый участок.

Впрочем, как я уже сказал, не могу сколько-нибудь уверенно подтвердить, точно ли Сивакин Тим Аристархович занимал все эти должности или придумал их для себя, дабы выглядеть важным, озабоченным государственным делами человеком. Ни на одной его службе я не был, в те места, где он жил, живет, не ездил. Верил словам. И сейчас вот Сивакин глаголет, будто поет, про свою интуристскую деятельность, и хочешь — верь ему, хочешь — усомнись или заткни уши, Сивакина это не смутит, не обидит, он останется все тем же Сивакиным.

Пожалуй, только один раз я рассердился на него, в прошлогодний приезд. Намаившись от коммунально-гостевой сутолоки, повздорив с женой — один приходит, другой уходит, третий звонит, заблуд-

дившись в дебрях столичных, чемоданы, покупки, а кормить всех чем-то надо,— я и попросил утром Сивакина:

— Тим, прихвати вечером колбасы с килограмм.

— Оскорбляешь друга,— ответил замедленно и чуть удивленно Сивакин. — У меня вечером банкет, и потом я не знаю, где продается сей продукт, сколько стоит, не приходилось выикать. Так что извини. И плюнь на колбасу. Хочешь, завтра в «Арбат» сходим? Развеешься, мозги просвежишь, друга светлыми глазами увидишь.

Сивакин аккуратно прикрыл дверь, легко зашагал к лифту, а я все стоял с мятым трояком в руке, и когда лифт унес Сивакина вниз, чтобы выпустить его на московские необзорные улицы, я обиженно возмущился и даже выкрикнул:

— Зачем ты мне нужен, Сивакин? Откуда ты взялся и почему не исчезнешь наконец? Я выгоню тебя!

Но прошло несколько минут, я успокоился, выпив корвалолу, подумал, усовестясь: «Ну чего раскричался? Сивакин все равно куда не уйдет. И я не выгоню его. Сивакин есть. будет. Я нужен ему. Он мне — тоже, пусть и не знаю пока для чего. Иначе жизнь не наградила бы меня Сивакиным. Они вездесущи, неистребимы, сивакины».

Расстались мы вполне дружески.

Я глянул на часы — минуло еще двадцать минут. Скоро затренькает дверной звонок и... Но тут, не отводя глаз от часов, я вспомнил старика Ивакина, лежавшего в Боткинской больнице, вспомнил потому, наверное, что он поминутно взглядывал на свои древние, протертые до меди, толстые часики, будто считал мгновения всеобщей жизни и подравнивал к ним частоту своего личного пульса.

С Ивакиным Семеном Ивановичем я все-таки познакомился, и в тот день именно, когда сестра Ирочка сообщила мне, что Аркадий Ивакин срочно выписан, улетел «прирастать Сибирью». Выйдя из пустой палаты, одолев досадливую растерянность, я прежде всего увидел в своей руке увесистую сумку, вообразил, как вернусь с продуктами домой, что скажет мне горестно вздыхающая супруга, и мигом находчиво решил: отдам все старику Ивакину, одинокому астраханцу, он наверняка еще лечится.

Я нашел его в том же отделении гипертоников, честно признался, что принес передачу другу, но не застал его, попросил взять фрукты, колбасу, разное другое, сказав при этом: «Вы с первой встречи понравились мне своей серьезностью, решительностью, скромностью». Особенно выделил три последних слова, полагая, что хотя бы одно придется старику по нраву. И не ошибся. Семен Иванович принял «фрукты-продукты», как назвал их, провел меня в палату, усадил, обстоятельно рассказал о себе: он учитель, теперь на пенсии, имеет хорошую дачу у самого Каспия, занимается садом, рыбачит, охотится в сезонное время, пригласил погостить, сказал, что непременно пришлет мне, «отблагодарит» копченой воблой личного изготовления.

К Новому году воблу я получил. А в мае прибыл из Астрахани молодой человек и вручил мне письмецо от Семена Ивановича, которое заканчивалось «убедительной» просьбой: «Примите на недельку моего юного внука Юрика».

Юрик Ивакин, естественно, оказался самым современным юношей двадцати четырех лет, с высшим инженерным образованием, во многом усредненно стандартным, но и не без оригинальностей кое-каких.

Был он немногословен, озабоченно деловит, о новеньких «Жигулях», на которых приехал, сказал продуманно-иронично: «Если только кататься — зачем? Надо иметь что-то с мотора». И Юрик живо занял-

ся тем, чтобы «иметь»: продал где-то, возможно перекупщикам, мешка два сушеной воблы, осетровых балычков какое-то количество (об этом я мог только догадываться, угощал скромно мое семейство; чемоданы же, багажник машины при свидетелях не открывал). Каждое утро, уезжая, вежливо спрашивал, не подвезти ли кого-либо, вез охотно, не смущаясь временем, расстоянием, и вскоре я стал замечать — Юрик вполне освоился в столице, подбрасывает, выручает припозднившихся москвичей и гостей столицы, а однажды видел, как он небрежно принимал мятые бумажки, поданные молодой важной дамой. Из озорства Юрик занимался этим мелким разбоем или влекла его неодолимая тяга к денежным знакам — я мог опять же лишь гадать.

Понятно, Юрик Ивакин не только «работал», но и развлекаться умел, имея кое-что и «с себя», ибо внешностью обладал впечатляющей, прямо-таки суперменской: рослый, спортивно поджарый, буйно-белокурый и синеглазый (мать у него, сообщил как-то, из поволжских немков), он, конечно же, бывал в лучших московских ресторанах, прочих увеселительных заведениях. Возвращался поздно, всегда на машине, вроде бы трезвый, ну, может быть, с чуть более пунцовым лицом, затем все чаще стал исчезать на сутки, а то и на двое. Я решил поговорить со своим гостем, как-никак Семен Иванович просил меня позаботиться о своем юном внуке, впервые самостоятельно окунувшимся в столичный свет.

Разговор был такой.

— Юра, вы где-то ночуете, мы беспокоимся.

— Разве я похож на глупого мальчика? У меня интеллект сильнее эмоций, можете поверить.

— Верю. Но Москва велика, нелегко постижима...

— Постигаю. Многое уже понимаю. Когда говорю в шутку, что москвич,— верят. Я столицу по книгам, картам, схемам изучил от начала ее возникновения до наших дней. Теперь смотрю, проверяю свои знания, потрясаю коренных москвичей. Спрошу, например, где Сухареvская башня стояла, в честь кого построена,— редко кто правильно ответит. Я люблю Москву. И могу сказать вам — буду жить здесь. Впишусь.

— Уверены?

Юрик усмехнулся вежливо и слегка огорчительно, явно дивясь моей наивности.

— Работу нашли? — спросил я.

— Хоть сегодня примут.

— А прописка?

— Сия трудность велика есть,— со вздохом нарочитым отшутился Юрик.— Но преодолима.

— Женитесь?

— Это в крайнем случае. Я не спешу. Но могу поделиться такой философией. В Москве свыше восьми миллионов человечков, больше половины из них — женщины, среди женщин больше половины молодых, незамужних и девушек. Я не женат, пока не влюблен. Где же мне легче найти любовь, если она редка, исключительна? Там, где больше выбор, правильно? Значит, в Астрахани у меня настолько меньше шансов, насколько меньше тех, в кого можно влюбиться. Пусть она единственная, моя возлюбленная. Но по теории вероятности ей проще оказаться в Москве. И нужно оказаться в Москве, если существует взаимное, пока непознанное интуитивное влечение к единственной, единственному. Убедительно?

Я невольно из вежливости покивал.

— Вот и не беспокойтесь. Я скоро уеду. Для первого знакомства, наведения контактов — достаточно. И отпуск кончается. Через год нарисуюсь снова, как говорят наши астраханские патлатые мальчики. Я не спешу, повторяю. Лишь бы как не переберусь в столицу. Все будет разумно. Можете поверить, на периферии не зачакну.

— Пожалуй, верю.

— Благодарю! — И Юрик мощно пожал мне руку.

Прожил он месяц, уезжая, пытался расплатиться за постой, будучи во всем исключительно пунктуальным, из дому прислал благодарственную телеграмму на художественном бланке, а Семен Иванович — ящичек своей, ивакинской воблы.

Расстались мы более года назад. Навещал Юрик еще раз столицу или собирается навестить, а может, уже переехал на постоянное жительство — я не знаю. И дедушка его что-то помалкивает. Вероятнее всего, именно он, Юрик, позвонил мне сегодня, иронично-шутливо сказав: «Это я-с, Ивакин». Кто же другой так непринужденно, находчиво сострит? А что упомянул о такси, тоже понятно: к чему гонять всякий раз за тысячу километров личные «Жигули»? Не дед же Ивакин, в конце концов, припожаловал... Хотя, помнится, намекал он, — мол, надо бы в Большом Фигаро послушать, молодостью давней подышать.

Вспомнив о часах, глянув, я отметил: еще две минуты — и минет час со времени телефонного звонка. В квартире было тихо. Потому, наверное, я столь многое успел вспомнить, даже взволновался как-то. Сейчас похожу, успокоюсь. Вот, хорошо. Почти спокоен уже. Только не надо ждать дверного звонка — позовет, когда истекут эти две минуты или чуть позже. Что я, людей боюсь?

И все-таки мой олимпийский звонок с улыбающимся коричневым мишкой не по-олимпийски нервно, показалось мне, возвестил о прибытии гостя.

Я открыл дверь, у порога стоял брюхатенький усатый человек с восточной раскосинкой глаз и премило улыбался мне вздернутыми тугими щеками. Явно не Сивакин, не кто-либо из Ивакиных. Скорее Сулакин. А может, вообще пока незнакомый мне лично гражданин. И все равно это был он — мой вечный гость.



АЛЕКСЕЙ МАРКОВ

★

НОВЫЕ СТИХИ

* *
* *

Наконец-то зима
Не смеется над нами.
...Под горою дома
И дымы над домами,
На стекле — терема
И закатное пламя...

Как поют на Руси
Феврали ветровые!
Слышу всхлипы осин,
Вижу словно впервые:
И высок и красив
Небосвод над Россией!

Бок отбит у луны,
Среди туч одинокой,
В дымоходе слышны

Голоса издалека,
И реальностью сны
Вдруг становятся к сроку!

Где-то водится, верь,
Неразгаданный леший.
Видишь? Тычется в дверь.
До чего же потешен,
Как прирученный зверь,
И наивен и грешен...

И насмешник, и враль,
И затейник веселый —
Полон сказок февраль,
И предчувствий он полон.
И сосулук хрусталь
Клонит ивушку долу...

* *
* *

В воде прохладно-талой,
Забыв девичий стыд,
Мечтательно и шало
Березонька стоит.

Сиреневою мглою
Лесная даль полна.

Горбатою пилою
Ощерилась луна.

Исполнена значенья,
От зимних снов восстав,
До умопомраченья
Березонька чиста...

* *
* *

Мне только приснилось, что я босиком
Ступаю по росной траве
И песни любви высоко-высоко
Слагают стрижи в синеве.
Казалось, черемухой белой дыша,
Расцветшей неистово вдруг,
В земной благодати гостила душа,
Не зная заботы и мук!
Из листьев осенних приснились ковры.
...Под снегом белеющий сад.

Мы мчим на ледянке с тобою с горы,
И мой поцелуй невпопад!

* * *

Звезды светят... Как я счастлив!
Светят только для меня,
И невзгоды и ненастье
Прочь с души моей гоня!
Сколько света! Боже, боже...
Мир спокойно спит и спит...
Я судьбой его встревожен,
Что на ниточке висит.

* * *

Всегда, всегда до этих пор
Я голос материнский слышу.
Он, словно шелковый узор,
Весь нежностью и лаской вышит.
— Вставай, сыночек, ну, вставай!
Уже и солнце на восходе,
И пчелки в медоносный край
Летят, летят... И в огороде
Блестит зеленая роса,
И наши петухи в задоре
Уж надрывают голоса...
Ах, радость ты моя и горе!
Скворцы, зорьки, воробьи
Свой начинают день рабочий...
У всякого дела свои!
Ну, просыпайся же, сыночек!
Буренушка зовет на луг.
Вставай, мой любимый, мой родимый. —
А голос мамы мимо... мимо...
И удался... И потух...
... — Вот сумка для тебя с едой.
Твои любимые пампушки...
Проснись, не то хлестну водой,
Как лед холодной. Где там кружка?!

Хочу я сон стряхнуть скорей,
Но вновь манит уют постельный.
Наверно, голос матерей
Всегда нам вроде колыбельной.



ГЮНТЕР ГРАСС

★

МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ*

Роман

Во всяком случае, мы переехали границу без приключений, Линда крутила баранку. И спустя полтора дня достигли цели. При том темпе, который задал Крингс, у меня не оставалось времени удовлетворить свой интерес к памятникам старины. И все же, сидя спереди рядом с Линдой, я время от времени рассказывал моим спутникам кое о каких соборах и о множестве французских замков, а позже об особенностях норманнской архитектуры в целом, и мои истории не вызывали возражений со стороны Крингса (равно как и тети Матильды). Но Линда вдруг возмутилась. Она знала о моей неодолимой потребности толкать речи и все объяснять: «Прекрати наконец свои дурацкие лекции по эстетическому воспитанию».

(Отчасти она была права. Собственно, только на побережье я должен был воспрянуть духом и показать крупным планом вещественные доказательства достижений немецкой цементной промышленности, показать их в полном блеске. Это заинтересовало бы и мой 12«а». «Поверьте, Шербаум, как они стояли, так и стоят: огромные бункеры, покосившиеся от артиллерийских обстрелов, которые вели с кораблей, многие пробитые насквозь. Бетонные сооружения стали частью пейзажа. Каждый кинооператор мог бы только мечтать о такой натуре — невозмутимые серые плоскости, говорящие сами за себя. Резкие тени. Насыщенный цвет впадин. Ничуть не выцветшие бетонные плиты. То, что мы называем сегодня арбетонем. Возможно, вы не согласитесь с моими впечатлениями, сходя их за эстетское кривлянье, и все же я склонен говорить о стоической невозмутимости бункерных контуров. Разве бетонный бункер нельзя назвать исконным прибежищем стояка?»)

Я всерьез предложил Крингсу, внимательно выслушавшему мое сообщение о развитии немецкой цементной промышленности на основе вулканических туфов в годы последней войны, назвать наш новый сорт цемента, предназначенный для высотных железобетонных зданий, именем римского философа Сенеки. Однако он не согласился. (Возможно, уловил в моих словах насмешку.) Ибо когда я — мы стояли в то время на правом берегу устья Орна — начал восхвалять строительство огромных бункеров, объясняя, что подобная архитектура и есть единственная художественная ценность, созданная XX веком, когда я пропел гимн во славу неподкупно-сурового бетона и лишенных украшательств оборонительных сооружений, он одернул меня, крикнув: «Ближе к делу!»

Позже зубной врач заметил:

— Вы вспоминаете о Крингсе с иронией, изо всех сил стараясь скрыть свое восхищение.

Пока мы с Крингсом осматривали крутой берег у Арраманша, дантист говорил по телефону с коллегой о цикле лекций по кариесу, который он начал читать

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

в Народном университете в Темпельхофе: посещаемость, увы, оставляет желать лучшего, к сожалению, оставляет желать лучшего...

Я распрощался с норманнским пейзажем и с бункерами и опять встретился с Хильдой и Ингой у бука, клонящегося под тяжестью цементной пыли. Девушки, щебеча, рассказывали о каникулах в Италии.

«Ну а как ты, милашка Харди?»

«Что происходило на суровом Севере?»

Я описал пребывание в Кабуре и поездки оттуда к бетонным свидетелям былых военных действий.

«До чего увлекательно».

«Неужели там еще остались самые настоящие бункеры, куда можно зайти, если захочешь?»

Я ответил, что посетителям отнюдь не возбраняется осматривать бункеры, изнутри основательно загаженные любовными парочками, более того, при желании можно влезть на крышу и, скажем, держать оттуда речь.

«Тогда изобрази папашу Крингса на крыше бункера...»

Я взял садовый стул — допустим, это бункер, — взобрался на сие шаткое сооружение и довольно верно передразнил Крингса: «Я сбросил бы их всех в море! Зачем говорить о превосходстве в воздухе? Разве в Курляндии у нас было превосходство в воздухе? Я ввел бы в бой и штабы и финчасть — словом, все тыловые службы! Ох уж этот Шпейдель с его интеллигентиками из генштаба. Что угодно, лишь бы быть подальше от фронта. Разжаловать в солдаты и отправить на передовую. Тогда враг не продвинулся бы ни на метр, не продвинулся и у Полярного круга, и в низовьях Днестра, и после третьего сражения за Курляндию, а также на Одере...»

Только тут появляется Линда. За всю поездку моя невеста не проронила ни слова. Однако сейчас Линда заговорила (Крингс: «В чем дело, Зиглинда? Ты иначе оцениваешь обстановку?»), нет, не просто заговорила, а вступила в игру: «Если мне не изменяет память, тебе пришлось убраться с предместного укрепления в Никополе. Твоя карьера в курляндском котле началась с отвода армейской группы «Нарва». Нет никаких оснований считать, что ты смог бы предотвратить высадку во Франции, ведь на востоке ты не сумел удержать центральный участок фронта. Вспомни прорыв генерала Конева между Мускау и Губеном. Без него наступление через Шпремберг и Котбус на Берлин было бы невозможным. Сплошное проигранные сражения. Пора сдаваться, отец».

Ни я, ни девушки в Сером парке не предполагали, что Линда (Зиглинда) может быть такой. Я слез со стула и прекратил спектакль. Хильда и Инга сперва разинули рты, потом захихикали — их познабливало. Собрали разбросанные журналы мод. Но Линда не дала нам смущенно удалиться:

«Что вас, собственно, удивляет? Отец хочет выигрывать сражения, которые проиграли другие. А поскольку наш друг Эберхард — большой ценитель прекрасного — восхищается им как неким ископаемым, приходится мне наносить отцу поражения, и притом на всех фронтах, о которых он только упомянет».

Я остановил киноленту. (Линда молчала в неестественной позе. Она уже все решила. Подружки были явно растеряны. Цементная пыль оседала повсюду — это, я полагаю, само собой разумеется.)

— Вы, конечно, понимаете, доктор, что позиция Линды способствовала созданию весьма болезненной ситуации.

— Нельзя так легкомысленно бросаться словом «боль».

— Перемена, происшедшая с моей невестой, ее внезапное охлаждение — ведь с тех пор я стал ей в тягость — все это превратилось для меня в постоянный источник боли.

— Давайте вернемся к другому примеру, к зубным нервам...

— Кто здесь рассказчик, доктор?..

— Как правило, конечно, пациент, но если у меня есть другая версия... Кризис в вашей помолвке подобен нерву в больном зубе: когда в пульпу вносится инфекция, образуются газы, вывести их наружу можно, только просверлив отверстие. Но если человек будет без конца откладывать визит к зубному врачу, газы проложат себе дорогу к корню зуба. Вместе с жидким гноем они будут давить на челюстную кость, поражая ее. Это приведет к так называемому **флюсу**,

который превратится в абсцесс или — давайте вернемся к вашей помолвке — в некую вспышку тотальной ненависти. Часто через много лет ненависть выливается в действия (в желание расквитаться), а это значит, что ненависть растет; ведь вам, не правда ли, доставляет удовольствие представлять себе, что все в вашей власти — вы можете удушить бывшую невесту велосипедной цепью или ослепить магниевой вспышкой. Причина: давно пережитое чувство неполноценности. То, что дети называют бобо, ничего необычного. Поэтому я и прошу не злоупотреблять словом «боль». По-настоящему болезненное вмешательство вам вообще не выдержать. Вспомните жанровые сценки на полотнах «малых голландцев», например у Адриана Брауэра¹. На его картинах зуболом — так в средние века называли дантистов — влезал щипцами, какие мы в наши дни вообще не держим в своих ящиках с инструментами, прямо в рот крестьянину, чтобы сломать ему коренной зуб. Тогда зубы не удаляли, их ломали. Корень медленно догнивал за исключением тех случаев, когда это приводило к смертельному исходу — заражению крови. Можно предположить, что лет триста назад смерть от гнилых корней была весьма частым явлением. Да еще сто лет назад извлечение коренного зуба считалось серьезной операцией. У нас, в берлинской клинике Шаритэ, четверо здоровенных мужчин держали пациента, и только тогда пятый без местного наркоза — в крайнем случае мазали небо кокаином — мог удалить коренной зуб. Я вспоминаю рассказы моего отца, врача: один человек держал левую руку пациента, другой упирался ему коленом в живот, третий водил правую руку несчастного над пламенем свечи — эта боль хоть немного отвлекала от основной, — четвертый готовил инструменты. Как-нибудь я вам покажу их на картинке. В наш просвещенный век мы не нуждаемся в таких силовых приемах благодаря широкой развитой технике анестезии. Итак, сейчас я сделаю первую инъекцию. Основа основ всякого местного наркоза — жидкость под названием новокаин, одно из производных аминобензойной кислоты. Однако чтобы этот противный укольчик оказался не слишком чувствителен, могу призвать на помощь телеви...

(По первой программе шла передача, в которой знаменитая собака обнюхивала бараки.)

Не важно, кого она ищет. Не важно, что там, в этих бараках. Главное — первый барак будто по заказу пуст. Именно в таком бараке, из которого все вынесено. Крингс приказал поставить ящик с песком — достаточно длинный, чтобы расположить фронт на Белом море, и достаточно широкий, чтобы поместить центральный участок фронта. Установить ящик и соответственно оборудовать его с помощью электрика было довольно сложно — все сооружение напоминало детскую железную дорогу с целым лабиринтом путей, одну из тех игрушек, для которой надо иметь бешеные деньги и адское терпенье, там были предусмотрены электромеханическая централизация стрелок и сигналов, четырехполюсный главный распределительный щит, множество переключателей и контрольных щитов, ибо все происходящее на фронтах — атаки и контратаки, отвод войск и выравнивание линий фронта, прорывы и отход на промежуточные и временные рубежи обозначались сигнальными лампочками различных цветов; обе воюющие стороны имели специальные пульта управления, для того чтобы командующие могли включать и выключать сигнальную систему. Словом, денег не жалели. А теперь угадайте-ка, доктор, как звали электрика, который только что прогнал эту телевизионную псину из барака и построил Крингсу его игрушку... Вот именно, Шлоттау. Крингс вызвал к себе заводского электромонтера и сказал: «Справитесь?» И Шлоттау, у которого был свой счет к Крингсу, встал навтыжку: «Так точно, господин генерал-фельдмаршал».

Мой зубной врач сказал:

— А теперь сделаем в нижней челюсти проводящую анестезию, это значит, что нерв будет на время блокирован у входа в канал...

(Еще сегодня я горжусь: короткий противный укольчик не помешал мне увидеть то, что я хотел, — рядом с Крингсом стояла Линда, а я в это время стоял рядом с Линдой, которая встала напротив Шлоттау. Именно она порекомендовала Шлоттау отцу: «Обратись к заводскому электрику. Энергичный парень...»)

¹ Брауэр Адриан (1605 или 1606—1638) — фламандский живописец.

— А теперь, чтобы дополнительно обезболить десну, применим опять же местное обезболивание...

(Для тренировки они выбрали линию Метаксаса² — Крингс и его 6-я горнострелковая дивизия совершили прорыв этой линии 6 апреля 1941 года; два атакующих клина — своего рода ударные войска.)

— А теперь повторим эту процедуру внизу слева...

(Шлоттау построил Крингсу первую и вторую линии обороны — в общем, старику было что прорывать. Ах, как он разбомбил позиции греческих бригад, вооруженных только легкой артиллерией, с помощью авиационного корпуса пикирующих бомбардировщиков под командованием самого Рихтофена³, а потом, когда зажглась зеленая лампочка, ввел в бой 141-й горнострелковый полк. Любодорого смотреть!)

«Здорово получилось, Шлоттау. А теперь займемся Демьянском...»

Не успел Шлоттау сказать: «Но тут нам понадобится новый пульта для...» — как мой зубной врач попросил меня пройти в приемную и посидеть там, пока не подействует обезболивающее...

— Минутку, доктор, минутку. Исходный плацдарм для наступления в Демьянке мог быть достигнут лишь при успехах операций «наводка моста» и «забортивный трап»...

— Будьте добры пройти все же в приемную...

— Линда в первый раз села за второй пульт управления, который смастерил Шлоттау. Она отрезала сильно выдвинутые вперед подразделения отца и пробила в его фронте брешь протяженностью в шесть километров...

— Ну а теперь прошу вас серьезно, дорогой друг...

— Иду, иду, сию минуту...

— В комнате вы найдете журналы для чтения...

(А я хотел всего-навсего добавить, что Крингсу наконец пришлось почувствовать волю дочери. С большим трудом, прочесав тылы и бросив на передний край даже полевые кухни, он сумел ликвидировать прорыв. И все же генерал не желал уйти из Демьянска. Но кого вообще в наше время может интересовать Демьянск? Разве что мой 12«а».)

Когда я уходил от зубного врача, телевизионная собака Ласси уже снова обнюхивала барак — она явно кого-то искала... Но кого?

«Квик», «Штерн», «Бунте», «Нойе». (Торопливо, иногда пропуская страницы — ведь я ждал чего-то, — я перелистывал эти иллюстрированные журналы, взятые зубным врачом на дом из библиотеки. То шелест, то шорох страниц и бесконечный плеск на одной и той же ноте, не захочешь — побежишь в уборную. Этот звук шел от подсвеченного фонтанчика, который должен был успокаивать нервы пациентам. Я не хотел, чтобы в этой комнате у меня появилась боязнь закрытого пространства, и старался заглушить шелестом бумаги плеск фонтанчика. Да, слух мне еще не изменил. Только небо, язык и даже глотка — в общем, вся пасть была покрыта, точно пленкой, бараньим салом.) Чтение сквозь жир.

Заголовки: «Противозачаточная пилюля — за и против». «Рак излечим», «Еще одна версия убийства Кеннеди». Сидя в приемной зубного врача, можно ждать в страхе вместе со всем миром, не потеряет ли Софи Лорен второго ребенка. Это беспокоит нас так же, как и запутаннейшая история с судебной ошибкой — это был он... да, кто же это был? — которую удалось раскрыть лишь спустя двенадцать лет. Фотография — ужасное последствие ошибки — вопиет к небесам, но я быстро перелистываю страницу. Нефтяную чуму — к черту. И Южный Судан тоже. Но вот этот разворот не зачеркнешь. Вызывает целую цепь ассоциаций. Ширах⁴ сказал, что он был ослеплен, раскаивается и предостерегает, врет довольно искренне. Исправляет историю как надо. В Веймаре в первый раз. Обед из пяти блюд в «Кайзерхофе»⁵. Крахмальные манишки, осве-

² Метаксас Иоаннис (1871—1941) — премьер-министр Греции, 6 апреля 1936 года осуществил фашистский переворот.

³ Рихтофен — фашистский ас, один из любимцев Геринга

⁴ Ширах Вальдур фон (1907—1974) — нацистский политик, руководитель гитлерюгенда. Приговорен в Нюрнберге к двадцатилетнему заключению. В ФРГ вышли его мемуары.

⁵ Берлинская гостиница, где останавливался Гитлер перед захватом власти.

ценная рампа в Байрейте. Сентиментальные семейные сценки. Он в коротких штанишках. «Вот как выглядел, Шербаум, мой рейхсфюрер, вождь всей немецкой молодежи...» Налитые икры в белых гольфах. Только в Шпандау⁶ он стал стоиком.

(Ведь еще Сенека советовал своему ученику Луцилию⁷ уйти с государственной службы: «Никто не может приплыть к свободе с поклажей на спине...») И он только и делал что сбрасывал с себя груз прошлого; аналогично мог бы поступить и Крингс: начать все сначала, взяв за исходную точку трудное детство. Небезызвестный генерал-фельдмаршал, еще будучи гимназистом («В вашем возрасте, Шербаум!»), должен был защищать почти разоренное отцовское дело — мастерскую каменотеса — от напора кредиторов. Оборона стала его коронным номером. Так он и превратился в Генерала-ни-шагу-назад. От базальтовых карьеров на Майенском поле до фронта на Белом море и укреплений на Одере. Он всегда в обороне. Не считая единственного прорыва на линии Метаксаса, он ни разу не наступал. Бедняга Крингс... Если бы я захотел написать его историю — этакий сериал — для «Квика» или «Штерна», то обязательно развил бы в ней мысль о «комплексе Крингса». Я мог бы сравнить этот комплекс с другими (например, с наполеоновским комплексом Иосифа Прекрасного) и задать такой вопрос: чего избежал бы мир, если бы экзаменаторы Академии художеств в габсбургской Вене не провалили бы абитуриента Гитлера, а, наоборот, зачислили бы его?.. Ведь, в сущности, он хотел стать живописцем. Да, наши соотечественники никак не могут смириться, признать неудачу. Неудачниками у нас хоть пруд пруди, и все они жаждут мести. Выдумывают себе врагов и разные истории, в которых эти выдуманные враги уничтожаются ими. Пулемет — естественный аргумент этих узколобов. В разных вариантах они убивают одного и того же противника. На своих зеркальцах для бритвы малюют слово «переворот». В книгах видят только себя. Не успев расхлебать одну кашу, заваривают новую. И не забывают обиду, даже самую мелкую, потерявшую за давностью лет силу. Они тщательно возвращают свои мрачные желанья. А желают только одного: уничтожить, упразднить, затыкать рот. Когда же им снимают зубную боль, они торопливо и жадно набрасываются на иллюстрированные журналы...

Вот он!.. Вот он здесь и намерен поставить точки над «и» с помощью армейского револьвера, того самого, из которого в годы второй мировой войны солдаты вермахта стреляли в ближнем бою и которым размахивали. Знаменитым «ноль-восемь», еще находящим применение в ближневосточных странах и в Латинской Америке, старым, добрым шестизарядным армейским револьвером, который я приобрел за довольно крупную сумму в бытность мою водителем такси, после того как в Гамбурге только за один месяц ужокошили трех водителей, — на газовые пистолеты я никогда не полагался и не полагаюсь и на перегородки между шофером и пассажирами тоже. — словом, с этим вполне действенным, хоть и запрещенным таксистам оружием в руках я покинул нашу спальню в семнадцать с чем-то часов в одной пижаме (предварительно сунув руку под подушку и сразу нащупав револьвер), а потом, стоя босиком, в одной пижаме, я сперва застрелил моего трехлетнего сына Клауса, чей писк и визг много раз будил меня, пока не разбудил окончательно, хотя я лег только в шестнадцать часов, отработав целую смену, двенадцать часов подряд. Пуля вошла около правого уха ребенка — падая, он перевернулся, и я увидел под левым ухом выходное отверстие раны величиной с мяч от настольного тенниса, из него хлестала кровь. Только теперь тремя выстрелами — один за другим — я убил мою двадцатитрехлетнюю невесту Зиглиндю, которую я и все наши друзья называют Линда. Когда я стрелял в ребенка, невеста вскочила, и моя пуля попала ей в живот, да, в живот, и в грудь, после чего она повалилась в кресло, где сидела до этого и читала иллюстрированные журналы «Квик», «Штерн», «Бунте» и «Нойе», взятые домой из библиотеки: да, она читала, вместо того чтобы негромким голосом утихомиривать Клауса, и в результате пришлось сунуть руку под подушку, вылезти

⁶ Тюрьма где отбывали свой срок осужденные Нюрнбергским трибуналом нацистские военные преступники, в том числе Бальдур фон Ширах.

⁷ Луцилий Гай (около 180—120 г до н. э.) — автор стихотворных «Сатир», член кружка Сципиона Старшего Африканского.

из спальни босиком и застрелить нашего ребенка, а потом и ее — мою невесту. Закричала не только моя будущая теща, закричал и я: «Дайте спать! Поняли? Дайте спать!» Вслед затем двумя последними пулями (на меня пуль не осталось) я смертельно ранил ее мамочку, прострелив ей левую руку у предплечья и шею; правда, сонную артерию мамочки, пятидесятисемилетней вдовы, сидевшей за швейной машиной, я не затронул: после выстрелов мамочкина голова с накрученными бигуди ударилась о крышку швейной машины и только потом упала на коврик у швейной машины. Сама же вдова боком сползла со стула, потянув за собой шитье, и начала издавать (после выстрела в Клауса и трех выстрелов в Линду она неоднократно вскрикивала: «Харди!») булькающие и свистящие звуки, которые я опять же пытался заглушить криком: «Дайте спать! Понятно? Дайте спать!» Случилось все это на третьем этаже новостройки в Берлине-Шпандау. Квартплата за двухкомнатную квартиру с большой кухней составляла 163,50 западных марок, без отопления. Три с половиной года назад мы отпраздновали помолвку с Линдой. По существу, квартира принадлежала ее мамочке и Линде с ребенком (меня они третировали как жильца и, соответственно, обирали). Сначала я работал у «Сименса», потом поменял профессию; надеялся, что, став водителем такси, буду больше зарабатывать и смогу жениться, потому что я привязан к ребенку. Комнаты у нас довольно светлые. И иногда летом мы сидим по вечерам на балконе и глядим, как за крышами нашего нового района, в Берлине, в ГДР, поднимаются в небо разноцветные ракеты — тот Берлин от нас совсем близко. У меня совершенно незапятнанная репутация. С Линдой я познакомился у «Сименса». Какое-то время она работала там мотальщицей, но ей пришлось уйти, так как она училась на парикмахершу и от химической завивки у нее всегда были влажные руки. Скандалов у нас с ней почти не бывало. А если и случались, то только из-за квартиры; из-за страшной слышимости. (Но я всегда брал себя в руки. Только в семнадцать лет я был агрессивный малый. Но в ту пору шла война, и молодежь повсюду одичала.) Когда я еще работал у «Сименса», даже Линда мне говорила: «Уж слишком ты покладистый, мужчина должен уметь постоять за себя». Она была права: по существу, я человек скромный и бережливый. Например, я читаю только те газеты, которые пассажиры забывают в машине. (После работы, по вечерам, я никогда не позволяю себе пропустить две-три кружки пива, не то что другие шоферы.) Охотней всего я разъезжаю в районе Шпандау и его окрестностях, но с тех пор как провели автостраду через город, езжу и по центру. И притом без аварий. По существу, я хотел бы продолжать учебу, но это никак не получалось. Жилищные условия неподходящие, ребенок вечно пищит. Вот уже два года как я не отдыхал по-настоящему. Только раз, вскоре после помолвки, мы съездили в Западную Германию, в Андернах, это место нравилось мамочке. Она находила, что там красиво. Мы стояли на променаде у Рейна и наблюдали за пароходами. Это было незадолго до рождения мальчика. У меня заболели зубы, ведь на берегу всегда ветрено. Но Линда обязательно хотела иметь ребенка. После войны я, собственно, решил пойти в таможенники. Но меня провалили на экзамене. Потом все пошло просто. С ключом от машины, но по-прежнему в одной пижаме (в коридоре я надел, правда, шлепанцы), держа в руке мой «ноль-восемь» с пустой обоймой, я вышел из квартиры, из нашего дома-новостройки, не встретив никого из соседей. Машина стояла внизу, но это получилось случайно, я собирался везти ее на профилактику. Я ездил почти до полуночи: сперва поехал в Ной-Штаакен, потом миновал Пихельсдорф, проехал по Хеерштрассе до Вестэнда и от Шарлоттенбурга вверх через Юнгфернхейде, Рейникенсдорф и Виттенау до Хермсдорфа, а после отправился в обратный рейс. Во всяком случае, я сразу перешел на прием. С двадцати одного часа меня стали вызывать в парк. И мои коллеги тоже пытались уговаривать меня. Полицейские машины остановили мою машину, когда с площади Теодор-Хейсс я опять поехал по Хеерштрассе, чтобы свернуть на Хавельское шоссе и двинуть в гору к дому. Кажется, я сказал: «Это не я. Они не давали мне покоя. Моя невеста нарочно не утихомиривала мальчишку, когда он пищал. Решили меня доконать, давно этого хотели. И почему мне не дали стать таможенником? Вот у меня и не выдержали нервы. Вдобавок болят зубы. Уже очень давно. Да, застрелил их из «ноль-восемь». Бросил его в Штессензее. Прямо с моста. Ищите там».

По существу, я этим летом собирался опять в Андернах. Нам тогда там понравилось. Фирме я задолжал за холостой пробег. Пусть вычтут, а меня — оставят в покое. Хотя на эти деньги (только не спрашивайте, сколько стоит револьвер) я мог бы сходить к зубному врачу. У моего стоит телевизор для отвлечения. Эту историю им следовало бы использовать для «Панорамы» — «Удешевленное социальное строительство и его последствия». Я изображу, как сунул руку под подушку. А не то для «Квика» или «Штерна», Это им сгодится. И люди увидят меня повсюду, даже в приемной у зубного врача рядом с фонтанчиком, который специально журчит, чтобы успокаивать пациентов; в приемной обязательно листаешь и перелистываешь всякую макулатуру до тех пор, пока не подает иньекция и у тебя не распухнет язык и помощница не встанет на пороге и не скажет:

— Теперь пора, давайте приступим...

Зубной врач меня похвалил:

— От проводниковой анестезии язык тоже немеет, если иньекция распространяется и на подъязычный нерв.

(Боль отпустила, все кончилось, даже не вспомнишь. Один раз как будто дернуло — но это мог быть просто рефлекс, — потом боль утихла.) На Гогенцоллерндамм мела метель — слева направо. (Я это видел не по телевизору — кабинет дантиста выходит окнами на улицу.) Немо поблескивал телеэкран. А мой пересохший рот тоже онемел. («Случалось, что при наркозе особо недоверчивые пациенты для пробы кусали язык и калечили его».) Голос врача звучал как сквозь алюминиевую фольгу. («А теперь мы снимем с зубов колпачки...») Мой вопрос: «Что значит снимем?» — тоже звучал приглушенно, словно изо рта шли, булькая, пузыри с надписями. Только когда врач вплотную придвинулся ко мне и обдал своим дыханием, сказав: «Их снимают пинцетом, откройте, пожалуйста, пошире рот...» — я сдался и громко произнес: «Да».

Пальцы-морковины опять тут как тут. Навесили слюноотсосы, прижали язык куда-то к небу. (Хотелось укусить. Вообще как-то действовать. Или искать у Сенеки утешения.)

— Как вы считаете, доктор, не повлияла ли зубная боль на некоторые исторические события? Ведь более или менее доказано, что сражение при Кениггреце Мольтке выиграл, несмотря на сильную простуду, да, в связи с этим следовало бы, наверно, проверить, помешала или помогла Фридриху Великому подагра в конце Семилетней войны. Особенно если учесть, что для Валленштейна подагра играла роль допинга. Что касается Крингса, то этого видного мужчину, как известно, язва желудка побудила удерживать оборону во что бы то ни стало. Не спорю, конечно, что подобная интерпретация противоречит общепринятому в нашей стране взгляду на историю: даже мои ученики, особенно мальышка Леванд, называют ссылки на личные обстоятельства в жизни исторических деятелей антинаучными, обвиняют меня в персонификации истории: «Вы снова возвращаетесь к культуре личности». И все же я спрашиваю себя, не способствовала ли зубная боль в частности и всякая боль вообще...

— Может быть, нам все же обратиться к телевизору?

Не только на улице, но и на телеэкране мягкий снег мел слева направо. (Ах, ребятишки не желают идти спать. Все время что-то придумывают — хотим Песочного человечка⁸! Хотим Песочного человечка!) Посреди забавного, сделанного из ваты пейзажа паслось не ведающее боли стадо. Шел ватный снег. Коровы колокольчики не были слышны. Бесшумные движения одно за другим. (Песочный человечек в Западной Германии и Песочный человечек в Восточной Германии — и тут и там двадцать пять кадров в секунду, — но они не знают друг с другом.) Песочный человечек — маленький, скромный помощник на все случаи жизни. У Песочного человечка одно желание — приносить счастье. Он легко протирает ваткой лицо моей бедной невесты, в которую я пустил три пули. Лицо это уже оставила боль (разбудить поцелуем! разбудить поцелуем!).

⁸ Сказочный персонаж повести Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек», который, засыпая людям глаза песком, погружает их в сон. Непременный участник детских передач.

И когда зубной врач сказал: «А теперь полощите, пожалуйста, полощите как следует!» — я не хотел полоскать, хотел увидеть Песочного человечка, Песочного человечка...

Свое видение я вместе с плевком отправил в плевательницу.

«Нет, Линда. Этого ты не должна была делать...»

«Чего не должна?»

«Ну, с электриком за то, что он выдавал тебе планы наступления, которые твой папа намерен был осуществить в...»

«Электрик снабжает меня информацией».

«И из-за этого ты ложишься с ним на мешки с цементом...»

«Если я его не допущу, он язык проглотит».

«По-моему, это называется быть продажной девкой...»

«Чепуха. Я думаю о чем-то постороннем: о Петсамо или о прорыве под Тулой через Оку до Орехова».

«Какая гадость!»

«Меня это мало трогает...»

(Тут зубной врач объявил, что с полосканием пора кончать.)

— Еще немножко здесь. И здесь тоже. А теперь примерим сделанные вчера платиново-золотые коронки. Хотите поддержать их?..

Для пробы я так и сделал — поддержал и взвесил на руке. Линда (на мешках с цементом) не появлялась все то время, что я подкидывал платиновые коронки на правой (не онемевшей) ладони. («Видите ли, Шербаум, где вам в вашем возрасте понять всю весомость зубного протеза для руки сорокалетнего штудииенрата».)

— Очень даже впечатляет, доктор.

Зубной врач заявил, что теперь он намерен с помощью особого розового гипса снять слепок с зубов (и корней) моей нижней челюсти.

— Когда гипс затвердеет, слепок выламывают и соединяют уже вне полости рта.

Я прицепился к одному слову:

— Вы сказали «выламывают»?

— К сожалению, этой процедуры не удастся избежать...

— Что означает «выламывают»? Объясните.

— Иначе не назовешь, как ни крути.

— А я?

— Вы ничего не почувствуете. Будет немного жать, потом появится неприятное, хотя и обманчивое ощущение, будто вместе с гипсом выламывают и челюсть.

— Нет. Я больше не хочу.

(«Вы правы, Шербаум. Это не по мне. Пусть класс проголосует, жизнь или смерть...»)

— Моя помощница уже замешивает гипс...

— Я и так настрадался... (Мой 12 «а» уже все до одного опустили большие пальцы, и Веро Леванд подсчитывает голоса.) Если бы вы познакомились с моей невестой... (Только Шербаум даровал мне жизнь.)

— Ладно, выкладывайте все как на духу...

— Она завела шашни с заводским электриком...

— Кажется, его звали Шлоттау?

— Точь-в-точь как в шпионском фильме Плотские утехы в обмен на секретные военные сведения. Пойдите, доктор, не замешивайте гипс. Она тащила его за собой. На склад пемзы. И там между катками. Он спускал брюки, она трусики. Только стоя. Она смотрела через его плечо и видела две трубы завода Крингса, а стало быть, и выброс цементной пыли. Конечно Он кончил!

Реплики зубного врача касались исключительно его работы. Он просил открыть рот пошире, еще шире и дышать носом, а в это время накладывал маленькой специальной ложечкой особый гипс на зубы и корни нижней челюсти.

— Только не глотайте, пожалуйста. Гипс быстро твердеет.

Бедный Шлоттау. Не успевал он кончить, как его заставляли говорить. «Где под Тулой? Какие дивизии он бросит в бой? Кто будет осуществлять фланговое прикрытие?» Линда записывала (И мой зубной врач тоже углубился в картотеку.

— Две-три минуты придется подождать. Гипс, твердея, быстро остывает, вы ничего не почувствуете. Расслабьтесь и по-прежнему дышите носом.)

По телевизору показывали рекламу: Линда между глыбами туфа, на катках говорила: «„Осрам“ сияет, как ясное солнышко». И под занавес выведывала последнее: «Откуда он получил зимнее обмундирование для Четвертой армии? Где дислоцирована Двести тридцать девятая сибирская стрелковая дивизия?» И Шлоттау, не обращая внимания на другую Линду с ее «Диппили-ду, Диппили-ду — новый лак для волос», рассказывал о наметках Крингса — наступление из района Тулы с целью окружения. Посреди охряно-красной рекламы он своими пальцами электрика показывал, как передовые части Крингса намерены атаковать из Наширы Москву. Линда в телевизоре смеялась, причмокивая, сосала через соломинку, громко ликовала: «Нет ничего вкуснее нашей фанты, нашей фанты, фанты»... После она рекламировала известное моющее средство: «Замачивайте белье в „Ариэле“». А теперь заявила: «Я вообще остановлю его на линии Тула — Москва». И показывала на карте соответствующую железнодорожную линию, угваривая: «Наденьте хоть раз ботинки „медикус“ и убедитесь — только „медикус“». А сейчас она фотографировала своей «лейкой» (можно подумать, она рекламировала «лейку») секретные планы Крингса. Шлоттау, ухмыляясь, опять предлагал свои услуги: «Я вроде бы не прочь повторить...» Но Линда уже получила нужную информацию. Она стерла Шлоттау с экрана и провозгласила: «Маргарин необходим, как хлеб насущный», а потом втолкнула в кадр морозилку и улеглась там сама между шпинатом, морожеными курами и пакетами с молоком

Ах, как она законсервировалась. Верна себе, прекрасно сохранилась. И как бойко рекламировала свежзамороженные продукты, стало быть, самое себя «Да, свежие овощи еще дороги, но как вспомнишь, что в мясе не будет ни отходов, ни костей и не придется нудно перемывать продукты — сколько трудов стоит приготовить хотя бы красную капусту, — то окажется, что даже наши готовые изделия, которые прямо из морозилки можно поставить в духовку, сравнительно дешевы, — словом, не упустите шанса, используйте морозилку и для себя лично; добро пожаловать туда часика на два-три. Вы выйдете из нее омоложенным, словно испили живой воды».

С ловкостью истой спортсменки она выпрыгнула из холодильника и начала вытаскивать оттуда замороженные продукты. «Сейчас, к примеру, я покажу вам моего бывшего жениха. Я держала его в самом низу под фаршем, стручковой фасолью и окуневым филе. Сейчас вид у него несколько окоченевший и он кажется довольно старым, но стоит ему оттаять, как вы сразу заметите, до чего же он хорошо сохранился для своих сорока лет. Скоро он уже начнет молоть языком — перечислять даты и мирные договоры, отличительные черты архитектурных стилей и разных принципов. Ибо свой дар экспромтом произносить речи об исторических вехах, об искусстве для искусства, о педагогике и об абсолюте, об Архимедах-бартольдедах, о Марксе и Энгельсе и еще о туфовом цементе и вращающихся фильтрах-пылеуловителях он отнюдь не утерял, так же как и свое обаяние и несколько ханжеское правдолюбие. Вот разве что зубы у него слегка подкачали. Его так называемый обратный прикус, можно сказать, законсервировался. Придется ему пойти к зубному врачу и вытерпеть вмешательство Его ученики — ведь он стал студентом, типичным студентом — того же мнения, что и я. Они опустили большие пальцы, проголосовав против него. Теперь ему надо молчать в тряпочку и дышать ртом. Если бы он только не был таким трусом и нытиком...»

Зубной врач заслонил телевизионный экран своей мерно дышавшей грудной клеткой и сказал:

— А теперь пора, давайте...

После чего ухватился обеими руками за мою челюсть. (Почему только он не пристегнул меня к креслу ремнями?) Его помощнице пришлось силой удерживать меня в этом зубо-врачебном сооружении. Ну начинай же, начинай! (Сейчас и речи

не могло быть ни об автоматике, ни о разбрызгивателе с теплой водичкой. Средние века вернулись: врач и пациент снова меряются силой.) Боли я не чувствовал и потому решил ее домыслить: впечатление было такое, что они принимали у меня неправильные роды, вот-вот изо рта появится гипсовый эмбрион. Да, они хотя и извлечь из меня тайный плод на седьмом месяце. (Ладно, доктор!) Я во всем признаюсь, все расскажу! Когда Линда путалась с этим Шлоттау, я без особого пыла ложился на разного рода подстилки с ее приятельницами, сначала с Ингой, нет, извиняюсь, сначала с Хильдой, а потом уже с Ингой. Но это не помогало. Тогда я сказал Линде: «Окозаокозубазуб» — и она все сразу поняла: «Как я рада, что ты наконец утешился и не будешь больше влезать между мной и отцом. Тебя это не касается, это наше дело. Ведь ты понятия не имеешь, что он задумал там, на Тереке. Не знаешь, где находится Терек и где предместное укрепление в Моздоке, которое он хотел оставить у себя в тылу, чтобы по старым военным грузинским дорогам пойти на Тифлис и Баку. Ему мерещится нефть, кавказская нефть. Не лезь ты в это дело. А еще лучше вообще убирайся. Я желаю тебе добра. Нужны тебе деньги?»

В эту секунду помощница приложила влажную ладонь к моему лбу: адские родовые муки кончились, и на стеклянной поверхности столика для инструментов появился слепок моей нижней челюсти с обточенными и необточенными зубами: вид у слепка был чрезвычайно ехидный, ибо в нем таилось множество противоречий.

— Скажите, доктор, каково ваше мнение о советской системе?

— Нам, западным немцам, не хватает глобальной всемирной поголовной профилактики на базе соцстраха. Будьте любезны, не забывайте полоскать.

— Но при какой системе должна существовать эта ваша поголовная профилактика...

— Она заменит все нынешние системы...

— Разве ваша поголовная профилактика — она очень напоминает мой проект глобальной Педагогической провинции* — не является сама по себе системой?

— Всемирная поголовная профилактика на основе соцстраха не имеет касательства к идеологиям; она и есть базис и надстройка всего человеческого общества.

— Тем не менее моя педагогическая система, в которой будут только учащиеся и не будет учащихся...

— Она волей-неволей подчинится вашей новой терапии...

— Но ведь поголовная профилактика предназначена только для больных людей...

— Будьте любезны, в промежутках полощите... Все люди болеют, болели, заболевают и умирают.

— К чему все это, если нет системы, которая учит человека, побуждает его подняться над собой?

— К чему нам такие системы, которые не дают людям болеть в свое удовольствие? Ведь все системы считают высшим критерием и целью здоровье.

— Но раз мы хотим устранить человеческие недостатки...

— ...Тогда придется устранить и самого человека. А теперь, будьте любезны, еще раз...

— Не хочу я больше полоскать.

— Подумайте о металлических колпачках.

— Но можно ли изменить мир без какой-либо системы?

— Отменим все системы — вот он и изменится сам.

— Кто их отменит?

— Больные. Чтобы наконец-то можно было провести всемирную поголовную профилактику на базе соцстраха. И она будет не править нами, а печься о нас, захочет не менять, а помогать и, как было сказано Сенекой, даст нам досуг предаться недугам...

— Вы хотите превратить мир в больницу...

* Автор пародийно использует утопию Гёте из романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера», которая является воплощением мечты великого просветителя о совершенно новой системе воспитания.

— ...в которой больше не будет здоровых и никто не заставит вас сохранять здоровье.

— А что будет с моей Педагогической провинцией?

— Вы хотели покончить с различием между учащимися и учащими, а мы намерены раз и навсегда ликвидировать различия между врачом и пациентом... И притом действуя планомерно...

— Планомерно.

— Ну а теперь мы опять наденем металлические колпачки.

— Наденем металлические колпачки.

— Ваш язык привыкнет к инородным телам.

— Привыкнет!

(Мохнатая колода. Ну и черт с ним, с его соцстрахом, он мне сейчас не по зубам. Впрочем, даже нежное мясо вскормленного на одном шалфее барашка покажется моему омертвевшему небу резиной. Я, который так любил предвкушать, вкушать, раскусывать и закусывать, не различаю даже вкуса гипса.

— Ах, доктор! Вернуть бы мне сейчас мою молодость, любопытство, крепкие зубы и нормальные десны...)

Но ничего не произошло, зато я увидел на экране повара, который демонстрировал пылающие телячьи почки, политые ромом. А потом начали давать очень даже аппетитные рецепты: «Надеюсь, у вас нет отвращения к потрохам...» — которые все время прерывал мой зубной врач, разъясняя защитную роль металлических колпачков: «Не забывайте ни о холодном, ни о горячем. И никаких фруктов, ведь фруктовая кислота...»

(Мое небо по-прежнему ничего не ощущало, а в это время повар, ведущий передачу, разрезал телячью почку. Он откусывал от нее маленькими кусочками и смаковал; хорошо, что врач как раз закончил лечение, иначе я на всю жизнь возненавидел бы телячьи почки...)

...С чувством благодарности к врачу и к повару я закончил наш разговор:

— Как бы то ни было, Крингс начал разыгрывать в ящике с песком одно сражение за другим. И, естественно, его противником стала собственная дочь...

Потом я оставил в покое прошлое (временно) и вернулся к настоящему, к боли — вполне законное право каждого.

— Здесь тянет, доктор. Во всяком случае, я что-то чувствую.

Мой зубной врач (который до сих пор мой друг) пожертвовал мне арантил.

— В порядке глобальной профилактики, мой милый... Но прежде чем я отпущу вас совсем, давайте быстренько выберем по таблице цвет для ваших фарфоровых мостов. Мне кажется, этот белый цвет с легкой желтизной, переходящий в тепло-серый, подойдет лучше всего... Как он вам?

Помощница (которая должна была досконально изучить мои зубы) одобрила выбор врача кивком, и я не стал спорить.

— Хорошо. Остановимся на этом цвете.

Зубной врач попрощался со мной, дав на дорогу совет (опять же в порядке профилактики):

— На улице не открывайте рот.

Я смирился с суровой действительностью:

— Конечно, ведь все еще идет снег.

— Кружку светлого, кельнер, кружку светлого!..

И к тому еще подбросьте какую-нибудь идейку, не растворяющуюся в воде, по возможности с синей мигалкой, как у полицейской машины, которая мчится вперед, невзирая ни на что, придумайте что-нибудь совсем новенькое, необходимо перебить эту вонючую зубную тяготину, дабы все мы — кельнер, где же мое пиво? — дабы все мы, и те, кто оглядывается назад, и те, кто нетвердо держится на ногах, дабы мы смогли бы вернуться домой, как по автострате по вздыбленному Черному морю вернуться домой, сквозь вздыбленные слева и справа волны Черного моря — кельнер, где же пиво..

«Разве, доктор, история учит нас чему-нибудь и когда-нибудь! Ну хорошо, я не послушался врача и не сделал выводов из своего опыта: на улице шел снег, я оставлял следы на снегу, к тому выпил по дороге кружку холодного пива, вот и

пришлось принять еще две таблетки арантила, запив их тепловатой водой... История нас не учит. Прогресса не существует, в лучшем случае следы на снегу...»

Зубной врач не оставлял меня и в моих четырех стенах. Он рассказывал одну историю за другой об успехах зубоврачебного дела, нанизывал их на цепочку, словно жемчужины. На мой насмешливый вопрос: «Что появилось в продаже раньше: зубная паста или зубные щетки?» — он разразился критикой по адресу «Хлородонта»:

«Правильно, он освежает. Но как быть с кариесом?»

И начал рассуждать о пройденном дантистами пути от старой бормашины с медленным вращением сверла до современных турбин.

«Скоро «Сименс» продемонстрирует на зубоврачебной выставке-продаже бормашину, делающую пятьсот тысяч оборотов, и тогда мое кресло покажется жалким ископаемым».

А когда он перешел к лечению зубов ультразвуком и перспективе окончательной победы над кариесом, я позволил себе вставить слово:

«У вас, может, и впрямь дело движется вперед, но что касается истории... как бы упорно ни развивались системы вооружений, она ничему нас не учит. Полное отсутствие логики, как в лотерее. Все ускоряющийся бег на месте. Куда ни кинешь взгляд, неоплаченные счета, припудренные поражения, наивные попытки выиграть проигранные войны задним числом. Если я, к примеру, вспоминаю бывшего генерал-фельдмаршала Крингса и то, как упряма его дочь...»

Даже когда я сидел за письменным столом в окружении милых моему сердцу вещиц, своего рода амулетов, которые должны были защищать меня, зубной врач, лишь только я произносил имя Линда, ложка за ложкой запихивал мне в пасть розовый гипс. (А сейчас он просит меня не глотать и по-прежнему дышать носом, пока гипс застынет во рту...)

Неподалеку широко и спокойно раскинулся папаша Рейн. Он несет на своей поверхности корабли то туда, то обратно. И мы с ней ходим взад-вперед по променаду в непромокаемых демисезонных пальто. (Опять выясняем отношения под платанами с подстриженными ветками на старом крепостном валу, где повсюду висят таблички с молитвами, обращенными к деве Марии.)

«Что ты сказала? Повтори еще раз. Я хотела бы еще раз услышать это четко и ясно».

Два профиля. Задницы уже приземлились на скамейку (чтобы не выяснять отношения на ходу). Головы неподвижны. Только волосы, развевающиеся на ветру, создают видимость движения. Да еще грузовые суда, проплывающие на заднем плане слева направо и справа налево.

«Только не прикидывайся. Я знаю, что тебе хочется услышать. Ты — лучшая. Доволен?»

Теперь они считают пароходы. Четыре идут из Голландии вверх по течению. Три прошли под мостом через Бинген и плывут вниз по течению. По крайней мере это точно. И время года: март. Коричнево-серая капля — вот и все прелести природы (напротив по-прежнему Лейтердорф).

«Как вы считаете, доктор, стоит ли мне поехать на экскурсию с моим 12«а» в Бонн — осмотр бундестага? Беседы с политиками. А потом дальше, в Андернах...»

(Теперь и он и она молчат: вверх-вниз по течению.)

Движение на Рейне убеждало больше, нежели мои доводы: медленно проплывают уютные суденышки с колышущимся мокрым бельем на корме, и медленно затвердевает гипс на обточенных корнях, в которых убиты нервы. Собственно, то, что я собирался сказать: Шлоттау хотел свести с Крингсом счеты, потому что в Курляндии Крингс разжаловал его из фельдфебелей в рядовые, — ушло из кадра, вместе с грузовыми судами уплыло прочь.

Я всегда легко отвлекался. (На экране то и дело наплывы: Ирмгард Зейферт кормит декоративных рыбок.) Задолго до того как у меня появилась невеста... (Трудности с наглядными пособиями.) Прежде чем я поступил в фирму Диккерхоффа — Ленгериха... (Моя ученица Вероника Леванд восклицает: «Это

субъективизм!») Будучи студентом в Аахене, я зарабатывал на жизнь, разнося продуктовые талоны вверх-вниз по лестницам. Моей епархией была Венлоэрштрассе...

Жил да был на белом свете студент, который за плату разносил продуктовые карточки. Он разносил их по девятиквартирному доходному дому, который торчал один посреди развалин. Лево́й рукой студент технического высшего учебного заведения придерживал клеенчатый портфель с талонами на хлеб, мясо, жиры и другие продукты, со списком жильцов и с несколькими учебниками по статике, а большим пальцем правой руки нажимал на кнопку звонка.

«Войдите же на минутку».

В квартире этой вдовы студент уже, учась на первом курсе, отчасти утратил врожденную застенчивость, а также научился сосредоточиваться. С той поры в памяти у него застряла фотография беззаботно смеющегося обер-фельдфебеля, ведь время от времени он отводил взгляд — фотография в рамке стояла на тумбочке у кровати среди безделушек.

Фамилия вдовы была Лёвит, нет, вовсе нет, так звали женщину в квартире напротив, которая сказала студенту, когда он большим пальцем правой руки нажимал на кнопку звонка: «Входите же, молодой человек, моя сестра пошла брать ордера в хозотделе, но я не прочь тоже». Скоро — и чем дальше, тем лучше, — студент научился вытаскивать бигуди из ее волос, довольно-таки рыжих.

Нет, золотисто-рыжей была девочка в квартире слева на втором этаже, которой он помогал делать уроки, и она благополучно перешла в следующий класс. А вот девочка в квартире напротив осталась на второй год, потому что студенту не разрешали заниматься с ней. Он должен был заниматься с ее мамашей, пока сын не вмешался и не пригрозил: «Подожди, уж отец вернется из плена, он тебе покажет...»

Да, еще студентом я любил такого рода перепалки, тем более что у фрау Подцум водился натуральный кофе, и не только кофе, а еще и свиное сало со шкварками и с яблоками, часть этой вкуснятины, пожалуй, с кило, а может, и больше, студент уносил на третий этаж, да так ловко, что фрау Подцум ничего не замечала: возможно, впрочем, что, будучи женщиной умной, она просто не желала замечать.

Там он отдавал свою добычу — нечто вроде приданого — студентке, снимавшей комнату у хозяйки, но она не шла жиличке впрок: от сала у нее высыпали прыщи. Она вообще была закомплексованной, смущалась по пустякам и вела дневник, который студент без зазрения совести прочел и сказал, что она его «здорово насмешила», чем довел студентку до слез.

Совсем иначе вела себя Хейда Шмитхен на этом же этаже, но справа. У нее была пишущая машинка, и она разрешала студенту печатать сколько вздумается. Почти такая же молодая, как студент, она относилась к нему по-матерински, может быть, потому, что не имела детей, и потому, что ее муж (я до сих пор вижу, как он уходит, стоит мне войти) ничем подобным не интересовался.

А вот на четвертом этаже — и об этом можно было догадаться уже на третьем — детей хватало, и там всегда пахло брюссельской капустой. В тех квартирах две женщины, по-разному побитые жизнью и в халатах с разными узорами, встречали меня словами: «Входите, не бойтесь, молодой человек». Здесь студент учился и учился: говорить-да, говорить-нет, обнадеживать, не глядеть куданенадо, думать о чемтопостороннем. Он проводил время под стенными часами или около напольных часов, и те и другие пережили две войны. Где подавали такую вкусную жареную картошку? У кого был волнистый попугайчик? Я утверждаю, что в квартире слева, там, где стояли напольные часы, ведь, когда я вспоминаю квартиру справа, на телеэкране не видно ничего, кроме сурового лица женщины лет сорока пяти в очках и настенных часов. Да, студент потерял, по-видимому, куда больше времени у фрау Шимански: во-первых, потому, что сначала волнистый попугайчик еще был здоров (теперь я вижу, как он заболел и, грустно нахохлившись, сидит на жердочке), а потом, когда он выздоровел — его долго выхаживали — и перышки его снова заблестели и он стал весело порхать по своей клетке, вот тут-то, во-вторых, фрау Шимански и предложила мне посе-

литься у нее насовсем; однако студенту предстояло еще отнести продовольственные карточки в квартиру под крышей. Кому, собственно говоря? Чем там пахло? И какие были обои?

(Согласитесь, доктор, что мне представлялись возможности, которые грех было бы не использовать.) Без звука на телеэкране приоткрывается дверь. Рука — на ней целых три тяжелых перстня — манит студента зайти через неплотно закрытую дверь. Как он научился для вида медлить. От руки пахнет духами. Он стаскивает самое маленькое кольцо — его гонорар. Теперь рука может потрепать студента по затылку. И еще — пограть его волнистыми, всегда немного взъерошенными волосами. А вот она расстегивает пуговицы. Вот наполняет рюмки. Вот рвет бумагу. Вот дает пощечину студенту — на руке все еще блестят два перстня. Залезает ему в штаны — уже только один перстень. Второй он стянул с пальца — его гонорар. Вот она опять наполняет рюмки. Вот они спят. Время идет. Вот она наливает воду для кофе. Вот плачет перед разбитым зеркалом — лицо у нее расколосось надвое. Опять идет время. Вот она покрутила ручку радиоприемника. Вот она снимает последнее кольцо, вот расписывается (и я ставлю галочки: талоны на хлеб, на мясо и на жиры). Вот она открывает дверь и вытаскивает студента: он повзрослел и знает что к чему. Он все предвидел заранее, даже печаль, которая наступит потом. Он умеет сравнивать и он уже не новичок. Студент освоил эту науку. Из-под чердака он сбегает по лестнице, минуя этаж за этажом, и выходит из дома. (Я еще раз вспоминаю все подряд, ведь я уже начал забывать отдельные детали, к примеру, какой где рисунок на занавесках и где выщерблена штукатурка.)

«Нет, уже не студент, а доктор, инженер-машиностроитель Эберхард Штаруш поражен тем, как много домов выросло на Венлоэрштрассе, еще недавно наполовину разрушенной бомбежками. По обе стороны того доходного дома пустыри застроены (вы сказали бы, там поставлены мостовидные протезы). В витринах громоздятся товары — скоро начнется распродажа по сниженным ценам. Потребление растет, и пока вы снова и снова будете выламывать у меня изо рта гипс, мой клеенчатый портфель с продовольственными талонами превратится в новый портфель из свиной кожи и разбухнет от дипломной работы на тему «Фильтры-пылеуловители на цементных заводах», работы, удостоенной хорошей оценки, ибо, пока я разносил по девятиквартирному доходному дому продуктовые карточки, а гипс затвердевал, я работал без усталы, сдал все экзамены и стал мужчиной, хотя несколько позже моя невеста скажет: «Ты все еще ходишь в коротких штанишках».

— Чем не тема для сочинения, как вы считаете?

Пусть мой ученик Шербаум представит себе, что в сорок седьмом году он был студентом и разносил по доходному дому Нойкёльна продуктовые карточки.

(В пятьдесят первом, когда я бросил это занятие, у Шербаума как раз начали резаться молочные зубы.) Пожалуй, я приму лучше две таблетки арантилита — я поступил опрометчиво, выпив кружку холодного пива, — и позвоню Ирмгард Зейферт, но, прежде чем мы опять будем пережевывать ее историю со старыми письмами, сбегу-ка я в Кретц, Плайдт и Круфт, пройду с Линдой вдоль речки Нетте, поднимусь с ней (еще влюбленный в нее) на Корельсберг, или попячусь назад еще дальше (всегда что-то было раньше) и сделаю доклад о туфе на конгрессе цементников в Дюссельдорфе, или снова пойду работать в фирму Диккерхоффа — Ленгериха, пропущу Аахен (доходный дом) — и пока арантил еще действует (и Ирмгард Зейферт не докучает по телефону своими жалобами), я буду старательно пятиться назад: когда мне было восемнадцать, я сидел в вонявшем хлоркой американском лагере поблизости от Бад-Айблинга в Альгойе, коротко стриженный военнопленный, который при пайке в девятьсот пятьдесят калорий в день и при наличии всех зубов («Ах, доктор, какие у меня были зубы!»), а главное, радуясь, что уже не придется разминировать без огневой прикрытия, усердно посещал всевозможные учебные курсы!

Ведь мы, немцы, благодаря своей организованности можем употребить себе на пользу даже однообразную лагерную жизнь (мои коллеги говорят, что я, к

примеру, мастер составлять расписания, в которых согласовано решительно все.)

В барак, где шли занятия, мы набивались, как сельди в бочку; стремясь заглушить вулгарный голод, военнопленные грызли гранит науки: «Иностранный язык для начинающих и для тех, кто его уже изучал», «Двойная бухгалтерия», «Немецкие соборы», «Свен Гедин — исследователь Тибета», «Поздний Рильке — ранний Шиллер», «Краткий курс анатомии» («Ваши лекции по кариесу в Бад-Айблингском лагере собрали бы куда большую аудиторию, чем в Народном университете в Темпельгофе»). В это же время возникли кружки «Умелые руки»: как смастерить из пустых консервных банок если не гранатомет, то хотя бы пылесос? Первые легкие мобили, вырезанные из американской белой жести, вращались в теплом воздухе над нашими чугунными печурками. Интенданты читали курс «Введение в философию» («Вы правы, доктор, Сенека приносит утешение, особенно в лагерях»). А по средам и по субботам бывший шеф-повар в отеле — сейчас его все знают, он ведет передачу по телевизору, дает кулинарные советы — читал лекции для начинающих. Брюзам уверял, что он учился у Загера в Вене. Он был родом из Трансильвании и то и дело пересыпал свои рекомендации словами: «У меня на родине, в прекрасной Трансильвании, хорошая хозяйка — умелая стряпуха — берет...»

Из-за нехватки учебных пособий повар учил нас готовить свои блюда из взятых с потолка продуктов: он рисовал воображаемую говяжью грудинку, телячьи почки, жареную свинину. Словами и жестами он показывал, как можно поджарить сочный костец барашка. А его фазан в виноградных листьях, а его карп в пивном соусе; отражение отражения. (Там я и научился фантазировать.)

Широко раскрыв глаза, одухотворенные недоеданием, мы застывали на табуретках в бараке, где шло обучение, и слушали Брюзама, а наши блокнотики в одну восьмую листа — дар американцев — постепенно заполнялись кулинарными рецептами, из-за которых десять лет спустя мы так разжирели.

«На моей родине, — вещал Брюзам, — в прекрасной Трансильвании, хорошая хозяйка, стряпуха, покупая гуся, умеет отличить откормочную птицу от обычной...»

Засим следовал весьма поучительный экскурс, посвященный польским и венгерским гусям, обладающим свободой передвижения и потому менее увесистым, но зато мясистым, и о жалкой доле насильно откармливаемых гусей в Померании. «В прекрасной Трансильвании, где я родился, хорошая хозяйка никогда не выберет откормочного гуся».

После этого Брюзам демонстрировал, как большим и безмянным пальцами распознавать по гузке и грудке, что это за гусь. «Несмотря на то, что гузка заплыла жиром, в ней должна прощупываться железа».

(«Вы должны понять, доктор, что когда ваша помощница всовывает мне в рот три пальца, вызывающие у меня спазму жевательных мышц, я невольно вспоминаю, как прощупывают гузку, чему учил меня Брюзам, или как раз наоборот, в то время как Брюзам учит нас распознавать железу воображаемых гусей, пальцы вашей помощницы вызывают у меня спазму.»)

«Придя домой, — продолжал Брюзам, — надо выпотрошить гуся, и тогда его можно фаршировать».

Огрызками карандашей — на трех человек один карандаш, все делилось поровну — мы записывали: «Чем бы хорошая хозяйка ни начиняла гуся, она обязательно положит эстрагон, три приятно шелестящих, пахучих веточки эстрагона».

И обращаясь к нам — а мы были счастливы, если удавалось нарвать около барakov одуванчиков и сварить похлебку сверх того супчика, что выдавали в лагере, — к нам, кто смиренно вылизывал свои миски, Брюзам перечислял различные начинки для гусей. Мы внимали и записывали: «Яблочная начинка. Начинка из каштанов...»

И один из нас, кому не хватало не менее семи кило до нормального веса, спросил: «А что такое каштаны?»

Вот бы как выступить теперь Брюзаму по первой программе

«Глазурованные каштаны, засахаренные каштаны, пюре из каштанов. Красная капуста не подается без каштанов. В прекрасной Трансильвании, на моей родине, продавцы каштанов жарили их на древесном угле... И зимой в морозный день на базарной площади, когда горячие каштаны...» И пошло-поехало, целая

серия каштаных историй: «Когда мой дядя Игнаций Бальтазар Брюзам переехал в Германштадт в Трансильванию, на мою родину, переехал, привезя с собой каштаны... В общем, в ноябре, в день святого Мартина, неоткормочный гусь просит, нет, требует каштанов — и его начиняют глазированными каштанами на меду и посыпанными корицей яблочными дольками, ну и, конечно, кладут шуршащие веточки эстрагона — ведь гусь без эстрагона и не гусь вовсе, — а начиненное изюмом сердце отечественного гуся, так же как и польского и венгерского, набитое до отказа сердце придает грудке гуся тот вкус, который не может придать ему даже драгоценная гусиная кожа, подрумяненная в духовке и снизу и сверху и хрустящая на зубах, — сладковатый вкус каштанов...»

(«Ах, доктор, как бы нам пригодился в те времена, когда у всех нас щеки ввалились от голода, ваш слюноотсос!»)

Брюзам ни на секунду не оставлял нас в покое, пытка становилась все нестерпимей:

«А теперь перейдем к мясной начинке: хорошая хозяйка у меня на родине берет триста пятьдесят граммов свиного фарша, две мелко нарубленные луковицы и три яблока, а также гусиные потроха, включая драгоценную гусиную печенку, посыпает все это эстрагоном, добавляет три сладные булочки, предвзвешенно вымоченные в теплом молоке, натирает лимонную цедру, кладет средней величины зубчик чеснока, потом вбивает два яйца, добавляет три столовых ложки белой муки в тщательно перемешанную и слегка подсоленную массу, чтобы она стала как крутое тесто, после чего и фарширует гуся».

(Так началось перевоспитание одуряченной молодежи.) Мы без устали учились. Из развалин и нищеты то и дело псылялись полуголодные педагоги и вещицы: «Нам надо опять научиться жить, жить по-человечески. Например, гусей не фаршируют апельсинами. Остается на выбор: либо классическая яблочная начинка и ее южный вариант — начинка из каштанов, либо так называемая мясная начинка. Однако в трудные времена, когда количество гусей явно превышает количество свиней или когда внешнему рынку закрыт доступ и он не поставляет на внутренний каштаны, сгодится и картофельная начинка... — Так говорил Альберт Брюзам, бывший шеф-повар в отеле, а ныне повар, ведущий на телевидении специальную программу. — Тогда она заменяет и яблочную и каштановую начинки и начинку из свиного фарша, особенно если прибавить для вкуса натертый мускатный орех и эстрагон — без эстрагона гусь и не гусь вовсе! — да тут картофельная начинка будет такой вкусной, что пальчики оближешь».

Осенью пятьдесят пятого года моя невеста и я отправились в Познань на весеннюю ярмарку — это была наша последняя совместная поездка, — в Познани я должен был убедить нескольких инженеров — специалистов по цементу, что вращающиеся пылеуловители чрезвычайно рентабельны. И вот оттуда мы с Линдой ненадолго заглянули в Рамкау, округ Каргузы, юго-западнее Гданьска, чтобы нанести визит моей тетушке Хедвиг, которая в свою очередь после невероятно пространных рассуждений о сельском хозяйстве у кашубов и после того как мы сели за стол в узком семейном кругу, подтвердила отличные качества картофельной начинки для польских гусей; ее разъяснения напомнили мне разъяснения Брюзама десятилетней давности; однако тетушка не очень-то разбиралась в мускатных орехах, для вкуса она добавляла в картошку тмин.

Моя невеста опасалась этой утомительной, чреватой неудобствами поездки, для которой надо было преодолеть всякие бюрократические формальности, но я вырвал у нее согласие, сказав: «Как-никак я приноравливаюсь к твоей отнюдь не простой семье, поэтому и тебе не мешает пойти мне навстречу»; после чего она поворчала, но согласилась, и мы посетили этих простых и по-деревенски радушных людей. (И поскольку речь шла о моих последних, еще оставшихся в живых родственниках, я отправился в путь, испытывая чувство умиления: мы посетили также и Нойфарвассер, портовый пригород Гданьска. «Вы же помните, доктор, что давным-давно я утопил там во все еще мутной жиже около гавани напротив островка мой молочный зуб».)

«Ну, паренек, здорово же ты вырос!» — этими словами меня приветствовала тетушка, которая, собственно, была сестрой моей бабушки с материнской

стороны, урожденной Курбьон. Она вышла замуж за ныне покойного Риппку, крестьянина-бедняка, а ее сестре, моей бабушке, повезло — она нашла себе в городе мужа по фамилии Бенке, десятника на лесопилке, и моя мама стала горожанкой и выскочила замуж за Штаруша; три поколения Штарушей жили в городе, но, так же как и Курбьоны, были кашубами: в начале XIX столетия Штаруши селились неподалеку от Диршау. «Скажи-ка, чем ты занимаешься? — спросила сестра моей бабушки и искала глазами мою невесту. — Стало быть, влез в цементное дело. Почему же ты не привез с собой цемента? Он нам нужен позарез. Видишь?»

(После нашего возвращения мне удалось преодолеть дурацкие препоны не только с польской, но и с западногерманской стороны и отгрузить в Рамкау десять мешков цемента. Идея Линды.)

Хотя моя невеста обещала тетушке Хедвиг прислать цемент для ремонта разрушенного снарядами сарая, тетушка продолжала сокрушаться: «Ничего-то у нас нет; всего-навсего немного ржицы, корова, теленок, кислые яблоки, если не побрезгуешь, картошка, ну и, конечно, уточки-курочки и несколько гусей, но мы их не откармливаем...»

Однако гусей не подали. Зато из стеклянных закатанных банок вынули и поставили на стол жилистую курятину; сестра моей бабушки считала, что заготовленные впрок куры куда более аристократическая еда, нежели парные куры, которых только что прирезали и кудахтанье которых мы, значит, слышали бы за сарайчиком с инвентарем, прежде чем им свернули бы шею. Может быть, моя тетушка угостила нас консервированным куриным мясом из уважения к моей невесте, ведь позже в огороде между грядками с кормовой капустой она сказала: «Ну и даму ты подцепил, сразу видать, из благородных».

Разумеется, мы нащелкали множество фотографий. Дети дяди Иозефа, двоюродного брата моей мамы, по просьбе Линды то и дело выстраивались перед разрушенным снарядами сараем. А под вечер мы поехали на автобусе в Картузы к брату тетушки, дяде Клеменсу, который был братом моей покойной бабушки с материнской стороны, и к его Ленхен, урожденной Шторош, — с ними я, значит, состоял в двойном родстве. Вот это была встреча! «Ну, паренек, какая жалость, что твоя бедная мама так ужасно померла. Любила тебя без памяти, надо же, собирала твои молочные зубки. Все пропало. И у меня ничего не осталось, только аккордеон и пианино, на нем играет Альфонс, сын нашего Яна, младшенький. Потом послушаем его...»

Перед домашним концертом нам опять подали курятину из стеклянной банки, а к ней картофельную водку, которую совершенно испортили мятным ликером — ради моей невесты из благородных. (А ведь кашубы — народ со старой культурой, более древней, чем польская, — они в родстве с лужицкими сербами. Кашубский — это старославянский язык, но он мало-помалу исчезает. Тетушка Хедвиг, дядя Клеменс и его Ленхен еще говорили на нем, но уже Альфонс, флегматичный парень лет под тридцать, не знал ни старого кашубского, ни кашубской разновидности диалекта, на котором изъяснялись когда-то в Западной Пруссии, и лишь изредка вставлял польское слово. И все же специалистам по древнеславянским языкам стоило бы создать до сих пор отсутствующую грамматику кашубского; Коперник — или, как его звали, Кубник, а то и Копник — был, строго говоря, не немец и не поляк, а кашуб.)

За семейным ужином мы вели себя чересчур тихо — всех стеснял литературный язык Линды, да и я весьма нерешительно переходил временами на диалект данцигского предместья, поэтому мой дядя Клеменс, от которого через родню с материнской стороны я унаследовал оптимизм и педагогическую жилку, сказал: «Знаешь, вспоминать о грустном — толку нет. Давайте споем, да так, чтобы чашки в шкафу звенели».

И мы запели всей семьей: тетя Хедвиг, ее дочка Зельма, двоюродная сестра моей мамы, ее чахоточный и потому неработоспособный муж по имени Сигизмунд (он все время покашливал), дядя Клеменс и его Ленхен, а также их взрослый внук, мой троюродный брат Альфонс, у него на задку вскочил фурункул, и из-за этого он не соглашался сесть за пианино, но ему не удалось отвертеться. «Давай, парнишка. Перестань ломаться. Вдарь по клавишам». Нас с Линдой усадили по-семейному в середину — будто мы уже муж и жена, а не жених с не-

вестой, — и все мы запели хором в сопровождении дядиного аккордеона и пианино Альфонса, опустившего на круглую табуретку лишь половинку своего зада, — мы пели часа два, главным образом песню «Лес шумит, лес шумит. Сердце бедное стучит». При этом мы пили картофельный самогон, который забивал мятный ликер.

(В каждом глотке этого национального напитка кашубов с переменным успехом брал верх то вкус химического экстракта, на котором настаивали ликер, то шибавший в нос сивушный дух, словно ты заглянул в картофелехранилище. Иногда тебе казалось, будто ты смакуешь переслащенный ликер, но тут его заглушал плохо очищенный самогон, а когда твое небо привыкало к деревенской сивухе, мятный экстракт напоминал о достижениях современной химии. Впрочем, все эти вкусовые противоречия объединяла и примиряла песня «Лес шумит, лес шумит».)

Доливая стаканы, тетя вдруг сказала: «Как ты думаешь, парнишка, фюрер еще жив?»

(Такой прямой заход в историю считается у нас неприличным, ведь мы стараемся оценивать исторический материал с холодной объективностью, и мои ученики, когда я не так давно по легкомыслию процитировал тетушку Хедвиг, очень низко оценили ее политическую сознательность; если их послушать, так мне следовало ответить тете цитатой из Гегеля.)

«Конечно же нет, тетя», — сказал я, потупив глаза. И моя невеста, которую держали под руки Ленхен дяди Клеменса и чахоточный железнодорожник Сигизмунд — распевая «Лес шумит, лес шумит», мы качались в такт музыке, — моя невеста Линда одобрительно кивнула: мы с Линдой были одного мнения.

«Вот видишь, — тетушка ударила кулаком по столу, — он бы говорил и говорил... а теперь и того нет, правда?»

(Перед этим логическим умозаключением не устоял и сам Шербаум: «Ну и дает ваша тетушка!»)

И мы — моя родня и Линда — спели еще раз с начала до конца «Лес шумит, лес шумит. Сердце бедное стучит»...

Напоследок пришел домашний врач, его позвала двоюродная сестра моей мамы Зельма — он должен был разборчивым почерком написать список лекарств, необходимых моей родне: сердечные гомеопатические капли для тетушки, что-нибудь для легких железнодорожнику Сигизмунду, лекарство от дрожания конечностей для дяди Клеменса (хотя конечности у него вовсе не дрожали, пока он играл на аккордеоне) и для всех, кроме железнодорожника, какое-нибудь средство от ожирения.

Врач, приставив руку ко рту, тихо сказал: «Они просят лекарства только потому, что лекарства западногерманские. Пользы никакой. Пусть поменьше жрут и почаще поют «Лес шумит». Вам бы следовало приехать сюда в ноябре, когда начинают резать гусей...»

Моя тетушка подхватила последние слова врача: «Да, паренек, приезжай-ка еще раз поскорей с твоей невестой из благородных. В день святого Мартина у нас такая обжираловка — лопнуть можно. Наши кашубские гуси. Сегодня ты видел их на лужку. Ты еще помнишь, как их начиняют?»

И тут я перечислил все то, чему меня когда-то учил Брюзам (бывший шеф-повар, а ныне повар — ведущий на телевидении), учил в лагере для военнопленных в Бад-Айблинге: «Существуют следующие начинки: яблочная, замечательная начинка из каштанов и еще так называемая мясная начинка. Но каждая начинка требует эстрагона; гусь без эстрагона и не гусь вовсе»

Тетушка Хедвиг обрадовалась: «Эстрагон, это правильно. Но мы фаршируем гусей картошкой, сырой картошкой, чтобы она пропиталась жиром. Язык проглотить. Приезжай с невестой к рождеству...»

Но Линда не хотела больше приезжать. От курятины из стеклянных банок у нее пошли прыщи, началась отрыжка, изжога и желудочные спазмы. (Я подумал было, уж не хочет ли она отдать концы. Мысль эта не удивляет меня.) Только в Западном Берлине ей стало лучше. Но все равно скоро мы расстались. Уже весной пятьдесят шестого она дала мне отступного: «Хочешь в рассрочку или все деньги сразу?»

Я решил взять всю сумму целиком. В денежном отношении у нас не было претензий друг к другу.

И сегодня я честно признаю: искусство фаршировать гусей преподавал мне Брюзам, повар высокого класса. В девятиквартирном доходном доме я стал мужчиной: все знал заранее и предчувствовал печаль, которая наступит потом. Но последний глянec навел дядя Клеменс, он же научил меня житейской мудрости: «Надо веселиться и жить в свое удовольствие». Однако только на деньги моей невесты я смог стать педагогом.

(Притом я долго колебался — брать ли от нее деньги, доводить ли до разрыва.) Между мной и Линдой состоялся откровенный разговор на Майенском поле на краю заброшенного базальтового карьера. Дело в том, что Линда сразу после нашего возвращения из Польши опять занялась так называемым производственным шпионажем, и Шлоттау появился снова. Я сказал: «Если ты не перестанешь путаться с ним, я тебя убью». Линда даже не засмеялась, она встревожилась: «Таковыми вещами не шутят, Харди. Хотя ты меня и не убьешь, но в твоей башке слова «я тебя убью» могут застрять и вызвать последствия, которые не останутся без последствий...»

«Как мы растекаемся мыслями. Как нас загоняют в угол. Как мы заплываем жиром».

На телеэкране шла большая чистка. Бульдозеры, которые раньше мирно паслись на воле, рванули вперед и стали крушить готовые изделия, косметику, давить мягкую мебель, туристское снаряжение, громоздить друг на друга лишние машины, аппаратуру для любителей, встроенные кухни, вышибать из-под сложенных штабелями коробок со стиральным порошком «Персоль» основания, переворачивать игрушечные бары, а напоследок и большую морозилку — из морозилки повалили овощи, мясо, фрукты и быстро оттаивавшие потребители: моя невеста, которую уже считали умершей, старик Крингс в мундире, недовольная тетка Линды, Шлоттау, прикрывавший стыд рукой, а вслед за ними мои ученики, коллеги, родственники, они переползали еще с четырьмя, пятью или девятью женщинами через груды основных и сопутствующих товаров (среди них расхаживали польские гуси), и все это катилось, и все это катили куда-то прочь... На холостом ходу бушевала стиральная машина, ученики хлопали ладонями в такт.

И компашку и все это изобилие товаров бульдозеры толкали из-за кулис на передний план, к самому экрану, пока экран от напора не разлетелся вдребезги и содержимое не вывалилось наружу прямо в комнату; и вот уже кабинет зубного врача забит до отказа. Я пытаюсь убежать, протискиваюсь сквозь заграждения хлама, сквозь сгрудившихся людей, которые пристают ко мне с разговорами. «В чем дело, Шербаум?» Я бегу, но куда бежать? — некуда, кроме как на телеэкран, воссозданный силой моей веры, там меня ждут зубной врач и его помощница и просят сесть в кресло; сегодня мне должны вставить два мостовидных протеза — акция, с точки зрения акустики, вполне терпимая, ее будет прерывать лишь бульканье при полоскании; однако диалог между врачом и пациентом, задним числом слегка подредактированный, начинается уже сейчас — изо рта врача идут на сей раз пузыри сложных конфигураций, те, что называются платоническими фигурами; врач призывает к умеренности и к вере в постоянный прогресс, пациент же (штудиенрат, которого подстегивают скандирующие ученики), наоборот, требует радикальных изменений и революционных действий.

Например, Штаруш хочет своротить бульдозером весь этот утиль со всеми его причиндалами, запчастями, излишествами, льготными платежами — «В кредит! В кредит!», — своротить эту хромированную сталь и ассигнования на рекламу, удалить их из поля зрения потребителей, чтобы (как написала мелом на доске его ученица Веро Леванд) можно было изменить базис и создать предпосылки для гармонического существования.

Однако зубной врач тоже не лыком шит: он считает, что все злоупотребления властью пошли от Гегеля, которого опровергает, ссылаясь на происходящий в зубоврачебном деле прогресс, достигнутый мирными средствами.

— У нас слишком много противоречащих друг другу теорий спасения человечества, и мы слишком мало думаем о практической пользе... — сказал он и опять предложил заменить весь государственный аппарат глобальной профилактикой.

И тут штудиенрат обнаружил, что у них общая платформа:

— В сущности, мы с вами придерживаемся одного мнения, тем более что мы считаем себя гуманистами, сторонниками *humanitas*¹⁰...

Но зубной врач потребовал, чтобы пациент отказался от своих призывов к населению.

— Самое большее, на что я согласен, это на окончательное уничтожение всех зубных паст типа «Хлородонт», которые якобы являются действенным средством против кариеса.

Штуденрат помедлил, сглотнул слюну, но не захотел брать свои слова назад. (12«а», хихикая, воззрился на меня.) Штаруш бессистемно процитировал Маркса и Энгельса и даже старика Сенеку, который проклинал изобилие, тут он был одного мнения с Маркузе¹¹... (Я не остановился и перед тем, чтобы дать слово позднему Ницше: «В конечном счете переосценка ценностей...»)

Однако зубной врач настаивал на полном отречении от насилия и угрожал в случае, если пациент заупрямится, лечить нижнюю челюсть без анестезии.

Отказ от поголовной профилактики. Демонстрация пыточных орудий. Зубо-врачевание без обезболивания.

— Если вы будете защищать насилие, друг мой, я удалю вам металлические колпачки без местной анестезии и кроме того оба мостовидных протеза тоже...

Тут штуденрат, по существу, либерал, а вовсе не какой-нибудь заядлый радикал, капитулировал (мой 12«а» так зашикал, что я чуть не провалился сквозь землю) и попросил дантиста не принимать всерьез историю с бульдозерами, а отнестись к вышеозначенным полезным (я сказал бы даже — жизнеутверждающим) землеройным машинам как к гиперболе.

— Сами понимаете, я не иконоборец и не сторонник анархизма, который хочет все разрушить...

— Стало быть, вы отказываетесь от своих слов.

— Отказываюсь.

(Немедленно после моей капитуляции зубо-врачебный кабинет сам собой избавился от утиля, то есть от товаров широкого потребления и всех посторонних лиц, коих изрыгнула морозилка.) С недовольным ворчанием отступил 12«а». Моя невеста насмешливо попрощалась со мной: «И такому типу доверяют преподавание!» (Даже польские гуси с начинкой, сдобренной эстрагоном, покинули кабинет дантиста.) Теперь он стал таким, каким был всегда: почти квадратная комната, пять метров на семь при высоте три тридцать. Все зубо-врачебные принадлежности стояли и лежали на своих местах; пациент, сидя в сооружении фирмы «Риттер», мог оторвать взгляд от телевизора, на котором, не успев он опустеть, сразу же опять замелькала реклама ходовых товаров — рекламировали мягкую мебель, стиральную машину, туристское снаряжение, а также между рекламой стройбанков и стиральных порошков морозилки, в которых под овощами, телячьими почками, свежеморожеными готовыми блюдами покоилась бывшая невеста штуденрата, а из ее рта выходили пузыри с надписью: «Эх ты, супертрус...»

Зубной врач собирался сделать первую инъекцию внизу слева, а телевизор упорно показывал рекламу морозилок и вызываяще часто их содержимое, посему пациент, не вылезая из кресла фирмы «Риттер», вновь попытался заняться великой чисткой.

— Бульдозер, — сказал он, — много тысяч бульдозеров должны убрать весь этот утиль, убрать с глаз долой.

Но призыв к насилию на этот раз не подействовал. Правда, морозилку вытолкнула с экрана какая-то телегеничная, хоть и призрачная, рука. Однако бульдозеры так и не двинулись ни слева, ни справа, не появились, резвясь, на заднем плане, не пошли вперед и не начали великого преобразования нашей действительности. Телеэкран ничего подобного не предлагал. (Да и мой 12«а» отказался выйти на авансцену.) Молочно-белое поле экрана слабо мерцало. Пустая пустота.

— Вы что-нибудь видите? — задал вопрос зубной врач, взвешивая на руке шприц.

¹⁰ Человеческая природа (лат.).

¹¹ Маркузе Герберт (1898) — чрезвычайно популярный у левых интеллигентов ФРГ философ и социолог, один из идеологов левоэкстремистских элементов на Западе.

— Я ничего не вижу, — ответил пациент.

— Тогда давайте притворимся, будто во второй раз вы воздержались и не призывали к применению силы. Правда, вы основательно испортили текущую телепередачу. Западнберлинские «Вечерние новости» мы в наказание смотреть не будем. Я вообще переключу экран на зеркальное отражение. Лучше, чем ничего.

Воцарилась полная гармония: пациент в окружении помощницы и зубного врача, сидя в кресле фирмы «Риттер», увидел, как помощница сунула ему в рот три пальца левой руки, вызвав спазму жевательных мышц, — увидел как перед экраном, так и на самом телеэкране: средний палец отодвинул язык назад, безымянный придерживал верхнюю челюсть, а указательный прижимал марлевые тампоны к нёбу. Зубной врач и тут и там всаживал в нижнюю челюсть штудиенрата иголку шприца — первый укол.

Звуковое сопровождение было просто великолепно: одновременно как в зубо-врачебном кабинете, так и на телеэкране шел разговор нормальной громкости.

— Мы начнем с проводниковой анестезии и блокируем нерв у входа в канал. (Я видел, как трудно ему воткнуть иголку.)

— Конечно, ваши десны, как вы сами понимаете, из-за предыдущих инъекций в довольно плачевном состоянии.

Кинокамера — ведь должна же где-то стоять кинокамера — приблизилась почти вплотную к деснам пациента: экран заполнили три пальца и передвигающаяся в поисках неисклотового местечка иголка шприца. Вот она нашла такой клочок десны. Предчувствие последующего наступает настоящее. Я ощущаю (уже ощутил) и на экране и взаправду. Ой-ой-ой.

— А вы помните, что за этим последует?

Скрытая камера перестает показывать фрагмент, ставший при увеличении прямо-таки лунным ландшафтом, и опять дает изображение пациента в кресле фирмы «Риттер», а по бокам от него дантиста и его помощницу.

— Теперь местное обезболивание начало действовать...

— Ну хорошо. Хорошо. Мы, стало быть, в курсе дела...

— Скажите, доктор, те инъекции, что мне еще предстоят, ничем не отличаются от прежних? Значит, звуковое сопровождение больше не нужно. Я имею в виду не только телевизор.

— Если я вас правильно понял, вы хотите продолжить штабные игры...

— Моя невеста Зиглинда Крингс...

— Не лучше ли предположить, что у вашего Крингса неслух сын, а не дочь...

— Воздержитесь, пожалуйста, от советов, доктор...

— Как вам угодно...

— Я больше не буду вспоминать о бульдозерах, зато вы не пытайтесь подсунуть Крингсу сына.

— Договорились при свидетелях.

(Правда, как показал экран, договорились, не ударив по рукам.)

— Могу нарисовать вам портрет Линды: цепкая горная коза, которая способна удержаться на самом крутом склоне. Ее план требовал жертв. Она бросила медицину. (Первоначально ей хотелось стать детским врачом.) А позже дала отставку и своему жениху. Новая идея завладела Линдой всецело. (Мне приходилось доставать ей пухлые тома по стратегии и тактике.) Линду надо показывать так: она склонилась над военными дневниками, историями отдельных дивизий, фотокопиями старых секретных документов и штабными картами. Она похоронила себя в четырех стенах, в комнате, которая все больше и больше теряла особенности, свойственные девичьей комнате, и все сильнее походила на спартанскую обитель отца. Иногда она в одиночестве сидела в Сером парке. Часто она казалась измученной и подавленной фактами и противоречивыми сообщениями. Только что Линда — какой ценой, мы знаем — выведала у заводского электрика Шлоттау, что ее отец задумал повторить танковое сражение на Курской дуге и... выиграть его. Крингс также был вынужден прибегнуть к шпионажу, завербовав для этой цели своего будущего зятя. (Я и впрямь передавал ему различные сведения, мне это было до лампочки.) Вся семья зашевелилась, ошестинилась. Тетку Линды

тоже по очереди использовали то генерал, то его дочь — через нее распространялась дезинформация. Фигуры передвигались. Изобретались военные хитрости. За ужином на что-то намекали. Я удерживался на поверхности лишь благодаря тому, что стал двойным агентом и снабжал информацией и Линду. (Я поступал точь-в-точь как Шлоттау. Вернее, она превратила меня во второго Шлоттау, подпускала к себе только тогда, когда я знал больше нее.) Иногда я покупал у него информацию. Наподобие того как у меня покупал ее Крингс. Только тетя Матильда работала бескорыстно — она не очень-то понимала что к чему. Зиглинда Крингс систематически посещала военный архив в Кобленце. Заказные письма вручались лично фрейлейн Зиглинде Крингс. Да, так ее нарекли, но ее папаша окрестил также операцией «Зиглинда» отвлекающий маневр на фронте под Нарвой в конце сорок четвертого. Успех этого наступления на небольшом отрезке фронта, который позже приписывали генерал-полковнику Флисснеру, до Крингса командовавшему группой войск «Север», отнюдь не помешал Крингсу, после того как был отвоеван отданный ранее Лаубан, назвать ключевую позицию — ее держали, несмотря на огромные потери, — «позицией Зиглинды». (Еще будучи в тундре, он намеревался присвоить своей медленно вымерзавшей 6-й горнострелковой дивизии первую букву имени дочери, победную руну «S», назвав ее «дивизией Зиглинды», однако верховное командование вермахта отклонило это предложение.)

Ящик с песком дал Крингсу возможность взять реванш — сражение на Курской дуге, получившее название «Цитадель» (его проиграли летом 1943 года Модель, Манштейн и Клюге), Крингс выиграл на песке, окрестив его «наступлением Зиглинды», выиграл потому, что его дочери так и не удалось выведать расположение советских минных полей

«Перестань, Линда. У тебя ничего не получится. Тут не деньги летят, тут призраки встают. Спроси себя хоть раз, нет, не раз, а сто три раза подряд: что такое генерал? Или произнеси быстро-быстро: генерал, генерал, генерал... Пустой звук. Примерно то же, что и выражение «лёссовый слой», хотя лёссовый слой — это все-таки конкретное понятие, а слово «генерал»...» Когда на Корельсберге я попытался объяснить, что такое генерал, она резко оборвала меня: «Ты кончил? Генерал генералу рознь. Этот наш не желает признавать себя побежденным».

«А я докажу тебе, что от этого генерала ничего, кроме судебных издержек, не остается. Вели ему, чтобы он освободил барак. Складское помещение нам всегда понадобится. Пусть пишет свои мемуары. Теперь наконец я понял, что такое генерал: особь, которая после пестрой, приносящей людям смерть жизни пишет свои мемуары. Хорошо. Дай ему возможность побеждать на бумаге...»

Я говорил, глядя на Лаахское озеро, она говорила, глядя на Нидермендиг. (А между тем мы были хорошей парой. Иногда она казалась совсем другой. Дурчилась, не цеплялась ко мне. Любила вкусно поесть. И даже не боялась прослыть сентиментальной: читала запоем бульварные романы в иллюстрированных журналах. А в кино ходила на дешевые мелодрамы. Ее героем был Стюарт Грейнджер¹². И притом она была неглупой. Взгляды на политику у нас совпадали. Как и я, она считала, что человечество терроризировано перепроизводством ширпотреба и стремленном обогащаться.) То же самое проповедует ныне моя ученица Веро Леванд, староста 12«а». — Линда говорила лет десять назад, стоя на Корельсберге: «Даешь десять тысяч мощных бульдозеров, чтобы сокрушить весь этот утиль, все это изобилие!» («Вот видите, доктор, она плохо кончит».)

Моя хитрость — провозгласить необходимость радикальных перемен чужими устами — не удалась. Когда я захотел смягчить сказанное и невинно заметил: «Собственно, перед первой мировой войной Крингс собирался стать учителем», звук пропал. Правда, на экране осталось изображение комнаты, правда, из рта у меня шли надписи, но звук как корова языком слизнула. Зато пузыри врача были озвучены.

— Послушайте-ка, любезный, все то время, что я делал вам четыре инъекции, я не перебивал, не возражал. Я сам разрешил во время лечения выдумывать что хотите. Но сейчас чаша моего терпения переполнилась. Призывов к насилию я не потерплю, даже если вы вкладываете их в уста вашей прежней невесты или

¹² Грейнджер Стюарт (1913) — голливудский актер.

в уста несовершеннолетней ученицы, я не дам уничтожить плоды маленького, быть может, иногда до смешного маленького поступательного движения, стало быть, и мою зубоврачебную практику, построенную на принципах профилактики, не дам смешать все это с грязью лишь потому, что от вас убежала невеста и вы оказались несостоятельным, потому что вы — неудачник, который хочет с помощью своих запутанных фантазий объявить весь мир несостоятельным, с тем чтобы уничтожить его на законном основании. Я вижу вас насквозь. Достаточно взглянуть на ваш зубной камень. Уже по рентгеновскому снимку я понял: опять кто-то требует невозможного. Опять кто-то намерен ввести одну, абсолютную мерку. И притом он выдает себя за человека современного. Нет, он не собирается подновлять списанного со счетов юберменша и ловко увертывается от разговоров о новом, социалистическом человеке, но он зевает, он воротит нос от всяких пусть незначительных, но все же полезных усовершенствований, его страсть рубить узлы быстрыми и вместе с тем беспорядочными взмахами руки, его неодолимое желание увидеть как можно более пышный закат человечества, его старомодное неприятие цивилизации, которое, рядясь в одежду прогресса, не что иное, как тоска по временам немого кино, его неспособность тихо и усидчиво работать во имя людей, его педагогика — она всегда готова превратить пустоту в утопию, а этот самый воздушный замок снова низринуть в зияющую пустоту, его неумность, его капризный умишко, его злорадство, если что-нибудь не ладится, и его все время повторяющиеся призывы к насилию выдают его. Бульдозеры! Бульдозеры! Ни слова больше. Сейчас же идите в приемную. Только после того как инъекция подействует полностью, я опять готов разговаривать с вами.

(Я жестикулирую. Ему доставляет удовольствие смотреть на пузыри, в которых нет текста. Но я ни в коем случае не хочу туда, где журчит фонтанчик и где лежат иллюстрированные журналы «Штерн», «Квик», «Бунте» и «Нойе»... Никогда больше я не стану читать того, о чем удосужился вспомнить мой старый рейхсфюрер молодежи, да и о том, о чем он так и не вспомнил. Великое сопротивление можно начать в любом месте; чем плохо зубоврачебное кресло фирмы «Риттер»? Я окаменел и всем своим видом показываю, что не хочу уходить! Пускай вызывает полицию!.. Но дантист наказал пациента иначе — проявил терпимость и движением мизинца опять включил звук.)

Зубной врач. Вы хотите что-нибудь сказать?

Пациент. Меня пугает ваша приемная.

Зубной врач. Скорее в вас говорит страх перед все новыми выдумками, за которыми вы прячетесь. Правда?

Пациент. Вы не хотите понять. Ведь моя потребность при случае сокрушать существующие порядки — правда, только на словах — имеет свою предысторию...

Зубной врач. Которую будем считать известной: в семнадцать лет, незадолго до конца войны вы стали главарем одной из молодежных банд — в те годы они стихийно возникали повсюду.

Пациент. Мы выступали против всех и вся!

Зубной врач. Но сейчас, будучи сорокалетним студентом...

Пациент. Мой 12«а» в данное время находится на той же стадии — тоже хочет сам все выяснить. Непрерывающийся диалог с моим учеником Шербаумом не может не касаться и темы насилия.

Зубной врач. Притом что я за поголовную профилактику на базе страхования, предупреждаю...

Пациент. Вот почему я и прошу вас поверить: мои ученики и я хотим произвести переворот, с тем чтобы установить еще больший порядок, а именно порядок педагогический. После сравнительно короткого периода насилия...

Зубной врач. Придется мне все же настоять на том, чтобы вы посидели некоторое время в приемной.

Пациент. Нет. Прошу вас!

Зубной врач. Вы сильно затрудняете мою задачу по линии профилактики.

Пациент. В сущности, я человек, сочувствующий мирному поступательному развитию, хотя мне трудно поверить в прогресс...

Зубной врач. Вы извлекаете прямую выгоду из прогресса!

П а ц и е н т. С этим я охотно соглашусь, если мне не придется сидеть в приемной...

З у б н о й в р а ч. Зубное протезирование прошло большой путь. Я охотно назвал бы его революционным, хотя, конечно, не в том смысле, какой вы в это вкладываете.

П а ц и е н т. Согласен. Если только мне не придется...

З у б н о й в р а ч. Ну хорошо, останьтесь.

П а ц и е н т. Спасибо, доктор...

З у б н о й в р а ч. Но звук я выключаю, иначе вы опять начнете то и дело вставлять это дурацкое слово.

(И вот я сижу немой, как рыба, в зубоврачебном кресле фирмы «Риттер» и вижу, как я сижу немой, как рыба, в зубоврачебном кресле фирмы «Риттер». Правда, мне казалось, что проводниковая и инфильтрационная анестезия нижней челюсти привела к тому, что язык и обе щеки у меня распухли. Я вытянул губы трубочкой и надул щеки — похоже, они отекли, но телевизор знал свое дело: лицо не раздулось и щеки были как щеки; я высунул язык — он был такой же, как всегда, узкий, длинный, подвижный, любопытный и восприимчивый. Да, я показал язык. То, что могла позволить себе моя ученица Веро Леванд в семнадцать, я делаю и в сорок. Мой язык манил: «Иди сюда, Линда. Иди...»)

В модном костюмчике, с модной прической (начес) она заговорила, подчеркивая в нужных местах слова:

«Дорогие телезрители, друзья, любители наших викторин. В нашей сегодняшней передаче «Помните ли вы еще?» речь пойдет о военных сражениях, которые определили судьбу Германии, Европы и, пожалуй, всего мира...»

Начав серьезным тоном, она быстро перешла в оптимистический регистр:

«А теперь позвольте мне представить наших гостей. Сегодня они пришли в студию из западноберлинской гимназии. Потрясающе молодая дама — фрейлейн Вероника Леванд...»

Пока публика аплодировала, камера показала средним планом три старших

класса нашей гимназии, а в первых двух рядах родительский совет и педсовет

«А теперь, фрейлейн Леванд, — вы ведь не против, если я буду называть вас просто Веро, — почему вы интересуетесь историей?»

«Я считаю, что для формирования нашего сознания история чрезвычайно важна, особенно если дело касается недавнего прошлого. Мой друг того же мнения...»

«А сейчас, дорогие любители викторин, я представляю вам друга Веро, юного Филиппа Шербаума, которого его школьные товарищи зовут просто Флип. Сколько вам лет, Флип?»

Ответ Шербаума «семнадцать с половиной» потонул в веселом смехе. Доверительное обращение Флип помогло создать непринужденную атмосферу, но Линда тут же перешла к делу:

«А кто пробудил в вас интерес к истории?»

«История всегда была моим хобби. Но наш учитель истории, штудиенрат Штаруш...»

«Стало быть, учитель... А теперь вторая команда. Она состоит из одного участника. Я приветствую бывшего генерал-фельдмаршала Фердинанда Крингса».

После вежливых хлопков Линда отбросила генеральский титул.

«Господин Крингс, в конце войны вы командовали группой войск «Центр»...»

«Так точно. Мне удалось задержать фронт на Одере. Конев — его армии стояли тогда против моих — сказал: «Если бы не Крингс, я продвинулся бы до Рейна»...»

«Итак, мы с вами в гуще сражений. В связи с этим и мой первый вопрос. Вернемся на два тысячелетия назад: после какой битвы Цезарь обнаружил письма противника и что он с ними сделал? Ну, Филипп? Тридцать секунд...»

«Это произошло во время сражения при Ларисе в Фессалии. Цезарь победил Помпея, обнаружил в лагере его письма и сжег их не читая».

«Может быть, господин Крингс расскажет, кто поведал нам об этом воистину благородном поступке?»

Ответ бывшего генерал-фельдмаршала: «Краткое упоминание о письмах Помпея есть у Сенеки» — вызвал такие же аплодисменты, как и разъяснения Шербаума.

Линда записала очки, а потом сказала:

«А теперь вернемся к этому сражению. Как построил свои войска Цезарь, фрейлейн Леванд? Тридцать секунд».

Моя невеста — она прекрасно выглядела, — обращаясь к очередному участнику викторины, ловко вставляла ободряющее словечко там и сям и переходила от одного сражения к другому.

Сознаюсь, каждый правильный ответ Филиппа преисполнял меня гордостью. (Почему он здесь такой раскованный, а на уроках из него слова не вытянешь: «Какое дело нам до ваших Клаузевица, Людендорфа и Шёрнера^{13?}»)

Он просто-таки замечательно умел отвечать по существу. Много раз меня подмывало прервать зубного врача, который заполнял лечебные карты, и сказать ему: «Вот видите, доктор. Мой ученик. Кладет Крингса на обе лопатки. От его сообщения о метеорологических условиях во время битвы при Кёниггреце старик лишился дара речи...» Но звук был выключен, и я взял себя в руки. Тем более что Шербаум потерял немало очков, после того как моя невеста спросила его о двенадцатом сражении при Изонцо. Зато Крингс с мельчайшими подробностями описал все этапы захвата высоты 1114. Публика вежливо наградила его аплодисментами — даже Ирмгард Зейферт слегка похлопала генералу. Счетчики неохотно выдали предварительные результаты: генерал набрал двадцать четыре, а класс двадцать одно очко.

На сей раз моя невеста начала с шутки:

«Есть одно могучее животное, которое в наши дни водится лишь в зоопарках или в заповедниках, но поскольку мы собрались сегодня не ради викторины «В мире животных», я сама открою секрет: речь идет о буйволе... Итак, какое передвижение войск получило в марте сорок третьего это условное обозначение?»

Крингс улыбнулся с высоты своей генеральской эрудиции:

«Речь шла от отводе Девятой армии и половины Четвертой армии с выдвинутого вперед наступательного плацдарма во Ржеве».

Дополнительный вопрос Линды показал, что она сомневается в правильности ответа:

«Генерал-фельдмаршал упомянул об операции «Буйвол», на которую пошли якобы для того, чтобы создать плацдарм для наступления. Как вы, Филипп, расцениваете ржевскую операцию?..»

«Сама формулировка «Ржев — фланговая опора Восточного фронта» кажется мне неправильной. Ржев, точно так же как и Демьянск, всегда находился под угрозой окружения, и когда Цейтцлер, тогдашний начальник генерального штаба...»

Крингс нарушил правила игры, вскочил и частично вылез за экран:

«Трус проклятый, тыловая крыса! Цейтцлер, Модель — все они предатели! Разжаловать и послать на передовую! Нам не пришлось бы оставить предместное укрепление на Волге, если бы не они, — ни в коем случае. Мобилизовав все имеющиеся резервы, я бы...»

Я восхитился элегантностью, с какой моя невеста остановила разбушевавшегося генерала и утихомирила дружно зашикавшую молодежь. В следующем раунде Веро Леванд доказала, что Крингс намеревался бросить в бой дивизию, которые либо растаяли, фактически сравнявшись с батальонами, либо вообще были в то время вне пределов досягаемости: «По-моему, вы черпаете свои сведения из рапортов о потерях». А Шербаум сказал: «Вы не учли, что еще в середине февраля наступила оттепель и, кроме того, на фронт бросили авиадивизию, предназначенную для борьбы с партизанами в лесистых местах западнее Сычевки».

Наконец, когда Веро Леванд объяснила, что движение по автострате Вязьма — Ржев было прервано уже со 2 марта, Линда — ведущая викторины — ударила по столу, как это делают на аукционах перед объявлением о том, что вещь продана, и дала понять, что атаки Крингса захлебнулись, несмотря на огромные потери, которые он нес «За это время мы получили конечный результат, вот

¹³ Шёрнер Фердинанд (1892) — нацистский генерал-фельдмаршал, один из самых верных Гитлеру воен. В «завещании» Гитлер прочил его в главнокомандующие сухопутными войсками.

он перед нами. Гимназисты победили с убедительным счетом. Позвольте вас поздравить».

Конечно, я радовался успеху Шербаума в этой передаче. Ему и его приятельнице присудили премию — экскурсию по Рейну с заездом в Кобленц, чтобы посетить военный архив.

Линда изобразила полуулыбку: «Давайте, однако, не забывать и второго участника. — И ободряюще продолжала: — Все это было в далеком прошлом, господин генерал-фельдмаршал». С этими словами она вручила Крингсу в качестве утешения карманное издание «Писем к Луцилию» на рисовой бумаге. Не раскрывая книгу, он сразу стал цитировать, и у телеоператоров хватило вежливости не прервать передачу до тех пор, пока генерал не закончил: «Не надеясь на пощаду, мы вступаем в жизнь».

Мое разочарование было велико, когда я увидел, что остался на телеэкране один-одинешенек и сижу в зубоорачебном кресле фирмы «Риттер». Даже мои гримасы, не контролируемые из-за обезболивания, мне не понравились. Перерыв между передачами А на улице даже снег не шел. Я слышал, как у меня за спиной скрипит пером по бумаге дантист — он торопливо заполнял больничные карты. Его помощница диктовала вполголоса цифры, данные анализов, зубоорачебные термины. Собственное изображение порядком мне надоело. («Доктор, милый доктор, разве капиталистическая экономика неизбежно не...») Но как в зубоорачебном кабинете — семь метров на пять при трех метрах тридцати высоты, — так и на телеэкране мои слова пропадали втуне (надо бы набраться смелости и сказать «бульдозер»). Вместо этого я прислушивался к бормотанью дантиста где-то у меня в тылу:

— ...типичный глубокий прикус в мезиальном положении... Активизация косои плоскости благодаря стираемости окклюдонных поверхностей... экстракция четьрех верхних... открытый прикус спереди... перекрестный прикус с боков... палатинальная окклюзия... типичная прогения.

А ведь уже настало время для Песочного человека. От жалости к себе нервы натянулись как струны (одинокий пациент попытался выдать из себя две слезы в знак протеста против навязанного безмолвия). Я мог только подмигивать телеэкрану. Тогда я еще раз попробовал поставить опыт с языком: высунул мой анестезированный обрубок себе и всем сонным в тот час ребяташкам; впрочем, мой язык, отражаясь на молочной, как бы затянутой тучами выпуклости экрана, ловко выполнял упражнения, продолжая играть роль своего рода манка: «Иди сюда, Линда, иди...»

И она явилась мне из телевизионной трубки в скромной кофточке, в образе сказочницы. И материализовавшись в телевизионной трубке таким домашним голосом, что все стало оттаивать — все, хранившееся в морозилке, — заменила мне Песочного человека.

«Жил да был король, и росла у него дочь, ничегошеньки он для нее не жалел, все хотел ее чем-нибудь порадовать. И вот он затеял великую войну против семерых соседей, думая отрубить у них языки и преподнести дочке ко дню рождения. Но королевские генералы воевали неправильно и проигрывали сражения одно за другим, а потом король и вовсе проиграл войну против своих семерых соседей. Усталый, понурый, в худых башмаках, он возвратился домой без обещанных подарков. С мрачным видом сел за стол перед чаркой вина и так долго глядел на нее мрачным взглядом, что вино потемнело и скисло. Напрасно утешала короля его дочь: «Ведь все это ничего не значит, папа, не надо мне соседских языков, я и так счастлива и довольна» — ничто не могло развеселить короля, так он приуныл. Прошел год, король запасся тьмой оловянных солдатиков — ведь все настоящие королевские солдаты полегли — и снова выступил в поход на ящике с песком, построенном по специальному заказу за большие деньги для его забав; он выигрывал все те битвы, которые проиграли королевские генералы. После каждой победы на ящике с песком король смеялся все громче и громче, но вот поди ж ты: его дочь, всегда веселая и милая, загрустила и немножко рассердилась на отца. Надулась, отложила в сторону свое вязанье и сказала: «Твоя песочная война ужасно скучная, враги твои не настоящие. Позволь уж мне воевать с тобой вместо наших семерых соседей, как-никак ты обещал подарить к моему

дню рождения их аккуратно отрубленные семь языков...» Разве мог король отказать своей дочке! Пришлось ему опять разыгрывать все прежние сражения, но дочь всякий раз побеждала его. Тогда король заплакал и сказал: «Ах, как плохо я вел эту войну. Я еще бездарней, чем мои генералы. Теперь я буду день и ночь сидеть за чаркой вина и глядеть на нее, пока вино не почернеет и не скиснет». И тут дочка перестала сердиться, повеселела, подобрела, отодвинула чарку, чтобы на нее не падал мрачный отцовский взгляд, и сказала: «Пусть другие короли ведут войны, а я лучше выйду замуж и рожу семерых детишек!» К счастью, как раз об эту пору мимо замка, где стоял дорогостоящий ящик с песком, проходил молодой учитель, и ему понравилась дочь короля, ведь она была взаправдашней принцессой. Неделью спустя он на ней женился. И король решил постронуть супругам прекрасную школу, на нее пошли доски, из которых был сколочен ящик. То-то было радости у детей погибших солдат. Да и семеро соседей обрадовались. Ведь отныне и вовек они перестали бояться за свои веселые розовые языки...»

(...и если учитель не задушил королевскую дочь цепью от велосипеда или еще как-нибудь по-чудному, то она живет по сию пору.)

Только-только кончилась передача для малышей и Линда пожелала детям спокойной ночи, только-только я опять увидел себя на телеэкране, как она уже снова появилась в кабинете и одновременно в телевизоре. Именно она коротко скомандовала: «Пора, анестезия уже полностью подействовала». Именно она, сунув три пальца мне в рот, привычным жестом вызвала у меня спазму жевательных мышц. Ткнула слюноотсос, прижав нижнюю онемевшую губу. Скоро подошел и он, оставив свои больничные карты; но странно, куда бы я ни скашивал глаза — направо или налево, куда бы ни смотрел — на телеэкран или мимо, он казался мне неизвестным и в то же время знакомым. (От него несет козлом, дело известное.) «Доктор, это и впрямь вы?» Они обращались друг с другом подозрительно фамильярно. (Неужели мне показалось, что он назвал ее на ты, прежде чем, прицелившись пальцами, потянулся за пинцетом?) Та еще парочка! Я подмечал все их взгляды — мой зубной врач и его скрытная помощница никогда не позволили бы себе ничего подобного. (Фривольные жесты. Сейчас он вдруг ущипнул ее за зад.) «Почему вы не примете меры, доктор?»... Но пузырь с текстом все еще не появились, я не мог протестовать. Тогда я решил обратиться прямо к нему: «Послушайте, Шлоттау, если уж вы выдаете себя за зубного врача, то разрешите мне хотя бы посмотреть телевизор. Сейчас как раз передают «Новости». Я хочу знать, что происходит в Бонне. И не стали ли студенты опять...»

Победа! Звук включен. (Впрочем, лишь частичная победа: на телеэкране зубо-врачебный кабинет.) На губах у меня идут пузырьки с текстом, и в кабинете слышен мой голос нормальной громкости: «Прекрати сейчас же мельтешить, Линда. Понятно?» (Она послушалась.) «А вы, Шлоттау, оставьте свои скабрзные штучки. Включите «Последние известия», прошу вас!» (Шлоттау пробурчал: «Пока еще дают рекламу». Но Линда нажала на кнопку: «Пусть смотрит, пока мы будем выкручивать эти его металлические штучки».)

Она сказала «выкручивать» (еще сегодня я готов биться об заклад, что она сказала «выкручивать»). Прежде чем я успел поправить Линду, Шлоттау выбросил пинцет моего зубного врача за пределы телеэкрана и вытащил из кармана свой инструмент — вульгарные клещи. Передавали рекламу, и я не смотрел на электрика в белом врачебном халате, орудовавшего своими инструментами («Ладно, парень, начинай. Я и это стерплю»).

Мой правый глаз присматривался к тому, как пульсирующая струйка воды орошала нёбные ткани, а в то же время («Это вы, доктор, рекламировали на телеэкране: «Ирригатор «аква» очищает и орошает») левым глазом я следил за электромонтером Шлоттау, который держал свои клещи над пламенем бунзеновской горелки. Неужели он и впрямь...

«Шлоттау, что это еще за чепуха?»

Сухие пальцы вжали меня еще глубже в риттеровское кресло. Теперь я почувствовал, основательно почувствовал (ведь ничего другого я не чувствую), как ее острый локоть впился в мои ребра. И тут Шлоттау пустил в ход раскаленные докрасна щипцы.

На экране возникли вы в роли диктора и возвестили: «Ирригатор «аква» снабжен электронасосом». Но в эту же секунду запахло жареным.

«Здесь что-то горит, Шлоттау. (Только мои губы, челюсти и язык потеряли чувствительность, обоняние я не потерял.) Пахнет горелым. Неужели раскаленные щипцы да в мою губу...»

Нет, боли я не ощущал, только ярость. Он это делал нарочно. Решил выжечь на мне свое клеймо. По ее желанию. (В ярости я не находил подходящих слов.) На смену «ирригатору «аква»...», а вместе с ним и моему дантисту пришел «ржаной хлеб без примесей», но в комнате по-прежнему пахло... яростью. Теперь рекламировали большую посудомоечную машину, показывали смеющуюся домохозяйку, которой посудомойка сэкономила массу времени, но ярость моя все возрастала, хотела обрушиться на встроенную мебель, разбить ее в щепки. Ярость прокалывала автопокрышки «данлоп», сбивала лампочки «осрам». Из собравшихся гармошкой носков через штанины ярость поднималась вверх. Еще не выплеснувшаяся ярость. Накатывающая ярость заглушает ярость отбушевавшую. Ярость, доводившая до судорог. Ярость, которая, хоть и молча, вопиет к небесам. (Никогда мой 12«а» не вызывал у меня такой ярости, несмотря на все провокации Веро Леванд.) Ярость эта была сорокалетней давности, хорошо выдержанная, постепенно накапливавшаяся, выбивавшая пробку из бутылки. Ведь ей надо было выйти наружу. Чернила ярости. Черно-белая ярость без полутоннов, пласт за пластом. Ярость-против-всех-на-свете. Мазок ярости. Эскиз ярости — бульдозеры. Я рисовал, воссоздавал в уме десять тысяч яростных бульдозеров, которые очищали телеэкран, вообще все вокруг; они крушили, мяли, громоздили друг на друга весь этот утиль, изобилие и комфорт, этот застой, а потом, перевернув вверх дном, толкали с заднего плана через средний к выпуклому телеэкрану. И дальше — куда дальше? — опрокидывали в зубоврачебный кабинет, нет, в то же пространство; нет, в пустоту...

Мне это удалось еще раз. Они меня послушали. Несчетное количество бульдозерных бригад утюжили торговые центры, складские помещения для новых товаров и для запчастей, здания холодильников, где потели горы масла, заводские корпуса, где наматывались рулоны, научно-исследовательские институты; где равномерно гудели агрегаты; я сказал — утюжили, да, сравнивали с землей прокатные станы и конвейеры. Универмаги падали на колени и поджигали друг друга. А над всем этим разносилось пение «Burn, warehouse, burn»¹⁴ и голос зубного врача, который уверял меня, что, снимая колпачки, он допустил маленькую оплошность — из-за его раскаленного пинцета я получил ожог.

— Да, мне очень жаль. Смею заверить, со мной этого никогда не случалось. Но нам поможет специальная мазь от ожогов.

И вовсе ему не было жаль. Человеку, который сразу вспомнил о мази от ожогов и всегда держит ее под рукой, незнакомо чувство жалости, он доволен тем, что делает, но и я был доволен тем, что сделали бульдозеры. Мне так основательно удалась радикальная чистка, что даже Линда и Шлоттау исчезли. Признаться, я обрадовался, что не тот, а этот снимал последний колпачок. Я смирился с тем, что помощница — у нее были пальцы, как железные зажимы, — не давала мне закрыть рот. И поскольку зубной врач извинялся все снова и снова, я смягчился:

— Оплошность может случиться с каждым...

Я ему простил, но дантисту трудно было примириться с тем, как я очистил телеэкран.

— Вам и на этот раз удалось вызвать из небытия пустую пустоту.

— Что ни говорите, доктор, людей всегда тянет начать с нуля, пуская чисто умозрительно.

— Стало быть, вам нравится эта ваша... пустота?

— Прежде всего я освободил площадку.

— Путем насилия, мой милый. Путем насилия!

— А теперь уже можно кое-что построить, нечто кардинально новое...

— Что именно, разрешите спросить?

¹⁴ «Сожги товарный склад, сожги» (англ.). «Склад» здесь метафора для обозначения «общества потребления».

— По-настоящему бесклассовое общество, а в качестве надстройки — всемирную педагогику, она явно напоминает вашу глобальную профилактику на базе страхования...

— Ошибаетесь. Глобальная профилактика — результат постепенных, часто запоздавших реформ, а не результат слепых сил, которые могут создать лишь пустоту. Мы позволили себе зафиксировать ваш процесс уборки бульдозерами. Пока моя помощница и я будем готовиться к установке двух ваших нижних мостовидных протезов — взгляните, отличная работа! — вы увидите, как после пустоты и из пустоты появится то самое, что было раньше, до пустоты.

(Я пытался познакомить его с требованиями радикального крыла моего класса, 12«а»: специальная курилка, право голоса для учеников, право увольнять реакционных педагогов по требованию школьного комитета... Но он заговорил меня до смерти, повествуя о сообщениях клиник, проводивших опыты по использованию дентального цемента ЭБА № 2, который закрепит мои мостовидные протезы.)

— Да, ЭБА № 2 пришел к нам не из пустоты — он результат многолетних опытов, иногда кончавшихся неудачей; поэтому мы можем на него положиться. Тем более что ЭБА № 2 благодаря входящему в его состав кварцу нетеплопроводен — он защищает даже от ледяной воды, чего никак не скажешь о всех других дентальных цементах, продающихся у нас. Но ведь вы не верите в поступательное движение. Хотите создавать диктаторскими методами. Начинать с нуля. Просто смех. Впрочем, пожалуйста. Посмотрим, что вам примерещится взамен пустоты...

Он от меня хитро отделался, и все пошло обратным ходом, из пустоты выросли пастбища для потребителей. Сожженные универмаги («Burn, warehouse, burn») загорелись снова. Потом огонь стих и показались целехонькие, набитые до отказа магазины. Мои бульдозеры, только что прилежно сравнивавшие с землей продуктовые склады и силос из масла, пятак назад, возрождали все заново. Раньше они ловко крутили и мяли, теперь ставили на попа и разглаживали. Из профессионалов-разрушителей выросли мастера-реставраторы. Разбитую в щепки встроенную мебель, расплюснутые мягкие гарнитуры, раздавленные фургончики-прицепы и сбитые электролампочки «осрам» они сейчас сколачивали, обивали заново, чинили и свертывали в патроны. Равномерно загудели агрегаты в научно-исследовательских институтах. И в морозилке опять собрались ее прежние постоянные жильцы. (В самом низу она сохраняла в свежемороженом виде мою невесту.) Песнь песней рекламы звучала одинаково, что сзади наперед, что спереди назад. И когда «ржаной хлеб без примесей» начал себя рекламировать, я уже ожидал «ирригатора „аква“»: «Пора кончать с реакционными зубными щетками! Надо навсегда убрать эти паразиты бациллоносители! Мы закончили эру щетины и провозгласили революционную эпоху пульсирующей водяной струи. Наступает новое, бесклассовое время. Разбрызгиватель «аква» доступен для всех, практичен...»

И вот уже мой зубной врач держит в руке удобный, изящной формы предмет.

— С помощью «аквы» — подарка медиков человечеству — я, пока на охлажденной стеклянной пластинке смешивают цемент, еще раз хорошо прочищу вам рот, ведь «аква» проникает в каждую щелку, трещину, выемку.

Врач одновременно прочищал и лечил. Потом высушил зубы струей теплого воздуха и надел мостовидные протезы сперва слева вниз, потом справа вниз.

— Разве это не успех: четыре зуба мы обточили, превратив в опоры, а на них надели шесть новых зубов.

У меня было одно желание — очутиться на улице, на Гогенцоллерндамм, а он в это время расписывал свои мостовидные протезы, называя их прогрессивными, а потом перешел к жакетным коронкам, которые охарактеризовал как традиционные.

— А вы знаете, почему их так называют?

Мысленно я уже вел беседу с Шербаумом: «Разве вам не интересно стать главным редактором захудалой школьной газетенки и сделать из нее нечто?»

— Обтачивая зуб, вы создаете как бы уступ — нечто вроде плиты, на которую надевается жакет...

«Это далеко не простая задача, Филипп!»

— Но такого рода коронки не выдерживают экстремальных нагрузок.

«Вы могли бы опубликовать в новой газете свое предложение: заменить закон божий уроками философии...»

— Скажем, наступает осень. Вы охотно едите диких уток, куропаток, рагу из зайца? Да? Ну вот, стоит зубу попасть на дробинку — и фарфор ломается.

Однако Шербаум уходил от разговора насчет газеты. У него, мол, другие планы. Пока еще рано обсуждать («Временно я отложил их в долгий ящик»). Мой ученик покинул меня в зубоврачебном кресле.

— Ну а при ваших мостовидных протезах поломка, напротив, исключена, так как фарфор связан с платиново-золотым основанием с помощью окиси. Тем более здесь применено специальное легирование, оно-то и держит продукцию «Дегуссы»¹⁵ — т.е. ее патенты — государственная тайна. Вот, а теперь включим опять изображение. Однако будьте осторожны в выборе слов. Можно повредить только что доставленные мосты. Все пойдет коту под хвост. Придется опять начинать с нуля — пользуюсь вашим выражением. Ну? Видите? Классная работа, не правда ли?

Да, ничего не скажешь. Переливаются перламутром, прямо голодный оскал. А как он подобрал цвет — белизна с легкой желтизной, переходящей в серое. Артист в своем деле. Зубы более натуральные, чем настоящие зубы. («Как вы считаете, Шербаум? Стоила овчинка выделки? Или мне следовало опять пустить в ход и экскаваторы, чтобы...»)

— Я ничего не говорил, доктор. Ничего!

(Только сейчас я заметил на своей нижней губе под прозрачным слоём мази от ожогов большое, выжженное дантистом латинское «L». Он хотел оставить на мне свою мету. Я уже меченый. О Линда-линда-линда-линда.)

— Вы перенесли все, как истый стоик.

Его помощница аккуратно отсчитала мне две таблетки арантила.

— Теперь сделаем перерыв на неделю, а потом займемся вашей верхней челюстью.

Я попытался слизнуть мазь от ожогов.

— Мне очень хотелось бы растянуть перерыв недельки на две.

Врач и помощница ждали, когда я уйду.

— Ну что ж, и через две недели я смогу выкроить время, чтобы вас принять.

— Мне необходимо заняться моим 12«а». Особенно тревожит меня один ученик.

— Позвоните, если что-нибудь будет не так. Ваши довольно слабые десны склонны к воспалительным процессам.

— Шербаум должен взять на себя школьную газету, но пока сопротивляется.

— Рецепт на мазь от ожогов я вам выписал. Ну и, конечно, рецепт на ваше постоянное лекарство.

— Притом Шербаум — одаренный юноша. Он что-то замышляет.

— Две упаковки болеутоляющего — надежная подмога на эти две недели...

Я пошел. Однако в дверях еще раз обернулся, чтобы в последний разок подразнить его — призвать к радикальной чистке бульдозерами, — но, обернувшись (и увидав на телеэкране, как я оборачиваюсь и собираюсь что-то сказать), ничего не сказал и вышел из кабинета.

2

Штудиенрату Эберхарду Штарушу пришлось лечить зубы, дантист принял вмешательство, коснувшееся нижней и верхней челюстей пациента, решил исправить его прикус.

Закончив лечение нижней челюсти, зубной врач договорился со штудиенратом о двухнедельном перерыве; Штаруш покинул кабинет дантиста со словом «перерыв» на своем опухшем языке. И с ощущением того, что местная анестезия постепенно отходит. Полумера, освобождение на срок, всего лишь выигрывает времени.

¹⁵ Фирма по обработке драгоценных металлов.

— Вы ведь знаете, что вам еще предстоит. Попробуйте хоть немного отдохнуть.

Когда студент подъезжал на такси к своей улице, две таблетки арангила, которые он принял в кабинете зубного врача, еще не подействовали. Пока он выходил из такси, вставлял ключ от парадного в замочную скважину, зубы болели. Перед домом рядом с кнопками звонков — по шесть квартир на каждом из восьми этажей — студента ожидал ученик, который хотел с ним поговорить. Ученикам нередко надо поговорить со своими учителями.

— Срочно, — сказал он.

Студенту пришлось открыть рот при температуре минус два.

— Только не сейчас, Шербаум. Я возвращаюсь от зубного врача. Это так спешно?

Ученик Шербаум ответил:

— До завтра может подождать. Но разговор все-таки срочный. — Он держал на поводке собаку, длинношерстную таксу.

Я еще в дом не вошел, как они убежали.

Он учил, ходил гулять, готовился к, надеялся на, обобщал, придумывал разные варианты, приводил в пример, оценивал, воспитывал.

Учитель — целое понятие. От учителя чего-то ждут. От своего учителя ждут еще большего. Учителей не хватает. Ученики садятся и глядят перед собой в пространство.

Когда учителю пришлось обратиться к зубному врачу, он сказал ученицам и ученикам:

— Подумайте о своем бедном преподавателе, он попал в лапы зубодера, он страдает.

Учитель как таковой. (Сидит под стеклянным колпаком и проверяет сочинения.) Учитель, разложенный по полочкам: учитель начальной школы, учитель реальной гимназии, студент, учитель в школе-интернате, учитель профессионального училища. Воспитатель или педагог. (Когда мы говорим об учителе, мы подразумеваем западногерманского учителя.) Он обитает в Педагогической провинции, размер которой никто так и не узнал, которая, еще будучи в проекте, уже нуждалась в реформах и которая, несмотря на свою ограниченность, претендовала на мировой масштаб.

Учитель — это фигура. Раньше учителя были чудаками. Даже сейчас не задумываясь говорят «училка», вспоминая о своем учителе; впрочем, и я называл моего зубного врача зубодером, когда хотел придать ему эдакое садистическое начало. (Болтая с ним, мы воспринимали «зубодера» и «училку» как нечто абстрактное, не задумываясь над грубостью этих слов.)

Он сказал:

— Конечно, существует множество разных анекдотиков, в которых вся соль вот в чем: дескать, дантист — это чуть ли не палач...

Я сказал:

— Перед учителем всегда стоит — независимо от того, в какой класс или в какой школьный двор он входит, независимо от того, на каком родительском собрании дает объяснения, — перед ним стоит фигура Учителя. Учителю надо всегда помнить о своих предшественниках. Не только о тех, кто преподавал ему самому, но и о литературных образах. О докторе Виндхеле писателя Клуге¹⁶ или о персонажах Отто Эрнста¹⁷. Да, так называемый обобщенный образ учителя является мерилom для нас. Вот, например, учитель у Иереми Готтхельфа¹⁸. (До сих пор нас, студентов, меряют радостями и горестями сельского учителя.) Учитель — сын учителя. Как, скажем, у Раабе в его «Хронике Шперлингсгассе»¹⁹. Уверю вас, все эти учительши — Вуц, чахоточный Карл Зильберлеффель, даже Флакман как воспитатель, все, кто бросал нам педагогические крохи со своего

¹⁶ Клуге Курт (1886—1940) — автор романов, рассказов, пьес.

¹⁷ Эрнст Отто (1882—1926) — писал рассказы, эссе, пьесы. В 1901 году вышла его сатирическая комедия «Флакман как воспитатель», направленная против казарменной муштры в школах.

¹⁸ Готтхельф Иереми (1797—1854) — швейцарский педагог и писатель, последователь Песталоцци. В 1837 году вышел его роман «Горести и радости школьного учителя».

¹⁹ Раабе Вильгельм (1831—1910) — один из крупнейших прозаиков своего времени. Роман «Хроника Шперлингсгассе» вышел в 1857 году.

богатого стола, к примеру школьный советник Поллак и учитель Карстен, преподававший в глуши, а также учитель Гримма Рельке, вообще все штудиинраты, о которых говорят, — они филологи, стало быть, находятся в положении особом, штудиинрат у Вихерта²⁰ и у Биндинга²¹ — все они засели в нашем сознании, и именно по ним меряют нас, грешных. И говорят: «Мой был совсем другим», «Мой напоминает...» Чтобы понять моего, надо прочесть «Фельдмюнстера»; вот почему я и утверждаю: те учителя, какие мне запомнились, вели себя совсем не так, как ведут себя их собратья в книгах или в кинолентах; разве бедного профессора Вендта можно сравнивать с его коллегой Гнусом²²; как-никак Вендт читал о Гнусе, а Гнус о Вендте — нет... Интересно, с кем будут сравнивать меня мои ученики? — ведь и я, наверно, останусь у них в памяти.

На все это мой зубной врач ответил, что в моем перечне не хватает учителя из книг современных авторов.

— Впрочем, ничего странного я в этом не вижу, ведь и зубные врачи почти не встречаются сейчас в литературе, даже в комедиях (за исключением, может быть, детективов, например «Микрофон в мостовидном протезе»). Мы никого не интересуем. Точнее — в данное время мы никого больше не интересуем. В лучшем случае мы играем второстепенные роли. Мы работаем слишком незаметно и не причиняем боли. Благодаря местной анестезии мы уже не кажемся оригиналами.

Притом в приверженности моего дантиста к эволюционному развитию я видел что-то чудачковатое, очевидно, и он воспринимал мои революционные порывы как нечто комичное или просто глупое. Он придумал глобальную профилактику. Я придумал всемирную педагогику. Два утописта, не видящих недостатков в своем деле, один — чокнутый, другой — дурень. (Неужели я правда такой? Должен ли учитель, который чувствует себя ничтожным по сравнению со своим предметом, который он преподносит буквально по крохам, должен ли он вызывать насмешку у собственных учеников?)

Мои ученики смеиваются, когда я начинаю сомневаться в учебниках.

«В них нет смысла, только внешне упорядоченный хаос... Почему вы улыбаетесь, Шербаум?»

«Потому что вы, несмотря ни на что, продолжаете преподавать и — как я не без оснований полагаю, — несмотря ни на что, ищете смысл в истории».

(А что мне остается делать? Сбежать с уроков, встать посреди школьного двора или на ближайшем педсовете и закричать: прекратите! прекратите!

«Правда, я сам не знаю, что правильно, еще не знаю, что правильно, но это надо прекратить...»)

На бумажке написано: «Этого ученика я люблю. Он меня беспокоит. Чего он хотел? Что именно может подождать до завтра?»

(Согласен ли он наконец заняться школьной газетой? Согласен ли стать главным редактором?)

Часто Шербаум относится ко мне не без снисходительности.

«Не надо воспринимать все столь трагически, историю и прочее. Ведь и весна бессмысленна... Разве нет?»

Может быть, я и впрямь чудак. Мне надо было пропустить мимо ушей известие о том, что у моего любимого ученика возник план.

Зубному врачу я сказал по телефону:

— У одного из моих учеников возник план. Послушайте хорошенько. После урока мальчик подошел ко мне и сказал: «Я кое-что задумал».

Я спросил: «Что именно? Уж не хотите ли вы эмигрировать?»

А он ответил: «Я сожгу своего пса».

Я произнес: «Тактак», что могло означать «довольно-таки странно».

Тогда он пояснил: «Сожгу на Курфюрстендамм перед кафе Кемпински. И притом после обеда, в часы пик».

²⁰ В и х е р т Эрнст (1887—1950) — писатель. Участвовал в антифашистском Сопротивлении.

²¹ Б и н д и н г Рудольф (1867—1938) — пронацистский писатель.

²² Главный персонаж романа Г. Манна «Учитель Гнус».

Тут я должен был покачать головой («Дело ваше, Шербаум»). Или просто повернуться к нему спиной («Хватит болтать глупости»). Но я не ушел и спросил: «А почему как раз там?»

«Чтобы пронять этих дам в модных шляпках, которые жрут у Кемпински пирожные».

«Собак нельзя сжигать».

«Людей тоже нельзя».

«Согласен. Но при чем здесь собака?»

«При том, что в Западном Берлине любят собак больше всего на свете».

«Но почему вашу собаку?»

«Я привязан к Макс».

«Стало быть, жертва?»

«Предпочитаю назвать это „наглядное просвещение“».

«Собаку сжечь не так просто».

«Я оболью ее бензином».

«Но ведь это животное. Речь идет о животном!»

«Как только куплю бензин, созову газетчиков, телерепортеров и вывешу плакат: «Это всего лишь бензин, а не напалм»... Пусть глядят. А когда Макс загорится, он побежит. Вспрыгнет на столы с пирожными. Может, что-нибудь подожжет. Надеюсь, они поймут тогда...»

«Что им надо понять?»

«Поймут, что значит сжигать».

«Вас убьют».

«Не исключено».

«Вы этого хотите?»

«Нет».

Я говорил с Шербаумом минут десять. По правде, я был уверен, что его таксе ничего не угрожает. Но моему дантисту я сказал:

— Как вы считаете, к этому надо отнестись серьезно или только сделать вид...

Он спросил, пошел ли на убыль воспалительный процесс, как десны, заживает ли маленькая ранка от ожога на нижней губе. А потом прочел мне целое наставление:

— Спросим себя сперва, почему вообще что-нибудь должно случиться. Раз ничего не случается, что-нибудь да должно случиться. Помните слова Сенеки о боях гладиаторов? «Ведь сейчас перерыв... Значит, пора перерезать людям глотку, чтобы заполнить пустоту»... Для заполнения перерыва сгодится и огонь! Хотя публичные сжигания не отпугивают, они пробуждают похоть.

(Это я скажу Шербауму, это я скажу Шербауму...)

Сделай, что ты задумал. Когда никто ничего не делает, все идет своим чередом. Я на твоём месте точно сделал бы. И еще кое-что посерьезней. Вот, например, та плавучая база для подводных лодок. Тогда шла война. Всегда идет война. Для этого хватает причин. Хватало. Правда, я не уверен, что это были мы, а не ученики у Шихау²⁸, которые под предводительством Мооркена создали свой собственный союз, их пускали на территорию верфей; ведь плавучую базу поставили в сухой док на ремонт, но на ней осталась команда; пожар занялся сперва на палубе, потом перекинулся внутрь, фенрихи и кадеты пытались было протиснуться сквозь иллюминаторы, люди говорили: они так оралы, что их начали расстреливать с баркасов. Доказать насчет нас и насчет ребят Мооркена оказалось невозможно. Да, мы делали и не то еще, и делали все по-настоящему. И у нас был свой талисман. Мы называли его Иисус. Иисус помогал от огня...

На школьном дворе я сказал Шербауму:

— Публичные сожжения не отпугивают, они пробуждают похоть.

Он склонил голову набок.

— Когда сжигают людей, это, возможно, так и есть. Но ручаюсь, западные берлинцы не выдержат вида горящей собаки.

Я дольше собирался с мыслями, чем он.

²⁸ Шихау Фердинанд (1814—1896) — построил машиностроительные заводы и верфи.

Веро Леванд зигзагами вела свой велосипед по школьному двору.

— Вы, значит, решили. (Она со своим велосипедом втиснулась между нами.)
Представляете, какой вой поднимут газеты, к примеру «Моргенпост»?

— Ну и что? — Это сказала Веро.

— Все давно известно. — Это сказал Шербаум.

— Они обьявят — он трус. Пусть бы лучше сжег себя, если хочет предостеречь от напалма.

— Раньше вы уверяли, что сожжение людей пробуждает похоть.

— И продолжаю стоять на этом. Давайте вспомним давнее прошлое. Жестокое бои гладиаторов. Сенека сказал...

(Веро прервала меня, повторив: «Ну и что?»)

Шербаум заговорил тихо, но убежденно:

— Горящая собака их проймает. Ничто другое их не проймает. Они могут читать все подряд, рассматривать иллюстрации с лупой или придвигаться вплотную к телеку, на это у них один ответ: «Плохоплохо». Но когда они увидят, как горит мой пес, то пирожные вывалятся у них из пасти.

Веро Леванд предупредила его:

— Внимание. Флип. Теперь он начнет тебе заливать насчет объективности... Я в ответ попытался порыться, так сказать, в анналах истории:

— Послушайте меня, Шербаум. Во время войны — я имею в виду последнюю войну — в моем родном городе саботажники подожгли плавучую базу для подлодок. Команда — сплошь фенрихи и кадеты — пыталась было покинуть судно через иллюминаторы. Они сгорели, так как не смогли пролезть — застряли наполовину. Огонь охватил их снизу... Представляете себе? Или, например, Гамбург: там бросали фосфорные зажигалки, и загорались целые улицы, горел асфальт. Люди выбегали из горящих домов и попадали прямо в огонь. Вода не помогала. Горящих людей закапывали в песок, чтобы прекратить доступ воздуха. Но как только воздух опять проникал, они снова начинали гореть. Сейчас это не может представить себе ни один человек. Вы меня понимаете?

— Точно. И именно потому что это не может представить себе ни один человек, я должен облить бензином моего Макса на Курфюрстендамм и поджечь, и притом после обеда.

Мы по-прежнему связывались по телефону.

— Неужели я должен сообщить властям о Шербауме?

Зубной врач посоветовал не делать этого.

— Да я и не смог бы при всем желании. Неужели я, именно я буду сообщать? Да я скорее...

Он перемежал зубокабинные рекомендации ироническими замечаниями как бы в скобках:

— Давайте учиться у католиков — будем больше слушать.

После моего урока Шербаум сразу покинул класс. Я склонился над классным журналом. Из учительской был виден школьный двор. Ребята стояли кучками. Шербаум подходил то к одной, то к другой, хотя раньше избегал их. Немного погодя он отошел в сторону с Веро Леванд к крытой велосипедной стоянке. Она что-то говорила, он молчал, склонив голову набок.

Мне хотелось завести разговор с Ирмагд Зейферт.

— Знаете, — сказала она, — иногда я надеюсь, что произойдет нечто такое, что разрядит атмосферу. Но ничего не происходит.

Зейферт оставила лютеранскую церковь — она совершила это в ту пору, когда у нас началось перевооружение, стало быть, более двенадцати лет назад, и, по ее словам, это был стихийный ответ на согласие ее церкви с созданием бундесвера — гневное отречение Зейферт от церкви еще усилило ее мечту об очистительной грозе. («Сегодня, уже сегодня должно что-то произойти!») Она слепо верила в своих семнадцатилетних — восемнадцатилетних учениц и учеников, возлагала на них все надежды.

— Новое, ничем не отягощенное поколение — послушайте меня, Эберхард, — покончит с привидениями, пришедшими к нам из прошлого. **Нынешние парни и**

девушки хотят начать с самого начала. И они не станут, как мы, без конца оглядываться назад, они не побоятся реализовать свои возможности.

(Сейчас, как и прежде, она говорит так, словно перед ней гулкие залы.)

— Мы должны уповать на новое поколение, отважное, полное созидательных сил, и притом деловое.

Мне оставалось только одно: преподнести ей в ответ свои кислые замечания и стоять на своем.

— Оглянитесь вокруг. Кем стали мы? Не правда ли? Как нам было сохранить разум и не прислушиваться к взрослым, к словам взрослых? Но сейчас все уже. Ничего не исправишь. В возрасте от тридцати пяти до сорока у солидных бюргеров нет времени вспоминать о своих поражениях. Мы научились оценивать обстановку. Когда надо расталкивать всех локтями, приспособливаться. Держать нос по ветру. Ни в коем случае не связывать себя. Теперь мы не только хитрые тактики, но и хорошие специалисты, которые стремятся достичь успеха и даже — конечно, если не возникнут непредвиденные трудности, — и даже добиваются этого. Вот и все, что из нас вышло.

Разговор начался в учительской, а продолжали мы его у меня дома. В моей «холостячкой берлоге», как ее называет Ирмагд Зейферт. Все стояло на местах и прислушивалось. Письменный стол с неоконченной рукописью. Полки с кельтскими черепками. Между ними были и римские черепки из предгорий Эйфеля. Книги, пластинки. На моем новом берберском ковре тоже валялись книги и пластинки.

Как всегда, мы сидели на кушетке, держа в руках рюмки с мозельским, сидели на некотором расстоянии друг от друга и — осмысленно или, наоборот, двусмысленно — не приближались друг к другу. Ирмагд Зейферт, глядя поверх рюмки, сказала:

— Я с вами согласна, хотя мне и неохота в этом признаться. Несомненно, наше поколение оказалось банкротом. Но разве те, кто надеялся на нас, ждали от нас избавления на самом деле, а не искали тут удобную лазейку для себя? Нами пожертвовали, вот почему мы не могли принести себя в жертву. Уже в семнадцать лет на нас было клеймо преступного режима. И мы не могли повернуть историю, да, мы не могли.

В этом она была вся... до сих пор еще она вся в этом: повернуть историю. Спасение. Очищающая гроза. Жертва. Но стоило мне заговорить о Шербауме и его плане, как она начала проявлять признаки рассеянности — протянула руку к книгам и пластинкам, опять положила их на ковер. С нетерпением она слушала, как я досконально разбираю план Шербаума со всеми вытекающими из него последствиями. Едва я кончил, как она уже снова принялась в высокопарном стиле обличать порочность нашего поколения.

— Мы уже были сломлены, прежде чем начать строить заново. Теперь уже поздно. Теперь нас уберут с дороги.

— Кто нас уберет с дороги?

— Новые люди. еще не знаемые нами, грядущее поколение...

— Я думаю о моем ученике Шербауме...

— Нас выбросят на свалку истории...

— ...который, кстати, и ваш ученик одновременно...

— ...вместе с прочим мусором истории, оставленным...

— ...когда я думаю о нем и его отчаянном плане...

— Вы должны понять. Эберхард. Мне минуло семнадцать, и я была, как выразились бы вы, правоверной ослицей из БДМ. Да, я была уже мечена, они выжгли на мне свое клеймо...

— Тем не менее мы обязаны помешать Шербауму.

— Да, мне казалось, что я поступаю правильно, стремясь уничтожить в лице того крестьянина врага...

Я не дал Ирмагд Зейферт уйти с головой в историю лагеря для эвакуированных детей, изменив тему разговора; мы проболтали о школьных делах за полночь. Сперва о системе поощрений и о проверке способностей тестами, потом о наглядности учебного материала, не без иронии упомянули о том, что воспитание — это, в сущности, диалог, обсудили новые правила, по которым будет про-

водиться второй государственный экзамен на замещение учительских должностей. Не обошлось, конечно, и без анекдотов, которые были в ходу, когда я и она работали стажерами. Весело, хоть и несколько вымученно позиздевались над кое-кем из наших коллег. Я разыграл целую сценку — педсовет, на котором обсуждался вечный вопрос: обеспечение учебными пособиями. Ирмгард Зейферт смеялась:

— Да, мы бедные трудяги на школьной ниве...

Ну а потом мы перешли к своей излюбленной теме: к гамбургскому эксперименту создания унифицированной общей школы: здесь мы придерживались одного мнения — только с помощью такой системы можно будет отменить все устаревшие формы вступительных экзаменов и перевод из одного класса в другой; в общем, выяснилось — мы оба хотим идти одной и той же дорогой реформ, и я было решил, что ободрил свою коллегу. Но когда Ирмгард уже уходила — задержалась между входной дверью и лифтом, — она опять затосковала:

— Не появляется ли у вас время от времени безумное желание — пусть что-нибудь случится, нечто совершенно новое, чему нет названия? Пожалуйста, не смейтесь, Эберхард, нечто такое, что сокрушит всех нас...

(На бумажке я записал: как робко и невнятно моя всегда столь хладнокровная коллега призывает к своей гибели.)

Что за странная идея разводить декоративных рыбок? Их сложно кормить, поддерживать определенную температуру воды, подавать в аквариум кислород, бороться с паразитами... а потом смотришь — какой-нибудь вуалехвост уже плывет брюхом кверху, а завтра находишь в том же положении золотистого ерша. Гуппи пожирают собственных детей. Отвратительное зрелище, хотя видишь его в преломлении.

— Надо вам бросить эту чепуху, Ирмгард.

— А разве нравы в вашем 12«а» более изысканные?

Я созвонился с зубным врачом и в ответ на его вопрос о моем самочувствии сказал:

— Вполне удовлетворительное.

Хотя десны у меня болели и каждые четыре часа приходилось полоскать. После этого я изложил ему мой план, который он назвал типичным планом учителя, но все же согласился с ним и дал ряд практических советов вполне деловому, кратко, словно речь шла о лечении больного корня. Он по буквам продиктовал адрес одного довольно заикленного чудака, я разыскал этого чудака в Рейникендорфе, взял из его частного собрания пожелтевшие мерзопакостные картинки, заглянул в ульштейновский²⁴ архив и в земельную фототеку; всего я набрал около двадцати пяти черно-белых и цветных диапозитивов, которые показал Шербауму после уроков в нашем биологическом кабинете.

Сперва он махнул рукой:

— Могу себе представить, что вы там выкопали. Все знаю.

Тогда я стал звать к его благородству:

— Вы познакомили меня со своим планом, Шербаум. Так дайте же и мне, вашему учителю, тоже шанс.

Он уступил и обещал прийти.

— Ну хорошо. Только для того, чтобы вы могли сказать впоследствии: «Я сделал все, что было в моих силах».

Он пришел и привел свою длинношерстную таксу («Макс тоже хочет поглядеть»). И вот я показал им всю намеченную программу. Сперва примитивные гравюры на дереве с изображением костров, на которых в средние века сжигали ведьм и евреев. Потом погружение в кипящее масло для умерщвления похотливой плоти. Потом сожжение на костре Яна Гуса. Потом зверства испанцев в Южной и Средней Америке. Потом сожжение вдов в Индии. Потом документальные снимки — действие первых огнеметов, жертвы зажигалок во второй мировой войне,

²⁴ «Ферлаг Ульштейн» — одно из крупнейших западногерманских издательств, созданное в 1877 году.

кадры, снятые во время больших пожаров и после аварий самолетов: Дрезден. Нагасаки; под конец самосожжение монахини во Вьетнаме.

Шербаум стоял рядом с диапроектором и не задавал вопросов, а я в это время отбарабанивал все, что узнал об этой теме: из каких пород дерева складывали костры для ведьм (из дрека, потому что у него зеленоватый дым), о церемонии «очищения огнем» (преддверие ада), о жертвоприношениях на кострах в общем и в частности («Не только в Библии можно об этом прочесть») и о кострах из книг начиная с костров инквизиции после соответствующих папских булл, кончая национал-социалистским варварством, рассказал и о празднике солнцеворота, когда прыгали через огонь, и прочей чертовщине, а также о печах в нацистских крематориях («Вы понимаете, Шербаум, что мне не хотелось бы подробно останавливаться на Освенциме»).

Когда я показал ему все диапозитивы, он заметил, не спуская Макса с рук:

— Но ведь это люди. А я хочу собаку. Понятно? Насчет людей все известно. Они это проглотили. Только приговаривали «плохоплохо» или как в средневековье... Но если я сожгу живого пса, и притом здесь, в Западном Берлине...

— Вспомните голубей. Их отравили. Назвали это широкомасштабной акцией, и тоже здесь, в Западном Берлине...

— Совсем другое дело. Ясно Их была тьма. Они мешали людям. Все запланировали заранее, оповестили, у каждого было время приготовиться и не смотреть. И они это в упор не видели. Стало быть, порядок...

— О чем вы говорите, Шербаум...

— Говорю об умерщвлении голубей... Я знаю также, что раньше поджигали крысы, чтобы прогнать крысиные полчища. Случалось, что устраивали пожар, запуская горящих кур. Но если они взглянут на горящую таксу в Западном Берлине, где полным-полно людей, помешанных на собаках, то скажут: «Такого мы еще не видели»; только когда сгорит собака, они наконец поймут, что штатники сжигают там, во Вьетнаме, людей, сжигают ежедневно.

Шербаум помог мне сложить диапозитивы. Надев клеенчатый чехол на диапроектор, он поблагодарил за показ, устроенный специально для него.

— Было, прямо сказать, интересно.

Отдав обратно одолженные диапозитивы (старому чудаку в Рейникендорфе, я отослал их заказной бандеролью), я понял всю смехотворность моего поражения (так, наверно, чувствует себя Ирмгард Зейферт, которая ежедневно терпит фиаско со своим аквариумом).

Я позвонил зубному врачу и выслушал его соболезнования по поводу моего неудачного эксперимента.

— Но мы не будем сдаваться и не позволим судьбе играть с нами свои дурацкие штучки.— Засим последовала цитата из Сенеки, а также сказанные в сторону слова: — Выпячивание верхних передних зубов... (Его помощница заполняла карту с историей болезни.) Потом он опять вернулся к нашему разговору: — Вы заметили, ваш ученик не проявляет жалости к своей собаке?

— Пожалуй, да. Пожалуй-пжалуй. Шербаум вместе с таксой проводил меня до остановки автобуса (и впрямь забавное животное). Незадолго до того как автобус пришел, он поклялся, что история с Максом — так зовут пса — мучает его; таксу эту он взял уже четыре года назад.

— Стало быть, еще есть надежда, — сказал зубной врач.

— «Спутник надежды — страх».

Дантист прокомментировал это изречение:

— Сенека ссылается на Гекатона²⁵, который сказал: «Ты перестанешь бояться, если и надеяться перестанешь»... Но поскольку ваш ученик нас беспокоит — и, что ни говори, у нас есть повод для страха, — мы имеем право надеяться, не так ли?

— Я лично надеюсь только на то, что парень подхватит тяжелый грипп и его уложат в постель...

— Все-таки вы надеетесь Все-таки...

После этих слов зубной врач дал мне понять, что у него на письменном столе лежит еще много десятков не до конца заполненных карточек.

²⁵ Гекатон Родосский (Iв. до н. э.) — философ-стоик. Ученик Панэтия.

— Вы ведь знаете, что я с особым вниманием отношусь к лечению детей дошкольного возраста. Карнес перешел в наступление. Число детей, у которых поражены молочные зубы, ужасающе велико. Статистики утверждают, что у девяноста процентов подростков, миновавших переходный возраст... Согласен — это болезнь цивилизации, но уйти в девственный лес тоже не выход...

Прежде чем мы оба положили трубку, дантист не преминул осведомиться насчет арантилы:

— Есть ли у вас достаточный запас?

(У меня был достаточный запас арантилы.) А также запас бумажек, которые я складывал одну к другой. Мальчик губит себя. Мальчик губит меня. Что обо мне подумают, когда он это сделает? Надо считаться и со мной тоже. Как будто я этого не хочу. Или, может, ударить самому, устроить генеральную уборку. (Десять тысяч бульдозеров...) Очистить атмосферу. Опять начать с нуля. Нутряной мятежный порыв — это случается после того, как почищу зубы, и до того, как сел завтракать. Покончить с ханжами реформаторами и ощутить горячее дуновение мятежа, чтобы новое общество... Сейчас пора подготовиться к школьной экскурсии. Ну что же, пусть в Бонн. Сидя на галерке, мы сможем прослужать дебаты о среднесрочном планировании в области финансов. А потом я предложу им написать сочинение на тему «Как работает бундестаг?» или «Если бы я был депутатом бундестага...». Можно придумать и провокационную тему: «Парламент или говорильня?»... Из Бонна стоило бы позвонить Линде: «Линда, это я... Да, я. Твой бывший... Да, уже давно. И не только голос у меня изменился. Нет, твой совершенно не изменился. Не встретиться ли нам? Где? Лучше всего в Андернахе на променаде у Рейна. Я буду ждать на крепостном валу между дощечками с молитвами, обращенными к деве Марии, ты еще помнишь? На два-три часа я могу отлучиться... Не хочешь со мной наедине?.. Управляющий в отеле «Траубе»? Ах, так. Понимаю. Я должен быть паинькой и приличия ради привести с собой одного из учеников? Есть у меня на примете очень одаренный юноша по фамилии Шербаум. Рассказывал ему о нас, конечно, намеками. Я имею в виду о тебе и обо мне тогдашних. Утром были в бундестаге. Довольно-таки удручающее зрелище. Этот юноша, представь себе, хочет облить свою собаку бензином и сжечь. Публично. Нет, не в Бонне. У нас на Курфюрстендамм перед знаменитым отелем Кемпински. Он говорит — потому что в Западном Берлине все помешались на собаках...»

Да, между прочим, я могу предложить это Шербауму, если он не откажется от своего намерения. Дескать, Шербаум, моя прежняя невеста советует публично сжечь вашего пса не в Западном Берлине, где вы смутите всего лишь нескольких лакомок, а в Бонне, где находятся политики, власть имущие. Это можно устроить аккуратно перед каким-нибудь важным заседанием бундестага — тогда, когда явятся сам канцлер и его министры...

Обратив внимание Шербаума и его подружки Веро на главный вход в здание бундестага, я услышал, что он сам уже об этом подумывал.

— Почему же тогда все-таки здесь, а не в Бонне?

— Там это пройдет незамеченным в общей сутолоке.

— Они просто посмеются, увидев, как горит Макс, и скажут: «Ну и что?» Такие истории они именуют нарушением общественного порядка.

— Но в Бонне власть имущие.

— На собаках помешаны только в Западном Берлине.

Я попытался высмеять Шербаума за его желание привязать эту акцию к определенному месту. Сказал, что она стала для него навязчивой идеей и что он, как многие, переоценивает ситуацию в Западном Берлине.

Веро Леванд решила убить меня цифрамп:

— Слыхали ли вы вообще, сколько собак здесь зарегистрировано?

— Ну вот.

Она знает почти все. Ровным голосом (чуть в нос) произносит свои поучения. Не просит, а требует и говорит всегда во множественном числе.

— Мы требуем решающего голоса при составлении учебных программ...

Она входит в группу, в которую Шербаум не вошел, носит ядовито-зеленые

колготки и требует ввести новый предмет в школе — сексологию, отнюдь не ограниченную ее физиологической стороной. Еще вчера она бегала с ножовкой — собирала звездочки, — а сегодня бросила эту игру. Чрезвычайно прилипчивая особа — впилась в свитер Шербаума, как клещ. («Отстань, от тебя воняет групповщиной».) Впрочем, он относится к ней добродушно, так же добродушно, как и ко мне, когда дает мне выговориться.

— Шербаум, я настоятельно рекомендую вам отказаться от этой безумной затеи...

Ирмгард Зейферт слушала, глядя мне прямо в лицо, склонив голову так, как ее склоняют обычно люди, внимательно следящие за ходом мыслей собеседника. Я распространялся насчет истории с Шербаумом, и она кивала там, где надо было. Мне казалось, что я читаю у нее в глазах удивление-понимание-потрясение. Но когда я спросил, какого мнения она обо всем этом и не может ли дать мне дельный совет, Ирмгард сказала:

— Вы, вероятно, поймете меня: эти старые письма в корне изменили мою жизнь...

Я попытался было вставить несколько словечек («Это прямо-таки возврат к средневековым кострам»), чтобы вернуть ее к истории с Шербаумом, но она, слегка повысив голос, продолжала:

— Вы, наверно, помните! Во время поездки к матери в Ганновер в одно из воскресений я наткнулась, роясь на чердаке во всяком хламе, на школьные тетради, детские рисунки, а потом и на письма, которые писала незадолго до конца войны как заместительница руководителя лагеря для детей, эвакуированных из городов...

— Вы мне уже рассказывали. Лагерь в Западном Гарце. В ту пору вам было столько же лет, сколько сейчас нашему Шербауму.

— Вы правы. Мне было всего семнадцать. Признаюсь, что я слепо верила в фюрера, в германскую нацию и отечество, но это было тогда чрезвычайно распространено. Тем не менее я краснею до сих пор, вспоминая мой истерический призыв дать нам противотанковые гранатометы. У меня хватало совести учить четырнадцатилетних мальчуганов стрельбе из этих орудий убийства...

— Но ведь ваша боевая группа, милая Ирмгард, так и не была введена в бой...

— Это не моя заслуга. Американцы не дали нам опомниться...

— И благодаря этому вашу историю следует зачеркнуть. Кто может обвинить семнадцатилетнюю девчонку, если наш нынешний бундесканцлер, несмотря на свое прошлое, считается вполне приемлемым...

— Я потеряла всякое право судить о деле Кизингера. И никто не может меня оправдать. Подумать только, я донесла крейслейтеру на крестьянина, на простого крестьянина только из-за того, что он отказывался, мужественно отказывался отдать свое поле под противотанковый ров.

— Ваш храбрый крестьянин, как вы недавно рассказали, умер лет десять спустя естественной смертью. И я вас оправдываю, если вы не решаетесь сами себя оправдать.

Благодаря моему оправдательному вердикту я получил возможность увидеть Ирмгард Зейферт во гневе. Она вскочила как ужаленная.

— Хоть вы мне и друг, я запрещаю вам решать мою проблему так поверхностно!

(Позже, все еще сердитый, я отпустил несколько колких замечаний по поводу порядков, царивших в ее аквариуме: «Ну а как обстоят дела у ваших резвуний? Кто кого пожирает в данное время?»)

В учительской я был по-прежнему любезен:

— Ваша коллизия и чувство вины должны дать силы, чтобы бережно руководить молодыми людьми, которые еще не могут направить свое все растущее недомольство в нужное русло.

Она помолчала немного: воспользовавшись паузой, я продолжал:

— Прошу вас, давайте вместе представим себе: нашему Филиппу Шербауму всего семнадцать лет. Несправедливость, даже если ее совершают где-то далеко,

травмирует его. Он не видит выхода. Или только один выход: публично сжечь свою собаку. И показать таким образом всему свету — или хотя бы западноберлинским обожателям собак, — подать им знак...

Тут она заговорила опять:

— Какая чепуха!

— Точно. Точно. И все же мы обязаны понять, что этот мальчик в безвыходной ситуации.

Сидя в учительской, где все дышало порядком, она сказала:

— Какая безответственная ерунда!

— Кого вы в этом убеждаете? И все же мне до сих пор не удалось отговорить мальчика от его намерения.

Архангел сказала:

— Тогда считайте, что вы обязаны сообщить об этом куда следует...

— Вы думаете...

— Я не думаю, я настоятельно советую вам.

— Сообщить руководству школы?

— При чем здесь школа? Пригрозите ему полицией. Тогда посмотрим. В случае необходимости, если не решитесь вы, я возьму это на себя.

(Ирмгард Зейферт связана с полицией... Следует ли считать — все еще связана?) Моему зубному врачу, с которым я говорил по телефону, идея Зейферт пришлась не по вкусу.

— Зачем сразу же обращаться к блюстителям порядка? Продолжайте убеждать мальчика. Разговоры отвлекают от действий.

Таким образом, я должен стать сообщником правопорядка. Дантист рассуждал обо всем так, словно это карлес:

— Главное — это предупредить. Никакого хирургического вмешательства, зубоветеринарная профилактика. Когда мы наконец научимся бороться с болезнью на самой ранней стадии? Отлучим детей от сосок? Отучим дышать ртом? Дыхательные упражнения против дистального прикуса. Слишком много действий и мало результатов. Бросок на луну и в то же время отсутствие по-настоящему эффективной зубной пасты. Слишком много людей, рвущихся действовать, рубящих сплеча.

Не является ли любое действие актом отказа? Что-то назревает, еле-еле проклевывается, но вот приходит человек действия и распахивает окна теплицы.

— Стало быть, вы отрицаете, что ветер перемен (проветривание) в любом случае благотворен?

— Но ведь из-за этого прервался процесс развития, который все-таки обнадеживал.

Действие как лазейка. Необходимость перемен. Злодейство как юридическое понятие. Что значит прекратить болтовню, начать действовать? (Мой зубной врач хочет утопить все в разговорах исходя из того, что лучше слова, чем действия.) Помню, что он сказал, бросив взгляд на мой зубной камень «Скверное зрелище. Камень надо ликвидировать радикально». Не уподобить ли капитализм зубному камню, который необходимо ликвидировать?

И все же. Разве вмешательство с целью исправления моей прогении не было действием — ведь дантист назвал мою прогению настоящей, поскольку она врожденная. Он сказал бы: в данном случае я руководствовался накопленным опытом плюс мастерство; однако поспешное удаление зубов — это мания: пациент согласен на дырку, лишь бы не болело. Опять же действие без учета накопленного опыта; глупость рвется действовать

Стало быть, прилежание, сомнения, здравый смысл плюс опыт, осмотрительность, непрерывное возвращение к исходной точке, едва заметные сдвиги, заранее предусмотренные ошибки, поступательное движение шаг за шагом. Одним словом, церковное шествие в троицын день. Знаете, когда проходят три шага вперед, а потом на два отступают назад. Что касается человека действия, то он перепрыгивает через ступеньки, отбрасывает знания, ибо они его сдерживают; он ветрен и ленив — трамплин для злодейства

А теперь посмотрим, что такое страх: развитие кажется нам (так оно и есть) незаметным. Часы не бьют и не оповещают о маленьком будничном прогрессе.

Именно застой и холостой ход создают то, что получило печально знаменитое наименование — кладбищенский покой; моя коллега Ирмгард Зейферт нарушает его вздохами: «Ах, если бы что-нибудь случилось...» Затишье, а потери все растут. Страшная давящая тишина, которую Шербаум хотел бы взбаламутить; страх тоже толкает к действиям.

Зубной врач рассмеялся в телефонную трубку:

— Дети аукаются в лесу. Даже сотворение мира — оно было не единовременным действием, а многоактной пьесой — можно приписать страху, который выдавал себя за творчество. Дурные примеры заразительны. Люди действия именуют себя творцами. До сотворения мира следовало бы побеседовать со старым джентльменом там, наверху. Вы ведь знаете мой тезис: разговоры отвлекают от действий.

На старости лет Сенека рекомендовал нам бездеятельность как итог накопленного опыта: до этого он долго писал речи Нерону, облакая его злодейство в слова. (Это было вроде тех советов, которые дает мне зубной врач.) Может, предложить им тему для сочинения: «Что такое действие?» Или попытаться превратить Шербаума в Луцилия, чтобы он изощел словами... Хорошо говорить все это дачтисту — человеку действия, который удаляет зубной камень, борется со злом, предпринимает одно радикальное вмешательство за другим. Люди деятельные проповедуют бездеятельность.

Они собирались в кучки. Шербаум быстро переходил от одной к другой. С начала года держалась холодная сухая погода. Ребята жались друг к другу. (Бр-бр — на их сленге, смахивавшем на язык утенка из диснеевских лент, это означало, что им холодно, они говорили какими-то усеченными словами: будьспон, будьсде, тип-топ.) Веро Леванд закурила и передала сигарету по кругу («Ну и что?»). Даже воробьи собирались в стайки между стайками ребят.

Я задержал Шербаума на школьном дворе, задержал в буквальном смысле слова, преградив ему дорогу, когда он хотел перейти от одной кучки ребят к другой. Начал с заранее приготовленных слов:

— Очень жаль, Филипп. Но если вы не откажетесь от вашего плана, мне придется сообщить о нем, причем сообщить в полицию. Вы понимаете, к чему это приведет?

Шербаум засмеялся так, как может смеяться один только Шербаум: даже не оскорбительно, скорее добродушно-снисходительно и с оттенком беспокойства, будто он хотел меня пощадить.

— Вы наверняка не сделаете этого ради себя самого. Вы слишком себя уважаете.

— И все же я всерьез размышляю, как в случае необходимости сформулировать мое заявление...

— Вы это просто не сможете сделать, не сможете преодолеть путь до полицейского участка и прочее...

— Я вас предупреждаю, Филипп...

— Это никак не вяжется с вами.

(Она оставила ребятам чинарик и приблизилась к нам в своих ядовито-зеленых колготках.)

Я стал как попало выкладывать свои доводы: бессмысленный, заносчивый, глупый, жестокий, опасный план. Я говорил и говорил: с одной стороны... именно поэтому... неправдоподобно... ни о чем не свидетельствует... нереально.

Шербаума не удовлетворил ни один мой довод.

— Знаю, — заметил он. — Вы должны так говорить, вы же педагог.

Когда я сказал, что этот бессмысленный поступок не принесет ему ничего, кроме дешевой славы, Веро Леванд опять влезла со своим «ну и что?».

— Фрау штудиенрат Зейферт, если бы вы сообщили ей о вашем плане, сделала бы на моем месте то же самое...

— Ах так. Архангел уже знает.

Прежде чем я успел придумать что-нибудь, вмешалась Веро Леванд:

— Она пусть вообще помалкивает. Сама все время талдычит о сопротивлении, о долге.

Веро довольно ловко передразнила Ирмгард Зейферт, она не пыталась воспроизвести ее голос — она подражала ее языку, стилю, как бы цитировала:

— Даже в самые мрачные часы прошлого нашего народа постоянно находились люди, которые действовали. Подавали знак. Грудью преграждали путь несправедливости. — Прищелкнув пальцами, Веро Леванд подала мне знак. — Ну а теперь ваша очередь.

Перебираясь через вспомогательные предложения как через мостки: «Вы теперь наверняка считаете...» — или: «Сейчас вы могли бы заметить...» — я построил длинный монолог, нечто вроде карточного домика, который Шербаум, потеряв терпение, разрушил в один миг:

— Почему вы не скажете — сделай это? Почему не скажете — ты прав? Почему не вселяете в меня мужество? Ведь на это нужно мужество. Почему вы мне не помогаете?

(Молчание, наступившее потом, с трудом можно было выдержать. Никакие словесные ограды ни от чего не спасали. Решайся! Решайся же!)

— А теперь, Шербаум, вот мое последнее слово. Я возьму собаку в собачьем питомнике Ланквитца, подожду, пока она ко мне привыкнет, а потом на том самом месте, которое вы выбрали, оболью ее бензином и подожгу. И я принесу с собой ваш плакат. При этом будут присутствовать журналисты и телеоператоры. Вместе с вами мы сочиним листовку, по-деловому проинформируем публику о действии напалма. Эту листовку вы и ваша приятельница сможете разбрасывать на Курфюрстендамм; после того как меня арестуют или — это тоже не исключено — изобьют до полусмерти. Согласны?

Школьный двор пустел. К нам подобралась воробьи. Мой язык нащупал оба инородных тела производства «Дегуссы» по специальному заказу. Веро Леванд дышала ртом. А Шербаум глядел сквозь голые ветви каштанов, росших во дворе (так и я когда-то стоял, глазел, но я не искал в воздухе точку опоры, я упирался взглядом в землю. «Штёртебекер уже опять что-то задумал. У него есть план. У него есть план...»). Последний звонок. А над всем этим самолеты «Pan Am»²⁵, летящие в Темпельхоф.

— Согласны, Филипп, согласны?

— Внимание, Филипп. Мао предостерегает нас от ученых разных мастей...

— Не суйся... Это еще надо обмозговать.

— Нет, отвечайте сейчас, Филипп. Согласны?

— Без Макса я это не могу решить.

Они ушли, я остался один. Моя рука нашарила в кармане арантил: хоть какое-то подспорье.

— Понимаю, понимаю! — сказал мой зубной врач. — Вы хотите выиграть время, завести собаку, приучить ее к себе. А пока что план Шербаума может перезреть. Или вдруг случится что-нибудь непредвиденное. Всегда остается надежда на перемирие. А не то, глядишь, папа римский преподнесет человечеству новую энциклику, призывающую к миру. Биржа отреагирует нервно. Чрезвычайные послы встретятся на нейтральной почве. Недурственная тактика, недурственная!

— Я ни в коем случае не могу допустить, чтобы мальчишку линчевали, что не исключено.

Но зубного врача я не смог убедить...

— Я ведь говорю — это не безнадежно. Имея в виду вашу тактику.

Но я сам только на протяжении полужазы верил, что хочу спасти Шербаума. (А ведь стоя перед зеркалом и бреясь, я твердо решил сделать это, сделать это.) Да, дантист, видимо, знал меня лучше. Изучил соскочивший с моих зубов камень.

— Попросите в Ланквитце суку после случки. Таким образом, у вашего ученика появится возможность освободить вас от обещания. Не захочет же он, чтобы вы сожгли беременное животное.

— Такие циничные предложения могут прийти в голову только медику.

— Что вы. Я просто логически развиваю вашу мысль. А пока что будем с напряженным вниманием ждать, что решат мальчик и такса.

²⁵ Американская авиакомпания «Pan American Airways».

А вдруг он и впрямь скажет: «Действуйте»? Вдруг это ляжет на мои плечи? Вдруг он очень даже просто скажет «да» перед тем, как будет поздно, и до того, как рано или поздно все случится? Тут уж не отступишь (даже в качестве частного лица). Назвался груздем — полезай в кузов. Западнберлинский штуденрат, сорок лет, протестует против войны во Вьетнаме и в знак протеста публично сжигает свою собаку, шпица... Но не на Курфюрстендамм. Лучше уж сделаю это у бундестага. Протест прозвучит весомей, серьезней. Все следует запланировать заранее. Сообщения для прессы через агентства. Предварительно официальный запрос в парламенте. И еще, наверно, следовало бы написать моей бывшей невесте: «Милая Линда, приезжай, пожалуйста, в Бонн и подойди к главному входу в бундестаг. И возьми с собой, пожалуйста, детей. И твоего мужа, если это необходимо. Я хочу тебе кое-что показать; нет, доказать — пойми наконец, что я не тот хоть и приятный малый, но нытик, *underdog*²⁷, из которого ты во что бы то ни стало решила сделать штуденрата; я настоящий мужчина, человек, готовый на все. Приезжай, Линда, приезжай: я подам знак...»

Мой класс — вот кто выиграл от сложных отношений между учителем — учеником. Опираясь на голые факты, я пытался познакомить Шербаума с хаосом, царившим в истории. (Кроме него и Веро Леванд, класс был довольно средний; ученики медленно подтягивались вперед, или скорее вверх, и не имели особых запросов.) Я старался показать абсурдность некоторых, казалось бы, вполне разумных действий. Сверх программы мы занимались Французской революцией и ее последствиями. Я начал с выявления причин (идеи просветителей Монтескье, Руссо, критика физиократов, направленная против меркантилизма в экономике и против раз и навсегда установленного сословного строения общества). Без устали я обращал внимание Шербаума на столкновения между представителями либеральной и тотальной демократии. (Позднейший вариант — противоречия между парламентской, формальной демократией и властью Советов.) Мы говорили и о моральном оправдании террора. Целый урок я посвятил не связанному ни с какой определенной эпохой лозунгу «мир хижинам, война дворцам!». Наконец, обратившись к документам, я разъяснил, как и с какой жадностью революция пожирает своих детей (Дантон в бюхнеровской пьесе). Да, все кончалось реформизмом. Проявив терпение, можно было бы достичь того же меньшей ценой. Именно так появился Наполеон. Революция и ее повторение. Абсурдная закономерность: революция создает реставрацию, которую должна уничтожить опять же революция. Аналогичные явления вне Франции: Форстер²⁸ в Майнце. (Как он там задыхается. Как издыхает. Как Париж его принимает, а потом выплевывает.) И еще я привел в пример Швейцарию — Песталоцци отвернулся от революции из-за того, что она застряла в реформах и реформочках, а он стремился к великим преобразованиям, к созданию нового человека. (Сравни с Маркузе — бегство в философию спасения: жизнь в довольстве.) Я осторожно процитировал Сенеку, прежде чем цитировать павшего духом Песталоцци: «Когда люди станут лучше, они поставят во главе лучших людей...»

Еще до этого я записал свои опасения: «Не исключено, что Шербаум посмеется над тем, что я осторожно преподношу Сенеку. И подробно рассказываю о Песталоцци. Пусть смеется, смех тоже препятствует готовности действовать».

Но он слушал внимательно и, как всегда, чуть скептически. Однако ямочки на его щеках так и не появились.

По бокам от въезда в питомник Ланквитца находилось собачье кладбище. Надгробия (величиной с детские могилы) рассказывали о Путци, Ральфе, Харрасе, Бианке. Туда ходят старушки и шебаршатся в плюще. Иногда в мрамор вставлены фотографии. И надписи говорят о верности, о незабвенной верности.

Перед началом занятий Шербаум поджидал меня на автобусной остановке.

— Мы все обдумали. Не выгорит.

— Тогда объясните причину. Причины.

²⁷ Неудачник (англ.)

²⁸ Форстер Георг (1754—1794) — немецкий просветитель и революционный демократ. Автор декретов 1793 года о провозглашении Майнца республикой и присоединении Майнца к революционной Франции.

— Ваше предложение и так ослабило нашу решимость.
 — Простительная слабость...
 — Согласен: конечно, нам страшно...
 — Поручите это мне, Шербаум. Пусть это и звучит чересчур самонадеянно, но мне не страшно.

— Точно. И именно потому дело не выгорит.
 — Казуистика...
 — Такие вещи должен делать только тот, кому страшно.
 — Раньше мне тоже было страшно...
 — Мне теперь совершенно ясно: то, что совершается без страха, не в счет. Вы хотите это сделать, только чтобы этого не делал я. Вы не верите. Вы — взрослый и у вас одна задача — помешать худшему.

(И вот я стоял перед ним, студийнрат Эберхард Штаруш, лишенный страха, желавший помешать худшему, стоял со всеми моими болячками, заглушенными арантилом. Следовало бы все же признать, что я боюсь зубной боли... И местной анестезии тоже боюсь, маленького неприятного укольчика...)

— Вы считаете, значит, что, став взрослым, я потерял свою чистоту, а вместе с ней страх. Посему я, нечистый, не имею права приносить жертвы.

Шербаум искал точки опоры в воздухе и, между прочим, нашел.

— Значит, так: с чистотой и с жертвой это вообще не имеет ничего общего. Иногда вы говорите тем же языком, что и Архангел, так же напыщенно. Ведь жертва — это нечто символическое. А наше предприятие имеет определенный смысл, но если не испытывать страха, ничего не получится.

— Вопрос терминологии.

— Шербаум, если человек чего-то боится и, несмотря на это, совершает — из политических или, скажем, из гуманных соображений, — то, стало быть, он приносит жертву, жертвует собой.

— Ну хорошо. Во всяком случае, мотивы должны быть совершенно чистыми.

В коридоре меня остановила Веро Леванд: «Перестаньте наконец нервировать Шербаума, прекратите ваши нечистые махинации...» Точно так же на меня напала и Ирмгард Зейферт на пустом уроке: «Мне не нравится ваша манера, Эберхард, отделяться от моих проблем легкомысленными советами. Если и есть для меня выход, он должен быть стерильно чистым. Вы понимаете?»

Зубной врач, утешая меня, научно опроверг само понятие чистоты, о чем я знал и без него. К дантисту я обратился «ради проверки»...

Он усмехнулся, строя из себя эдакого всезнайку, и рассердил меня, объединив нас обоим словечком «мы».

— Мы два нечистых, — сказал он, намекая на мои мостовидные протезы в нижней челюсти... — Даже платина и золото, которые должны исправить ваш прикус, не совсем чистые, правда в переносном смысле этого слова: их специальное легирование произведено по патенту фирмы «Дегусса», которая поддерживает довольно-таки подозрительные деловые связи с Южной Африкой. Куда ни глянь, всюду какая-нибудь закавыка. Меня удивляет вот что: ваш ученик, которого я, несмотря на его юношеский максимализм, считал трезвым пареньком, выдвигает бескомпромиссные требования.

Прежде чем проверить мостовидные протезы, прежде чем смазать мои все еще воспаленные десны, а также покрыть прозрачной мазью ранку от ожога на нижней губе, дантист достиг со мной соглашения:

— У нас растет новая генерация, которая хоть и притворяется деловой, в действительности жаждет мифа. Осторожно-осторожно.

(Она предвяряет мои намерения. Угадывает мои желания — сегодня яркий тому пример.) Незадолго до полуночи она очутилась со мной за стойкой бара на углу.

— Я так и подумала: либо вы сидите у Реймана, либо здесь.

Мне было разрешено заказать ей бутылку кока-колы и рюмку пшеничной. (Только не выпрашивать. Пусть сама расколется. Старое мужицкое правило: хочешь купить свинью — говори о погоде.)

— Раньше, до того, как я имел удовольствие стать педагогом, мне довелось работать в цементной промышленности. И цементники — так называют рабочих на цементных заводах — опрокидывали уже за завтраком одну или две рюмочки водки; впрочем, они не запивали водку кока-колой. Зато они потребляли в больших количествах пиво «нетте». Нетте — речушка в предгорьях Эйфеля. Живописно извиваясь, она протекает по самому крупному в Германии району пенистой лавы, используемой в строительстве. Пемза вызывает жажду. Я, разумеется, не знаю, интересуетесь ли вы пемзой. Как бы то ни было, пемза относится к лаахским туфовым горным эффузивным породам. После извержения этих туфов вулканическая деятельность в лаахском озерном крае пришла к концу...

— Почему вы не оставляете в покое Флипа?

(Это говорит она, на пемзу ей наплевать.)

— Насколько я знаю, фрейлейн Леванд, вы называете себя марксисткой. Поэтому мне непонятно, почему вы не проявляете никакого интереса к условиям работы трудящихся, занятых в пемзообрабатывающей промышленности. И я как марксист...

— Вы либерал. А Мао говорит о либералах, что они выступают за марксизм только на словах, а претворять его на практике не хотят. Не могут на это решиться.

— Правильно. Я либеральный марксист, ни на что не могу решиться.

— Маркс у вас на устах, а действуете вы как либерал. Поэтому вы и пытаетесь загнать Флипа в угол. Но вам это не удастся.

(Будем валять дурака? При этом она довольно хорошенькая в своем пальтишке с капюшоном.)

— Официант, кружку светлого.

— Мне водку.

— Милая Вероника, я считаю, что действую в ваших интересах, указывая вашему Филиппу на те последствия, которые будет иметь его бессмысленная жертва.

(Эта ее занудливая манера цедить слова в нос.) Веро Леванд говорила тихо — я сказал бы, проникновенно, — глядя на батарею бутылок позади стойки.

— В «Юйгунь²⁹ мог и горы своротить» Мао сказал, что надо быть твердым, не бояться жертв и преодолевать все трудности во имя достижения победы. Вот в чем суть. А теперь я пойду. Вы только и умеете что все истолковывать, изменять жизнь вы не умеете. А при этом мы стоим на пороге третьей революции. Только кучка реакционеров этого еще не понимает.

После ее ухода мне принесли кружку светлого. Я с удовольствием рассказал бы ей, как печально быть умным. Рассказал бы о колебаниях, о робости, мешающих бросать слова на баррикады. (И как у меня навязло в зубах слово «жертва»: «После того как Шестая армия³⁰ в течение многих месяцев, принося неисчислимые жертвы, сдерживала...», «Маленькая жертва для «Зимней помощи...», «Дорогажертвдорогажертв...») «Как потускло золото».

И все же мое предложение омрачило чистоту и целенаправленность жертвенной идеи Шербаума — он позвонил ко мне в дверь, но войти не захотел, держа на поводке Макса, сказал:

— Это с собакой из питомника меня убедило. Совсем не обязательно, чтобы был Макс. Я сам поеду в Ланквитц и, если у них найдется белый шпиц, куплю его. Как вы думаете, сколько они сдерут за шпица без родословной?

Он хотел одолжить у меня денег, намекал на это весьма прозрачно.

— В конце месяца с деньгами всегда туго.

В квартиру он так и не зашел, хотя я попросил у него несколько минут на размышление.

— Выпьем чашку чая, а потом трезво обсудим это предложение.

— Веро ждет внизу. Деньги можете дать и завтра утром.

— Вы слишком многого требуете, хотите одолжить деньги, купить на них

²⁹ В древнекитайской мифологии — герой, усмиритель потока. Один из его подвигов — «ворота дракона», туннель, пробитый в горе. Кроме того, он будто бы разделил на три части одну из гор, мешавших течению реки Хуанхэ.

³⁰ Армия Паулуса, разбитая советскими вооруженными силами под Сталинградом. Здесь и далее формулы нацистской пропаганды.

шпица, облить его бензином и публично сжечь — и не желаете посвятить меня в ваши, должен признаться, довольно-таки сумбурные планы. Это нечестно.

— Если вы не хотите, то...

— Еще вчера вы стояли за «абсолютную чистоту», а уже сегодня готовы пойти на гнилой компромисс: просите денег у взрослого, который в это вовсе не верит и даже не испытывает страха. Вы пачкаете свою жертву. Зачем?

— Не надо спрашивать, надо помогать.

— Хорошо. Вы жалеете Макса. Понятно. Но за вашу жалкую трусость должны заплатить я и какой-то безымянный шпиц из питомника Ланквитца, и еще не исключено, что шпиц окажется сухой после случки.

— Ланквитц — ваша идея.

— Я готов осуществить ее в полной мере ради вас.

— Но ведь и вы, возможно, купили бы шпица.

— Не для того, чтобы спасти вашего Макса. Речь идет о вас, Шербаум, о вас: что касается вашего плана, то он построен на эксплуатации; империализм в чистом виде. Пощадить собственную собаку и погубить другое животное. Нет, ваш расчет мне не по вкусу.

— Мне тоже нет. Наверно, вы правы.

Я так и остался стоять перед открытой дверью, а Шербаум, даже не взглянув на лифт, побежал по лестнице, нет, не побежал, а помчался со своим Максом, словно за ним гнались...

Я налил себе чаю, выпил несколько глотков и отставил стакан — пусть остынет.

(Я доволен собой. Доволен ли я собой? Днем — маленькие успехи, а с наступлением сумерек они рассыпаются в прах.)

— Вам следовало бы одолжить парню денег, — сказал мой зубной врач. — Сколько времени он на это убил бы: поездка в Ланквитц, выбор собаки, покупка, покупка поводка. Белый шпиц появляется в квартире родителей. Парень объясняет свой поступок матери, которая должна объяснить его отцу... Или наоборот. Ну а потом — разберем самый благоприятный вариант, — потом между такой и шпицем возникает дружба. Собаки смешно шалят, для виду кусаются. мордочки у них умилные. Возможно, у вашего ученика есть сестренка...

— У него нет сестренки. Нет сестренки.

— Я просто предположил. И вот девочка полюбила шпица, она считает его своим, в чем девочку поддерживают родители. Все эти не поддающиеся учету факторы вторгаются в план вашего ученика, совершенно расстраивают его замыслы.

— Бесплодные рассуждения. Абсолютно бесплодные.

— Но это еще не все. Вновь возникшая ситуация помогла бы вам противопоставить таксу шпицу. Например, вы задаете такой ехидный вопрос: «А почему бы не сжечь обеих собак?» Или: «Пусть собаки сами тянут жребий — какую бумажку вытащат?» Или: «Разве это нормально — присвоить себе право распоряжаться жизнью и смертью животных?»... Тут очень простой расчет, мой милый. Две собаки больше, нежели одна. Все становится сложнее, и тем самым легче подключить здравый смысл.

Мы затронули в нашем разговоре также зубоврачебные темы. Потом перешли к текущим политическим событиям («Этот Любке³¹ — конец света...»), а под самый занавес, как всегда, обменялись цитатами.

Он. Сенека сказал об этике: «Наше человеческое общество можно уподобить своду: он бы рухнул, если бы все камни каждый в отдельности не...»

Я. Мотив свода подхватил позднее Клейст в одном из писем сестре.

Он. И дальше, послушайте: «В человеческой жизни важна цельность, а не продолжительность. Часто, однако, чтобы сохранить цельность, надо не жить слишком долго».

Я. Если услышит Шербаум, он станет стойким: дескать, ваш старикан Сенека совсем не так уж не прав. Завтра я сожгу Макса. Семнадцать лет жизни более чем достаточно.

³¹ Любке Геврих (1894—1972) — западногерманский политик. В 1959—1969 годах президент ФРГ. В годы второй мировой войны участвовал в создании лагерей смерти и рабочих лагерей.

Зубной врач рассмеялся. Я засмеялся вслед за ним. (Два смеющихся человека на одном проводе.) Он начал первый и первый оборвал смех.

— Вы, конечно, правы. Древнеримские этические заскоки могут помешать стать должителем. Но вернемся к вашему молодому человеку, я стою на своем — следовало одолжить ему денег.

(До сих пор каждый раз, когда я принимаюсь за пиво у Реймана, мостовидные протезы дают о себе знать. Ничего горячего! Ничего холодного! Иностранное тело теплопроводно... Советы дантиста настолько разумны, что до первого неприятного ощущения их не слушаешь вовсе. Я советую вам... Лучшее не советуйте, доктор... Помогут ли вам вообще чьи-либо советы?.. Что мне делать, доктор?)

День спустя — у меня был пустой урок — я вызвал Шербаума с занятий музыкой, которые проводит в моем 12 «а» Ирмгард Зейферт. Он был бледен, напустил на себя благовоспитанный вид.

— Я передумал, Филипп. Можете взять у меня деньги. Я позвонил в Ланквитц. Шпиц без родословной стоит от семидесяти до восьмидесяти марок.

— Считайте вчерашнее минутной слабостью. тысячу раз извиняюсь. Либо Макс, либо вообще никто...

— Но мое предложение ни к чему вас не обязывает...

— Тогда можно взять и матерчатую собаку. Еще лучше несколько таких собак; у Веро Леванд их целая коллекция. Между прочим, не такая уж глупая идея. Спрошу как-нибудь, готова ли она расстаться со своим зверинцем. Мог бы начать с них: вполне безобидная штука. Модные шляпки решили бы: матерчатые собаки, детские игры, один из этих дурацких хэппенингов. А потом я пожертвую Максом... И пирожные сразу вывалятся у них из пасти.

Я глядел на него во все глаза. Идея с дурацкими матерчатыми игрушками овладела им. Он даже заговорил голосом диснеевского утенка (будьспок, будьсде, тип-топ), притворился, будто его тошнит от пирожных (ох, ик-ой-ой). Надо было уйти. Но моей меланхоличной заключительной фразой: «Как жаль, Филипп. я хотел вам помочь» — я дал Шербауму повод остановить меня:

— Знаю, что вы желаете мне добра.

Сказав это, ученик мой опять пошел на урок музыки. В коридоре я услышал, что пели что-то из Орфа.

Он способный мальчик. (Все желают ему добра.) Он быстро схватывает (слишком быстро схватывает). Занимается только тем, что ему нравится (У него была замечательная работа о значении символов в рекламе: «Звездочка на «мерседесах» — рождественская звезда»). Ростом он с меня, но все еще растет (Штертебекер был немного ниже). Когда он смеется, на щеках у него появляются ямочки. Родители у него живы. Отец занимает крупный пост в фирме «Шеринг»³². Мать я знаю по родительским собраниям, молодая дама лет сорока пяти, которая считает своего сына еще «совершенным ребенком». У Филиппа два старших брата, оба учатся в западногерманских университетах. (Один изучает в Аахене машиностроение.) Несмотря на то, что его успехи по моим предметам и по музыке (он играет на гитаре) куда выше среднего, он и в этом году со скрипом перейдет в следующий класс. Дружба Шербаума с Веро Леванд не сделала его радикалом (Правда, он требует — что вполне разумно — отмены уроков закона божьего и введения в качестве обязательных полноправных дисциплин философии и социологии.) Его склонность к шуткам иногда оборачивается некоторым перебором иронии. Так, например, в одном сочинении он написал: «Мой отец, разумеется, не был нацистом. Он был всего лишь уполномоченным по противовоздушной обороне. Уполномоченный по противовоздушной обороне — это еще, разумеется, не антифашист. Уполномоченный по противовоздушной обороне — это нуль. Я — сын уполномоченного по противовоздушной обороне, следовательно, сын нуля. Теперь мой отец стал демократом, так же как раньше был уполномоченным по противовоздушной обороне. Он всегда поступал правильно, хотя говорил зачастую: «Мое поколение наделало много ошибок». Говорит, безошибочно выбрав нужную минуту. Мы с отцом никогда не спорим. Иногда он замечает: «И ты со временем

³² Западноберлинская фирма, основана еще при фашизме. Производит фармацевтические товары, а также гербициды.

приобретешь опыт». Это тоже правильно, ибо нетрудно предугадать, что я приобрету опыт. И притом в качестве нуля или в качестве уполномоченного по противовоздушной обороне, а это, как я доказал ранее, одно и то же. («Что вы делаете сейчас?» «Приобретаю опыт».) Моя мать часто говорит: «У тебя великодушный отец». И тогда мой великодушный нуль замечает: «Оставь мальчика в покое, Элизабет. Кто знает, что еще будет!» И это опять же правильно. Я люблю своего отца. Он умеет здорово грустно глядеть в окно. Потом он говорит: «Да, вам хорошо, вы живете почти что в мирное время. Надо надеяться, что все так и будет. Наша молодость прошла иначе, прошла совсем иначе». Да, я и впрямь люблю моего отца. (Себя я тоже люблю.) Будучи уполномоченным по противовоздушной обороне, он, наверно, спасал людей. Это здорово и опять же правильно. Интересно, вышел ли бы из меня хороший уполномоченный по противовоздушной обороне? Летом, когда мы ходим купаться на Ванзее...»

За такое сочинение трудно было поставить отметку. (Под тем предлогом, что сочинение очень подражательное, я кое-как отвертелся от этого.) А ведь мальчик действительно способный.

Ирмгард Зейферт тоже считает Шербаума способным («У мальчика художественная натура...»). Но прежде чем я изыскал возможность поговорить с ней о Шербауме, она опять (и все в том же покаянном тоне) завела волюнку насчет старых писем; с тех пор как она открыла и проанализировала эти письма, она без конца открывает их и подвергает анализу. На сей раз она особо ловко истолковала одну фразу, а именно: «Наконец-то я готова принести жертву». Не доказывает ли слово «наконец», что раньше она не была готова принести жертву, стало быть, сомневалась? Я посоветовал ей особо выпятить слово «сомнение».

— Ведь оно сводит на нет все последующее, во всяком случае делает крайне проблематичным.

Разговор этот произошел между охотничьим замком и гостиницей «Паульсборн». Она заехала за мной на своем «фольксвагене», мы договорились прогуляться вокруг Грюневальдского озера. Поставив машину в лесу, у «Розенэка», мы пошли. Ничего необычного в этом не было, во время моего стажерства мы с ней каждый день перед началом занятий прогуливались вокруг Грюневальдского озера. И разговоры, которые мы вели, были типичными разговорами дамы-штудирента и ее ровесника, но всего лишь учителя-стажера. Мы держались на расстоянии, были то серьезны, то веселы; иногда, правда, впадали в развязность и в несколько натянутую игривость, что, впрочем, грозило перейти в другую крайность, в отдававшую холодом неловкость. (Я считал себя обязанным, учитывая человеческую природу и нашу неразлучность, перевести служебно-дружеские отношения между ней и мной во влюбленность, еще вполне допустимую в наши годы. Нам было под сорок. Но это приводило к тягостным паузам, которые удавалось перебить разве что деланной шутливостью.) Сначала мы с явным удовольствием и в хорошем темпе огибали озеро, впрочем, не слишком напрягаясь — дистанция между нами сохранялась, — но позже, когда Ирмгард Зейферт совершила свое открытие на материнском чердаке, она потеряла спокойствие, опять начала курить — и прогулки «одинразвокругозера» стали нам в тягость. Тут я начал изыскивать и даже создавать ситуации (отчасти из каприза, отчасти потому, что она мне нравилась), которые вели или могли вести к интимным отношениям. Она пошла и на это. Теперь мы без предупреждения являлись друг к другу в гости. Беседуя на разные темы, вдруг начинали целоваться, а потом так же неожиданно лихорадочно меняли тон, переходили на дела. Насмехались над нашей «звериной похотью», а потом иронизировали над неспособностью «отдаться чувству». «Ложная тревога, Эберхард. Избавим себя от приступа меланхолии, который, как мы предчувствуем, наступит потом».

Мы не только посмеивались и иронизировали, но и жалили друг друга — ведь прогулка наша, о которой мы договорились еще вечером, началась ранним утром, а накануне я опять неожиданно посетил Ирмгард. Мой визит затянулся до поздней ночи, никак не кончался.

— Вы благополучно добрались домой?

— Я позволил себе выпить еще две кружки пива и испробовал новую смесь — бутылку кока-колы и рюмку обыкновенной водки.

— Какое легкомыслие! Я вас не узнаю. Как-никак наши отношения строятся на полной умеренности.

— Наверно, мы боимся нарушить эту тишь да гладь хоть каким-то действием.

— Ну что вы! И нарушать нечего, разве что бесконечные разговоры обо всем на свете, одобренные капелькой симпатии друг к другу. Вы только и делаете что пятитесь назад, вспоминая ваше жениховство, прямо скажем, нелегкое; что касается меня, то с тех пор как нашлись эти письма, я выслеживаю семнадцатилетнюю девушку, которая совершила от моего имени нечто такое, чего я никогда не совершила бы.

— Вы забываете, Ирмгард, что ко времени моей помолвки я был уже не мальчиком — мне минуло двадцать семь, стало быть, я оказался несостоятельным, будучи уже, слава богу, взрослым...

— Разница в возрасте ни при чем, когда речь идет о поражении, которое ни вы, ни я, несмотря на все попытки сжульничать, не можем изобразить в качестве победы. Я, к примеру, вот уже много дней бьюсь над тем, чтобы истолковать в свою пользу одну чудовищную, хоть и короткую фразу в письме: «Наконец-то я готова принести жертву». Мое положение просто-напросто смехотворно: я представляю в одном лице и обвиняемую и защитника. Что вы на это скажете? Не правда ли, это поставленное спереди словцо «наконец» все же представляет интерес... Разве нет?

Охотничий замок остался у нас за спиной, мы брели к «Паульсборну». Светало как-то неохотно, день все еще не желал наступать. Смерзшийся за ночь снег гулко звенел. Там, где Лангес Лух образовывал ледяную перемычку между Круме Ланке и Грюневальдским озером, рабочий из лесничества выбивал во льду лунки для уток. Его белое дыхание относилось через плечо. Сразу после того, как мы свернули направо и пошли по тропинке вдоль северо-западного берега озера, чтобы сократить дорогу — мы двигались в затылок друг другу, — мне сразу же пришли в голову приличествующие этому воскресному дню умиротворяющие слова:

— Вот видите, как плодотворно было ваше сомнение: все то, что предшествует слову «наконец», осталось, а ваш глупый и, как мы сейчас знаем, не имевший никаких последствий поступок вообще затерялся и должен быть забыт.

Однако в Ирмгард Зейферт уже опять проснулось поистине воловье упрямство — до конца озера, а именно до самого деревянного мостика через ручей, который соединял наше озеро с Хундекельским, она втаптывала себя в грязь. И хотя на мостике, по обе стороны которого шумели утки около своих лунок, я в ярости заткнул ей пасть поцелуем, да, заткнул ей пасть, я услышал, едва успев оторваться от нее, конец прерванной фразы:

— ...и притом чем дальше, тем больше я убеждаюсь: я была разочарована тем, что после моего заявления ничего не последовало. Очевидно, я сделала вторичное заявление. Нет, назовем это прямо доносом. Я удвоила свою вину.

Поскольку мы опаздывали, я подталкивал ее по направлению к «Розенэку».

— Но ведь крестьянин благополучно перенес и ваше первое и ваше второе заявление — неизвестно еще, было ли оно вообще.

— Дело не в этом. Поймите же!

— Кто-кто, а я вас хорошо понимаю.

— Одни слова и предполагаемые причинные связи.

— Вот именно. Как вы мне сообщили, крестьянин умер десять лет спустя после второго удара. Вы живы, я совершенно случайно тоже пережил те времена, а мой ученик, нет, наш ученик Филипп Шербаум попал в беду...

— Прекратите наконец пересказывать мне эту дурацкую школьную белиберду. Ничто не может меня оправдать. Эти письма, особенно этот ужасающий абзац в письме...

(Позже я записал: «Сегодня утром через несколько минут после восьми тридцати я сперва поцеловал мою коллегу Ирмгард Зейферт, в результате чего у меня открылась медленно заживавшая ранка на нижней губе, а потом вцепил ей щечину. Было четыре градуса ниже нуля, мы находились между заснеженными соснами и березами, чуть выше обледеневших ступенек, которые ведут к шоссе, соединяющих этот лес с аллеей Кляй, и тут я оборвал ее фразу, отвесив ей левой рукой оплеуху. Раздался треск щечины, но птицы даже не вспорхнули

с веток. Когда я служил на аэродроме в наземных частях и меня называли Штёртебекером, я однажды влепил пощечину девчонке, но больше это не повторялось. Сразу после оплеухи я пожалел, что это не произошло в присутствии зрителей, нет, не зрителей, а Линды... Как ни смешотворна пощечина, она все же есть действие. От камня, коснувшегося воды, идут круги; замелькали кадры: я еще раз врезал Иригард Зейферт по той же щеке, а потом раз за разом справа-слева залеплял пощечины Линде — справа-слева Линде то на променаде у Рейна, то на складе пемзы, то на Майенском поле между глыбами базальта, то в гостиничных номерах... а как-то раз — ведь это можно повторять без конца — на глазах у отца Линды. «Великолепно, — сказал он. — Великолепно. Только так можно ее образумить».)

Иригард Зейферт тут же полезла за сигаретой.

— Ты прав. Извини.

Той же рукой я помог ей прикурить.

— Мне очень жаль. Иначе я не мог.

Она раза три затаилась и бросила сигарету.

— Ты хотел поговорить о Шербауме.

До самого «Розенэка» мы обращались друг к другу на ты, лишь в «фольксвагене», едва включив зажигание, она опять перешла на вы.

— Я придерживаюсь того же мнения, что и вы: мальчик чрезвычайно одаренный; во всяком случае, он художественная натура.

— Даже доктор Шмиттхен, который имеет все основания жаловаться на Шербаума, говорит: «И по моему предмету его успехи могли бы быть значительно выше, стань он более внимательным; при его способностях мы вправе ждать от него многого».

Мы с натурой посмеялись. Она ехала уверенно, но, пожалуй, слишком быстро.

— Еще полгодом назад Шербаум рассказывал мне, что он сочиняет песни, аккомпанируя себе на гитаре, и, когда я попросила его, даже исполнил их; он не очень самостоятелен. Мировая скорбь плюс ангажированность. Чуть-чуть Брехта, политическая песня — в истоках Вийон. Но при этом безусловно своеобразно, и — повторяю еще раз — он мальчик высокоодаренный.

(Песенку Шербаума «Мы собираем звездочки» намеревались опубликовать в антологии «Школьная лирика».)

— Но он больше не сочиняет.

— Значит, нам надо позаботиться о том, чтобы он снова стал сочинять.

— Стихи против напалма, и тогда ему не придется сжигать свою собаку.

— Признаюсь, я не мыслила столь прямолинейно, однако усиленные занятия искусством могли бы придать известную форму его сумбурной и далеко не целенаправленной критике... Ну а если процесс творчества заполнит его жизнь, он принесет и тот побочный эффект, которого мы ждем.

— Вы рассматриваете искусство как трудовую терапию...

— Милый Эберхард, разрешите напомнить, что это вы попросили меня поискать вместе с вами какой-то ход, какой-то выход для юного Шербаума. Не правда ли?

— Я вам, разумеется, благодарен...

Остаток дороги мы проехали молча. Даже после того как она поставила машину на стоянку, ни слова. Но на коротком отрезке от ворот до школьного подъезда она начала вполголоса, почти робко:

— Скажите, Эберхард, вы можете представить себе меня семнадцатилетнюю — я сижу за чисто выскобленным деревянным столом и пишу каллиграфическим почерком донос, который может стоить человеку жизни?

Почему я столь решительно отвожу ее от этих мыслей? (Пусть себе купается на здоровье в затхлой трясине.) У нее тонкие интеллигентные пальцы, которыми она вылавливает из аквариума гуппи, когда они всплывают брюхом вверх. (Под этим я могу подписаться: мне нравятся ее руки, я знаю их наизусть, ведь сидя у меня на диване, мы держимся за руки, не переставая, впрочем, шлопать языком...)

Мой класс писал. (Шепот, скрип перьев, покашливание, расчлененная тишина.) Я стоял лицом к окну и мысленно втолковывал стеклу: «Поймите, Шер-

баум. Я уже давно не слышал ваших стихов. И фрау штудиенрат Зейферт считает, что вы должны особо серьезно заниматься песнями, тем более что вы играете на гитаре. Стало быть, пишите песни, Шербаум. Пишите. Вы, так же как и я, знаете, какая политическая сила таится в лирических стихах. Вспомните Тухольского, Брехта, «Фугу смерти» Целана. Как-никак у нашей политической песни огромные традиции, она ведет свое начало от Ведекинда³³. Поэтому песни протеста, особенно в Западной Германии, должны получить новый толчок. Я хотел бы, чтобы при ваших способностях...»

Примерно то же самое я сказал Шербауму во дворе на перемене. Он стоял неподалеку от крытой стоянки для велосипедов рядом с Веро Леванд. Я сделал вид, будто не замечаю, что она курит. Она не отходила, делая вид, будто не замечает меня.

— Объясните, Шербаум. Я уже давно не слышал ваших новых стихов...

Он прервал меня только тогда, когда я углубился в анализ отдельных песен протеста, заговорил о message³⁴, о Джоан Баэз³⁵, о «If I had a hammer»³⁶ и о flower power³⁷.

— Песни эти просто убаюкивают. Вы ведь сами в них не верите. Ничего не меняется. Если попадешь в жилу, то таким способом можно зарабатывать деньги. Они действуют только на слезные железы. Этот опыт я проделал с Веро. Ты не дашь соврать? Я исполнил мой самый суровый зонг — он называется «Песня нищего», и в нем говорится о хлебе как о западне для мира... И вот когда я пел, она выла и повторяла — фантастика, прямо фантастика!

— Эта песня и впрямь фантастика. Но ведь ты не выносишь, когда что-нибудь твоё хвалят.

— Тебя интересуют только эмоции. Ты все воспринимаешь с точки зрения чувства. У тебя создается соответствующее настроение — вот в чем фокус, создается настроение.

— Ну и что? Раз мне это нравится.

— Слушай внимательно. Я хочу сказать моей песней, что подачки только увеличивают обездоленность, подачки приносят пользу лишь тем, кто их раздаёт, а именно богачам и угнетателям...

— Представь себе, я все усекла. И как раз это я нахожу просто фантастикой.

— Соплячка.

(Слово прозвучало хоть и снисходительно-насмешливо, но добродушно. Собственно, ласковое словечко. Когда она несла чепуху о базисе и надстройке: «У нас сегодня собрание, Филип. Сегодня вечером мы будем разбирать прибавочную стоимость. Приходи тоже», в его терпеливом отказе слышалась явная симпатия: «Ты есть и будешь соплячкой».)

С легкой руки Филиппа возникли всякие прозвища, и это тоже доказывает его способности, меня он назвал Old Hardy. Не кто иной, как Шербаум окрестил Ирмгард Зейферт Архангелом. Что касается Ирмгард Зейферт, то Архангел неоднократно с похвалой отзывалась о его «Песне нищего».)

— И фрау штудиенрат Зейферт считает, что вы должны работать над политической песней...

— Зачем? Если даже Веро не сечёт...

Я признал правым, с одной стороны, Шербаума, с другой — Веро Леванд, одобрительно отозвался об их споре, назвав его закономерной дискуссией, которая, собственно, уже сама по себе доказывает, какую силу представляет собой подвергаемая сомнению политическая песня.

— Ну хорошо, Шербаум. Вы не верите в слова. Хотите действовать, совершать поступки. Предположим, вы сделаете то, что задумали. Сожжете вашего Макса перед кафе Кемпински. Вас либо убьют на месте, либо так отделают, что вы ляжете в больницу. Ничего не напишешь: спонтанная реакция общественно-

³³ Ведекинд Франк (1864—1918) — немецкий антибуржуазный писатель, сочинял драмы и сатирические стихи.

³⁴ Песни-призывы (англ.).

³⁵ Известная американская певица мексиканского происхождения.

³⁶ «Будь у меня молот» — молодежная песня протеста (англ.).

³⁷ «Власть цветам» — лозунг одного из течений молодежного движения 60-х годов, которое называли дети-цветы.

сти. Броские заголовки. Общество «Друг животных» требует наложить штраф. Несмотря на то, что несколько голосов будут против, гимназия вынесет решение — исключить. Придется уйти и мне, что, впрочем, не самый худший вариант... Ну а через две недели ни одна живая душа не вспомнит обо всем этом, ведь произойдет нечто новое, что опять будет подано под броскими заголовками, к примеру родится теленок о двух головах. А теперь возьмем противоположный случай, вы садитесь и пишете балладу о таксе по кличке Макс. В наивно-народном духе и вполне обстоятельную. Восстанавливаете события поэтапно. Макс — шаловливый щенок, Макс подрастает. Филипп читает Максу газеты. Макс дает понять: сожги меня; Филипп говорит нет. (Пусть даже приводя мои негодные доводы.) Но Макс настаивает. Он больше не слушает Филиппа, он презирует его. И так далее и так далее. Если песня вам удастся, она останется, переживет броские заголовки.

Оба слушали совершенно безучастно. (Возможно, идея баллады чересчур увлекла меня.) Но тут Шербаум выразительно пожал плечами и объяснил своей подружке:

— Old Hardy верит в бессмертие. Ты слышала: я должен сочинять нетленку.

— Типичные для него слова, что еще может сказать учитель немецкого?

Он бумажный тигр.

— Тоже красиво. И ваш бумажный тигр согласен даже с тем, что стихи в большинстве случаев не оказывают сиюминутного действия, они действуют медленно и зачастую чересчур поздно...

— А мы хотим действовать сейчас, немедленно!

— Стало быть, броские заголовки, которые вытесняют другие броские заголовки.

— Не знаю, что такое завтра...

— Дешевая отговорка, Филипп, недостойная вас...

— И что такое быть достойным... я тоже не знаю.

— Самое меньшее — попытайтесь понять мир в его многообразии и противоречивости...

— Я ничего не хочу понять, поймите же меня! — Вдруг он посуровел. Прямая складка прорезала лоб, никаких ямочек. — Сам знаю, что все можно объяснить. Как у нас говорят? «Поскольку затронуты жизненные интересы американцев...»

(И тут я предпринял пошлую, заранее обреченную на провал попытку спустить все на тормозах.)

— Вот именно. К сожалению. Когда более десяти лет назад в Будапеште затронули интересы Советского Союза, то со всей строгостью...

Его гнев медленно нарастал.

— Знаю. Знаю. Все можно объяснить. Все можно понять. Раз они так, то и мы эдак. Да, это скверно, но чтобы воспрепятствовать самому скверному. За мир надо тоже платить. Свободу нам никто не обеспечит задаром. Если мы сегодня уступим, то завтра настанет наша очередь. Читали: напалм предотвращает применение ядерного оружия. Локализация войны знаменует победу разума. Мой родитель говорит: если бы у нас не было атомной бомбы и так далее, то давно разразилась бы третья мировая война. Он прав. Во всяком случае, и это можно доказать. Мы должны быть благодарными и писать стишки, которые окажут действие лишь послезавтра, если вообще окажут, если вообще окажут. Нет. Ничто не меняется. Людей медленно сжигают каждый божий день. Я сделаю это. Собака их проймает.

Веро Леванд прервала столь закономерно наступившую тишину:

— Фантастика, твои рассуждения, Филипп, фантастика.

— Соплячка!

Я задержал левую руку Шербаума (только я мог себе это позволить) и отвел ее назад. Потом обратил внимание обоих на то, что школьный двор опустел, перемена кончилась. Они пошли, и уже через несколько шагов Филипп Шербаум обнял левой рукой Леванд. Я медленно побрел за ними, ощупывая языком десны, оба инородных тела.

Перевела с немецкого Л. ЧЕРНАЯ.

(Окончание следует)

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВЛАДИМИР ЦВЕТОВ

★

ЯКУДЗА

ПОХОРОНЫ В КОБЭ

В Кобэ хоронили гангстера. Нет, не мелкого вымогателя или банального убийцу. Хоронили «короля» японского преступного мира, босса крупнейшего в Японии гангстерского синдиката, именуемого «Ямагути гуми». Хоронили Кадзуо Таоку. Свыше пяти тысяч гангстеров прибыли в Кобэ, чтобы почтить память самого жестокого и хитрого, самого лицемерного и вероломного, самого влиятельного и самого богатого якудза. «Якудза» по-японски гангстер.

Траурная церемония оказалась бы еще многолюдней, если бы за два дня до похорон 9300 полицейских не провели облаву в 1332 бандитских «малинах» по всей стране. На месте преступления полиция схватила 870 боссов и их ближайших подручных из 126 шаек — торговцев наркотиками, содержателей игорных притонов и подпольных публичных домов, вымогателей, шантажистов. 130 якудза удалось скрыться. По ним был объявлен всеяпонский розыск.

25 октября 1981 года, в день похорон, улицы патрулировали громоздкие автобусы, обшитые листовым железом, словно броней. Сквозь зарешеченные щели проезжую часть и тротуары зорко оглядывали полицейские в касках. На важных перекрестках стояли водометы, брандспойты, будто пушечные жерла, торчали из башен, придавая и без того мрачным машинам вид танков. Впечатление прифронтового города усиливали полицейские, расположившиеся повсюду вокруг водометов. В касках с пластиковыми забралами, защищающими лицо, с дубинками и металлическими щитами в руках они походили на десантников, готовых отразить противника.

А «противник» начал скапливаться в городе с восходом солнца. В черных костюмах с черными галстуками, в черных лаковых штиблетах, в черных очках якудза группами по 30 — 50 человек выходили из вагонов скоростной железной дороги «Синкансэн», из автобусов, они прибывали на автомашинах, непременно американских и тоже черных. Короткая стрижка черных волос делала гангстеров почти близнецами, но толпившиеся на вокзальной площади и у съездов со скоростных автотрасс мужчины в штатском, чье подчеркнутое безразличие ко всему безошибочно выдавало в них полицейских, легко узнавали в толпе давнишних знакомцев.

— Хироси Кимура из «Кимура гуми», — отогнув борт пиджака, во внутреннем кармане которого находились микрофон и портативная рация, отпартовал в штаб полицейский.

— Итио Хирано, — поделился информацией с лацканом своего костюма другой полицейский и уточнил: — Тот, что живет в городе Химэдзи. — И после паузы — в штабе, видимо, требовали более полных сведений: — Да, да. Из «Такэнака гуми».

— Кунидзиро Судзуки, босс банды «Судзукуни гуми», — доложил в штаб третий полицейский. Этот уже не таился и держал микрофон прямо перед собой.

По японскому обычаю родственники усопшего Таоки разослали приглашения на похороны. В пригласительных билетах высказывалась весьма необычная для подобного обряда просьба: взять с собой на траурную церемонию не более двух телохранителей. И главари двух тысяч банд, охраняемые тремя тысячами плечистых головоре-

зов, съехались в аристократический уголок Кобэ, целый квартал которого занимает усадьба Кадзуо Таоки. Вдоль высокой стены, окружающей усадьбу, протянулось полотно в человеческий рост. На белой ткани черным пауком распластался герб «Ямагути гуми». На увитых зелеными ветвями воротах, ведущих с улицы в сад, — вертикальная доска с крупно выписанными иероглифами: «Похороны третьего босса „Ямагути гуми“». Тысяча полицейских в касках, выставив вперед щиты, стояли плечом к плечу вокруг всей усадьбы. Лицом к ним — цепь черных костюмов и черных очков. Это — члены «Ямагути гуми». Выражение на их лицах, их позы не оставляли сомнений: полиции не удастся легко войти в сад, где установлен алтарь с огромным портретом Кадзуо Таоки.

В начале улицы — полицейский кордон. Якудза привычным движением поднимали руки вверх, и поднаторевшие на обысках детективы тщательно обшаривали гангстеров с головы до пят. Искали оружие и деньги. Предосторожность не лишняя: японское преступное подполье постоянно раздрают междоусобицы. Пулевое ранение в шею, нанесенное Таоке членом соперничавшей банды, ускорило смерть «крестного отца» японской мафии. Перемирие, объявленное гангстерами на период траура, казалось полиции ненадежным. Случись на похоронах стрельба, полиция попала бы под массивный огонь прессы.

В Японии принято жертвовать семье умершего деньги, причем делать это надлежит обязательно на похоронах. Воспользоваться банковскими переводами якудза не могли еще и потому, что с пожертвований пришлось бы платить налоги. Отобрав деньги было для полиции, как она заявила, не менее важно, чем обезоружить гангстеров. Смерть босса неизбежно приведет к сокращению доходов «Ямагути гуми», справедливо рассуждала полиция. А без денег синдикат распадется — к этому полиция стремилась все послевоенные годы. Так, во всяком случае, она уверяла общественность. Однако сколь демонстративно тщательно детективы ни ощупывали складки одежды гангстеров, «Ямагути гуми» все равно собрал во время похорон 250 миллионов иен. Подношения колебались от 300 тысяч до 20 миллионов. 20 миллионов иен — это пачка высотой почти треть метра.

Чем же примечателен Кадзуо Таока, если его похороны по пышности не уступали погребению премьер-министра?

Два убийства, семь покушений на убийство, 168 приводов в полицию, девять лет тюремного заключения. Это — из 46-томного досье на Таоку, заведенного еще в довоенную пору. Глава синдиката из 559 преступных банд, насчитывавших 11 800 якудза и действовавших в 35 префектурах страны, указал японский справочник «Кто есть кто». Хозяин разветвленного нелегального и легального бизнеса с годовым доходом в 102 миллиарда иен — данные японских фискальных органов, которые при жизни Таоки так и не сумели обложить налогами барыши «Ямагути гуми».

Когда вместе с японскими корреспондентами я вошел в сад, где все было готово к панихиде, ко мне приблизился член образованного после смерти босса коллективного руководства «Ямагути гуми», отвечавший за связь с прессой.

— Кем был Кадзуо Таока для нынешнего японского общества? — спросил я гангстера.

— Японский пейзаж невозможно представить без горы Фудзи, японскую культуру без икэбаны, японскую промышленность без электроники. — Якудза перечислил набор образов-штампов, сочиненных зарубежной печатью, чтобы мне, иностранцу, стала доступнее его мысль. — Так и японское общество, — закончил он — нельзя было вообразить без Кадзуо Таоки.

Гангстер — хозяйский угодник, сам того не подозревая, удивительно точно обозначил место Таоки, а заодно и всего преступного подполья в стране, прозванной «Джапан инкорпорейтед».

ИСТОКИ

«Если хочешь быть счастливым, приезжай в Эдо». Как и всякую крылатую фразу, эту поговорку родила жизнь. В XVII веке тысячи крестьян, ремесленников, самураев, чьи князья разорились и не могли содержать вооруженную охрану, устремились в Эдо, так тогда именовали Токио. К слову «счастливый» они знали единственный синоним «богатый». Бурно строившийся Эдо действительно давал неимущим крестьянам и самураям возможность заработать на существование, а особенно удачливым — раз-

богатеть. Крестьяне полагались на свои руки. Самураи, которых не до конца развратило тунеядство при княжеских замках, выбирали науки, изучение западных языков. Среди воинского сословия оказались, однако, и такие, кто сообразил: в кишашем пришлым людом Эдо не обязательно жить своим умом, можно жить и чужой глупостью. Бандзуйин Тёбэй был из их числа.

Неспособный усвоить ни одной буквы и прежде всего букву закона — ту, что требовала честности в азартных играх, — он открыл игорный притон и довольно скоро сколотил состояние. Тёбей сделался первым описанным в японской истории якудза. «Я» по-японски — «восемь», «ку» — «девять», «дза» — видоизмененное «сан», то есть — «три». В сумме — двадцать — самое плохое число в японских картах.

Однажды власти предложили Тёбею, успевшему прославиться в Эдо, заняться наймом рабочих для прокладки дорог в городе и окрестностях и для починки каменных стен Эдоского замка. Поскольку для этой деятельности Тёбей навыков не имел, он снова прибег к помощи карт. Обыгранные им незадачливые картежники должны были на стройке отрабатывать долги и проценты на них. Так у якудза появился еще один «производственный» профиль: посредничество при найме на поденную работу. Вместе с азартными играми, букмекерством подобное посредничество, являющееся по существу системой организации принудительного труда, до сих пор остается частью бизнеса японского преступного подполья.

Сохранила для нас история и свидетельства о первой гангстерской войне. Она, как и в наши дни, вспыхнула из-за дележа территорий, на которых широко расплодившиеся к середине XIX века банды якудза устраивали свои игорные дома и обирали рабочих-поденщиков. Дзиротё из города Симидзу во главе гангстерской шайки из шестисот человек безжалостно вырезал группу соперников в соседней префектуре. Считают, что именно от Дзиротё дошла до нынешних якудза философско-людоедская сентенция: «Пистолет холоден. Пистолет — это механизм. В нем нет персонификации, — так передают гангстеры слова Дзиротё. — А меч — продолжение человеческой руки, человеческой плоти, и я могу, — цитируют якудза изречение своего прародителя, — передать всю глубину ненависти к противнику, когда острие пронзает его тело».

Японская организованная преступность пришла к 300-летию юбилею с результатами, которым, вероятно, жгуче завидуют и американская «Коза нестра» и сицилийская мафия. Годовой доход подпольных синдикатов мало уступает выручке, какую имеет, скажем, концерн «Тойота», крупнейший в мире производитель автомобилей.

Национальное полицейское управление с весьма неожиданной откровенностью констатирует в документе, посвященном состоянию организованной преступности в стране:

«Возможно, гораздо более, чем какие-либо другие сегменты общества, гангстеры в Японии романтизированы и даже идеологизированы. Это достигнуто тем, — продолжают исследователи из полиции, — что гангстерам придан образ «робин гудов», которые связаны друг с другом узлами преданности и которые стремятся не только не наносить ущерб невинным, но и активно помогать им. Создавать такой образ начали в эпоху феодализма, — вполне обоснованно указывают полицейские и заканчивают анализ обвинением, которое в их печатном издании звучит особенно убедительно: — Сегодня миф о «добром» преступнике культивируется в сотнях кинофильмов, выходящих каждый год».

Полиция могла бы добавить, что большинство этих фильмов сняты на деньги самих якудза.

Особенно стараются прослыть добропорядочными сами гангстеры. Сын босса синдиката «Ямагути гуми» Мицуру Таока возмущенно выговаривал журналистам: «Когда вы слышите слово «якудза», то тут же представляете себе американскую мафию, для которой главное — преступления и деньги. Однако неверно сравнивать якудза с мафией. Наши якудза имеют славные традиции и всегда помогали своим согражданам». На одной из пресс-конференций кто-то из руководителей «Ямагути гуми» сказал: «Мы — цветы лотоса в грязном пруду. Ценой жизни мы блюдем кодекс чести».

Верхом циничного лицемерия сочла общественность заявление по телевидению самого главаря «Ямагути гуми» Кадзуо Таоки. Обращаясь к находившимся в телестудии якудза, Таока с хорошо отрепетированной проникновенностью произнес: «Сделайте все, чтобы искоренить в себе ненависть. Демонстрируйте respectable поступков и чистоту помыслов. И всегда улыбайтесь и будьте почтительными». Казалось, гангстеры немедля натянут куртки «Армии спасения» и с именем Христа на

устах примутся врачевать физические и моральные недуги грешного человечества. Но этого не случилось, так как ведущий телепрограммы неожиданно разрушил храмово-елейную атмосферу в студии. Когда Таока сказал, что прожил жизнь, неизменно отдавая дань признательности за услуги, за одолжения, за помощь и участие, то есть руководствовался принципом «гири», ведущий спросил: «Можно ли истолковать это выражение, как „рука руку моет“?» Кадзуо Таока с поистине обезоруживающей непосредственностью ответил: «Вы дали очень яркое объяснение. Мне нравится ваша интерпретация».

СОТВОРЕНИЕ БОССА

Жизнь Кадзуо Таоки пошла бы, наверное, по иному руслу, если бы его дядя портовый грузчик из города Кобэ, спяну не сболтнул на поминках матери Кадзуо: «Мальчишка поедет со мной!»

Голод у чужих тяжелее голода дома. Эту истину Таока узнал в семье дяди, которая ненавидела и презирала Таоку. Нет горше унижения, чем быть бедным, — реальность, открывшаяся Таоке в школе. Сколько ни трудись, богатым не станешь, убедился Таока, когда с четырех часов утра и до начала занятий в школе разносил по домам газеты. Правда неизменно на стороне тех, кто наверху, тот, кто снизу, всегда виновен — вынес Таока из недолгого пребывания в цехе судостроительного завода «Кавасаки», откуда был изгнан за строптивость. И, наконец, в гондзо бэя, ночлежке, принадлежавшей маленькой тогда банде «Ямагути гуми» и служившей пристанищем портовым грузчикам, которых поденно нанимала банда, Таока постиг главную для себя заповедь: только сила и жестокость способны принести деньги, а вместе с ними — власть, независимость и счастье.

Быть «сансита» в доме гангстера оказалось ничуть не легче, чем находиться в семье дяди ненавидимым подкидышем. «Сансита» — низший разряд в табели о рангах у якудза. Подъем в пять утра. Уборка дома, тщательная, но бесшумная, потому что босс спит или после карт в игорном доме, или после пьяной оргии. Затем — бегом за покупками. Целый день — работа по дому, кто что прикажет, а приказать могут все члены семьи якудза.

Мало беспрекословно слушаться босса, его жену, детей. Так «дзката» — следующую ступеньку гангстерской иерархии — не займешь. Надо угадывать желания хозяев, распознавать их настроение и вести себя в соответствии с ним. Не говорить лишнего. Не спрашивать о том, чего знать не обязательно. Болтливость и любопытство гангстеры жестоко карают. Без напоминания и быстро следует схватывать карточные хитрости босса, сидя за его спиной в игорном притоне, перенимать манеру хозяина вести дела в порту и на стройке, изучать повадки хозяина, его мастерство владения мечом и ножом и, самое главное, проникаться жестокостью. Но здесь Таока был уже далеко не новичок: короткий и резкий удар пальцами в глаза — излюбленный прием Таоки — испытали на себе многие «баракецу», портовая шпана.

Тяжесть обязанностей «сансита» окупалась, однако, сытостью, добротной крышей над головой, надежной защитой от внешнего недоброго мира и опасливым уважением, которое окружает в этом мире даже самого мелкого якудза. Годы спустя полиция на основе длительного изучения истории, нравов и быта преступного мира придет к убийственному для буржуазного строя выводу: «Можно утверждать, — скажет полиция, — что главная причина, побуждающая оставаться в преступном подполье — удовлетворение существованием, которого не в состоянии дать нормальное общество». Надо полагать, полицейские аналитики приняли во внимание и опыт Кадзуо Таоки тоже.

В том же полицейском исследовании указано, что половина всех якудза, вступивших в банды до 1959 года, прошли суровую школу «сансита» в течение трех лет. У остальных моральная и профессиональная подготовка была короче. Ее результаты отразились в такой статистике: две трети якудза считают, что для получения больших денег годятся любые способы, 75 процентов гангстеров не останавливаются перед преступлением ради интересов банды. Когда у известного криминолога Канэхино Хосино поинтересовались, почему, судя по этим цифрам, гангстерское воспитание оказывается более эффективным, чем школьное, криминолог нанес, хотел он того или нет, еще один удар по буржуазному обществу. «„Сансита“ не сталкивается с лицемерием», — сказал ученый.

Лето 1934 года. В порту Кобэ неспокойно. Поденные грузчики, которыми распоряжалась «Ямагути гуми», помалкивали, понимая, что стоит хотя бы чуть-чуть высказать голос недовольства низкой оплатой или тяжелыми условиями труда, как расплата наступит сразу же: нож в бок или удар кастетом по затылку. Однако портовики, объединенные в профсоюз, отказались сносить произвол и пригрозили транспортным и портовым фирмам забастовкой. Фирмы бросились за помощью к «Ямагути гуми», авторитет которой в городе вырос к тому времени очень высоко. Помимо порта, банда контролировала городской оптовый рынок, увеселительный район со всеми театрами, кино и значными местами, организацию соревнований по национальной борьбе сумо, выступления эстрадных певцов и другие стороны хозяйственной и культурной жизни Кобэ.

Карательный отряд был тут же отряжен. Таока вызвался идти первым. Нож он спрятал под мышкой. Надел кимоно, туго затянулся широким поясом. Профсоюз располагался в подвальном этаже паровой фирмы: у входа висел красный флаг, и охрану несли двое молодых докеров с красными повязками хатимаки вокруг головы — знак решимости бороться. Ничем не выдавая себя, Таока с сообщником прошли мимо юношей — множество людей то входило, то выходило из дверей. В комнате рядом с профсоюзным знаменем Таока увидел человека, который показался ему руководителем, и он с размаху ударил его ножом. Человек вскрикнул. Упал. Кто-то попытался схватить Таоку за руку, но якудза вырвался и, не разбирая лиц, принялся колотить ножом всех подряд. «Хватит! Бежим!» — крикнул сообщник и кинулся к выходу. Таока — за ним. Долго оставаться в помещении профсоюза было нельзя: карательный отряд подумал бы, что авангард попал в переделку, и тогда развернулось бы подлинное побоище, в успешном исходе которого у босса «Ямагути гуми» полной уверенности не было.

Некоторое время «Ямагути гуми» прятала Таоку, снабжая, как водится в таких случаях, деньгами, пищей, одеждой. Когда босс банды достиг соглашения с полицией, Таока покинул конспиративное убежище и сдался властям: ему засчитывалась явка с повинной, а полиция получила возможность закончить дело и повесить статистику раскрываемости преступлений. В качестве жеста признательности за это она отказывалась от преследования всей банды. Прием старый, как мир якудза. Им пользовался еще Дзиротё, и к удовольствию полиции пользуется японское гангстерское подполье до сих пор.

«Ямагути гуми» наняла дорогого адвоката. Но ему не потребовалось много времени и большого красноречия, чтобы доказать благорасположенным к Таоке судьям: произошла тривиальная уличная ссора, а не попытка насильем помешать осуществлению членами профсоюза их конституционных прав. И посему подзащитный Таока, чьим душевным качествам дают лестную оценку столь уважаемые в городе люди, как руководители «Ямагути гуми», заслуживает снисхождения. Суд с готовностью согласился с доводами адвоката и определил минимальное наказание: год тюрьмы.

Тюремное заключение, скрашенное ежедневными богатыми передачами с воли, пролетело незаметно, и в октябре 1935 года Нобору Ямагути и с ним весь генералитет банды торжественно приветствовали Таоку у ворот тюрьмы. Нобору Ямагути поздравил Таоку с присвоением чина, именуемого «сынок». Между Таокой и вершиной гангстерской пирамиды оставалась теперь лишь одна ступень — чин «брата».

В «Ямагути гуми» Таока возглавил эстрадный бизнес. Мало того, что якудза владела всеми залами в Кобэ, и ни один концерт не мог состояться, если артист не выплачивал «Ямагути гуми» дань. Не могли распоряжаться собой и сами артисты. Предложение выступить в концерте, организуемом бандой, воспринималось как приказ, так как строптивец рисковал в лучшем случае потерей возможности появиться когда-либо в Кобэ, а в худшем — увечьем или даже смертью. Эстрада приносила «Ямагути гуми» изрядные доходы, и путь Таоки к чину «брата» быстро сокращался. Но инстинкт зверя не заснул в Таоке за время первой отсидки в тюрьме. В ссоре он зарубил мечом своего же якудза и отправился за решетку на восемь лет.

Таока вышел на свободу незадолго до капитуляции Японии. Двадцать якудза встретили его у тюрьмы — все, что осталось от «Ямагути гуми». Босс Нобору Ямагути умер от ножевых ран. «Братья» постарели и сникли. Почти все «сынки» воевали в императорской армии. В порту распоряжались солдаты да жандармы. Кинотеатры, концертные залы, игорные дома сгорели от бомб — американская авиация нанесла по Кобэ сотни воздушных ударов.

За время захватнических войн японские колонизаторы ввезли в страну из пораженной Кореи и из оккупированных районов Китая два миллиона пленников. Особенно много было их в промышленном Кобэ. Освобождение из концлагерей не принесло этим людям свободы от лишений, от нищеты. Оставленные американской оккупационной армией в неприкосновенности полиция и городские власти продолжали относиться к выходцам из Кореи и Китая как к низшим существам, фактически обрекая их на голодную смерть. Но долгое рабство не сломило воли корейцев и китайцев к сопротивлению.

В феврале 1946 года был убит полицейский начальник одного из районов Кобэ, в апреле — высший чин полиции другого района. Затем восставшие корейцы и китайцы захватили полицейский участок и открыли двери тюрьмы, где находились вчерашние узники императорских концлагерей. Опасность нависла над городским полицейским управлением. «Японская система пошатнулась, — написал в «Автобиографии» Таока. — Необходимо было защищать власть, спасти общество. И как бывало раньше, полиция обратилась, — не без самодовольства подчеркнул Таока, — за помощью ко мне».

Чрезвычайный совет, открывшийся в городском муниципалитете, мог бы сделаться прекраснейшей иллюстрацией плюрализма, которым так гордится буржуазная демократия. Мэр Кобэ, начальник городской полиции и гангстер Кадзуо Таока обсуждали, как спасти «японскую систему». Собственно, говорил гангстер, а общественный избраннык — мэр и представитель государства — полицейский сосредоточенно внимали ему. На страницах гангстерского печатного органа «Ямагути гуми дзихо» лидер банды «Сасаки гуми» Митио Сасаки рассказал неаивно о тогдашнем плане Таоки.

«Члены «Ямагути гуми» день и ночь охраняли полицейское управление от нападения «людей из третьих стран», — гангстер использовал по отношению к корейцам и китайцам презрительное выражение из лексикона довоенных японских милитаристов. — В случае атаки полицейские были готовы бежать с важными документами, с досье из здания управления через черный ход, — поделился воспоминаниями о диспозиции Таоки якудза. — Члены «Ямагути гуми» изготовились скинуть с крыши управления на нападающих канистры с бензином и забросать их гранатами, а затем с револьверами и мечами выскочить из парадных дверей и довершить разгром противника. Полиция предупредила, что не станет трогать «Ямагути гуми», если убитыми или ранеными окажутся «люди из третьих стран». Семьям погибших якудза она обещала деньги, — без малейшего смущения продолжил гангстер рассказ о сговоре властей с преступным подпольем. — Якудза сделались щитом безопасности родины», — высокопарно закончил гангстер.

«Джапан инкорпорейтед» — именуют буржуазные историки, экономисты, социологи Японию за никогда не дающее сбоев единомыслие «большого бизнеса» с законодательной и исполнительной властью. Есть четвертый участник этого союза — якудза, Союз, истоки которого уходят в императорскую Японию, окончательно выковался после второй мировой войны.

— После смерти Нобору Ямагути у нас нет босса. Шла война, и мы мирились с этим. — Такими словами открыл осенью 1946 года самый старый «брат» «Ямагути гуми» сходку членов банды. — Нам надо решить, — сказал он, — кто возглавит организацию, иначе мы рискуем опоздать.

Все прекрасно поняли, что имел в виду «брат». «Черный рынок» в руках американцев. Тягаться с ними невозможно. Игрные притоны, стремительно плодящиеся публичные дома, бары, подпольная торговля хиропоном — новым наркотическим средством — прибирали к рукам другие шайки. В Кобэ, где до войны безраздельно властвовала «Ямагути гуми», действовали теперь 75 групп якудза. «Опоздать» — значило остаться без доходов.

Возглавить «Ямагути гуми», то есть сделаться третьим по счету ее боссом, должен Кадзуо Таока, сошлись во мнении участники сходки, потому что не находилось среди них никого, кто был бы свирепее и беспринципнее, изворотливее в бизнесе и искуснее в кровопролитии, чем Медведь — довоенная кличка Таоки.

Отбивая на сходке благодарственные поклоны «братьям» и «сынкам» за оказанное доверие, Таока видел себя не просто главарем малолюдной шайки, у которой нет денег на аренду приличного ресторана, чтобы отметить обряд коронации нового босса. Таоке чудилось главенство над всем миром якудза — от края и до края Японии.

25 июня 1950 года США развязали агрессивную войну в Корее. Япония превратилась в тыловую базу американской армии. Отсюда шла в Корею военная техника, боеприпасы, снаряжение. Сюда прибывали подбитые американские танки, самолеты, корабли, чтобы после ремонта снова отправиться на фронт. Погрузо-разгрузочные работы в порту Кобэ не останавливались теперь ни днем, ни ночью. «Мое время пришло», — решил Таока.

В порту уже существовала погрузо-разгрузочная фирма «Коё унью», служившая «Ямагучи гуми» «крышей». Она прятала от посторонних глаз и от ока американской оккупационной администрации, совсем не бдительного, если не сказать слепого, гангстерские поборы с грузчиков. Но «Коё унью» была одной из нескольких фирм. Остальные «крыши» прикрывали грабей грузчиков другими бандами. Пришло время покончить с ними — этот смысл крылся в решении Таоки.

Начал он с захвата одного за другим всех видов портовых работ: трюмных, перевозочных — от судна к берегу на баржах, перегрузочных — с барж на пирс. Скоро двенадцать фирм, и все с гербом «Ямагучи гуми», управляли делами в порту. В 1956 году эти фирмы объединились в «Ассоциацию по развитию портовых работ» — Таоке нравились пышные названия. В ассоциации управляли, естественно, люди из «Ямагучи гуми». Таока скромно взял себе пост вице-председателя. Предстояло сделать следующий, самый сложный шаг.

Ковать монопольную прибыль от погрузо-разгрузочных работ означало бить по пальцам очень многих сильных рук. На портовый бизнес опирались столпы японской капиталистической экономики — фирмы «Мицуи», «Сумитомо», «Мицубиси». Однако погрузо-разгрузочными работами они непосредственно не занимались. Взяв с контракта на погрузку или разгрузку судна 15 процентов, фирмы передавали его субподрядчикам — компаниям помельче. Те в свою очередь собирали пятнадцатипроцентные сливки и остаток отдавали вторичным субподрядчикам — якудза. Гангстеры по-прежнему нанимали грузчиков на оставшиеся деньги — на оставшиеся после того, как сами забирали свои 15 процентов.

— Воистину, нет чести и совести у большого бизнеса, — сказал Таока. — Нам, труженикам, — Таока не улыбался, поскольку не чувствовал юмора в своих словах, — большой бизнес недодает почти треть причитающихся денег. Наша миссия — покончить с эксплуатацией портовых рабочих. Святой принцип якудза: быть на стороне простого народа. — Слушавший Таоку известный профессор — специалист по трудовым отношениям, не сдержался и невежливо фыркнул. Таока прикинулся, что не заметил неучтивости, и прознес главное, ради чего встретился с профессором: — Мне нужен профсоюз. Научите, как его организовать.

Преступный мир диву давался и издевательски хихикал над умниками из Кобэ, не всегда грамотно подписывавшими полицейские протоколы, но севшими за парту организованных Таокой курсов по изучению трудового права. Веселье прекратилось, когда 12 профсоюзов, созданных при всех фирмах, что принадлежали «Ямагучи гуми», образовали «Объединенный союз портовиков города Кобэ» с 440 запуганными гангстерами поденными рабочими. Надо ли говорить, что председателем союза избрали «сынка» из «Ямагучи гуми».

Соперники из других банд переполошились, компании-субподрядчики, из чьих рук «Ямагучи гуми» получала изрядно надкусанные контракты, пришли в панику, но было поздно: союз выдвинул перед «Мицуи», «Сумитомо» и «Мицубиси» требование, подкрепленное угрозой объявить забастовку, заключать впредь контракты на погрузку и разгрузку судов, минуя субподрядчиков, то есть заключать контракты сразу с «Ассоциацией по развитию портовых работ» — той самой, где Таока являлся вице-председателем. «Мицуи», «Сумитомо» и «Мицубиси», оставаясь при своих 15 процентах дохода с контракта, не видели оснований противиться требованию, а субподрядчики сопротивляться не посмели. На них надавил крупный капитал города Кобэ. Он не захотел, чтобы к тысяче массовых забастовок, состоявшихся в Японии в 1956 году с января и до событий в порту, добавился еще один трудовой конфликт. Потеря даже из-за однодневной забастовки 440 человеко-дней нанесла бы «большому бизнесу» урон, значительно превосходивший тот, что причинило исчезновение в порту Кобэ нескольких мелких субподрядных компаний. Кроме того, образование послушной гангстерам рабочей организации раскололо ряды докеров и ослабило позиции в порту прогрессивного Генерального совета профсоюзов Японии. Главным образом это повлияло на складистость городского крупного капитала.

Сохранился образчик нового прямого контракта между «Мицуи» и фирмой, служившей для «Ямагути гуми» «крышей». За разгрузку судна водоизмещением 10 тысяч тонн «Мицуи», не пошевелив пальцем, заработала 160 тысяч иен. Каждый из 216 рабочих, разгрузивших судно, получил 2500 иен. А «Ямагути гуми» положила на свой банковский счет 820 тысяч иен.

Соперничавшие банды конкуренции не выдержали, и порт превратился в вотчину «Ямагути гуми». «Наука, разумеется, не волшебный рог изобилия, но неплохое средство такой рог откупоривать,— подвел Таока итог очередному этапу борьбы за богатство и власть.— Я всегда с уважением относился к знаниям,— добавил Таока, чей школьный опыт уступал по продолжительности тюремному.— Уважение возросло, когда я убедился, что и знания могут приносить прибыль».

В начале 60-х годов ножами, кастетами, пулями Таока изгнал из префектуры Хёго (Кобэ — главный город префектуры) всех якудза, не пожелавших подчиниться «Ямагути гуми» добровольно, и обратил взор к соседней Осаке. Второму по величине промышленному центру страны с населением в ту пору 4 миллиона человек Город был уже поделен между несколькими местными бандами 9 августа 1960 года «Ямагути гуми» объявила им войну. Чуть больше двух недель уличных перестрелок и поножовщины, и 27 августа остатки осакских банд явились в осакскую гостиницу «Мино канко». Они пришли капитулировать. Сдачу принимали боссы «Ямагути гуми». Опустившись на колени, 15 человек расстелили перед собой большие платки, достали ножи и резким движением отсекали себе мизинцы на левой руке. Они завернули отрезанные пальцы в платки и с низким поклоном передали их представителям «Ямагути гуми». Древний гангстерский обряд признания вины и испрошения милости был надлежащим образом исполнен. Представители Таоки приняли 15 свертков. «Осакская война» кончилась.

ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ

«В 1981 году рухнули гуманистические цели и снизились социальные нормы в современном обществе». Эти слова предпослало Национальное полицейское управление «Белой книге» — ежегодному отчету о своей деятельности. Итоги деятельности восторга у общественности не вызвали, и полиция, наверное, решила, что будет несправедливо, если ответственность за рост преступности в стране станут нести одни стражи порядка. Отсюда — вполне объективная констатация положения в японском обществе, на которую полиция не решилась бы, я уверен, в иной обстановке.

«Белая книга» следующего года повествовала уже не столько о деятельности полиции, сколько о ее бессилии справиться с преступностью. Критика со стороны общественности ужесточилась, и раздосадованные полицейские пришли, видимо, к выводу, что пора, наконец, внести полную ясность, в чем причина нарастания преступности и в состоянии ли полиция эффективно противостоять ей сейчас и в обозримом будущем.

«Положение в мире останется неустойчивым и в предстоящем периоде, поскольку сохраняются взрывоопасные факторы», — пророчествовала «Белая книга» на 1982 год. Среди факторов, вызывающих неустойчивость, в том числе в Японии, полиция назвала международную напряженность, застой в капиталистической экономике, социальный накал, порожденный инфляцией, ростом цен, безработицей. «И в результате, — резюмировала «Белая книга», — из-за общего падения морали и усиления вследствие этого склонности населения к наркомании, азартным играм, алкоголизму, порнографии увеличится преступность прежде всего в среде несовершеннолетних, расширится организованное преступное подполье и прибавится число гангстеров».

В 1981 году количество нарушений уголовного кодекса составило, если верить полиции, 1,4 миллиона случаев. За первую половину 1982 года японцы совершили 726638 противоправных поступков, на 5,3 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В проникательности полиции не откажешь, если еще и учесть, что она не включила в статистику должностные преступления, например, пренебрежение служебными обязанностями, повлекшее за собою увечье или смерть.

Нарисованная полицией картина не такая уж кошмарная, если сравнить ее с тем, что делается в США: за то время, что в Токио совершаются 3 убийства, в Нью-Йорке их происходит около 550. Да только под сомнение ставит общественность полицейское

живописание. В 1978 году аспирант юридического факультета Токийского университета Акира Исии вызвал сенсацию, сообщив на ежегодной конференции Японского общества криминальной социологии, что число преступлений, совершенных, скажем, в Токио, в 34 раза превышает данные, которые содержатся в полицейской статистике. Особенно разительное расхождение аспирант обнаружил в 1977 году. 164 тысячи преступлений зарегистрировала токийская полиция. 6 миллионов 130 тысяч преступлений было совершено на самом деле. Свыше 60 процентов отступлений от законов, причем наиболее серьезных, сделали, по утверждению аспиранта, гангстеры. Судя же по данным полиции, гангстеры вели себя в Токио скромнее бойскаутов.

Одна ложь родит, как известно, другую. Полицейская «Белая книга» за 1982 год уверяла, что в японском преступном подполье насчитывалось тогда 2452 банды со 103263 якудза. Беседа с Кадзуо Таокой, американская журналистка Флоренс Роум спросила: «Говорят, в Японии сто тысяч якудза. Так ли это?» Таока ухмыльнулся и сказал: «Напишите в своем отчете «миллион». Не ошибетесь».

Якудза не ведут собственной статистики, а если и имеют ее, то, разумеется, не афишируют. Поэтому приходится исходить из полицейских цифр, согласно которым в «Ямагути гуми» входят 12 процентов наличного состава японских якудза. Вслед за «Ямагути гуми» идут синдикаты «Сумиёси рэнго» — 104 банды с 6740 гангстерами, «Инагава кай» — 107 банд и 4670 членов. Всего, примерно, 40 крупных и мелких гангстерских объединений. После «осакской войны» синдикат «Ямагути гуми» распространил свое влияние на всю Японию, кроме Токио и острова Хоккайдо. Таока достиг заветной цели, но новая забота одолела его.

О том, что большая империя, как и большой пирог, легче всего объедается с краев, он узнал не из исторических хроник. Незначительная банда «Ямагути гуми» превратилась в громадную гангстерскую империю не в последнюю очередь благодаря тому, что заглотнула периферийные куски — «Инагава кай» и «Сумиёси рэнго» — двух других гангстерских королевств. Чтобы соперники не взялись за очередной передел Японии, Таока начал проводить с 1965 года политику сосуществования с другими синдикатами якудза, продолжая по-прежнему жестоко и вероломно поглощать и уничтожать слабые банды. Сосуществование же синдикатов помогало сосредоточиваться на главном: нелегальном и легальном бизнесе и противостоять полиции в тех не слишком частых случаях, когда стражам закона хотелось продемонстрировать, что огромные ассигнования на их содержание не напрасны. В октябре 1972 года Кадзуо Таока и Хидзинари Инагава подняли тост за дружбу «Ямагути гуми» и «Инагава кай».

Условия незаконного бизнеса — контрабанда и торговля наркотиками, проституция — не позволяли, разумеется, осуществить кооперирование гангстерских синдикатов. Но найм портовых грузчиков и строительных рабочих, внешне законоугодные предприятия, картелизации поддавались. Таока опять проявил инициативу и создал «Всеяпонское общество по развитию погрузо-разгрузочных работ в портах», поскольку по всей Японии эти работы контролировались гангстерами. Теперь якудза грабили рабочих по единым монопольно высоким нормам. Именно в то время для японской легальной экономики сделался характерным процесс формирования картелей. Преступный мир, сравнившийся по величине активов с некоторыми отраслями японского хозяйства, жил по тем же правилам, что и общество, к которому принадлежал.

А раз так, то нужно ли удивляться, что парламент, в конце концов, предпочел прагматизм, способный принести хоть какую-то выгоду совершенно бесприбыльному лицемерию, и впустил преступное подполье в лоно добропорядочного общества, обложив гангстерские синдикаты и банды налогами. Например, гангстеру, «заработавшему» 45 миллионов иен в результате подделки страхового полиса, следовало уплатить налог в сумме 18 миллионов иен. Другой якудза обязан был внести в госбюджет 3,8 миллиона иен, так как на 18 миллионов иен продал наркотиков. Это рассказали мне в полицейском управлении города Нагоя.

— Но явившись платить эти деньги, якудза, очевидно, рисковал попасть под арест за торговлю наркотиками, — предположил я.

— Не рисковал, — полицейский развел руками. — Мы должны взять гангстера на месте преступления. Косвенных сведений о сделках с наркотиками недостаточно для ареста. Однако если якудза честный человек, — продолжил полицейский, не чувствуя анекдотичности изображаемой им ситуации, — он непременно должен рассчитаться с государством.

— Совершив одно преступление, разве якудза остановится перед тем, чтобы совершить другое? Станет ли якудза исправно платить налоги? — не унимался я.

— В таком случае, когда мы гангстера поймаем, он будет отвечать и за торговлю наркотиками, и за уклонение от уплаты налогов, — сказал полицейский и добавил: — Ведь карается же по японским законам бизнесмен за получение взятки и за то, что не заплатил с нее налоги.

Для полицейского не было никакой разницы между теми, кто сделался символом душегубства и растленности, и теми, чьи имена горят рекламным неонам во всех столицах капиталистического мира. И полицейского трудно обвинить в передержке.

Налоговое управление с самого начала не обманывалось насчет возможностей инспекторов, проверяющих декларации о доходах. Якудза — способные ученики «дзайкай», как именуют в Японии деловой мир. Они из года в год утаивают от казны, по мнению полиции, девять десятых своих барышей. Барыши перевалили за 1 триллион иен. Японские государственные инвестиции за рубежом составляют гораздо меньшую сумму.

Одна из причин выживаемости японских монополистических объединений в условиях даже самых тяжелых спадов производства — многоотраслевой их характер. Падает спрос, скажем, на бытовую теле- и радиотехнику, электронный концерн переключается на индустрию отдыха — возведение парков с аттракционами, отелей в курортных местах, организацию туризма и сохраняет прибыли. Плохо пошла продажа спортивного инвентаря, фирма спортсменов принимается за строительство спортивных сооружений и проведение спортивных соревнований и не проигрывает схватку с конкурентами. Гангстерские синдикаты, налаживавшие свой бизнес по образу и подобию старших братьев — монополистических корпораций, тоже диверсифицировали источники дохода.

Около 3 тонн наркотиков продавали ежегодно гангстеры в Японии, судя по данным полиции, относившимся к 1980 году. «Белая смерть» приносила 458 миллиардов иен или 44 процента всей выручки. У якудза были все основания окрестить наркотики «белым бриллиантом».

Тайные тотализаторы на скачках, на велосипедных и лодочных гонках, на чемпионатах по национальной борьбе сумо и на матчах по транснациональной борьбе кетч давали преступному подполью дополнительные 176 миллиардов иен, то есть 17 процентов дохода.

Подпольные игорные дома, где за ночь из рук в руки переходили нередко суммы, равные заработной плате рабочего за 800—1000 лет непрерывного труда, залы игровых автоматов, казино позволяли якудза добывать 70 миллиардов иен в год. Торговля порнографией, проституция — источники ежегодных 67 миллиардов иен. Еще столько же приносили им вымогательство и шантаж. Это — подводная часть айсберга.

Надводная часть обеспечивала «крышу» и, кроме того, доход в сумме 132 миллиардов иен. Эта сумма относилась к общему барышу гангстерских синдикатов почти в той же пропорции, в какой видимая доля айсберга относится к невидимой. Зримая часть глыбы представляла собой 27 тысяч легальных предприятий — промышленных, торговых, финансовых.

Синити Мидзохара, президент торговой фирмы «Ройял Джапан», которая действовала под крылышком «Ямагути гуми», в течение шести лет вышускал с тремя сообщниками «швейцарские» ручные часы «Картье» и от имени своей фирмы поставлял их магазинам, выдавая за импортируемые из-за границы. Через Мицуру Таоку, сына босса «Ямагути гуми», Мидзохара получал из Швейцарии самые дешевые часы стоимостью в 10 тысяч иен, но внешне очень похожие на знаменитые «Картье». В Японии под прессом, купленным специально для этой цели, на циферблате часов выдавливались торговая марка и название швейцарской фирмы. Себестоимость операции составляла 2 тысяч иен за штуку. Продавала же фирма «Ройял Джапан» часы в розничную сеть по цене от 200 до 600 тысяч иен в зависимости от модели, то есть ничуть не дешевле, чем подлинные «Картье». Нетрудно подсчитать прибыль якудза, если они сбыли 50 тысяч фальшивых часов.

Одна из японских буржуазных газет разразилась негодованием в адрес жуликов. Мидзохара не без едкости парировал: «Столько шума из-за каких-то часов. Пусть редактор газеты побережет на голове волосы — они ему пригодятся, когда надо будет рвать их от возмущения по поводу кражи японскими концернами патентов и идей у американских и западноевропейских конкурентов. Фирма «Хитати», — привел пример гангстер, — уже попалась». Мидзохара имел в виду попытку электронного концерна «Хитати» украсть в США технологию современной электронной-вычислительной машины.

60 миллионов иен в год — такой была доля Таоки к концу его жизни в общем доходе преступного мира.

Таока сам уже не ходил на конспиративные встречи с «лоцманами» — розничными торговцами, чтобы сбыть им очередную партию героина или марихуаны. Он не вывозил из Южной Кореи и с Филиппин в Японию девушек, чтобы превратить их в проституток. Таока давно уже не стрелял во врагов и, тем более, не выдавливал им глаза. Он восседал на вершине гигантской пирамиды беззакония и порока, указывая непроторенные пути обхода с максимальной выгодой уголовного кодекса и новые способы прибыльного попрания людской морали. Он вершил суд и расправу над провинившимися членами «Ямагути гуми» и расправу без суда над соперниками синдиката.

По 20—30 миллионов иен имели в год гангстеры, стоявшие сразу вслед за боссом. Под их началом находились отдельные княжества преступной империи. Затем следовали лидеры входивших в княжества банд. Они выколачивали за год до 10 миллионов иен. И наконец рядовые члены синдиката с трехмиллионным годовым прибытком, что не слишком превышало среднюю в Японии заработную плату. Эти-то и выполняли все, что задумывал изощренный в злодействе ум Таоки.

Они совершали преступления, садились за них в тюрьму, гибли от ножа или пули. Они управляли 540 лавками, 313 турецкими банями и театрами стриптиза, 233 строительными фирмами — легальными предприятиями «Ямагути гуми». Они же несли на своих плечах всю паразитическую пирамиду синдиката, платя оброк — в среднем 600 тысяч иен в месяц каждый. С оброка и кормились все малые и большие, вплоть до вершины пирамиды, боссы «Ямагути гуми».

— Приняли меня в банду со всей положенной ритуальностью. Босс пригубил чашечку сакэ и передал мне Я выпил до дна и сделался полноправным якудза. — Рассказ Такэо Икэда я услышал в Осаке во владениях «Ямагути гуми». Икэда был из тех, кто находился в самом низу пирамиды. — Отрезвление от ритуального сакэ, однако, произошло. Власть над честными людьми, запуганными шантажом, угрозами и террором, — продолжал бывший гангстер, — какое-то время не дает исчезнуть иллюзии, что ты — сверхчеловек, но рано или поздно приходит понимание: банда, с царящим в ней угнетением, ничем не отличается от окружающего мира. Только усугубляется это угнетение феодальными пережитками, из которых и состоит мораль якудза. Подавляющее большинство членов банд обречено на черную, нет, — поправился Икэда, — на кровавую работу. Деньги идут боссу».

ПРОЖИВШИЕ ТЫСЯЧУ ЛЕТ

По лестнице, такой узкой, что плечо касалось стены, я спустился в подвал, откуда неслась музыка «Бар, в котором собираются кандидаты в убийцы или в самоубийцы», — не без горькой иронии рекомендовал мне это место в токийском районе Синдзюку знакомый японский журналист. Довольно просторный зал освещен фиолетовым светом, собственно даже не зал, скорее лабиринт с грязно-серыми каменными перегородками, доходившими до пояса. В тупичках за низкими столиками мог поместиться только один человек. Присаживаясь к столику, человек исчезал за перегородкой и оказывался таким образом изолированным от окружающих. Если посетитель вдруг и захотел бы перебраться словом с соседом за перегородкой, сделать это он не мог: музыка из огромных динамиков гремела так, что голоса слышать было нельзя. С официантом объяснялись жестами, благо подавали в баре только пиво.

Посетители — юноши и девушки лет шестнадцати — семнадцати — сидели каждый в своем тупичке. Одни, прикрыв глаза, раскачивались в такт музыке, другие, вперив неподвижный взгляд в стену, словно застыли. Свободных тупичков не было, и я остановился у дверей. Рядом, у входа, я заметил парня. Смежив глаза, он под музыку переступал с ноги на ногу. Я пришел в бар, чтобы познакомиться с его завсегдатаями, поэтому, желая привлечь внимание парня, коснулся его плеча. «Поздно, не пора ли тебе домой?» — спросил я. Спросил, чтобы как-то начать разговор.

Парень медленно покачал головой: «Нет...» — «Учишься?» — «Нет». — «Почему?» — «Бросил». — «А родители у тебя есть?» — «Есть». — «Почему ж не идешь домой?» — «А я ушел от них». — «Ну и что теперь думаешь делать?» — «Ничего», — пожал плечами парень.

Разговор не получался. Я сказал: «Тебе, наверное, просто скучно?» — «Нет». — «Нравится здешняя музыка?» — «Нет». — «Ты, говоришь, учился? А чему?» — «Праву». — «В университете?» — «Да». — «А почему бросил?» — «Неинтересно». — «Ну-у? Не может быть, чтоб юридические науки были неинтересными», — высказал я сомнения. «Право, — мумро процедил парень, — выдумка, ложь». Он уже проявлял нетерпение, хотел скорее попасть в зал. «На какие же деньги собираешься пить здесь пиво?» — «Заработал. Разгружал ящики в магазине». — «Ну, ящики. А дальше как собираешься жить?» — допытывался я. «Не знаю...» — «Как тебя зовут?» — «Юдзиро Кавагоэ». — «Чего тебе надо?» — «Ничего».

Юдзиро Кавагоэ глал, когда говорил, что ему ничего не надо. Ему хотелось тепла и понимания окружающих, удовлетворения от учебы и работы, независимости, которую в его обществе обеспечивает только богатство. Я уверенно говорю это потому, что знаком с итогами специального обследования, проведенного среди студентов высших учебных заведений.

«Сколько бы молодые люди — выходцы из среднего слоя — ни пытались сделать карьеру, добиться признания заслуг, достичь богатства, — написал журнал «Асахи гурафу», — им все равно не угнаться за морганами и рокфеллерами. И они обращаются, — журнал верно обрисовал путь таких как Юдзиро Кавагоэ, — или к средствам пассивного протеста: отрицают все авторитеты этой системы, опускаются до положения нищих или, наоборот, проникаются страстью крушить систему. И тут им открывают объятия якудза».

Полиция попыталась выяснить, что влечет молодежь в преступный мир. С этой целью был проведен опрос среди 615 якудза моложе 25 лет. Они сидели в тюрьмах или находились под следствием.

«Гангстеры выглядят хладнокровными, уверенными в себе» — первая причина, указанная молодыми преступниками. «Гангстеры — сильные люди и могут благодаря силе многого добиться» — другой ответ опрошенных. Приобщив суд результаты опроса к уголовным делам этих якудза, он вполне мог бы вынести частное определение в адрес телевидения, кинематографа, книжных издательств. Именно они создали притягательный для юношества облик гангстера.

Название «босодзоку» — «племя диких скоростей» — прилипло к моторизованным шайкам юнцов, которые, облачившись в кожаные штаны и кожаные куртки, напялив на голову солдатские каски со свастикой, на огромной скорости носились по городским улицам, громя магазины и лавки и нападая с велосипедными цепями и стальными трубами на прохожих. К 1980 году полиция зарегистрировала в Японии 38952 «босодзоку», объединенных в 754 группы. 80 процентов из них были несовершеннолетними.

— Почему вы собираетесь вместе? Ведь на мотоцикле можно кататься в одиночку или, скажем, вдвоем? — спросил я Сёдзи Нисияма, члена группы «Мусасаби» — «Летающие белки».

Я встретился с «босодзоку» в токийском портовом районе Харуми в ночь с субботы на воскресенье. «Босодзоку» не любят журналистов и, случалось, разбивали телекамеры, наносили побои репортерам. Но со мной, иностранцем, «босодзоку» не отказались поговорить.

— Трудно объяснить, почему, — ответил Нисияма. — но приятнее ездить компанией. Может оттого, что на работе, или в университете, или просто в уличной толпе нам все кажутся чужими? Или чужими кажемся мы? А в «Мусасаби» мы среди своих.

— Считается, что наше общество демократично, — включился в разговор Акихико Хаманака, лидер «Мусасаби». — Но это неправда. — Голос Хаманаки поднялся до высоких нот. — У нас, как в старину: самураи, крестьяне и другие классы. Мы не имеем денег и потому находимся в самом низу. Как мне иногда хочется разгромить все вокруг!

— Все ругают нас: босодзоку, босодзоку... — продолжил Нисияма. — А что они сделали, чтобы нам было интересно с ними? — Нисияма помолчал, будто сам искал ответ на свой вопрос, и сказал: — Может, они завидуют нам? Завидуют, что на скорости сто километров мы становимся свободными?

— Тебе не приходит мысль, что погибнешь на дороге?

— Приходит. Некоторые из нашей компании погибли... Когда выжимаешь больше ста километров в час, достаточно маленькой ложбинки или камня, чтобы упасть и разбиться. Мне часто кажется, что я прожил тысячу лет. Может быть, уже хватит?

5000 ПРОЦЕНТОВ ПРИБЫЛИ

— Когда я в первый раз попробовала сябу, мне почудилось, что я в раю. По всему телу разлилась легкость...

В студии токийской телекомпании за волнистым стеклом, искажавшем черты лица, интервью давала 14-летняя наркоманка. «Сябу» — жаргонное название наркотика. По японским законам личность несовершеннолетнего преступника, его имя сделаться достоянием гласности не могут. С волнистого стекла, за которым лишь угадывались большие глаза под низкой челкой и круглый подбородок, телекамера опустила на руки — их стекло не прятало. На маленькие детские руки, скромно сложенные на коленях. Вид беспомощно раскрытых ладошек не вязался с хриплым прокурорным голосом, рассказывавшем о драме, пережить которую непросто и взрослому.

— Потом мне захотелось опять испытать райское наслаждение. Затем еще раз. Я стала колоться ежедневно. Но сябу стоил дорого. Кодзукай — карманных денег, — что давали папа и мама, конечно же, не хватало. И я убежала из дому. Меня подбил на это человек, у которого взяла сябу в самый первый раз, взяла попробовать...

Человек, пристрастивший девочку к наркотику, был якудза. Он и подсказал ей способ заработать на сябу. Девочка сделалась проституткой. Денег ей не доставалось — все отбирал якудза. Вместо денег он ежедневно выдавал пакетик с порошком. Во время ночной облавы в токийском увеселительном квартале Сибуя полиция задержала девочку. Она даже обрадовалась, когда ее, связанную одной веревкой, как это водится в Японии, с десятком других правонарушителей, доставили в камеру предварительного заключения. Сама вырваться из рук якудза девочка уже не смогла бы.

В Осаке за мелкое воровство в магазине полицейский задержал школьника. Обыскивая его, полицейский увидел на руке мальчика след от укола шприцем. За школой принялись скрытно наблюдать детективы. Через неделю полиция выявила 24 школьника-наркомана. Некоторые успели сделать по сотне инъекций. Через школьников полицейские вышли на гангстерскую банду «Оно икка» — она поставляла в школу наркотики.

Трагедию, разыгравшуюся в Осаке, телевидение транслировало на всю страну. 47-летний безработный в состоянии наркотической галлюцинации зарезал жену, троих соседей, ранил своего сына. Прежде чем полиция сумела обезоружить на улице наркомана, он ранил еще троих прохожих. Телезрителям показали руки и ноги преступника. Они были сплошь исколоты шприцем — наркоман делал 5-6 инъекций в день.

По сведениям полиции, в Японии 600 тысяч наркоманов. Есть основание думать, что, как и при подсчете числа совершаемых за год преступлений, полиция, мягко говоря, ошибается. Ведь ежегодно в Японию ввозится, по данным той же полиции, количество наркотиков, соответствующее 100 миллионам доз.

Ёситаке Симада, начальник департамента общественной безопасности Национального полицейского управления, сказал в газетном интервью:

«Духовная опустошенность толкает многих к употреблению наркотиков. Напряженность, возникающая у школьников, которые готовятся к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, тоже причина обращения молодежи к наркотическим средствам. Среди других причин наркомании, — продолжил Симада изложение результатов исследования, проведенного полицией, — разрыв связей в семье, затем — иностранное влияние, главным образом американское. Сыграли отрицательную роль, — Симада особо подчеркнул это, — средства массовой информации, убеждающие публику, что употребление, скажем, марихуаны не является антисоциальным поступком».

Интервью Симады воспринимается как сигнал бедствия. Полицейский ни за что не предался бы столь убийственному прямодушию, если бы проблема наркомании не достигла небывалой остроты и если бы власти не чувствовали свое бессилие перед ней. Вряд ли можно найти более красноречивое свидетельство этого бессилия, чем следующие две цифры: из 3 тонн наркотиков, контрабандно доставляемых ежегодно в Японию преступным подпольем, полиции удается обнаруживать не свыше 150 килограммов. Бездонным остается колодец, откуда якудза черпают главную часть своих преступных доходов.

70 процентов наркотиков поступают в Японию из Южной Кореи, 10 процентов — из Гонконга, остальное количество — с Филиппин, Тайваня, из Таиланда.

Преступников не останавливает, что за нарушение закона о контроле над наркотиками японские суды приговаривают к десятилетней каторге. Секрет прост. Прибыль, приносимая контрабандой наркотиков, достигает 5000 процентов. Здесь нет опечатки:

5000 процентов. Грамм наркотика, купленный за границей, стоит 2300—4000 иен. В Японии он приносит 130 000—170 000 иен.

Помните ссылку Маркса в его «Капитале»: «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Что способна заставить сделать прибыль в 16 с лишним раз большая? Человеческая фантазия не в состоянии, вероятно, вообразить этого. И сколь ничтожными представляются в сравнении с подобной прибылью какие-то 10 лет каторги, на которые обрекаются «курьеры» — как правило, рядовые участники гангстерских синдикатов.

Высочайшая норма прибыли побудила японских гангстеров обратить взор через Тихий океан — на Западное побережье США. Начальник полиции города Гонолулу Бернард Чинг считает, что якудза высадились на Гавайях и в Калифорнии в 50-х годах вместе с первыми японскими предпринимателями, вложившими там капитал, и первыми японскими туристами. Скоро контрабанда наркотиков сделалась, указал Чинг, основным профилем японского преступного мира в этой части Соединенных Штатов.

Конкурентная борьба в области контрабанды наркотиков не может проявляться иначе, как в форме физического устранения соперников. Поэтому со свойственным японцам прагматизмом якудза быстро наладили кооперацию с американской мафией. Предназначенные для американского рынка наркотика стали ввозиться сначала в Японию. Здесь у «курьеров» — тайландцев, малайцев, китайцев контрабанду принимали якудза и доставляли ее на Гавайские острова и в Калифорнию. Дело в том, что американская таможня менее строга к тем, кто въезжает в страну из Японии, чем к путешественникам из Юго-Восточной Азии.

За контрабанду якудза брали с американской мафии не деньги. Японским гангстерам привлекательнее представлялась бартерная торговля: за наркотики они просили оружие. Револьвер обходился якудза в этом случае 4 тысячи иен, винтовка 38 калибра — 20 тысяч иен. В Японии якудза выручали за них 400 тысяч иен и 2 миллиона иен соответственно. Прибыль оказывалась еще богаче, чем от продажи в Японии наркотиков.

«Рисуем больше, зато и получаем больше», — разоткровенничался перед гавайскими полицейскими якудза из «Сумиёси рэнго» Ватару Инада, заподозренный в контрабанде.

Инада получил пулю в затылок через 12 минут после того, как уплатил суду залог и вышел до окончания следствия на волю. Инада дал показания в совершенно изолированном помещении гавайской полиции считанному числу ее сотрудников. При баснословной прибыли гангстерам не составляет труда проникнуть за самые прочные стены и ничего не стоит совершить преступление даже под угрозой — нет, не быть повешенным, — а быть сваренным в котле живым.

Симада из Национального полицейского управления не напрасно обвинил буржуазные средства массовой информации в пропаганде наркомании. Невольно закрадывается мысль: уж не является ли усердие буржуазных газет и телевидения тоже результатом необыкновенной прибыльности бизнеса на наркотиках? В 1980 году Поль Маккартни — один из четверки «битлов» — попался в токийском аэропорту с марихуаной. Телевидение, газеты подали инцидент таким образом, что ежедневно по полсотни школьников собирались у следственной тюрьмы и скандировали: «Все, что делает Маккартни, — прекрасно! Мы будем делать так же!» «Я не удивлюсь, если мы узнаем, — сказал Ёситаке Симада, — что после ареста и высылки из страны Маккартни у якудза, торгующих наркотиками, появилось много новых клиентов».

РЕВОЛЬВЕРЫ ДЛЯ «ПАТРИОТОВ»

Человек в темно-синей рабочей куртке с вышитыми над нагрудным карманом мелкими золотистыми иероглифами вышел из машины, прижавшейся к самому краю пустынного в предрассветный час шоссе, скользя резиновыми сапогами по мокрой гальке, спустился к морю, отыскал место за валунами, невидное с дороги, и раскрыл чемоданчик-«атташе». В нем находилась рация. Человек вытащил из углубления в чемоданчике антенну, прикрепил ее одним концом к выступу валуна и надел наушники. Точно в условленное время в них запищала морзянка: «но-ма-ру-ё». Человек отстучал ключом ответы: «ру-ру-то-ноль» и дал отбой. Быстро свернул антенну, закрыл чемо-

данчик и направился, стараясь не поскользнуться на осыпавшейся под ногами гальке, к машине. Сделалось светлее, и уже можно было разобрать золотистые иероглифы на фирменной темно-синей куртке: «Сигэру Канадзава». И чуть ниже: «Порт Иокогама».

Шифр, которым пользовался Канадзава, был прост. Потому полиции, давно запеленговавшей рацию Канадзавы, не составило большого труда понять короткие послания, которые появлялись в эфире с той же регулярностью — это полиция установила тоже, — с какой курсировал между Филиппинами и Японией либерийский контейнеровоз «Брадеверетт». Цифры от единицы до девяти Канадзава обозначил знаками «катаканы» — японской слоговой азбуки: «са-ру-но-то-си-ё-ри ма-су». Запомнить очень легко, так как знаки образовывали фразу: «Приближается год обезьяны». В телеграмме, которую принял Канадзава, сообщалось: «Тридцать восемь, двадцать шесть», то есть «Везу 26 револьверов 38 калибра». В ответ Канадзава послал просьбу: «Двадцать два, сорок» — «Нужны 40 револьверов 22 калибра».

4 февраля 1982 года контейнеровоз «Брадеверетт» с лоцманом Сигэрой Канадзавой на капитанском мостике пришвартовался к грузовому пирсу Иокогама. Против обыкновения иммиграционные чиновники, поднявшиеся на борт судна вместе с лоцманом еще в Токийском заливе, не позволили команде сразу спуститься на берег. Попросили задержаться и лоцмана. На судно пришла полиция и приступила к обыску. Только разыскав 26-й, последний револьвер, детективы перестали обшаривать каюты и трюм. Они увели с собой лоцмана Канадзаву и повара «Брадеверетта» — филиппинца Эутикио Флореса. Канадзава покупал у повара револьверы по 70—80 тысяч иен за штуку и перепродавал их «Ямагути гуми» и «Инагава кай» по 300—500 тысяч иен. На допросе Флорес сознался, что снабдил Канадзаву в общей сложности сотней револьверов и что в следующий приход в Иокогаму должен был доставить еще 40 револьверов 22 калибра. Столько заказал синдикат «Сумиёси рэнго».

Японские зоологи пришли в крайнее возбуждение, когда в префектуре Гифу появились кобры. Кобры в Японии отродясь не водились. Пока ученые бурно спорили относительно причин непостижимого уму феномена, полиция провела расследование и выяснила: гангстеры из банды «Накао гуми» ввезли из Таиланда в Японию 30 револьверов в контейнерах с ядовитыми змеями. Якудза рассудили, что таможенники поостерегутся шарить в металлических ящиках, заполненных кобрами и гадюками, и не ошиблись. Из Осакиского международного аэропорта гангстеры напрямую направилась в мотель, натолкали в контейнеры сухого льда и, когда змеи заснули, извлекли оружие. Потом змей якудза выпустили в ближайшую реку.

В ноябре 1980 года после ожесточенной уличной перестрелки санитары скорой медицинской помощи подобрали с мостовой тела трех убитых и семерых раненых якудза, а полиция подняла из лужи крови оброненный гангстерами револьвер. Он оказался самодельным. Через некоторое время у банды «Додзинкай кога гуми» было конфисковано точно такое же оружие. Два года ломала полиция голову, кто и где делал револьверы. А когда докопалась до истины, то не было предела стыду властей, сарказма печати и возмущения общественности: револьверы изготавливались гангстерами в... тюрьме города Фукуока.

700 якудза, отбывавшие наказание в этой тюрьме, работали в тюремных механических мастерских. Босс банды «Накамура гуми» Бунити Накамура, осужденный за покушение на убийство, встретил в тюрьме двух давних друзей, которые за решеткой неплохо освоили профессии слесаря и токаря. Через вольного мастера, руководившего работами в мастерских, Накамура получил от члена своей банды чертежи револьвера, и дело двинулось. Готовую продукцию выносил из тюрьмы в канистрах с машинным маслом тот же мастер из вольных. Затем «Накамура гуми» продавала оружие другим бандам. Не потеряв неаккуратный якудза самодельный револьвер, кто знает, сколько еще функционировал бы гангстерский арсенал за тюремными стенами, надежно укрывавшими преступников от полицейского ока?

В 1980 году в Японии было отмечено 127 случаев применения гангстерами огнестрельного оружия. В перестрелках погибли или получили ранения 47 человек. Полиция провела несколько всеяпонских рейдов специально в поисках оружия и отняла у якудза 942 револьвера. В следующем году — новые рейды, и еще тысяча единиц огнестрельного оружия изъята у гангстерских банд.

В 1982 году полиция конфисковала самое большое за предшествовавшие 5 лет количество револьверов — 1130 штук. Однако в апреле 1983 года полиция вынуждена была признать, что обезоружить преступное подполье она так и не смогла. За первые

три месяца 1983 года гангстеры устроили 66 перестрелок, в которых встретили смерть 9 человек. Сообщение об этом полиция сопроводила предостережением: «Теперь каждый якудза имеет револьвер». Можно было бы добавить: и пуленепробиваемый жилет тоже. Синдикат «Инагава кай» импортировал жилеты из Соединенных Штатов.

Жарким летним днем 250 якудза, сменив традиционные черные костюмы и лаковые штитлеты на полувоенную униформу, но не расставшись с черными очками, съехались в буддийский храм в префектуре Тиба, соседней с Токио. Президиум собрания являл собой срез японского истеблишмента: предприниматели, депутаты парламента от правящей либерально-демократической партии, бывший премьер-министр, правые политические деятели и боссы гангстерских синдикатов. Первый оратор, президент известной в Японии строительной фирмы, начал с заявления, категоричного и откровенного:

— Я — якудза и горжусь этим! Что может быть прискорбнее, — предприниматель с нутром уголовника воздел руки к богам, — чем ошибочное мнение, будто якудза — это гангстеры. Мы, — ударил себя в грудь оратор, — главные защитники свободного мира от международного коммунизма. Нам есть что оборонять и есть чем оборонять-ся! — Якудза понимающе загоготали.

Следующим к микрофону подошел босс гангстерской банды.

— Средства массовой информации, в которые просочились коммунисты, называют нас вооруженными антиобщественными элементами, — закричал он голосом, каким обычно командуют на плацу строевики-фельдфебели. — Что мы вооружены, они не ошибаются, — согласился гангстер. — Но в остальном лгут, — еще пронзительнее закричал он. — Как раз общество-то мы и готовы защитить от красных!

Завершилось собрание речью вице-президента «Всеяпонского патриотического совета», политической организации преступного подполья.

— Когда мы поймем, что кризис близок, — сказал он, — то покинем свои государственные и общественные посты, чтобы быть свободными предпринять наши собственные акции. Мы достаточно организованы и оснащены, чтобы спасти нацию от коммунистического переворота. Мы полны решимости, — вице-президент сделал паузу, чтобы 250 внимавших ему якудза поняли: они услышат сейчас самое главное, — мы полны решимости, — повторил вице-президент, — отдать жизнь во имя нации, но прежде чем погибнуть, каждый из нас убьет пятьдесят врагов!

Всеобщее и полное разоружение полицией японского преступного мира не происходит и, надо полагать, не произойдет.

ЯКУДЗА СПАСАЮТ ЯПОНИЮ

«В тюрьме я зачитывался биографией Мицуру Тоямы, самурая, который в конце прошлого века рвался в Азию, чтобы избавить азиатские народы от европейского гнета и сделать их счастливыми под сенью Японии, — написал Кадзуо Таока в воспоминаниях о 8-летней отсидке за убийство. — Мысли Тоямы захватили меня на всю жизнь. Его именем — Мицуру — я даже назвал своего сына».

Как известно, кто чего хочет, тот в то и верит. Кадзуо Таока хотел обладать силой и влиянием, чтобы не занимая, подобно Мицуру Тояме, никаких официальных постов, вершить политику — разумеется, ту, что приносила бы ему, Таоке, максимальную прибыль. Поэтому пылко поверил Таока в идеи Тоямы об исключительности японцев, в отличие от других народов происшедших непосредственно от богов, минуя «посредников» в лице Адама и Евы.

Тояма — патриарх японского фашизма, агрессивного, человеконенавистнического, оголтелого, — сделался духовным отцом Таоки, а затем, естественно, и преступного подполья, поскольку «для прихожан, по утверждению японской поговорки, нет иного будды, кроме того, какого указывает им их священник». Надо ли посему удивляться, что значащийся в официальной статистике контингент якудза совпадает с числом участников правых и фашистских организаций? Это одни и те же люди. Кэндзи Иино, журналист, хорошо знающий закулисную сторону японской политической жизни, пришел к выводу: «Говорить об ультраправом движении в стране в последние годы, не связывая его с гангстерскими бандами, невозможно, и если все эти преступные элементы изъять из современного ультранационалистического движения, то способных к действиям организаций в нем почти не останется, а само движение неизбежно изживет себя».

Из социально-политических уроков, преподанных жизнью,—расправа над профсоюзными активистами в порту Кобэ — один из них — Таока вынес твердое убеждение: в буржуазном обществе выгодно иметь поближе к телу антикоммунистическую рубашку, особенно если тело покрыто гангстерской татуировкой. Высокая рентабельность исповедования крайне реакционной идеологии превратила Таоку в фанатичного адепта фашистского вероучения. Приступая к завоеванию Хиросимы, Таока заявил:

«Я ставлю своей целью оградить хиросимские доки от коммунизма.— Таока понимал, что было бы нелепо привести истинную цель: грабеж хиросимских докеров.— Меня не беспокоит смерть трех или четырех мелких якудза,— сказал далее Таока.— Их жизнь ничего не стоит, когда думаешь о будущем страны.— Таока допускал прямой плагиат изречений Мицуру Тоямы. Тот ни во что не ставил людскую жизнь, если речь шла о Великой Японии, правящей миром. Таоке же безразличной была человеческая судьба, если речь шла о великой «Ямагути гуми», правящей миром преступным.— Что больше всего меня заботит,— еще раз подчеркнул Таока, чтобы наверняка заручиться полицейской индульгенцией на разбой,— так это защита доков от коммунистического нашествия».

Появление фирмы или организации принято в Японии отмечать пышным и многочеловеческим банкетом. Отели отводят для этого самые большие свои залы. 24 июня 1981 года «Токио принс отель» принимал гангстеров. 3 тысячи якудза из «Инагава кай» отпраздновали здесь возрождение довоенной организации «Дайкося», что в переводе означает «Громкий рев». Лидером организации сделался один из боссов «Инагава кай» Эцуру Киси. В пригласительном билете на банкет Киси написал: «При полной поддержке главы «Инагава кай» и бескорыстной помощи патриотически настроенных представителей делового мира мы можем вернуть к жизни организацию «Дайкося» и унаследовать гордый дух ее довоенных членов». Гангстеров и предпринимателей в равной степени привлек дух шовинизма и национализма, который громким, в прямом смысле, ревом прославлялся в милитаристской Японии организацией «Дайкося».

Назначением Кодзи Ватанабэ начальником «Молодежного отряда обороны государства», вошедшего в «Дайкося», синдикат «Инагава кай» дал понять, что якудза вполне готовы к осуществлению принципа фашистов: «одно конкретное действие весомее ста или тысячи споров». Ватанабэ возглавлял шайку «босодоку», название которой — «Особо сумасшедшие» — чрезвычайно точно характеризовало ее участников. Это они совершили нападение на здание ЦК Компартии Японии. Бывший «босодоку» предпринял попытку убить премьер-министра Масаёси Охиру, поскольку правящая либерально-демократическая партия и ее правительство, по мнению «Особо сумасшедших», потакали коммунизму.

Кадзуо Таока старался картелизировать преступное подполье, чтобы поднять доходы синдиката «Ямагути гуми». Содружество оказывалось, однако, очень непрочным. Оно зависело от экономической конъюнктуры. Политический альянс гангстерских синдикатов получился гораздо спянее.

В 60-х годах якудза из «Сумиёси рэнго», из «Инагава кай» заключили политический союз, образовав «Канто кай». Объединиться гангстерам помог Ёсио Кодама, военный преступник, закулисный политический воротила, поставивший у власти в Японии нескольких премьер-министров, судимый по «делу Локхид», обвиняющийся в получении и даче взяток на общую сумму 1,5 миллиарда иен. Кодама сам довершил свой политический портрет, заявив в журнальном интервью: «Есть пятьдесят или шестьдесят организаций якудза, которые считают меня своим лидером».

Кодаму прозвали «куромаку», то есть руководителем, действующим за черным занавесом. Обычно он не афишировал свои связи, а если говорил о них, то придавал им скромные масштабы. Поэтому цифру гангстерских банд, что считали Кодаму лидером, следует увеличить по меньшей мере в 10 раз. Только в «Канто кай» их было около 20. Кодама, как и подобает лидеру, составил для «Канто кай» политическую программу. Она открывалась клятвой «отдать жизнь во имя интересов нации», а они заключались, судя по пункту второму программы, «в борьбе против коммунизма и в насаждении патриотизма в сердцах японцев».

Кадзуо Таока импонировал Кодаме. В совершеннейший восторг привела Кодаму беседа Таоки с газетным корреспондентом, в которой гангстер со свойственной ему беспепелляционностью изложил свое кредо мракобеса: «Знаете ли вы, к чему привели так называемые свобода и либерализм? К дикой инфляции и растущему беспорядку,— зло отчитал якудза журналиста, который, начиная интервью, посмел усомниться в

правомерности идей Мицуру Тоямы.— Как вы думаете,— справился далее гангстер у журналиста,— кто извлекает выгоду из всего этого? — И сам же поспешил ответить, наверное, не хотел, чтобы журналист, отрицавший идеи Тоямы, мучился в догадках:— Коммунисты. Япония нуждается,— подытожил Таока,— в очищении нации от социалистической заразы». О подобной «очистительной» работе Кодама и повел разговор с Таокой в Кобэ, в ресторане, километровый путь до которого от вокзала Кодама проделал по живому коридору: его образовали тысяча якудза, выстроившихся в два ряда.

После хлебосольного ужина вместо «Канто кай» на свет появился «Дзэнгъай кай-ги» — «Всеяпонский патриотический совет», организация не столько политическая, сколько террористическая. Помните, вице-президент «совета» на собрании гангстеров в префектуре Тиба призывал отдать жизнь во имя нации, но прежде чем погибнуть, убить 50 врагов?

И якудза — те, кто еще в убийстве не поднаторел — приступили к тренировкам. В горных лагерях гангстеры обучались разгонять митинги и демонстрации, стрелять, орудовать мечом и кинжалом. Кодама оплачивал «туристические поездки» гангстеров на Гавайские острова — там стрельба из боевого оружия входила в программу «культурного обслуживания» гостей, наряду с сёрфингом — катанием на досках в волнах океанского прибоя и с приобретением в местных лавках ярко расписанных рубашек «алоха».

В спортивном зале — тренировка рукопашной схватки. На стене лозунг: «Убей одного — и в живых останутся многие». Ниже подписи тех, кто намеревается воплотить кровавадную сентенцию на практике: «Антикоммунистические ударные силы». За тренировкой следил главарь банды. Обращаю его внимание на татуировку, что покрывала тела низколобых недорослей, самозабвенно дубасивших друг друга.

— Ну и что? — вызывающе сказал главарь.— Общество ставит якудза вне закона, но мы выше личных обид. Как раз мы,— главарь повел рукой по залу, где упражнялись полсотни гангстеров,— и спасаем страну от нашествия коммунистов.

— Кого вы считаете коммунистами? — попросил уточнить я.

— Не только Россию,— уверенно ответил якудза,— но и японских радикалов, социалистов...

— Знакомы ли вы с Ёсио Кодамой? — следующий мой вопрос.

— Конечно! — Гангстер даже растерялся от моей наивности.— Он для нас — учитель.

Не исключено, что именно после общения с бандой «Антикоммунистические ударные силы» Кодама сказал: «Время от времени я встречаюсь с молодежью, которая серьезно задумывается о будущем нашей страны, выступая против коммунистов, социалистов и даже против либерально-демократической партии,— Кодама явно гордился своими выучениками.— Я потрясен пылом этой молодежи — он тот же самый, каким горел я в годы моей юности.— Ностальгические нотки в повествовании Кодамы быстро сменились, однако, деловой интонацией.— И я помогаю молодежи деньгами и другими способами», — сообщил Кодама.

Что касается пыла, обуревавшего Кодаму в молодые годы, то он был сродни маниакальной горячке: Кодама подымал руку на премьер-министров и министров каждый раз, когда фашисту мерещилась медлительность довоенных правительственных кабинетов в подготовке к агрессии в Китае и нападению на СССР.

Кодама стремился заразить такой же «горячкой» нынешних якудза и преуспел в этом. В 1981 году полиция зарегистрировала 349 общественно опасных выступлений правых и фашистских организаций, носивших политический характер. За 6 месяцев 1982 года подобных выступлений полиция насчитала 265, в том числе покушение на жизнь председателя Генерального совета японских профсоюзов Мотофуми Макизды.

ДЕПУТАТЫ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ

В фешенебельном токийском районе Роппонги в шикарном многоэтажном доме, соседствующем с особняками американского и шведского посольств, на дверях одной из квартир появилась табличка с японской и английской надписями: «Общество поддержки Сигэмаса Камоды». В полном соответствии с законом общество зарегистрировалось в министерстве по делам местного самоуправления как организация, оказывающая помощь кандидату в депутаты верхней палаты японского парламента. Перестроенная из квартиры контора «Общества поддержки» обставилась канцелярскими столами,

шкафами, мягкими креслами и диваном. На стене — японский флаг в раме и под стеклом. У телефонного аппарата — девушка, ворковавшая в трубку: «Спасибо, что звоните нам. Контора Сигэмаса Камоды слушает». Словом, все как всегда в тех случаях, когда люди задаются целью попасть в парламент, и как везде, где люди ищут голоса избирателей.

К факту возникновения «Общества поддержки Сигэмаса Камоды» остались бы равнодушными даже соседи по лестничной площадке, не говоря уж о прессе, если бы не биография кандидата в депутаты — Сигэмаса Камода входил в восьмерку высших, после Таоки, руководителей «Ямагути гуми», лично возглавлял 39 банд синдиката с 585 гангстерами и контролировал 14 префектур, провел 9 лет в тюрьме за тайный игорный бизнес, торговлю наркотиками и убийство.

Напрасно думать, что телевидение, газеты ударили в набат общественного возмущения в связи с тем, что преступное подполье пытается проникнуть в среду «слуг народа». Еженедельник «Сюкан Санкэй» ограничился меланхолично заданным риторическим вопросом: «Если комедийные актеры и исполнители рок-н-ролла могут быть избраны в парламент, то почему боссу гангстерской банды не стремиться попасть в одну из палат нашего законодательного органа?» Публицист Кэндзи Иино с невозмутимостью летописца, знакомого со всяческими гримасами человеческого бытия, констатировал: «Не будет ничего нового, если якудза окажутся в числе депутатов парламента. В 1925 году, например, парламент на треть состоял из гангстеров». Бывший премьер-министр Такэо Фукудза с иронией, свойственной человеку, который за долгую жизнь в политике многого насмотрелся, заметил: «Что ж, это неплохо, если в нашем кругу появится человек с иным цветом волос». Зато бурную хвалу японской демократии воздал председатель «Общества поддержки Сигэмаса Камоды», гангстер из «Ямагути гуми», лидер антикоммунистической «Азиатской лиги» Тоёюки Нагамото (36 приводов в полицию за подпольные азартные игры и букмекерство, отсидка за дебош): «В нашем свободном обществе действительно свободно все. Даже якудза может заняться политикой и сделаться членом палаты советников».

Пропагандистская брошюрка, сочиненная Нагамотой, открывалась словами: «Сигэмаса Камода вступает в политический мир с намерением посвятить всю оставшуюся жизнь борьбе за ликвидацию наркомании — главного зла, коверкающего здоровье и судьбу молодежи». Говорят, что ложь — тот же лес: чем дальше, тем труднее выбрать ся из нее. Наркотики приносили синдикату «Ямагути гуми» 60 процентов всей прибыли. Поэтому Нагамото и не собирался искать дорогу из дебрей и продолжал громоздить новые небывлицы. «Я решил заняться политикой, — привел Нагамото в брошюрке высказывание самого Камоды, — чтобы защищать свободный мир, чтобы сделать наше общество спокойным, радостным и процветающим».

Здесь и вспомнить бы автору брошюрки «осакскую войну» между «Ямагути гуми» и «Мэйю кай» и операции Камоды против соперников: на многотонном самосвале въезжал гангстер в принадлежавшие «Мэйю кай» залы игровых автоматов и кафе и давил не только все, что попадало под тяжелые колеса, но и всех. Припомнить бы, что за «осакскую войну» заработал Камода свой первый тюремный срок. Читатели брошюрки об этой странице жизни Камоды не узнали, но Нагамото наверняка держал ее в голове потому что гимн гангстеру закончил так: «Сигэмаса Камода — наиболее подходящий человек для роли японского лидера на 80-е годы».

Камода не сумел осчастливить Японию своим лидерством. Полиция помешала. 14 июня 1982 года 850 полицейских в ходе внезапного рейда по владениям «Ямагути гуми» захватили на месте преступления — организация азартных игр, букмекерство, вымогательство — 53 гангстера. Еще 52 якудза выскользнули из полицейских силков и ушли в подполье. Среди них — Сигэмаса Камода. Находиться в списке для всеяпонского розыска и одновременно баллотироваться в парламент — до этого буржуазная свобода в Японии еще не доросла. Но, без сомнения, дорастет. «Отведи господ депутатов парламента в баню и раздень донага, — сказал в журнальном интервью гангстер из «Сумийеси рэнго», — не скажу, что у каждого второго, но уж у каждого третьего наверняка увидишь цветную татуировку. А у депутатов префектуральных собраний эта прелесть — у каждого второго».

Коити Хамада, депутат парламента, заведующий отделом массовых движений либерально-демократической партии, разукрасил спину и грудь цветным изображением дракона в синдикате «Инагава кай» Это случилось в 1953 году, когда будущий лидер ЛДП усваивал уроки гангстерской политичности и карточных приемов в качестве

«сансита» — начинающего якудза. На низшей ступени гангстерской иерархии Хамада не засиделся — в его активе уже числились 12 месяцев тюрьмы за воровство, вымогательство и покушение на убийство. Прямо из «сансита» он перешел на службу к Есио Кодаме.

За три года секретарства у закулисного воротилы Хамада добавил к навыкам якудза необходимые для консервативного лидера познания в технологии политической коррупции. С помощью Кодамы и на его деньги он занял сначала место в префектуральном собрании, а затем — в парламенте. На очередных парламентских выборах Хамада потратил на подкуп избирателей рекордную в истории японского высокопоставленного мздоимства сумму. 329 подручным Хамады полиция надела наручники, а коррупционер к знакам отличия парламентского заместителя начальника управления национальной обороны и парламентского заместителя министра сельского хозяйства и лесоводства добавил партийные лычки — заведующего отделом, который ведает организацией парламентских выборов. Либерально-демократическим бонзам пришлось, видно, по сердцу ловкий жулик. Шельмовство Хамады они хотели теперь использовать в интересах всей партии.

Гангстерские повадки подвели, однако, Хамаду. В компании с видными якудза Хамада отправился весной 1980 года в США, в Лас-Вегас, где в один присест проиграл в казино 1,5 миллиона долларов. Карточные долги кандидата, как поговаривали тогда, в премьер-министры покрыв финансовый магнат Кэндзи Осано — впоследствии подсудимый по «делу Локхид», но скандал выплеснулся на телеэкраны и газетные страницы.

Хотя Хамада ушел из партии и покинул парламент, процент татуированных персон среди депутатов не снизился. Подсчет якудза — один из каждых трех парламентариев имеет гангстерскую метку — остается правильным.

«Общество поддержки депутата Сюдзи Кураути» устроило прием в городе Фукуока. Участники приема платили по 20 тысяч иен за пригласительные билеты. Это — узаконенная форма сбора средств на ведение депутатом дорогостоящих избирательных кампаний. По пригласительным билетам, подписанным председателем либерально-демократической партии и премьер-министром Ясучиро Накасонэ, председателем политического совета партии Рokusукэ Танаоки, губернатором префектуры Фукуока, президентами крупнейших фирм, на прием пожаловали 3 тысячи человек. Все обстояло очень пристойно, если бы не деталь: 2 тысячи билетов на сумму 40 миллионов иен распространили гангстерские банды «Кудо кай» и «Кусано икка» из синдиката «Ямагути гуми». Покупателями же стали хозяева кафе, баров, так называемых пинк-салонов и турецких бань — эвфемизм публичных домов, то есть традиционные данники гангстеров.

Якудза необыкновенно далеки от филантропии, но они чтут принцип «тири» — долга признательности или, если проще, соблюдают правило: ты — мне, я — тебе. Когда член «Ямагути гуми» попался за убийство, депутат Сюдзи Кураути вместе с бывшим премьер-министром Нобусукэ Киси и бывшим министром просвещения Умэкичи Накамурой поручились за преступника и помогли ему выйти на свободу под денежный залог. Была и другая причина теплых чувств якудза к консервативному политику. Во время выборов он задолжал гангстерам 20 миллионов иен, так как собственных и партийных средств не хватило на избирательную кампанию. Реализовав пригласительные билеты на прием, якудза вернули свои деньги, а заодно пополнили избирательный фонд депутата.

С 1980 по 1982 год министр труда Акира Оно через своего секретаря получил от «Ямагути гуми» в качестве «политического пожертвования» 100 миллионов иен. В обмен министр консультировал синдикат по юридическим вопросам, которых у якудза возникало, как несложно догадаться, великое множество.

В июле 1981 года «Ямагути гуми» силой оружия — один убитый, трое раненых — изгнала «Инагава кай» из отрасли, производящей игральные видеоавтоматы. Отныне за каждый новый видеоавтомат синдикат взимал с производителей 20 тысяч иен. Для контроля над выпуском продукции «Ямагути гуми» согнала предпринимателей во всеяпонскую ассоциацию. Чтобы придать вымогательству респектабельный характер, синдикат предложил пост советника в ассоциации Масахару Готоде. До службы в ассоциации Готода возглавлял — что бы вы думали? — Национальное полицейское управление. А после труда на ниве видеоавтоматов Готода вошел в правительственный кабинет.

Не часто, но случается, что гангстеры обижаются на консервативных политиков. Стоит им проявить каплю принципиальности, как якудза приходят в волнение. На ми-

тинге в Киото якудза с ножом в руках напал на Ёхэй Коно, который вышел из либерально-демократической партии, возмущенный коррупцией в ее рядах. «Я хотел убить Коно, потому что он чуть было не расколол ЛДП», — заявил гангстер, обнаружив трогательную заботу о стабильности существующего политического устройства. Однако большей частью гангстеры живут с консерваторами в согласии и дружбе.

Какие события в «Ямагути гуми» ни происходили бы — например свадьба отпрысков боссов, закладка ими особняков — среди почетных гостей неизменно присутствовали деятели из ЛДП: депутаты, партийные лидеры, министры. Когда по обвинению в убийстве полиция прибыла арестовать босса банды «Сэйрёку кай», входившей в «Ямагути гуми», то в кабинете гангстера увидела фотографию в рамке на стене: убийца чокается бисалом с бывшим премьер-министром Масаёси Охирой. Рядом висел, тоже в раме, лист плотной бумаги со стихотворной строкой, каллиграфически выписанной рукой другого премьер-министра — Эйсаку Сато. Заметив удивление полицейских, якудза гордо объяснил: «Мы связаны общими убеждениями и общими принципами».

Благодаря, наверное, этой общности, 969 гангстеров получили в 1981 году от министерства здравоохранения и социального обеспечения по 1,7 миллиона иен. Выплата производилась по программе помощи людям, потерявшим возможность обеспечивать себя из-за увечья, болезни или старости. Уж не за отсеченные ли по гангстерскому обычаю пальцы правительство благодетельствовало бандитов? Или, может, решило оплатить вынужденное безделье якудза, пострадавших в перестрелках и поножовщине?

И о совсем уж веселом случае японцы узнали под новый, 1980 год, хотя отсмеявшись, наверняка серьезно задумались: кто же, в конце концов, заправляет жизнью в Японии? Оказалось, что гангстеры обобрали на 3,9 миллиона иен... резиденцию премьер-министра. Запугав завхозов, якудза заставляла их покупать, например, жидкое мыло для уборки помещений в 9 раз дороже, чем оно стоит в магазине.

«У вас есть, кажется, четырехлетний сын? Мы слышали, вы его очень любите...» — многозначительно сказали якудза управляющему делами министерства связи, и тот переплатил гангстерам за канцелярские товары, за моющие средства 28 миллионов иен. Всего в 1977—1978 годах резиденция премьера, министерства связи, транспорта, правительственные агентства и даже управление национальной обороны позволили гангстерам украсть у себя 1 миллиард иен.

Куда же смотрит полиция? — возникает закономерный вопрос. Полицейские смотрят в том же направлении, что и консервативные депутаты и сами якудза — в сторону личной выгоды, а служебное положение блюстителей порядка предоставляет, при наличии обширного преступного подполья, неограниченные возможности для обогащения. Короче, полиция берет взятки, берет в любом количестве и в любой форме — от денег до щенков, необязательно борзых.

Начальник полиции города Химэдзи за выдачу гангстерам разрешения на открытие бара взял кольцо с бриллиантом стоимостью свыше миллиона иен и скульптурное изображение тигра, оцененное впоследствии следовательской экспертизой в несколько сот тысяч иен — полицейский слыл большим любителем искусства.

Хозяин подпольного игорного дома выплатил 2,5 миллиона иен детективу участка Минаи, что в городе Осака, за предупреждение о готовящемся полицейском рейде против игорного бизнеса. В другом осакском полицейском участке — Сонэдзакки — взятки брались от якудза — владельца пинк-салонов за информацию об операциях по выявлению проституции. Гангстер уже отсидел в тюрьме за нарушение закона, запрещающего торговлю женским телом, и содержал пинк-салоны без надлежащей лицензии.

В тюрьме города Футю полицейские кормились с передач, которые получали с воли отбывавшие срок гангстеры. Передачи содержали виски, пиво, сигареты, шоколад и даже наркотики. Ополовинив каждую посылку надзиравшие за тюрьмой полицейские относили передачи в камеры. Довольными были обе стороны, как вдруг разразился скандал: об алкогольно-шоколадном сосуществовании полицейских и якудза прознала печать. Начальник гюремной охраны вызвал из камеры гангстера для допроса. Якудза так возмутился — разве половинная доля мало! — что жестяной банкой с пивом пробил полицейскому голову.

В марте 1983 года Осацкий окружной суд приговорил к 3 годам тюрьмы полицейского офицера Такахиру Киёту, который являлся постоянным осведомителем гангстерских банд. Они вышлатили ему 13,5 миллиона иен. Еще четыре офицера находились под следствием по аналогичному делу. На процессе Такахиры Киёты адвокат просил

с смягчении подзащитному наказания, поскольку он был мелкой сошкой в системе коррупции, разъездившей осацкую полицию. «Мой подзащитный лишь в незначительной степени использовал служебное положение,— воззвал адвокат к судьям.— Начальники Киёты,— адвокат потряс в воздухе кипой собранных свидетельств,— делали это в гораздо больших масштабах!» Суд учел заявление адвоката и вынес частное определение: «Высшие полицейские руководители превратили Киёту и других младших офицеров в «козлов отпущения» и сами избежали ответственности».

«Ах, что же вы, озорники, наделали!» — укоризненно воскликнули члены Национальной комиссии по общественной безопасности — главного органа, наблюдающего за деятельностью полиции. Комиссия состоит из людей, накрепко связанных с либерально-демократической партией. И на 120 крупных полицейских чинов, включая начальника полицейского управления города Осаки и генерального инспектора Национального полицейского управления, обрушились «страшные» кары — выговоры письменные, выговоры устные, замечания. 109 рядовым «проказникам» временно снизили жалование, но не в том, разумеется, размере, в каком участковые и патрульные полицейские получали денежную дотацию от якудза.

Полицейским властям на местах Национальная комиссия предписала усилить воспитательную работу с персоналом. Первым отреагировало полицейское управление префектуры Сайтама. В 130-страничном «Этическом кодексе полицейского», составленном управлением, содержались поистине стоические инструкции: не брать денег от якудза даже взаймы, самим оплачивать счета в барах и ресторанах, воздерживаться от интимных отношений с замужними женщинами, вдовами и девицами легкого поведения, объясняться с людьми на нормальном языке, а не на гангстерском жаргоне. Префектуральное полицейское управление выпустило кодекс в 10 тысячах экземплярах. Еще 10 тысяч штук напечатали якудза. «Полицейские поборы сделались непомерными,— объяснили они.— «Этический кодекс» сделает, мы надеемся, полицейских скромнее».

Депутаты, полицейские и воры. Их поведение — на самом деле зеркало, в котором каждый показывает свой лик. И не только свой. В зеркале отразилась суть власти в «Джапан инкорпорейтед».

ПОХОРОНЫ В КОБЭ

Эпilog

Усадьба заполнилась людьми во всем черном. Перед портретом Кадзуо Таоки — боссы «Ямагути гуми» и других синдикатов и банд. Алтарь уставлен желтыми и белыми хризантемами — цвета траура. Знамена склонены к алтарю. Религия научила гангстерских боссов: ритуальность крепко держит человека в узде. По ритуальности мир якудза уступает лишь католической церкви.

Гангстеры все шли и шли к усадьбе. Обыскивали их уже в пяти местах. На подходе к контрольным пунктам полицейские предупреждали в мегафоны о предстоящем обыске и предлагали якудза не оказывать сопротивления и не создавать беспорядка. Вдруг гангстер, которого полицейский попросил снять для осмотра туфли, ударил детектива ногой в живот. Мгновенно десятков тел в штатском и в голубой полицейской форме навалились на гангстера. Дружки поспешили было гангстеру на помощь, но властный окрик остановил начинавшееся побоище. Кто-то из боссов «Ямагути гуми» пришел на шум драки. Якудза выбрался из-под тел полицейских — по его лицу, шее текла кровь.

Вспомнились слова Таоки. «Я нуждаюсь в обслуживании психологами, которые нашли бы способы сохранить психические и духовные силы членов «Ямагути гуми», — сказал босс.— Многие из них,— констатировал он,— рождены эмоционально неуравновешенными». Таока оправдывался перед общественностью, потрясенной беспримерно жестокой расправой над Киёси Наруми, который покушался на жизнь босса «Ямагути гуми». Ненамного меньше, чем обстоятельствами убийства, общественность была ошарашена и гангстерской экзальтацией самого Наруми.

Главарь банды, к которой принадлежал Наруми, погиб от рук якудза из «Ямагути гуми». Наруми поклялся отомстить и в знак нерушимости обета вскрыл в крематории урну и съел прах своего босса. Выстрелом из револьвера Наруми ранил Таоку. Через два месяца после покушения тело Наруми обнаружили в горах неподалеку от Кобэ.

Оно было так обезображено убийцами — например, голову неимоверной силы ударом вогнали на 10 сантиметров в туловище — что опознать труп полиция смогла только по фотографии сына Наруми, которая находилась в медальоне на шее якудза, и по татуировке. Чтобы ослабить у общественности шок и поправить пошатнувшийся образ якудза, якобы добродетельных и любвеобильных в отношении ближних, и опечалился Таока по поводу врожденной неуравновешенности гангстеров.

Молодые якудза загораживали вход в сад, где происходил обряд поминовения, не от одной лишь полиции, а от корреспондентов тоже. До начала церемонии репортерам разрешено было войти в сад на несколько минут. Теперь якудза сдерживали напористую толпу с теле- и фотокамерами в руках. Ближайшие ко мне двое гангстеров не удержались и полюбопытствовали:

— Из какой страны?

— Корреспондент советского телевидения, — назвался я.

На физиономиях якудза — растерянность, потом угрожающая воинственность.

— Почему хотите захватить Японию?

— Кто вам это сказал? — поинтересовался я.

— Босс, — последовал ответ. — Он сказал, что коммунисты хотят уничтожить наши традиции, нашу историю, осквернить могилы наших предков и...

— Якудза — бастион против коммунистов, — перебил я гангстера. — Якудза — решительные защитники японского духа.

— Откуда знаете? — удивленно и уже миролюбивей спросил гангстер.

— Читал у Таоки, — ответил я.

Эмоциональная неуравновешенность, вызванная у гангстеров социальными причинами, усугубляется в бандах мракобесием, замешанным на феодальных традициях, и оголтелым антикоммунизмом. Они пронизывают весь моральный климат преступного подполья. Главная опасность якудза — их психологическая готовность по приказу боссов, криминальных или политических, к выступлению, безумному по форме и фашистскому по содержанию.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

АНДРЕЙ НИКИТИН

★

ИСПЫТАНИЕ «СЛОВОМ...»*

6

Жизнь моя, осветившаяся «черным солнцем» древней поэмы, неожиданно преобразилась. Порою мне начинало казаться, что потоки таинственной энергии, вырывая из повседневности, заносят меня в иные измерения и пространства.

Заседания ученых комиссий, протекавшие в академическом благочинии, вдруг нарушались яростными схватками по поводу фразы, всплывшей из небытия минувших лет. И вчерашние сотрудники, посвящавшие друг другу свои работы, начинали при встрече отворачиваться или холодно кивали издалека, а выступая публично, заранее рассчитывали, где и как поддуть шпильку поострее. Из-за толкования текста, одного слова, даже буквы могли рушиться многолетние связи. Приветливые, казалось бы, и доброжелательные люди становились по отношению друг к другу нетерпимыми и злопамятными.

Поначалу все это было непонятно и весело. Когда-то раньше я знал этот мир, но за протекшие годы успел его несколько позабыть. И теперь снова привык к кипению страстей под асфальтовой корою академической благопристойности...

Скептиком я так и не стал. Меня не устраивали аргументы Зимина и Мазона, я не мог принять версии Гумилева, как не мог усомниться в подлинности тьмутороканского камня, о чем в те годы писал А. Л. Монгайт. Я был готов согласиться с ним, что и сам камень, указывающий на место Тьмутороканя, и обстоятельства его находки, и сам Тьмуторокань, якобы находящийся на Таманском полуострове и соответствующий Матархе византийских источников, требуют внимательнейшего изучения, быть может, нового истолкования. Но даже если там и был какой-то Тьмуторокань, то почему он обязательно должен соответствовать Тьмуторокани «Слова...»?

Шло время, а я чувствовал себя стоящим на том же месте, с которого начинал забег. Надо было искать новую стартовую площадку, высматривать новую дорожку или тропинку, по которой, сбиваясь, петляя, но надеясь на удачу, я мог бы идти вперед.

Мелких находок вроде толкований отдельных мест и выражений в «Слове...» за это время накопилось достаточно. Например, Ярослав галицкий, по моему мнению, был не Осмомысл — «человек о восьми, притом греховных, мыслях», — а Основмысл, то есть острого, мудрого, основательного мышления человек. Известное выражение «стязи глаголют» означало не переговаривающиеся между собой отряды и неотмашки сигнальщиков, а всего лишь тот факт, что флаги развеваются, трепещут, «стоят глаголем». Объяснению поддавались «живые шерешеры», «вечи» Трояна, «стрикусы», которые могли восходить к сочетанию «стрыя хусы», то есть «походы дяди» (по отцу). Иным, чем раньше, оказался «дивь», не имеющий ничего общего ни с божеством славян или половцев, ни с филином или дозорным. Удалось разгадать и загадку «тьмутороканского болвана». Обращение к апокрифической, «отреченной» древнерусской литературе позволило вместе с Г. Ю. Филипповским проделать любопытную работу, обнаружив возможные истоки тьмутороканского «кура» (которого ранее я склонен был считать греческим словом «кюр» — господин) в древнейших мифологических пластах культуры Двуречья.

Но разве это был успех? Надо было искать какой-то новый подход к «Слову о полку Игореве» в целом. Например, попытаться обнаружить его «уязвимые» места, где приоткрылась бы... — я словно нащупывал то, что еще обходили исследователи, — его структура. Так ли уж оно монолитно, как кажется большинству? Что представляет собой смысловая, образная, поэтическая, языковая структура «Слова...»? О том, что «Сло-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

во...» составлено из разнородных отрывков, писали скептики. Но разве не то же самое молчаливо утверждали защитники «Слова...», допуская перестановку его текста? Например, не одну, а шесть перестановок, да еще дополнение отрывком из «Слова о погибели Русской земли» предложил сделать в древней поэме академик Б. А. Рыбаков... А из чего состоят вычленяемые куски? Цитаты, глоссы, попавшие в текст, как полагал А. А. Потебня? Было ли обратное воздействие «Задонщины» на «Слово...», например, в плаче жен? Ведь если «Слово...» влияло на современные, существовавшие параллельно с ним литературные произведения, то и они могли отразиться на «Слове...»!

«Думаю, что одной из самых плодотворных мыслей, высказанных Д. С. Лихачевым,— записывал я в те годы,— является мысль о собственной жизни и развитии произведений древнерусской литературы, где текст постепенно меняется, теряя какие-то части и черты, приобретает другие, перестраиваясь, вбирая в себя новые тексты и отрывки из других произведений. Само произведение трансформируется, меняет свою форму, размеры, одновременно походя и на амёбу, и на ящерицу, у которой отрастает похожий, но все-таки новый хвост. Разные времена — разные песни. Произведение может чахнуть, умирать, но возникает нужда — и вот оно снова вспыхивает, как огонь, в который кинули охапку сухих дров.

История текстов древнерусских литературных произведений «старшей поры» динамична. В этом может быть главный ключ к «Слову...». Без этого нам его не понять. Не понять тех заимствований, которые находятся в нем, тех темных мест, о которые спотыкается воображение исследователя, тех отступлений, пропусков, умалчиваний, реминисценций, которые воспринимаются так же, как бесконечные шрамы, заплатки, пристройки чуланов, башенок, сторожек, галерей и притворов, скрывающие от нашего взгляда древний храм и превращающие его в конгломерат загадок. Пока мы не сможем проникнуть внутрь «Слова...», ощутить его исконную ткань, снять, словно реставратор скальпелем, все позднейшие напластования и переделки, чтобы увидеть подлинные остатки живого золота речи поэта, мы многого не поймем в этом сокровище нашей поэзии...»

От каких рубежей начинать отсчет? Собирать, сравнивать и оценивать было нелегко, потому что хуже всего у нас со справочниками по отдельным отраслям знаний. «Слово...» стоит у истоков всей нашей литературы, не только русской, но и украинской и белорусской, а «энциклопедия «Слова о полку Игореве», в которой было бы собрано все об исследовании «Слова...», все толкования текста, все прочтения, все гипотезы об авторах, времени и месте написания, все характеристики действующих лиц, возможные ударения в словах,— нет и вряд ли скоро будет».

Историк и археолог, я, честно говоря, в анализе «Слова...» больше доверял своим коллегам, чем филологам. Привыкнув иметь дело с реальными предметами, с точными датами событий, рождений и смерти людей, родственные связи и дела которых можно было проверить самыми разнообразными способами, мне приходилось, обращаясь к филологам, принимать на веру их построения, которые основывались не на фактах, а по большей части на остроумных предположениях. Вот почему я начал с исторических реалий, упомянутых в поэме, и с ее действующих лиц.

Если не считать скептиков, здесь не было разногласий. Такие археологи, как А. В. Арциховский, Б. А. Рыбаков, В. Л. Янин, А. Н. Кирпичников, подтвердили соответствие наступательного и оборонительного оружия XI—XIII веков тому, которое упомянуто в «Слове...». То же было и с именами. Всех их можно было найти в летописи за исключением разве что Изяслава и Всеволода Васильковичей, существование которых, однако, доказывалось исчислением общего количества сыновей князя Василько Святославича полоцкого. Правда, характеристики ряда князей в «Слове...» расходились с теми, что известны нам по летописям, но можно ли ожидать от автора художественного произведения, что его оценка будет совпадать с оценкой летописца?

Самым интересным наблюдением историков над текстом «Слова...» мне представлялся вывод о его исторической «двуслойности». Автор древнерусской поэмы о событиях 1185 года почему-то любил исторические отступления. Никого бы не удивило, если, повествуя о настоящем герое, он обратился к их прошлому, раскрыв их былую славу или, наоборот, позор. Кстати сказать, именно так поступил автор рассказа о походе Игоря, помещенного в состав Ипатьевской летописи. Гибель войска и пленение князя Игоря он представил наказанием не только за его бесчестный поход, но и за прошлые грехи, влагая в уста князя раскаяние, что он «много убийство и кровопролитие сотворил в земле христианской... взяв на щит город Глебов у Переяславля». В поэме ничего подобного нет. Сююминутная экспозиция прерывается ничем не мотивированными отступле-

ниями к событиям более чем вековой давности. Так появляется экскурс о «крамолах» Олега Святославича, о битве на Нежатиной Ниве, о Тьмуторокане, о князе-оборотне Всеславе Полоцком. Связь между первым пластом и вторым, конечно, могла быть смысловой, как то пытались объяснить исследователи: там — деды, здесь — внуки. По смыслу выходило, что внуки недалеко ушли от дедов. Действительно, как показал А. Н. Робинсон, все «Слово...» пронизано генеалогическими намеками, указаниями, и даже в заголовке, напоминая восточную традицию перечисления предков в имени человека, указывалось, что «полкъ» не чей-либо, а «Игоря, сына Святославля, внука Ольгова».

И все-таки я не понимал: почему, так внимательно относясь к делам дедов героев, автор и не подумал напомнить об их отцах? Промежуток между двумя пластами — битвой 1078 года на Нежатиной Ниве, где на последующие времена определились отношения между потомками Святослава Ярославича и Всеволода Ярославича, и злосчастным походом Игоря Святославича в 1185 году — никак не нашел своего отражения в поэме. Он так стерильно пуст, предшествующая битве жизнь героев «Слова...» настолько неизвестна, что закрадывалось предположение: а знал ли о ней вообще что-нибудь автор?

Со временем к этим двум хронологическим пластам содержания «Слова...» добавился и третий, выделенный по приметам времени более древнего, чем даже XI век: «время бусово», упоминание авар, «красных готских дев», Трояна и языческих богов, к которым автор возводил родословные русских князей и Бояна. Так постепенно прояснялась историко-поэтическая структура «Слова...», связь между живыми и мертвыми представителями одного рода, между дедом и внуками, между настоящим и прошлым, — связь, уводящая в далекую языческую древность.

Наблюдения филологов не противоречили таким выводам. С. П. Обнорский, Н. М. Каринский, А. П. Якубинский, Б. А. Ларин и Н. А. Мещерский безусловно подтвердили соответствие языка «Слова о полку Игореве» представлению о литературном языке древней Руси XII—XIII веков. В то же время они указывали, что список, попавший к Мусину-Пушкину, был написан не раньше начала XVI века, потому что при переписке писец явно правил орфографию оригинала, с которого списывал текст. Это была эпоха господства так называемого второго югославянского влияния, когда вместе с памятниками письменности на Русь проникла и распространилась болгарская орфография, в соответствии с которой стали приводить и тексты более древних памятников, поправляя их при переписке.

Главным в наблюдениях филологов было то, что русский язык, которым написано «Слово...» и который неискушенному читателю представлялся «новым» по своей близости к живому русскому языку, оказывался более древним, чем болгаризмы и церковнославянизмы, только производившие впечатление древности. Чистая русская речь лилась со страниц «Слова...», пробиваясь, словно струйка животного родничка, сквозь завалы каменной велеречивой средневековой учености. Это был язык «старшей поры» — язык договоров Игоря с греками, язык «Правды Русской», язык, на котором Владимир Мономах писал свое «Поучение» и на котором было написано «Слово о погибели Русской земли». К нему примыкал язык «Моления Даниила Заточника» — хотя сам текст «Моления...» и был составлен из разнообразных, по большей части переводных цитат — и язык апокрифов, в которых я находил параллели к «Слову о полку Игореве». Короче говоря, это был наш, исконный русский язык!

Филологи датировали язык «Слова...» домонгольским временем достаточно широко. Они отмечали в нем наличие слов болгарских, сербских, чешских и польских, греческих и даже латинских, существовавших в то время в древнерусском языке, послужившем, в свою очередь, основой для языков русского, украинского и белорусского народов. Вместе с тем в тексте «Слова...» очень рано были замечены восточные слова — тюркские и иранские.

Древнерусское государство возникло и развивалось в постоянных тесных контактах с кочевыми тюрками, занимавшими до прихода монголов все пространство степей от Закаспия до Балкан. Сначала из края в край с востока на запад по нему пронеслись гунны и осели к северу от Дуная. Затем на пространствах восточноевропейских степей возник Хазарский каганат. Живым напоминанием о каганате в Крыму и в Литве до сих пор служат караимы — прямые потомки хазар, сохранившие в неприкосновенности антропологический тип раннесредневековых тюрков. Разметав, разгромив хазар, расчистив себе дорогу на запад, приднепровские и приднестровские степи заняли воинственные орды печенегов, их, в свою очередь, сменили половцы, называвшиеся у восточных исто-

риков кипчаками, а у западных хронистов — куманами. Остатки прежних тюркских племен и родов приходили на службу к русским князьям, селились на границе степи и лесостепи, оседали в городах лесостепного междуречья Днепра и Дона, крестились, постепенно смешивались с местным населением и растворялись в нем, привнося в русский язык свои слова, в русский быт — свои обычаи, в славянский антропологический тип — свои черты.

Отношения Руси и Степи коренным образом изменились с появлением половцев. В отличие от других своих сородичей половцы обладали более высокой культурой и, по-видимому, более стабильным бытом. Большая их часть исповедовала христианство несторианского толка, о котором писал Л. Н. Гумилев, так что Олегу Святославичу вовсе не нужно было отправлять «своего друга Бояна» куда-то на Памир или Тянь-Шань, чтобы приобщиться к ереси. Половцы-несториане были под боком. Больше того, они были свои, родные. Начиная со второй половины XI века русские князья неизменно женили своих сыновей на половчанках. Можно думать, что и дочерей своих они выдавали за сыновей половецких ханов, но о судьбах княжеских дочерей летописи за редкими исключениями ничего не сообщают. Как бы то ни было, очень скоро в отношениях между Русью и Степью возникает своеобразная устойчивость: половцы постоянно участвуют в княжеских междоусобицах то на одной, то на другой стороне, изредка делают самостоятельные набеги, как можно думать, не без подстрекательства русских родственников, а те, в свою очередь, время от времени отправляются на окраины Степи, устраивая облавы на своих кочевых родичей... Но полностью ни та, ни другая сторона сложившегося равновесия не нарушает.

Стоит почитать внимательно летописи, рассказывающие о событиях конца XI — начала XIII века, чтобы увидеть, насколько междоусобицы русских князей оказывались страшнее для мирного населения, чем набеги степняков. Вот почему еще академик А. С. Орлов признавал, что половцы наносили вред Руси не столько самочинными вторжениями на русскую территорию, сколько участием в военных операциях князей, борющихся друг с другом за лучшие княжения, «по призыву и найму которых и приходили «дикие», то есть независимые, половцы на Русь».

Тесные соседские, родственные, семейные связи и контакты позволили войти в русский язык множеству тюркизмов, часть из которых оказалась в «Слове...». Скептики настаивали, что тюркизмы — позднего происхождения, заимствованы от татаро-монголов и даже просто из турецкого языка в XVIII веке, когда происходило завоевание Крыма и велись постоянные войны с Турцией. Однако здесь на сцену выступили тюркологи.

П. М. Мелиоранский, В. А. Гордлевский, Н. А. Баскаков, И. Г. Добродомов и другие соглашались со скептиками, что тюркизмы в «Слове...» действительно трудно принять за образования XII века, потому что по своим формам они должны быть датированы... более ранним временем, IX—XI веками! Больше того. В том виде, в котором мы их находим, эти слова не могли быть заимствованы из половецкого (кипчакского) языка, а восходят к языкам древнетюркским (болгарскому, печенежскому, огузскому).

Вывод оказался неожиданным и чрезвычайно интересным. Он невольно заставлял вспомнить тот второй хронологический пласт, который был выделен в сюжетной структуре «Слова...» историками.

С поразительным согласием, редким для представителей разных и в чем-то соперничающих областей науки, историки и филологи указывали не на XII, а именно на XI век, куда влекли их определенные признаки, сохранившиеся в тексте «Слова...». Наиболее близкие параллели лексике «Слова...» они опять-таки находили в памятниках не XII, а XI века — в «Правде Русской», в «Поучении» Владимира Мономаха и в договорах Руси с греками. Над этим стоило подумать!

Мнение, что «Слово...» принадлежит не фольклору, а литературе, высказывалось давно. В том, что оно было именно написано, а не записано, были убеждены Н. Граматин, В. В. Капнист, М. Максимович, Ю. Венелин, Н. И. Костомаров, В. Ф. Миллер, А. Н. Веселовский, О. Миллер, А. А. Потебня, И. Н. Жданов, А. В. Лонгинов, С. Шамбинаго, В. М. Истрин, В. Ф. Ржига, А. С. Орлов, а в наше время — В. П. Адрианова-Перетц, Д. С. Лихачев, Б. А. Рыбаков, Л. А. Щепкина и многие другие, перечень имен которых мог бы занять всю страницу. Памятником письменной литературы признавали «Слово...» все крупнейшие филологи, изучавшие его текст. И все же такое мнение утвердилось только в самые последние годы.

Получилось так потому, что к середине прошлого века вместе с интересом к историческим памятникам нашей древней литературы возрос интерес и к этнографии, «жи-

вой старине». Листая тогдашние издания, можно видеть, как рос интерес к славянской мифологии, народному творчеству, народному быту. В столичных и провинциальных периодических изданиях, в журналах и газетах публиковались записи народных песен, былины, очерки быта народов, обитающих на территории Российской империи, и в первую очередь народа русского. Увлечение фольклором — плачами, былинами, духовными стихами, историческими песнями — открыло для филологов и историков сокровищницы областных языков и собственно народную поэтику, позволило сравнивать ее с поэтикой «Слова...». Ритмы, образы, выражения — все оказалось удивительно похожим. Древние слова, казалось навсегда выпавшие из употребления, подобно вымершим животным, оставившим только свои отпечатки на листах древних рукописей, зазвучали в живой речи. Теперь стоило только напомнить о гусях Бояна, как утверждение историков, что автор «Слова...» был певец-гусяр, твердо укоренилось в сознании фольклористов, а потом историков и филологов.

Подобно «Задонщине», «Слово о полку Игореве» было признано продуктом устного народного творчества.

Вторично настойчивые попытки представить «Слово...» произведением устной народной словесности (опять-таки вместе с «Задонщиной») были предприняты в 30-е и 40-е годы уже нашего века. К чему привело такое увлечение фольклором, показали недавние дискуссии, когда защитникам «Слова...», чтобы опровергнуть А. А. Зимина, приходилось опровергать собственные концепции...

Возвращение к мысли, что «Слово...» с самого начала было написано и в дальнейшем неизменно существовало в виде рукописного текста, снимало многие затруднения его истолкования. В письменный текст могли попасть ошибки, опуски; его можно было сокращать и расширять. Темные места, на которые указывали скептики, могли быть в этом случае объяснены утратой страниц, повреждением листа, механическим воспроизведением стертго текста и другими причинами. Вместе с тем признание письменной природы «Слова...» открывало путь к посильному изучению литературного процесса древней Руси, протекавшего отнюдь не только в монастырских стенах. За их пределами должна была существовать — и существовала! — самая разнообразная светская литература.

А если взглянуть еще шире?

«Слово о полку Игореве» часто называют вершиной древнерусской литературы. Одинокая вершина. А вокруг? Как известно, любая вершина может существовать лишь при наличии массы, образующей горное тело... Обращаясь к прошлому, мы все еще не можем представить величие и объем древнерусской культуры, рассматривая лишь уцелевшие при ее разрушении обломки. Скованные вневшимися за века предрассудками, мы не способны до конца оценить обращенный к нам обрыв этого массива, гигантский разлом, краевой сброс, вызванный татаро-монгольским нашествием, закрепленный на века отторжением Руси от Европы, вовлечением ее в орбиту азиатских деспотий. Сложная, удивительно тонкая светская культура древней Руси была разрушена и сметена нашествием, а ее остатки растворили и перемололи клерикальные жернова культуры московского периода.

Перед нами обрыв — и вершина: обрыв в бездну — и освещенный солнечными лучами пик. А что с той, невидимой нам стороны? Какие там пейзажи, какие неизвестные пики указывают траверз на эту вершину, единственную открытую нашим глазам? Да, «Слово...» — жемчужина литературы. Но для образования жемчуга нужен не только моллюск, но и раковина, которая долго растет сама и столь же долго формирует драгоценную горошину, наслаивая слой за слоем тончайшую нежность перламутра!

Вершина не могла возникнуть на ровном месте; жемчужина не создается за мгновение. Совершенное произведение литературы предполагает долгое предшествующее развитие жанра, письменной литературной традиции и языка, значительно большее, чем те два столетия, которые отделяют поход Игоря Святославича от принятия Владимиром христианства. И если обстоятельства и время не донесли до нас ни одного другого произведения столь же ярко выраженной светской литературной традиции, как «Слово о полку Игореве», то современный исследователь, вооруженный всем опытом науки, обязан последовать Ж. Кювье, чтобы по чудом сохранившейся кости попытаться понять ее происхождение и место в целом организме. Иными словами, по сохранившемуся произведению представить уровень породившей его культуры.

Возможность была заключена в самой природе культуры раннего средневековья. Стоило вспомнить о жестких канонах, с которыми должен был согласовывать свое

творчество средневековый мастер, о внутренней иерархии образов, символов, эпитетов в описании каждого явления, которые были регламентированы так же, как уставами была регламентирована жизнь средневековых городов Европы. При всей кажущейся свободе творчества они определялись незримой системой эталонов, подобно тому как единство стиля каждой такой эпохи определялось единой кривизной лекал, которыми пользовались ее строители.

Правда, чтобы заглянуть в глубину «легендарных времен русской истории», когда согласно традиционным представлениям «держава Рюриковичей» простиралась якобы от Балтийского до Черного моря, от Волги до Карпат, а флотилии долбленых челнов от Смоленска и Киева угрожали стенам Константинополя,— для этого, кроме Желания, нужны были факты и то археологическое терпение, в результате которого гряда черепков обретает контуры совершенного по форме сосуда.

Мы уже давно перестали сомневаться в широкой грамотности населения той поры. Стены древнерусских храмов, кое-где сохранившие штукатурку с остатками фресок, на высоту человеческого роста процарапаны фразами, буквами, рисунками и даже текстами деловых документов с перечислением и подписями свидетелей сделки. Писали мужчины — на оружии, горшках, ремесленных инструментах, драгоценностях; писали женщины — на пряслицах, прялках, веретенах, тусках, кадушках. И все они — даже дети — писали на бересте. Раскопки последних тридцати лет в Новгороде и других городах северной Руси открыли всеобъемлющую письменность во всех слоях населения.

Было бы наивно думать, что все эти грамотные, хорошо владеющие пером и словом люди довольствовались тем фольклором, на который до сих пор обрекают их в своих работах некоторые исследователи. Да, конечно, живое слово, потребность общения, интересный собеседник и в наше время остаются вне конкуренции. Однако и в те далекие времена существовали частные и общественные библиотеки в Киеве, Чернигове, Смоленске. Мы знаем о популярности не только духовной, но и мирской литературы, о том, что князья умножали школы, заказывали «списание» и перевод книг, приглашали к своим дворам образованных людей, посылали за книгами в другие земли...

Деревянная и каменная Русь возникла в последних веках первого тысячелетия нашей эры на перекрестке важнейших торговых путей Восточной Европы, куда сходились люди из Средней Азии, Кавказа и Закавказья, Крыма, Византии, Западной и Северной Европы. И представители всех этих народов, государств, культур, прибывавшие и оседавшие тут же для торговли, проповеди, службы, в поисках приключений, обладали не только развитыми системами письма, но и столь же развитой литературой, взаимодействовавшей с литературой русской и влиявшей на нее.

Где же она, эта литература? Разве не странно, что из всего количества произведений, которые можно возвести ко времени домонгольскому, кроме «Слова о полку Игореве», все так или иначе несет на себе религиозную окраску? Мы читаем летопись — и почти сразу же натываемся на цитаты из церковной литературы и благочестивые рассуждения; раскрываем «Слово» Даниила Заточника — и находим там собрание изречений, в том числе из Библии и Псалтири; просматриваем «Изборники», связанные с именем великого князя Святослава Ярославича, переведенные и переписанные в 1073 и 1076 годах, и даже там находим поучения и выписки из духовных книг.

Причины понять нетрудно. Стоит лишь представить себе эту же Русь, южную, киево-черниговскую, в середине XIII века, как мы увидим груды развалин, дымящиеся пепелища, поросшие бурьяном торговые площади, обрушившиеся, растресканные стены храмов, а вокруг — зловещее безлюдье. Все, кто остался в живых, ушли подальше от этих мест: в карпатскую Русь, уже давно испытывавшую давление католического мира, через леса и болота дотались до свободных земель Новгородской республики, ушли на олонецкий Север, потому что Суздальская Русь, которой было суждено позднее стать ядром нового, «западно-азиатского» государства, сама оплакивала свои потери. «Не до жиру — быть бы живу» — к тем далеким и темным временам восходит эта такая русская пословица...

Золотая Орда зорко следила за жизнью Руси, предпочитая держать ее на коленях. И на долгие, очень долгие годы единственным островком независимости, общавшимся с греко-византийским культурным миром, осталась православная церковь, освобожденная ханами от контроля, диктата и юрисдикции. Вопреки мнению Л. Н. Гумилева несториане на нее не посягали. Белое и черное духовенство, церкви и монастыри, монастырские села и деревни — вот где теперь тлела письменность, переписывались

книги, летописи, поучения, служебники и творения отцов церкви. И не только переписывались, но и соответственным образом редактировались.

Русь не была в этом смысле каким-то исключением. Печальный конец крестовых походов, в которых было уничтожено несколько поколений лучшего и образованнейшего рыцарства, вверг Европу во власть фанатичного монашества, уничтожавшего светскую литературу с не меньшим успехом, чем то делало пламя пожаров в России.

«Слово о полку Игореве», отрывок «Слова о гибели Русской земли», «Слово о князьях», «Поучение» Владимира Мономаха — вот они, прекрасные, но ничтожные обрывки некогда великой и безвозвратно погибшей нашей древней литературы! И путь к ней — только через эти обрывки, в которых надо разглядеть полустертые отпечатки жанровых и стилистических «матриц» домонгольской эпохи, которыми вольно или невольно пользовались их авторы. «Слово о полку Игореве» оказывалось отнюдь не одинокой вершиной, вздымающейся над пустыней нашей домонгольской словесности, как то не раз пытались представить скептики. Наоборот, в известной мере оно было и того же предшествующего развития культуры, быть может, даже не лучшим ее образцом; итогом развития значительно более длительного, чем мы себе представляем.

Да ведь и сам автор «Слова...», кем бы он ни был — дружинником, боярином, соколиным ловцом, «интеллигентом XII века» или самим князем Игорем, как с обезоруживающей непосредственностью недавно оповестил нас современный поэт, — сам автор «Слова...» счел неслучайным долгом указать на своего предшественника, не певца-гусяря, а именно поэта, «песньтворца», как говорили тогда, жившего в XI веке, назвав его имя: Боян. Боян? Да. И снова — XI век!

7

О Бояне писали много, пожалуй, даже слишком много, чтобы внимательно вглядеться и понять значение мощной фигуры поэта древности, выступающей в первых же строках «Слова...». Боян не вызывал вопросов. Все связанное с ним, казалось, лежит на поверхности, читалось и толковалось однозначно за исключением разве что некоторых неясных формулировок, которые относили на счет поэтического воображения его последователя. Рассмотреть его мешала сначала излишняя популярность — в первой половине прошлого века, а затем — почти полное пренебрежение им в наше время, когда на первый план выступила безымянная личность автора «Слова...».

Сразу же по выходе из печати «Слова о полку Игореве» имя древнего певца, поэта, «песньтворца», воспевателя подвигов русских князей и побед русского оружия, стало символом нашей поэзии, только еще набиравшей силу. Отблески поэтической славы Бояна, с помощью «Слова...» пробившейся сквозь мрак средневековья, рождали восторг в современниках А. И. Мусина-Пушкина, может быть впервые ощутивших глубину и величие отечественной истории. Выражаясь современным языком, «Слово...» как никакое другое произведение древности способствовало ликвидации того подсознательного «комплекса неполноценности», который начиная с Петра I невольно ощущал русский человек в общении с европейцами. История России представлялась мрачной, бессмысленной, варварской, а потому и постыдной. Разумная история России началась якобы с Петра Великого и даже еще позже — с Екатерины II.

Лучшие умы России в продолжение всего XVIII века боролись с таким предрасудком соотечественников и иностранцев. Работа В. Н. Татищева, начатая по указанию Петра I, преследовала не только научные, но и политические цели: извлечь из небытия и показать протяженность и богатство российской истории. Эту задачу ставил перед собой М. В. Ломоносов, ею вдохновлялся неутомимо работавший во славу российской истории А. Шлецер, академики П. Паллас и Г. Миллер, ей способствовали своими трудами М. М. Щербатов, И. Н. Болтин, И. П. Елагин, сам Мусин-Пушкин и многие другие. Наконец, именно этой задаче отдавала силы, энергию, время и средства сама императрица, рассматривая исторический и культурный престиж России на мировой арене как одно из необходимых условий ее активной внешней политики.

Стоит посмотреть списки вышедших в XVIII веке книг, как в глаза сразу же бросится удивительное количество исторической литературы, среди которой первое место занимают публикации летописей и древних документов. Они воспитывали патриотизм россиян, готовили их умы к историческому сознанию. Но всего этого было мало. Требовалась искра, способная воспламенить сердца. Такой искрой и стало «Слово о полку Игореве», появившееся в чрезвычайно удачный момент. Память была полна недавними победами русских войск на юге и в Европе, а впереди были Аустерлиц и

1812 год с его всеобщим патриотическим подъемом. И все эти чувства, все воспоминания, все как бы разом открывшееся пространство русской истории оказалось освещено поэтическим светом, исходившим от образа нашего древнейшего поэта, которого мы могли назвать по имени.

Бояном почтительно именовали Г. Р. Державина. Бояном чуть позднее называли А. С. Пушкина. В Бояне видели мастера, поэта, дружинного певца, которому подражал, с которым полемизировал и которого почтительно цитировал автор «Слова...».

Все изменилось в XX веке. Героика его событий, кровопролитная, величественная борьба советского народа с захватчиками представили нам «Слово...» с другой его стороны, как будто сквозь толщу времени до нас впервые донесся патриотический призыв его автора: «За землю Русскую!» Здесь было уже не до исторических изысканий, не до тонкостей анализа, против кого и почему должны выступать князья. Звучал призывный клич, в темноте ночи польхали отсветы пожаров, зажженных то ли полочками, то ли ночными налетами, горе и плач катились по земле русской, и рука ее защитника крепче сжимала оружие.

Боян был забыт. Теперь все внимание исследователей было сконцентрировано на личности автора «Слова...», безымянного патриота. Когда миновали грозные годы и можно было вернуться к прерванным исследованиям, стали появляться работы, пытающиеся выяснить его политические симпатии и антипатии, особенности его знаний, языка. Появились догадки о его происхождении, имени, его судьбе.

О Бояне теперь вспоминали разве что историки, и то немногие. Да и чем он мог быть интересен? Автор «Слова...» отдал дань памяти Бояна в первых строках своей поэмы и тут же категорически заявил, что петь будет «по былинам сего времени, а не по замышлению Бояно». Он приводил в тексте поэмы две цитаты из произведений Бояна, обращенные к Веславу и к «хоти» — то ли Святослава Ярославича, то ли Олега Святославича. Считалось само собой разумеющимся, что автор «Слова...» мог черпать сведения о прошедших временах из песен Бояна и, как полагал Е. В. Барсов, отказываясь от подражания в стиле, все же пытался создать «песнь, подобную Бояновой».

В. Ф. Миллер вслед за Ю. Венелиным полагал, что Боян попал в «Слово...» из какого-то византийско-болгарского источника, где упоминался Боян, князь болгарский, по одним сведениям — сын болгарского царя Бориса I, по другим — внук его, сын царя Симеона. И в том и в другом случае жизнь этого Бояна приходилась на конец IX и первую половину X века. Согласно же «Полному месяцеслову Востока» 28 марта отмечалась память «Бояна, князя Болгарского, усеченного за Христа около 830 года». По свидетельству кремонского епископа Лиутпранда, Боян, получивший блестящее образование в Византии, отстранился от государственных дел, которые он представил своим братьям, целиком посвятил себя наукам, литературе, поэзии и музыке. Считалось, что он мог превращаться то в орла, то в волка, то в иного зверя.

Конечно, все это удивительным образом совпадало с образом Бояна, которого мы знаем по «Слову...»: здесь и гусли, и поэзия, и знания («вещий»), и оборотничество — «мысию по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы». Может быть, на нашего Бояна пали отблески славы древнего болгарского князя-поэта?

Имя Боян, как давно установили филологи, было весьма широко распространено среди тюрков, но оно встречается и у восточных славян, в том числе у болгар. Известен аварский полководец Боян. В Новгороде была «Боянова улка», а при раскопках 1975 года в том же Новгороде была найдена одна из древнейших берестяных грамот конца XI века с именем некоего Бояна, который жил в Старой Руссе.

Первым не только на зависимость, но и на прямое использование автором «Слова...» в своем творчестве «песен Бояна» с обычной проничательностью указал академик М. Н. Тихомиров. Следом за ним через двадцать с лишним лет это развил и всесторонне аргументировал академик Б. А. Рыбаков: все сведения о событиях XI века и более раннего периода в «Слове...» были связаны, по его мнению, с творчеством Бояна. Монография Рыбакова «Русские летописцы и автор „Слова о полку Игореве“» в известной мере явила собой тот исторический фундамент, на котором можно было вести дальнейшее изучение «Слова...». Не со всем здесь можно было согласиться, не все казалось справедливым. И все же это была одна из наиболее интересных работ академика, которая дополняла и развивала предшествующую монографию, посвященную событиям 1185 года.

По-видимому, Б. А. Рыбаков был прав, предлагая перестановки в «Слове...». Прав не потому, что это действительно следовало делать, а прав как исследователь,

почувствовавший родственную природу стыкующихся отрывков. С помощью перестановок текст «Слова...» обретал большую стройность и логическую завершенность. Для этого следовало сгруппировать в одном месте все исторические отступления и реминисценции, где речь шла о событиях XI века и где, кстати сказать, оказывались почти все темные места — места, испорченные переписчиками. Скептики тоже обращали на них внимание, но считали упоминания о «веках Трояновых», о Всеславе и Олеге Святославиче вставками компиляторов. Рыбаков считал их тоже вставками, но не компиляторов, а самого автора «Слова...», который заимствовал их из произведений Бояна. Впоследствии переписчики перепутали листки рассыпавшейся рукописи, поставив их не на то место, которое им было предназначено. И академик Б. А. Рыбаков и скептики при этом ссылались на «Задонщину», где следов подобных реминисценций не было.

Работы М. Н. Тихомирова и Б. А. Рыбакова позволяли наметить путь в моих нелегких поисках. В тексте «Слова...» теперь оказывалось уже не две цитаты из Бояна, а значительно большее число заимствований. Сколько именно, никто не считал. Да и как, скажите на милость, это сделать? Как отделить фразу одного поэта от фразы другого? По стилю? Но если, с одной стороны, «Слово...» считалось произведением цельным, монолитным, а с другой, как оказывалось теперь, распадалось на листки, перепутанные переписчиком, всякие попытки подойти к нему с изобретенной меркой, будь то стопа или сажень, оказывались бесполезны.

Остался один путь: искать следы Бояна.

Итак: Боян, поэт, вероятное время жизни — XI век.

Две известные цитаты указывали, что Боян был современником Всеслава Брячиславича полоцкого, умершего в 1101 году (в «Слове...» его имя связано с событиями 1068—1071 годов), и Олега Святославича, сына Святослава Ярославича, — Олег упоминается в связи с битвой 1078 года на Нежатиной Ниве. Во вступлении автор «Слова...» очерчивает хронологические рамки творчества Бояна гораздо шире. По его словам, Боян пел о «старом Ярославе», в котором видят великого князя киевского Ярослава Владимировича, умершего в 1054 году; о «храбром Мстиславе», его брате, поскольку именно тот единокровствовал с касожским князем Редедей, как рассказывается в «Повести временных лет» под 1022 годом; о «красном Романе Святославиче», брате Олега Святославича, убитом 2 августа 1079 года половцами под Переяславем южным.

По этим приметам время жизни Бояна предположительно определяется с 20-х годов XI века по 1093 год, когда в водах реки Стугны погиб «юноша князь Ростислав», о котором есть маловразумительное упоминание в конце поэмы. С другой стороны, сюда следовало бы включить и «старого Владимира», от времени которого автор предлагает начать «повесть сию», но тут же забывает об этом... Забывает? Или правы Рыбаков и его предшественники, что за время своего существования текст «Слова...» потерял множество драгоценных для нас своих частей?

И все же наиболее достоверным периодом жизни Бояна остается середина 60-х — начало 80-х годов XI века. «Старым» Владимиру и Ярославу, «храброму Мстиславу» Боян мог петь отнюдь не непосредственно, тем более что в отличие от Олега и Всеслава им он никаких «припевов» не складывал. Не складывал он, по-видимому, песен и другой ветви Ярославичей — Всеволоду и его сыновьям, ярым противникам Святославичей. Факт этот позволял историкам предположить, что Боян был не просто сторонником Святославичей, а тьмутароканским или черниговским поэтом именно Святослава Ярославича, оставшимся на службе у его сыновей.

Само по себе подобное предположение было логичным и прямо подтверждалось указанием Кирилло-Белозерского списка «Задонщины», что Боян «пел славу» Святославу Ярославичу. Смущало лишь то обстоятельство, что среди князей XI века, упоминаемых в «Слове...», отсутствовал не только Всеволод, но и Святослав. О третьем их брате, Изяславе, упоминалось как об уже убитом в битве 1078 года, в то время как все беды Всеслава полоцкого были связаны именно с этим триумvirатом. Да и как было певцу «красного Романа Святославича» забыть о его отце? Но Боян не был ни гусяром, ни придворным певцом — для такого утверждения имелись основания.

Двадцать с лишним лет назад при реставрационных работах в Софийском соборе в Киеве с его стен снимали масляную живопись прошлого века. На фресках, на старой штукатурке реставраторы обнаружили множество надписей и рисунков, древнейшие из которых относились еще к XI веку. На столбах, стенах и на хорах соборов и церквей древней Руси — в Новгороде, Смоленске, Владимире, Боголюбове, Переславле-Залесском, Чернигове, Киеве, Полоцке и в других городах — грамотные прихожане

писали свои имена, слова молитв, сообщения о событиях, иногда тексты документов. В древности церкви служили хранилищами книг, казны и архивов. Вместе с тем они и сами по себе были своеобразным архивом прихожан. Почему так происходило? Только ли из-за «зуда грамотности», который и сейчас заставляет людей не слишком образованных писать на заборах и стенах, не довольствуясь наличием бумаги? Скорее всего врезанная ножом и писалом в штукатурку или фреску церковной стены молитва казалась человеку более надежной и долговечной, своего рода постоянным напоминанием богу или святому о просьбе. То же относится и к именам, напоминающим о просителе. Что касается текста документов, сообщающего о сделке или, наоборот, о возврате долга, то здесь налицо была особая гласность, так сказать, засвидетельствованная и освященная самим храмом.

При реставрации в Апостольском приделе Софийского собора в южной галерее на столбе с изображением святого Онуфрия был расчищен следующий текст: «М(еся)ця ен(я)ря в 30 с(вя)т(а)го Ин(оли)та кр(и)ла землю княгиня Бояню Всеволожаа перед с(вя)тою Софиєю перед попы. А ту был попин Яким Дъмило, Пателеи, Стипъко, Михалько Нежьнович, Мих(а)л, Данило, Марко, Сьмьон, Михал Елисавинич, Иван Янъчин, Тудор Тубынов, Илья Копылович, Тудор Бързятч. А перед тими послухы купи землю княгини Бояню всю, а въедала на ней семьдесят гривнь соболии. А в том драниц семьсту гривнь». С. А. Высоцкий, опубликовавший этот текст, перевел его следующим образом: «Месяца января в 30, на святого Ипполита, купила землю Боянову княгиня Всеволодова, перед святою Софиєю, перед попами, а тут были: попин Яким Домило, Пателей Стипко, Михалько Неженевич, Михаил, Данило, Марко, Семьон, Михаил Елисавинич, Иван Янчин, Тудор Тубынов, Илья Копылович, Тудор Борзятч; а перед этими свидетелями купила княгиня землю Боянову всю, а дала за нее семьдесят гривен собольих, а в этом (заключается) часть семисот гривен».

Когда была сделана запись и кто эти люди? Какое отношение имеют они к Бояну «Слова о полку Игореве»? Мнения здесь разошлись.

Исследователь надписи С. А. Высоцкий, а вслед за ним и В. П. Адрианова-Перетц считали, что «княгиня Всеволожаа» — Мария Мстиславовна, вдова князя Всеволода Ольговича, сына Олега Святославича, умершая в 1179 году. Поскольку муж ее умер в 1146 году, то покупка была совершена между этими двумя датами. Предположение подтверждается упоминанием в надписи «попина Якима Домило», которого Всеволод за два года до смерти поставил епископом в Турове, но в 1146 году, когда Всеволод умер, туровский епископ был изгнан из города Ярославом Изяславичем. Поэтому он и попин — не поп и не епископ...

Академик Б. А. Рыбаков опротестовал такое определение, предложив свой вариант. Согласно его толкованию особенности написания букв соответствуют не середине XII, а последней четверти XI века. Поэтому он считал, что «княгиня Всеволожаа» — вероятнее всего, жена великого князя Всеволода Ярославича, умершая 7 октября 1111 года. Это подтверждает и состав свидетелей. В перечне попов и бояр (имена с отчествами) указаны два свидетеля с необычными отчествами-определениями по женским именам — Михал Елисавинич и Иван Янъчин. Елисава, мать Святополка Изяславича, умерла 4 января 1107 года; Янка — дочь Всеволода Ярославича, основательница Янчина монастыря, умерла 3 ноября 1112 года. Оба свидетеля, как предположил Б. А. Рыбаков, были их духовниками. Поскольку же так называть их можно было лишь при жизни их духовных дочерей, то даты смерти последних кладут верхний предел времени покупки. Академик полагал, что наиболее вероятное время свершения сделки — 1093—1107 годы, уже после смерти Всеволода Ярославича, хотя практически покупка могла быть сделана в любое время начиная с 1068 года.

Датировка Б. А. Рыбакова позволяла думать, что речь идет о том самом Бояне, который упомянут в «Слове о полку Игореве». В таком случае Боян был очень богатый человек: стоимость земли, которую купила у него или у его наследников княгиня, равна годовому доходу с семи городов — маленькому княжеству! А поскольку сделка была заключена в Софии Киевской, можно думать, что «земля Бояна» находилась где-то рядом, во всяком случае на территории Киевского, а не Черниговского княжества. Иными словами, Бояна следовало искать среди жителей Киева, а не Чернигова или Тьмутараканя. И по положению своему он должен был занимать высокое, а главное, независимое место, обладая обширными земельными владениями.

Поиски Бояна начинались достаточно интересно, теперь надо было попытаться

ответить на вопрос: что представляют собой те заимствования, которые внес из произведений Бояна в текст «Слова...» его автор?

Помочь в этом могли только логика и здравый смысл.

Настойчивые попытки представить «Слово...» произведением устной народной словесности были отвергнуты совместными усилиями скептиков и защитников Древнерусской поэмы. Неведомый ее автор получил наконец право на грамотность и был возведен в достоинство профессионального литератора. Это открывало его произведению путь в письменную литературу со всеми ее радостями и огорчениями — корректорскими ошибками, типографским браком, вольностью редакторов и даже полным забвением до сдачи в макулатуру, откуда и был чудом извлечен единственный — и снова погибший! — список. Но это касалось только автора «Слова...». Боян же неизменно оставался в их глазах песельником-гусяром, развлекающим дружищу, князя или честной народ на площади. Несмотря на весь его талант, его продолжали считать скоморохом, и подозрения в гаерстве, исключавшее человека из «приличного общества», не смягчалось даже тем обстоятельством, что гусями увлекался — притом весьма успешно! — сам царь Давид, псалмопевец, как его традиционно изображали на иконах, фресках и на стенах храмов древней Руси. Да-да, царская то была утеха...

Теперь, с повышением имущественного ценза Бояна, отношение к нему менялось. О скоморошестве не могло быть и речи. Кое-кто поспешил объявить его иностранцем, выехавшим из Болгарии (вспомним царевича Бояна Симеоновича), что было возможным после разгрома Первого Болгарского царства (1018), или в результате гонений на «моравских братьев» в Чехии в середине XI века. Забывали только, что вместе с изменением статуса Бояна неизбежно менялся взгляд и на его творчество, а вместе с тем и на способ заимствования его наследия автором «Слова...». Знал ли Боян грамоту? В свете последних открытий вопрос этот звучал даже как-то неприлично — так много дошло до нас свидетельств XI века о чрезвычайно широком распространении грамотности. Боян же был не просто феодалом, он был поэтом!

Теперь легко было свести концы с концами, ответить на вопрос: каким же образом автор «Слова...», представитель письменной литературной традиции, мог заимствовать что-то у Бояна, жившего более чем столетие назад? Из текста в текст — только так шел литературный процесс средневековья. Только так можно объяснить и цитаты из Бояна, и сведения о людях и событиях XI века, и тот ничем не объяснимый разрыв в «Слове...» между 1078 и 1185 годами, если не принимать в расчет смутное и до конца не понятное упоминание об «уноше князе Ростиславе», падающее на 1093 год.

Вероятнее всего, автор «Слова...» не просто цитировал и пересказывал Бояна — он прямо включал его куски в свой текст. Тогда это не считалось плагиатом. Если в наше время обостренной творческой конкуренции чужая рифма будет сразу же отмечена критикой и вызовет большее или меньшее порицание, а строфа, перенесенная из чужого стихотворения в свое, — активный протест, то средневековое общество, куда более консервативное, чем современное, в своих симпатиях, устоях, представлениях о мире требовало от писателей и поэтов прямо противоположного. Достоинством была традиционность, привычность; самобытность и новизна не поощрялись. Напрасно мы стали бы искать в средневековой литературе реальные чувства, переживания, описания природы, естественные диалоги. «Проявлению реализма мешала традиционность русского Средневековья, — писал в одной из работ академик А. С. Орлов, — его довольно беззастенчивая плагиатская система, в силу которой позднейший литературный памятник складывался на основании предшествующего в том же литературном жанре. Таким образом, к новой фабуле пересаживались не только слова, но и целые картины, целый ряд фактов, часто без пригонки к композиции». Так было не только в средневековой русской литературе. По этому поводу припоминается рассказ о некоем восточном поэте, который допустил в своем произведении девять новых, еще никем не найденных рифм. Когда, надеясь на увеличение награды, поэт поднес свою поэму шаху и прочел ее вслух, тот за каждую традиционную рифму — а их было много — приказал отсчитать поэту по золотому, но за каждую новую тут же приказал выбить у него по зубу...

Память о том случае и посейчас жива в обилии цитат, которыми уснащены научные работы, чтобы — не дай бог! — не заподозрили автора в каких-либо новых мыслях. Чтобы не быть белой вороной, я тоже последую спасительной традиции, тем более что мысли моих предшественников по вопросу традиции и новаторства в средневековой литературе казались мне ключом к разгадке «Слова...».

«В средневековом произведении кроме авторского текста, как правило, находится

текст его предшественников, инкорпорированный автором в состав «своего» произведения», — замечал академик Д. С. Лихачев. А другой академик, В. М. Истрин, прямо писал: «Когда те или другие политические или общественные события настраивали древнерусского человека определенным образом и он чувствовал потребность выразить это настроение на бумаге, то далеко не всегда приступал он к составлению совершенно нового произведения, но очень часто брал соответствующее произведение старое — русское оригинальное или переводное — и обрабатывал его, прибавляя в него новое содержание и придавая ему новую форму».

В подтверждение своей мысли исследователи напоминали о судьбе отрывков «Слова о полку Игореве», переработанных «Задонщиной» и ставших ее структурной основой, а также о своеобразной жизни в древнерусской письменности текста «Похвалы кагану нашему Владимиру», появившегося на русской почве в середине XI века. Автором его считают митрополита Илариона, хотя более чем вероятно, что первый русский митрополит заимствовал «свое» сочинение у греческого или болгарского предшественника. В таком случае его первым адресатом был скорее всего Борис I болгарский, утвердивший и распространивший христианство в своей стране. Третий раз тот же текст использовали в первой четверти XII века для похвалы Владимиру Мономаху. Позднее, с заменой имен и незначительными купюрами, он появился под 1288 годом в Ипатьевской летописи (ее Волынской части) как похвала князю Владимиру Васильковичу, затем использовался для похвального слова муромскому князю Константину.

Принцип неоднократного использования текста в древней Руси привел к появлению многочисленных сборников, составлявшихся из афоризмов, отрывков сочинений древних авторов на разные случаи жизни, философских, географических, исторических и прочих, компоновавшихся в самостоятельные произведения. Так, сочинение Даниила Заточника при ближайшем рассмотрении оказалось составленным из афоризмов, библейских цитат и цитат из сочинений отцов церкви, древнегреческих и византийских авторов, из таких же компендиумов, как «Сказание об Акире Премудром», из хроник, романов, житий святых и расхожих сборников «крылатых слов и выражений», так любимых определенным кругом читателей во все времена человеческой истории, а в древности именовавшихся «Пчелами».

Предки наши были гораздо внимательнее, чем мы, к высказанной мысли, приумножая ее, собирая, чтобы передать последующим поколениям. Так почему же автор «Слова...» должен был поступить иначе с наследием своего предшественника?

— Все то, что вы сейчас рассказали, очень интересно, — сказал, выслушав меня, один из специалистов, тоже занимавшийся «Словом о полку Игореве». — Только как вам удастся объяснить прямое утверждение автора «Слова...», что он решительно отказывается следовать Бояну? Я, например, такой возможности не вижу. Ведь это, как ни говорите, один из краеугольных камней, на которых стоит изучение «Слова...» вот уже почти двести лет! И никто в этом не усомнился. Даже скептики. А уж они-то ни одного возможного для критики места не пропустили...

И он с сомнением покачал головой.

Но я уже знал, где искать подтверждение своей догадки.

8

Обращаясь к трудам предшественников, всякий раз я убеждался, что большая часть работы, которая представлялась мне необходимой, уже выполнена: сделана, опубликована и... забыта.

Огромная библиотека, посвященная изучению «Слова...», лежала в забвении. Сказался катастрофический поток информации наших дней. Специалист не успевал следить за выходящей литературой. Знакомиться же с работами предшественников, писавших сто и более лет назад, не было ни времени, ни особого желания. Все важное, все существенное, считалось, присутствует в новых работах. То, что отброшено и забыто, не может представлять никакой ценности кроме как историографической...

Так рассуждали те, кто с самого начала двигался в русле традиционного потока исследований, сам был его частью, дышал и жил им, вместе с ним обтекал лежащие на дне или высоко поднимающиеся над поверхностью скалы, низвергался с порогов, следовал прихотливым изгибам русла, полагая, что все это так и должно быть, все это в порядке вещей... У многих исследователей просто не было возможности остановиться, выбраться на бережок, посидеть и подумать, рассматривая поток и его окрест-

ности извне, что в любой науке на определенных этапах ее развития оказывается самым необходимым условием, без которого и движения вперед быть не может.

У меня, вторгшегося в изучение «Слова...» как бы со стороны, такая возможность была. Самая сумасбродная мысль, мелькнувшая догадка заставляла погружаться в сухую пыль пожелтевших страниц, сравнивать точки зрения, сверять аргументы... И очень часто оказывалось, что я в очередной раз пытаюсь изобрести велосипед или открыть уже нанесенную на карты Америку. К разгадке «Слова...» многие подходили близко, очень близко...

Пожалуй, именно в этих странствиях, знакомясь с мыслями давно умерших людей и с работами своих современников, которым при нужде можно было написать, позвонить по телефону, с которыми можно было встретиться, чтобы уточнить оттенок мысли, проецирующей многообещающим рисунком на текст «Слова...», я до конца ощутил счастье иметь предшественников. Вопреки распространенному мнению, что самым счастливым человеком был Адам, потому что каждый анекдот, который он рассказывал, был свежим и никому не известным, я думаю, что Адам был одним из самых несчастных людей. Ведь ему не с кем было обсудить мысли, приходившие в голову. Нельзя было сверить их с традицией, с догадками предшественников, чтобы убедиться в их правильности или ошибочности. У Адама не было ни предшественников, ни собеседников. Ева, конечно, в счет не шла.

Все исследователи, раскрывавшие загадки «Слова...», одинаково толковали значение фразы: «...начали же ся тѣи песни по былинамъ сего времени, а не по замышлению Бояню». Казалось бы, здесь кратко и решительно были изложены принципы поэта. Он отмежевывался от «старых словес», от вымыслов, от песен, славословящих князей, чтобы обратиться к более высокой теме патриотизма; вместо раздоров воспеть единство Руси и призвать к нему «которующих» друг с другом князей. Автор «Слова...» противопоставлял себя Бояню, противопоставлял свое время эпохе Бояня, молодых князей — старым, внуков — дедам. Он отдавал должное Бояню, как того требовала традиция, но сам не хотел иметь с ним ничего общего. Да и как можно было в этом усомниться? Ф. Я. Прийма, обращаясь к авторитету Пушкина, работавшего над переводом «Слова о полку Игореве», приводил место из статьи поэта о «Слове...», где тот писал об этой фразе: «Стихотворцы никогда не любили упрека в подражании, и неизменный творец Слова о полку Игореве не преминул объявить в начале своей поэмы, что он будет петь по-своему, по-новому, а не тащиться по следам старого Бояня». «„Петь по замышлению Бояню“ — это значит действительно ученически подражать, следовать освященному временем образцу, высокому, хотя, может быть, и несколько обветшавшему,— комментировал слова А. С. Пушкина Ф. Я. Прийма.— Петь „по былинам сего времени“ — это петь бесхитростно и непритязательно, не преклоняясь перед каким-либо одним-единственным образцом, т. е. петь так, как пел народ слагаемые им былины».

Удивительные слова, свидетельствующие, какие бездны времени и психологии творчества лежат между первой половиной XIX века и той далекой, домонгольской Русью, чей голос слышится для нас в «Слове...»! Вся та эпоха Пушкину представлялась одной темной пустыней. Но Пушкин был гениальным поэтом, а гений, видимо, сказывается во всем. Поэтому с прозорливостью, удивительной в любимце муз, он, указывая на самые первые строки «Слова...» («Не лепо ли... начати старыми словесы трудных повестий о пълку Игореве...»), писал: «По мнению переводчиков, поэт говорит: Не воспеть ли нам об Игоре по-старому? Начнем же песнь по былинам сего времени (то есть по-новому) — а не по замышлению Боянову (то есть не по-старому). Явное противуречие!» Пушкин протестовал против вопросительной частицы «ли», считая, что в первой фразе содержится утверждение, а не вопрос.

Пушкин стоял рядом с отгадкой, он уже прикоснулся к ней, но, человек XIX века, он еще не представлял себе многообразия сознаний прошлых эпох...

Как о скалу разбивались попытки моих предшественников объяснить «старые словеса» и то настойчивое обращение к Бояню и его творчеству, которое следует в «Слове...» сразу же после отказа автора подражать своему предшественнику. Да, как ни странно, едва лишь отмежевавшись от Бояня и его манеры «песнь творити», автор снова обращается к памяти древнего поэта, восклицая:

О Бояне словию старого времени!
абы ты сна полки ущекотал
скача славлю по мыслену древу,
летая умом под облакы,

свивая славы оба полы сего времени,
рыща в тропу Трояню чресъ поля на горы!
Пети было песнь Игоревн. того (Олга) внуку:
«Не буря соколы занесе чрес поля широкая,
галицы стады бежат к Дону великому!»
Чи ли воспети было, вещей Бояне. Велесов внуче:
«Комони ржуть за Сулою, звенит слава в Кыеве.
Трубы трубят в Новограде стоять стязи в Путивле.

Автор, цитируя Бояна или подражая ему, кроме уже известных нам «припевок», давал точный, так сказать, документально зафиксированный образец поэзии Бояна. Случайно? Но оказывается, что подобная строфика проявляется в тексте поэмы неоднократно. Я находил ее и в описании похода, и в картинах отдыха после первой стычки, и в сценах битвы. Она оказывалась в припоминаниях автора о последних битвах 1078 года на Нежатиной Ниве, что прямо заставляло отнести такие строки к наследству Бояна, звучала в центральной части поэмы, связанной с образом Святослава, прорывалась в «золотом слове», но — и это тоже было важно! — отсутствовала в описании бегства Игоря из плена. Последнее обстоятельство, отмеченное рядом исследователей «Слова...», занимавшихся вопросами его стихосложения, приводило их к утверждению, что конец поэмы был дописан позднее основной ее части.

В чем же дело? Неужели автор был столь непоследователен, что, объявив во вступлении о своих замыслах, о своих принципах поэтического творчества, тут же от них молчаливо отказался?

Более верным казалось другое объяснение: в текст «Слова...» были включены не подражательные, а сохраненные автором подлинные строки Бояна. Поэт XII века переработал наследие своего предшественника, взяв из него и включив в свой текст лишь то, что отвечало его задачам. Это и были «старые словеса». Иного объяснения найти я не мог. Да и не было его, по-видимому!

Получалось, что почти двести лет в первых фразах древнерусской поэмы все вычитывали прямо противоположное тому, что хотел сказать в них автор? Ведь он, выходит, прямо указывал, что начнет воспевать Игоря «старыми словесами», и хотя «песня» будет повествовать о событиях («былинах») нового времени, следовать он будет именно «замышлению Бояна».

Но ведь в тексте стояло прямо: «...а не по замышлению»!

В печатном тексте 1800 года — да; в списке Мусина-Пушкина — вероятнее всего, тоже так. А вот в том, что списки «Слова...», послужившие образцом «Задонщины», имели отрицательную частицу «не», я очень сомневался. Пожалуй, был даже прямо уверен в обратном. И уж совсем был уверен в том, что эта частица не могла возникнуть под пером автора «Слова...»! Она могла возникнуть под пером переписчика только в конце XV или в XVI веке, когда соединительное значение союза «а» стало забываться и на первое место выдвинулось его противительное значение, так что первоначальный смысл фразы «и по замышлению Бояна» был понят наоборот и, естественно, усилен частицей «не».

Грамматике и синтаксису древнерусского языка такое объяснение не противоречило, однако литературоведами и историками воспринималось с большой осторожностью. Из того, что это могло быть, отнюдь не вытекало, что так было. Следовало найти возможность сослаться на соответствующий авторитет, подкрепить себя филологическими аргументами. И они нашлись.

В тоненькой, сгоревшей от времени брошюрке, именованной «Научный бюллетень Ленинградского университета № 2», подписанной к печати ровно за месяц до окончания Великой Отечественной войны, я обнаружил автореферат И. А. Поповой — ту самую работу, которую тщетно до этого искал. Называлась она «Значение и функции союза «а» в древнерусском языке».

Важность вывода, сделанного в статье, представлялась настолько несомненной, что я переписал всю работу целиком. «Одним из древнейших и основных значений союза «а» было соединительное, — писала И. А. Попова, — обнаруживающееся более четко лишь в древнейших списках древнейших памятников... Соединение с помощью «а» носило характер необязательного присоединения, добавления, вроде «кроме того», «сверх того», «да», прибавляющего еще что-то, причем добавляемое органически не связано с предшествующим, не вытекает из него, но присоединяется как нечто новое, далекое, часто случайное... даже противоположное ожиданию и тогда противопологаемое».

В начале «Слова...» можно было видеть именно такой случай. Если перевести

мысль ее автора на современный язык, то выходило примерно так: «Начнем же эту поэму о событиях нашего времени, используя стихи и, кроме того, еще и замысел Бояна».

Несколько лет спустя, выступая в Чернигове на конференции, посвященной 175-летию первого издания «Слова о полку Игореве», В. В. Колесов обратил внимание присутствующих на эти и подобные им строфически организованные отрывки, вкрапленные в прозаический текст древнерусской поэмы. По его мнению, они принадлежали Бояну, хорошо поддавались ритмическому анализу и резко отличались по ритмике от авторского текста.

Это было прямое подтверждение моей догадки. Потребовалось сто лет, чтобы мысль Е. В. Барсова и В. Ф. Миллера о влиянии творчества Бояна на известный нам текст «Слова...» нашла свое не эмоциональное, а научное обоснование. И это при том, что изучение музыкальной структуры «Слова...» началось давно. Барсов прямо писал о «Слове...» как о песне, «подобной Бояновой». Четкая ритмика этих частей манила каждого исследователя легко доступной, казалось, возможностью восстановить строй и лад всей древнерусской поэмы. «Слово...» пытались петь на манер духовных стихов, положить на речитатив былины. По-юношески влюбленный в «Слово...» П. П. Вяземский видел в нем слепок греческого сценического действия с участием героев и хора. Ближе всех к разгадке подошел В. Ф. Ржига, но его в большей степени интересовала аллитерация, которую он с достаточным основанием относил на счет не византийской традиции стихосложения, а традиции северной, скальдической.

Теперь можно было попытаться войти внутрь самого «Слова...», в его собственную ткань, как к фреске или иконе подходит реставратор, разделяющий красочные слои, принадлежащие разным мастерам и разным эпохам, или как археолог подходит к многовековым напластованиям древнего города, чтобы попытаться прочесть его историю и воссоздать его облики, сменявшие друг друга.

Конечно же, это было совсем не просто. Сохранившиеся стихи Бояна были только сигналами, указывающими нам, где вероятнее всего искать заимствованный текст. Сам же текст по большей части был изменен, разрушен, «замаскирован» переменной имен и деталей, нарушением ритмики и самой лексики, каждый раз ставя под сомнение правильность его обнаружения. Нельзя было забывать те чудовищные искажения, которым подвергся текст «Слова...» при его переработке «Задонщиной», когда невозможно сказать, кто же виноват — автор «Задонщины» или невежественные писцы и переписчики, располагавшие к тому же явно дефектными текстами.

Автор «Слова...» был бесконечно выше не только средневековых редакторов «Задонщины», но и того Софония, которому приписывается до сих пор ее авторство. И все же не исключена была возможность искажений уже на первом этапе — этапе создания «Слова...». С другой стороны, любой автор или переписчик, сознательно обрабатывавший древний текст для нового произведения, когда бы ни жил, всегда стремился сделать его понятным для своих читателей, по возможности не оставляя режущих глаз спаяк, невыправленных имен и обстоятельство действия. Не всегда ему это удавалось. Но читатели и слушатели старались не замечать огрехов. Им важно было действие — детали, несущественные для фабулы, они пропускали мимо ушей или скользили по ним глазами. Однако то, что не видели средневековые читатели, ныне обнаруживали исследователи, обладавшие опытом анализа и тем его инструментом, который вскрывал любые, самые незаметные несоответствия, — анализом системным.

Метод расчленения «единого» текста на составляющие его отрывки, взятые из разных произведений, впервые широко применил К. Н. Бестужев-Рюмин при анализе состава русских летописей. Его развил и распространил А. А. Шахматов, который показал, что не только русские летописи в целом являют собой многократно составлявшиеся и пересоставлявшиеся летописные своды; даже сама «Повесть временных лет», лежащая в основе всего русского летописания, являет собой три последовательные редакции собранных воедино отрывков из сочинений византийских историков, переводов библейских книг, средневековых географий, юридических документов, оригинального текста хроникального характера, разбитого впоследствии по годам, — короче говоря, составлена из материалов самого разнообразного происхождения.

К «Слову...» метод текстологического анализа наиболее широко был применен академиком В. Н. Перетцем. Он сравнивал обороты и выражения «Слова...» с теми, которые находятся в древнейших русских списках библейских книг — Псалтири, Евангелия, Апокалипсиса, книг пророков, — и нашел довольно любопытные соответствия.

Это указывало, правда, не на заимствование, как утверждали скептики, а всего лишь на широкую начитанность автора. В. Н. Перетц первым сравнил эпитеты «Слова...» с теми, которые встречаются в литературных произведениях домонгольского времени и в устной поэтической традиции. Результаты получились весьма интересные. Оказалось, что ряд эпитетов — «бусый», «жестокий», «златокованный», «каленный», «лебединый», «синий», «сизый», «тисов», «широкий», «яркий» — полностью отсутствует в древнейших собственно русских текстах, но известен, например, в фольклоре. А некоторые, как «синий», встречаются в памятниках сербского и болгарского происхождения.

Начало было многообещающим, но продолжения не получило. Вдова ученого В. П. Адрианова-Перетц развивала только изучение стилистики «Слова...» и возможность его сопоставления с фольклорным материалом. Но мне это ничего не давало. Отдельные выражения и фразы не являлись системами даже на микроуровне. Мне нужно было обнаружить настолько автономные, устойчивые микросистемы, чтобы они, будучи перенесенными из одной макросистемы (песни Бояна) в другую («Слова...»), сохраняли своеобразие собственной микроструктуры, кристаллизованной для первоначальной макросистемы, а в новой — разве только слегка сглаженной в результате неполной замены имен, изменения числа глагола, искажения первоначального значения термина, его переосмысления, трансформации, — все то, что критики отмечали в качестве ошибок, искажений и что не получало при анализе достаточно удовлетворительного объяснения из собственной системы «Слова...». Вот почему, размышляя, каким образом нащупать вход в XI век, я все чаще приходил к мысли, что это возможно сделать, только предварительно определив произведение Бояна, которое послужило своего рода матрицей для автора «Слова о полку Игореве».

Да как же можно это узнать?! — воскликнет, пожалуй, нетерпеливый читатель, которому могут надоесть столь долгие и скучные рассуждения о филологическом анализе. Ведь у вас-то и нет ничего! Разве что несколько цитат из сочинений поэта XI века, да и то предположительных. А уж откуда они взяты...

Немного терпения. Автор «Слова...» не скрывал своей зависимости от поэта XI века, и только появление частицы «не» придало его заявлению противоположный смысл. Автор предупреждал, что он будет петь «по замыслению Бояню», то есть следуя за поэтом XI века каким образом? Переработав, приспособив для своих целей какое-то произведение Бояна. В этом произведении, следовательно, имелось изображение похода, быть может, со зловещими предзнаменованиями, картины битвы с «поганьими» степняками, гибель героев или плен, последовавшее затем горе «земли» и, возможно, обращение к князьям с просьбой о помощи.

Кому могла быть посвящена песнь Бояна, отвечающая выделенным только что признакам? «Старому Ярославу»? Вряд ли. Из того, что донесли до нас о нем летописи, ничего похожего не находится. Битвы у него были, но не столько с внешними врагами, сколько с братьями. «Храброму Мстиславу»? Довольно вероятно, однако мы не находим в «Слове...» ни одного намека на единоборство, которое, кстати сказать, кончилось победой Мстислава, поэтому ни о каком горе, ни о каком поражении, кроме как Редеди, и речи быть не могло. «Красному Роману Святославичу»? Он остается единственным из перечня, и все, что мы о нем знаем, с несомненностью указывает именно на него. Даже то, что в «Слове...» нет больше упоминания его имени, хотя там неоднократно упоминается его родной брат Олег Святославич и присутствует его двоюродный брат Борис Вячеславич. Более того, как отмечают историки, почти все сведения автора «Слова...» об XI веке — за исключением отступления о Всеславе — концентрируются вокруг событий 1078—1079 годов и прямо приурочены к трагической для русской земли битве на Нежатиной Ниве и последующему походу Романа на Всеволода Ярославича.

Поэтому теперь, чтобы ситуация стала понятной, я оставляю текст «Слова...» и обращаюсь к летописям и истории.

Для начала версия летописная.

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ — 50

АФАНАСИЙ КОПТЕЛОВ



МОГУЧИЙ АККУМУЛЯТОР ТВОРЧЕСТВА

Какое счастье — мы едем на съезд советских писателей, первый не только в истории страны, но и планеты! Мы увидим и услышим Горького, величайшего писателя мира. Мы — литераторы Сибири, старые, печатавшиеся при поддержке Горького еще до революции, и совсем молодые. Среди нас алтаец Павел Кучияк, родившийся в юрте, в семье шамана. На стойбище все звали его Ит-Кулак (Собачья Ухо). Имя было дано не случайно. У его родителей умирали дети во младенчестве. Считалось, что их уносят подземные духи. Чтобы обмануть злых духов, новорожденному прокололи мочку уха, вложили в ранку собачью шерсть и запричитали: «Не ребенок родился, а щенок!»

По дороге в Москву нам вспомнилось: в одном из писем сибирякам Горький писал, что в нашем обширнейшем крае «рассеяно около 30 племен, люди которых до Октябрьской революции не считались за людей». Теперь, «когда они начинают учиться свободно говорить, их голоса скорее и ясней донесутся до соседей, еще слепых и немых». Это сказано и о нашем друге Кучияке. Русские люди научили его грамоте. Потом направили в Коммунистический университет трудящихся Востока. И вот он, кочевой агитатор, поэт, беллетрист, драматург и актер, едет на съезд писателей делегатом с решающим голосом.

Дед Кучияка, одаренный кайчи, сидя у костра, любил петь под свой аккомпанемент на самодельном двухструнном топшуре героические народные сказания. Его слушали ночи напролет. И бабушка Кучияка тоже была сказительницей. От них Павел перенял многие сказания, кое-что записал и намеревался напечатать в издательстве, но ему сказали:

— Нельзя такую старину тащить в литературу. — И даже пригрозили, что обвинят «в буржуазном национализме».

И вот мы в Москве. Она ждала съезд как всенародный праздник культуры. Все пятнадцать съездовских дней у подъезда Дома союзов стояла огромная толпа. Людям котелось хотя бы мельком взглянуть на Горького. Книголюбы поджидали и других любимых писателей. Шепотом делились радостью узнавания: Серафимович! Павло Тычина! А в шляпе-то — Алексей Толстой! Шолохов приехал с Дона! А за ним, вон маленькая-то, идет Сейфуллина! С рыжим портфелем — Демьян Бедный! Янка, Янка Купала из Минска! Бородатый в тюбетейке — Айни! А тот, выше всех — Фадеев! Усатый-то — Новиков-Прибой! То и дело взрывались аплодисменты. Шли любимые из любимых, цвет и гордость многонациональной литературы.

В горжественном Колонном зале сияли хрустальные люстры. С высоты беломамарных колонн смотрели на нас Пушкин и Шевченко. Лев Толстой и Руставели, другие классики. А в зале именитые гости из-за рубежа: Андре Мальро и Луи Арагон, Бруно Ясенский и Жан Ришар Блок, Мартин Андерсен-Нексе и Вилли Бредель, их, так же как старых большевиков Феликса Кона и Емельяна Ярославского, мы узнали позднее, когда увидели на грибуне. Но сначала был разливистый шквал аплодисментов: Горького встретили стоя. Открывая съезд, Алексей Максимович говорил о его смысле и значении.

Как все мы, Кучияк вслушивался в каждое слово доклада, но особенно его сердце гρονул горьковский наказ о том, что подлинную историю трудового народа нельзя знать, не зная устного народного творчества.

Как это хорошо! Ведь и вправду фольклор — народное богатство, редчайшие жемчужины поэзии!

А когда на девятом заседании на трибуну вышел седобородый дагестанец Сулейман Стальский, в длинном бешмете, в барашковой папахе, и спел песню, сложенную в честь съезда, на Кучияка повеяло чем-то родным. Как будто кайчи с его Алтайских гор. Не хватало только топшура в руках. Горький, потрясенный талантом этого Гомера XX века, сказал, что таких людей надо беречь. И снова дал всем наказ:

— Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте его. Он очень много дает материала и вам и нам, поэтам и прозаикам Союза.

Павел Кучияк воспринял это как личное задание. Вернувшись со съезда, он с полным сознанием, что выполняет необходимую работу, стал собирать жемчужины алтайской народной поэзии. И теперь это приветствовалось всеми. По памяти он записал целый ряд больших героических сказаний, слышанных от деда и бабушки. Вскоре в глубине горной тайги ему удалось отыскать выдающегося слепого сказителя Николая Улагашева, сохранившего в памяти десятки тысяч поэтических строк. Вместе с крупнейшими писателями страны кайчи Улагашев был награжден орденом. До своей ранней кончины Павел Васильевич успел записать несколько его сказаний, а позднее записи продолжила дочь писателя Аполлинария Кучияк. В Новосибирске поэты Илья Мухачев, Александр Смердов, Елизавета Стюарт, Василий Непомнящих, Евгений Березницкий и другие перевели сказания Улагашева на русский язык. Так читатели получили гоме алтайского героического эпоса.

Великолепным отголоском на призыв съезда явилось горжественное празднование тысячелетия армянского героического эпоса «Давид Сасунский». Позже на русском языке были изданы и калмыцкий «Джангар», и киргизский «Манас» и бурятский «Гэсэр», и тувинские героические сказания, и казахские народные поэмы, и чудесные сказки народов Сибири.

Горьковский призыв, прозвучавший на съезде, жив и сегодня. За последние годы в журнале «Сибирские огни» опубликованы алтайские сказания «Маадай-Кара» и «Очы-Бала», записанные у здравствующего ныне талантливого кайчи Алексея Калкина и переведенные Александром Плитченко. Опубликован якутский эпос «Могучий Дьагарыма» (запись Кюннюка Урастырова) в пере-

воде Александра Романова и бурятский эпос «Алтан-Шагай» в переводе Анатолия Преловского. Доктор филологических наук С. Суразаков завершил одиннадцатитомный труд «Алтайские богатыри». В прошлом году в Горно-Алтайске была проведена Всесоюзная конференция, посвященная фольклорному наследию народов Сибири и Дальнего Востока. Таков — кратко — послесъездовский вклад в сокровищницу народного творчества, доступную благодаря русскому языку всей стране.

Съезд явился мощным, долговременным аккумулятором творческой энергии для всех братских республик, для всех краев и областей. Но я, сибиряк, опять-таки буду говорить о своем регионе. Закрывая съезд, Горький давал наказ: «Нам необходимо обратить внимание на литературу областей, особенно Восточной и Западной Сибири, вовлечь ее в круг нашего внимания, печатать в журналах центра, учитывать ее значение как организатора культуры».

С тех пор произошли громадные перемены, которыми мы не можем не гордиться. Из Сибири в большую всесоюзную литературу влилось творчество таких писателей, как Георгий Марков, Сергей Сартаков, Константин Седых, Гавриил Кунгуров, Григорий Федосеев, Франц Таурин, Сергей Залыгин, Василий Шукшин, Анатолий Иванов, Василий Федоров, Леонид Иванов, Алексей Черкасов, Илья Лавров, Валентин Распутин, Гарий Немченко, Леонид Решетников, Давид Константиновский... Можно назвать еще десятки имен. Книги этих авторов изданы миллионными тиражами, экранизированы на кино и телевидении, переведены на многие языки и у нас в стране и за рубежом. О них написаны монографии, защищены кандидатские и докторские диссертации. Мы в Новосибирске выпускаем серию «Библиотека сибирского романа», состоящую из книг, выдержавших испытание временем. Нынче вышел сорок пятый том — роман Ивана Кудинова «Стихия», посвященный борцам за преобразование сельского хозяйства, за скорейшее решение Продовольственной программы.

После съезда Горький пригласил нас к себе в дом на Малой Никитской. Там сейчас мемориальный музей. Беседа была долгой и удивительно интересной и душевной. Говорили о развитии литературы Сибири. Алексей Максимович, в частности, порадовался книге юкагира Текки Одулока «Жизнь Имтеургина-старшего». Она тогда была чуть ли не единственной на русском языке и являлась открытием художествен-

ной прозы народов Сибири. Теперь мы можем говорить о подлинном расцвете литератур нашего региона. Полным голосом заговорили те, кто «веками жил слепо и темно». И их голоса слышны далеко за рубежом. Романы Юрия Рытхэу известны всему миру. Полюбились русским читателям книги Григория Ходжера, Владимира Санги, Ювана Шесталова. В названной выше серии мы издали романы якута Николая Мординова, делегата Первого съезда, ненца Ивана Истомина, тувинца Салчака Токи, бурята Чимита Цыдендамбаева. Пятидесятым томом будет роман якута Софрона Данилова «Красавица Амга». Я мог бы назвать «могучую кучку» горно-алтайских поэтов, бурятских и хакасских мастеров слова, самобытные произведения которых также являются ценным вкладом в общесоюзную литературу.

Известно, что писатель никогда не отключается от своей работы. Он не знает

праздников. В любой обстановке что-то новое откладывается в его сознании, прорастают в душе зерна будущих образов, услышанное слово пробуждает новую мысль. Дни съезда для всех нас были напряженной работой, устремленной в будущее. В чем же главный итог этой общей работы? В блестящей победе большевизма. Об этом проникновенно сказал Горький в заключительном слове. Даже те из литераторов, «которые считались беспартийными, «колеблющимися», признали, — с искренностью, в полноте которой я не смею сомневаться, — подчеркнул Алексей Максимович, — признали большевизм единственной боевой руководящей идеей в творчестве, в живописи словом. Я высоко ценю эту победу...».

Большевиcтская идейная боевитость сплотила нас, стала нашим девизом в жизни и художественном творчестве.

Новосибирск.

САВВА ГОЛОВАНОВСКИЙ



ПОЛСТОЛЕТИЯ НАЗАД

На первой странице чудом сохранившегося у меня стенографического отчета Первого Всесоюзного съезда писателей стоит автограф Мате Залки. Книга эта особенно дорога мне. И потому, что она некогда принадлежала моему знаменитому другу, и потому, что, листая ее, я вспоминаю много гакого, чего в ней не могло быть зафиксировано.

Сам Мате Залка не был избран на съезд, хотя к тому времени создал почти все, чем был знаменит как писатель. И Юрий Яновский, автор уже известнейших своих книг, оказался не избранным. И за то, что у меня был делегатский мандат, а у них не было, мне и теперь совестно. Правда, ошибка относительно Ю. Яновского частично была исправлена: в адрес санатория в Железноводске, где он тогда отдыхал, накануне открытия прибыла телеграмма А. М. Горького: великий писатель просил Яновского быть гостем съезда. Да, получилось так, что Горький обратил внимание на отсутствие Юрия Ивановича в списках делегатов, а мы, избравшие их, не заметили. Красноречивый факт, не правда ли?

Впрочем, пожалуй, нет ничего удивительного ни в том, что Горький пригласил Ю. Яновского, ни в том, что мы его не избрали. Вель мы еще как бы по инерции пребывали в плену межгрупповой борьбы, а Горький, говоря о значении Первого съезда писателей, уже утверждал, что отныне разноплеменная, разноязычная литература всех наших республик выступает как единое целое. Единое целое — вот в чем заключалось главное Единое — и как общая сила, и как первое содружество организованных групп, которое не отрицало бы «не стесняло разнообразия наших творческих приемов и стремлений».

Создание единого целого предполагало ликвидацию мелких организаций, но не отрицало художественного разнообразия. В устах М. Горького слова об этом звучали как призыв быть особо внимательными к

творческой личности писателя, то есть к свойственному только ему восприятию окружающего мира и способам, с помощью которых писатель этот мир раскрывал.

В таком понимании задач Первого съезда писателей проявлялась свойственная М. Горькому широта представления о литературном процессе и постоянное внимание и уважение к писательской индивидуальности. И, пожалуй, именно потому, что Яновский отличался ярким своеобразием художественного дарования, Горький и обратил внимание на его отсутствие в списках делегатов.

Воинствующая нетерпимость была характерной для литературных организаций, ликвидированных знаменитым постановлением ЦК в апреле 1932 года. Рапповцы не считались с тем, что, скажем, среди «Серapiroновых братьев» были такие талантливые советские писатели, как К. Федин, Н. Тихонов, В. Каверин, а «Серapiroновы братья» не желали считаться с тем, что в РАППе состояли художники уровня А. Фадеева, Вс. Вишневского, Ю. Либелинского. Точно так же и мы, украинские вусповцы, отрицательно относились к М. Бажану, Ю. Яновскому, Ю. Смоличу и другим из-за того только, что они были членами Ваплите. А те, в свою очередь, не признавали ни И. Кулика, ни И. Микитенко, хотя и не могли не понимать, что это настоящие писатели. «Интересы групп» считались важнее, чем справедливость в оценке отдельных писателей.

Апрельское постановление ЦК сразу многое изменило. Не стало организаций, с одной стороны, скажем, таких, как Ваплите, где националистически настроенная верхушка отвлекала творческое внимание писателей от главных задач советской литературы, а с другой — ВУСППа, где литераторы, считая, что стоят на правильных, партийных позициях, фактически подменили борьбу с враждебно настроенной верхушкой Ваплите борьбой против всех ее членов. Постановление свидетельствовало

о том, что партия смотрела на все это шире и глубже нас, и вскоре можно было увидеть, как на заседаниях оргкомитета будущего Союза писателей за одним столом сидят И. Микитенко и М. Кулиш (оценить это мог только тот, кто знал, как выглядели их взаимоотношения совсем недавно).

Я часто бывал на этих заседаниях. Споры вспыхивали и здесь, порой очень горячие. Помню случай, когда Микитенко со свойственным ему пылом упрекал Кулиша в том, что он захватил театр «Березиль» и якобы поэтому тот не ставит пьес вусповцев. Кулиш выбежал из комнаты, а Кулик стал вежливо упрекать Ивана Кондратьевича Микитенко в несдержанности, в результате чего Кулиш покинул заседание.

Но не прошло и пяти минут, как Кулиш вошел вместе с режиссером Курбасом и потребовал, чтобы Курбас сказал сам, почему он не ставит пьес вусповцев. Курбас, будучи не только талантливым режиссером, но и прекрасным актером, сыграл роль крайне изумленного человека и заявил, что, мол, как это не ставит?! Да ведь совсем недавно театр принял к постановке две пьесы именно вусповцев — Корнейчука и Головановского!

И я и Александр Корнейчук, оба в ту пору начинающие литераторы, конечно, мало интересовали театр «Березиль». Курбас принял наши пьесы только потому, что это начисто снимало с театра обвинение в групповщине и в то же время давало возможность не ставить пьес главного вусповцкого драматурга — Ивана Микитенко.

Неожиданное заявление Курбаса ошеломило всех. Микитенко замолчал, а Кулик растерянно улыбался — оба понимали смысл тактического маневра Курбаса и Кулиша, но вынуждены были смириться.

Эта сцена, как мне кажется, весьма характерна для атмосферы накануне Первого съезда. Постановление ЦК всем пришлось по душе, но психологически руководители бывших писательских организаций еще, как тогда говорили, «не перестроились». Недавняя открытая вражда потухла, но иногда прорывалась то в случайных словах, то в заранее обдуманных поступках. И только профессиональный дипломат И. Кулик всегда выглядел выдержанным и уравновешенным, неизменно стараясь примирить стороны. Но дело было видно, не только в умении держать себя: партийное постановление для него всегда было законом и он считал своим долгом выполнять его.

Я был младшим среди делегатов Украины, а может быть, и одним из самых молодых участников съезда вообще, но уверен, что и старшие никогда не принимали участия в чем-либо подобном. Когда объявили повестку дня съезда и огласили список докладчиков, всем стало ясно, что съезда будет чрезвычайным событием и в жизни советской литературы и в жизни каждого из нас.

Атмосферу праздничной торжественности усиливало и присутствие литературных знаменитостей всего мира: Андре Мальро, Эрнст Толлер, Луи Арагон, Мартин Андерсен-Нексе, Жан Ришар Блок, Витеслав Незвал и другие известные писатели Запада и Востока — все они должны были на съезде выступить. Легко себе представить, каким волнением были насыщены минуты ожидания, когда наконец на сцене появится Горький и произнесет первые слова...

Впрочем, атмосфера, царившая в Колонном зале Дома союзов, поражала не только волнующей торжественностью. До этого времени писатели, заполнившие огромный зал, встречались в небольших комнатах своих организаций и групп, а тут должна была пойти речь о том, что так интересно и волновало всех без исключения. И похоже было, что из маленьких комнат, как впоследствии сказал Ю. Либединский, советская литература переселилась в роскошный, залитый светом и наполненный чистым воздухом дворец.

Мы услышали доклад Горького, в котором он обрисовал широкую картину развития литературы от начала эстетического самосознания человечества до эпохи литературы буржуазного общества. Другие докладчики, дополняя его, говорили о положении современной литературы, создав, таким образом, грандиозную панораму развития человеческой культуры на протяжении всей ее истории, от истоков до наших дней.

Однако не все выступления принимались нами с восторгом.

Настораживало, что главными действующими лицами советской поэзии кое-кто считал Б. Пастернака и И. Сельвинского, а мы, молодые, были уверены, что знаменем советской поэзии является В. Маяковский. Мы, конечно, высоко ценили галанты Пастернака и Сельвинского, но Маяковский был не только нашим кумиром, а и, по общему мнению, ярчайшим выразителем революционного духа эпохи.

Кроме того, недовольство вызвала и сама попытка такого лобового противопоставления крупных поэтов. Ведь все

трое — ярко выраженные художники, а Маяковский еще совсем недавно говорил, что нам нужно «побольше поэтов хороших и разных». Зачем же, думали мы, суживать круг хороших, суживая и круг разных? Мне показалось это бестактным по отношению к памяти Маяковского, который совсем недавно ушел от нас и у гроба которого я стоял в почетном карауле.

Но попытка такого противопоставления имела и значительно более глубокий смысл. Это я понял спустя несколько часов, когда услышал, как его толкует И. Ю. Кулик.

После одного из заседаний делегаты долго не расходились — толпились в кулуарах и горячо дискутировали.

Помню, что при выходе на улицу ко мне подошел А. Безыменский и тихонько попросил прийти в восемь часов к нему: соберутся и другие товарищи.

Квартиру А. Безыменского не так просто было найти на Плющихе, поэтому я немного опоздал. Небольшая столовая оказалась битком набитой людьми, и это меня сперва озадачило: я считал, что приглашен на ужин, но на столе не было ничего съестного, вокруг него вплотную друг к другу геснились человек пятнадцать. На подоконниках и по углам устроились, пожалуй, еще столько же. Похоже, нас пригласили на какое-то импровизированное собрание...

Оказалось, так оно и есть. Тут были Демьян Бедный, И. Кулик, А. Жаров, А. Сурков, А. Прокофьев, М. Светлов, С. Кирсанов и другие, с кем я был знаком лично и кого знал только по портретам.

Всех возмущало главное: почему — Пастернак или Маяковский? Об этом в основном и вели речь. И только длинная реплика обиженного Демьяна Бедного, говорившего о собственных стихах, показалась мне не совсем тактичной. Выдвигая себя, он фактически отводил второстепенную роль не только Пастернаку, но и Маяковскому. Демьяну Бедному никто из нас возразить не решился.

Неожиданно взорвался всегда выдержанный Кулик. Его и без того бледное лицо побелело, кончики пальцев задрожали. Говоря чуть громче обычного, он заявил, что сводить столь принципиальный вопрос к спору оскорбленных амбиций не пристало коммунистам и что дело значительно серьезнее и глубже того, кого поставили на первое место, а о ком не упомянули вовсе.

Я хорошо помню, что говорил тогда И. Ю. Кулик, потому что, собственно, только после его слов понял все по-настоя-

щему. Если бы речь шла лишь о необъективности критических оценок, говорил он, это было бы несправедливо по отношению к отдельным личностям. Но попытка противопоставить одних поэтов другим в данном случае является стремлением помешать главной цели апрельского постановления ЦК и самого съезда. Его слова звучали не как укор обидившимся. Это был урок партийной принципиальности, и все это поняли.

Мы единодушно решили, что на съезде выступят А. Сурков и С. Кирсанов и изложат нашу общую точку зрения. И в том, что эти выступления на съезде прозвучали убедительно и оказались принципиальными, я думаю, во многом была заслуга И. Ю. Кулика.

Хочется вспомнить еще об одном эпизоде, свидетелем которого я оказался.

Еще до съезда, во время поездки украинских писателей в Ленинград, я подружился с сыном К. И. Чуковского Николаем. Он познакомил меня со своим знаменитым отцом, и Корней Иванович отнесся ко мне благосклонно.

Во время одного из заседаний съезда я вышел из зала. В просторном коридоре вдали виднелась одинокая фигура — это был Корней Иванович. Я подошел, и мы медленно двинулись вдоль пустынного фойе. Чуковский расспрашивал меня о Киеве. И вот когда мы были недалеко от входа в президиум, в дверях появился А. М. Горький.

Мне показалось, Корней Иванович сразу сник, он торопливо отошел к окну и присел на подоконник, видимо рассчитывая, что Горький пройдет и не заметит его. Но Алексей Максимович направился прямо к Корнею Ивановичу. Он издал протянул Чуковскому руку, а подойдя, поинтересовался его самочувствием. Чуковский отвечал с непонятным мне смущением.

— Почему вы никогда не позвоните? — спросил Алексей Максимович, и в глазах его блеснула лукавая усмешка.

— Особых дел нет, а беспокоить просто так... — пробормотал Чуковский.

— Почему же беспокойте, — продолжал Горький с той же усмешкой, все еще не выпуская руку Чуковского. — Если будет в чем нужда... пожалуйста!

Они попрощались, и Горький ушел. Я чувствовал, что Корней Иванович чем-то огорчен, и, возможно, не только встречей, но и тем, что она произошла при постороннем. Много позже Николай Чуковский рассказал мне, чем тогда был расстроен Корней Иванович.

Дело в том, что еще до революции, когда вышел в свет роман М. Горького «Мать», К. Чуковский раскритиковал роман. С той поры писатели не раз встречались и даже вместе работали во «Всемирной литературе». Роман М. Горького, как известно, сыграл огромную революционную роль. Чуковский давно осознал свою ошибку, но факт оставался фактом. И Горький, очевидно, тоже об этом помнил.

И вот во время съезда, который по замыслу Горького должен был сплотить воедино всех писателей, в том числе и тех, которые враждовали между собой, Алексей Максимович использовал случайную встречу для такого символического примирения. Не сомневаюсь, если бы в тот день Горький не встретил Чуковского, он так или иначе сделал бы первый шаг к примирению. Помнить давнюю обиду ему не позволяла верность общим интересам советской литературы.

Для меня это послужило важным уроком на всю жизнь, и я рассказываю об этом эпизоде в надежде, что он послужит уроком не для меня одного.

Если принять во внимание важность художественных проблем и глубину, с которой они были освещены, трудно найти событие в жизни советской литературы, которое можно было бы сравнить с Первым Всесоюзным съездом. Он имел мировой резонанс и сыграл роль решающего этапа в идейно-эстетическом сознании нашего народа именно потому, что для него была характерна чрезвычайная широта мышления (если так можно говорить не об отдельной личности, а о съезде).

Похоже, советская литература в целом впервые осознала меру своей исторической ответственности перед миром и действительно поняла, что, как сказал Горький, впервые выступает как единое целое перед лицом пролетариата всех стран.

Чувство такой ответственности усиливалось и тем, что революционный пролетариат был представлен на съезде конкретно — в лице известнейших писателей. Конечно, для М. Горького, И. Эренбурга или Л. Леонова, например, чьи книги уже тогда издавались в десятках стран, присутствие Эрнста Толлера или Андре Мальро не было в диковинку. Но на нас, молодых, которые съехались с разных концов огромной страны и составляли на съезде большинст-

во, не могло не произвести глубокого впечатления присутствие иностранных писателей с такими именами. Перед нами встал целый мир. После этого невозможно было довольствоваться рифмованными подписями под газетными фотографиями или олитературенными общими местами, которые прямо из-под пера отправлялись в типографию.

Мы ехали на съезд полные юношеского пыла и беззаботной веселости, с чувством, что нас ждет большой праздник, а возвращались с ощущением тяжелого бремени ответственности, возложенной на наши плечи Первым съездом. Впервые во весь голос нам было сказано о значении советской литературы как единого коллектива, в котором, однако, каждый должен утверждать свою творческую индивидуальность. Это было нечто новое. Как мыслил себе Горький коллективный труд разноязычных писателей? Это могло выясниться только впоследствии, но волновало нас уже тогда.

Ясно было одно — мы должны были учиться раскрывать глубинную суть социальных явлений так, чтобы ее воспринимали все и понимали всюду. Не в этом ли заключался наш интернациональный долг как писателей и коммунистов?

С тех пор прошли пять долгих десятилетий. Пятьдесят лет, полных знаменательных событий и в жизни нашего общества и в жизни нашей литературы. Естественно, что за это время появилось немало новых писательских имен, десятки, а возможно, и сотни прекрасных книг, созданных по принципу творческого метода социалистического реализма, провозглашенного Первым съездом.

Изменился, конечно, и сам Союз писателей. И если среди его членов нет теперь таких гигантов, как Максим Горький и Алексей Толстой, то в этом нет ничьей вины. Гиганты не рождаются ежедневно. Но характер писательской организации как сотрудничества литературных сил зависит от нас и только от нас, и о нем мы должны заботиться со страстью лично заинтересованных. Ведь от внутренней атмосферы, которая царит в писательской организации, зависит не только наша творческая жизнь, а в значительной степени и то, появятся ли новый Горький и новый Толстой в нашей литературе.

Киев.

В. КАМЯНОВ



ПОСТИЖЕНИЕ ГЛУБИНЫ

Мир Пушкина: новые работы о поэте

1

О том, как звучит для нашего слуха имя — Пушкин, коротко и емко сказал Александр Блок: «веселое имя», «легкое имя».

В светлых утренних тонах рисовался облик поэта и воображению Марины Цветаевой: «Бич жандармов, бог студентов, желчь мужей, услада жен», «Всех румяней и смуглее до сих пор на свете всем, всех живучей и живее!» Для Ивана Бунина Пушкин — «воплощение простоты благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса...».

Эти мажорные характеристики для нас привычны и хрестоматийны. Но вот как бы по контрасту с ними у новейших исследователей звучат другие ноты: «Да, в нем был дух аскета (потому и не любил он весну и брожение крови). Дух аскета и гений художника. Это была драма, которую в жизни ему разрешить было не дано»¹ (В. Непомнящий); «Есть один человек, к которому поэт. бывает безгранично, безжалостно и — может показаться — безрассудно-жесток. Этот человек — он сам»² (Ст. Рассадин); «Подходили ноябрьские дни 1836 года. Начиналось физическое разрешение той духовной драмы, которая разыгрывалась с 1831 года»³ (Я. Гордин); «Трагедия Пушкина, таким образом, коренится не в противоречии между верованием и творчеством, нет — в характере самого творчества»⁴ (Б. Бурсов).

¹ В. Непомнящий. Поэзия и судьба. М. «Советский писатель». 1983.

² Ст. Рассадин. Драматург Пушкин. М. «Искусство». 1977.

³ Я. Гордин. Гибель Пушкина. Повесть. В книге «Три повести». Л. «Советский писатель». 1983.

⁴ Б. Бурсов. Судьба Пушкина. Роман-исследование. Книга 2-я. «Звезда». 1983 №№ 10—12.

Представление о легкокрылой гармонии совсем не просто согласовать с суровым колоритом слов «трагедия», «драма». Но о чем, собственно, речь? Какова суть упомянутой драмы? Не ставится ли толками о ней под вопрос репутация Пушкина как светлого гения? Постараемся разобраться...

Для нас уже привычны сетования специалистов на слабую изученность последнего этапа пушкинского пути — 30-х годов. Неясно, правда, из-за чего случилась заминка. То ли руки пока не дошли, то ли не вполне рассеялась давняя легенда об упадке поэтического дара Пушкина в пору «Дубровского» и «Анджело». Или, может, ключа подходящего нет к тому же «Анджело», «Страннику» или «Осени», а обычным просветительским ключом тут не многое откроешь?..

В новых работах пушкинистов дружно отмечена характерная черта Пушкина 30-х годов — его приверженность к форме разомкнутого лирического эпизода, фрагмента (вспомним, что важнейшая, программная вещь этой поры «Осень» печатается с авторской пометой — «отрывок»), как бы случайного извлечения из широкой картины бытия, где разноречия полярных сил обнажены и смотрятся крупно. Формой фрагмента или «отрывка» заявляет о себе целостность многосложного мира, вписавшегося в поэтический кругозор

Прежде эта целостность лучше всего открывалась пушкинской зоркой интуиции, теперь же выросла в отчетливую духовную проблему.

Задача раздвинуть поле обзора, дабы вернее подступиться к ядру капитальной загадки (или многих загадок) несколько отлична от прежнего плана, которому готов был следовать поэт-пророк. На первое место вышла работа постижения, упорный, одинокий труд души.

Через несколько лет после гибели Пушкина появился другой «Пророк» — Лермонтова, горестно-полемический отклик на пушкинское стихотворение-манифест: миссионеру божьего слова, ободренному у Пушкина, поощренному к высокому поприщу, обеспечен, согласно лермонтовской версии, удел бездомного, всеми гонимого парии, чье прибежище — пустыня.

Переключка двух «Пророков», однако, общеизвестна. И полемичность второго из них ни для кого не секрет. Менее известно другое: Пушкин опередил Лермонтова в этом споре.

Да, мажорный строй пушкинского «Пророка» (1826) звучал предвестием удачи: людские сердца отзовутся на пламенный глагол поэта. Не могут не отозваться! Но очень скоро в новых стихах Пушкина появятся ноты сомнения. «Божественный посланник» будет вынужден сурово объясняться с лукавой «чернью» («Поэт и толпа», 1828), настаивать на своем праве идти «дорогою свободной», «усовершенствуя плоды любимых дум» («Поэту», 1830). А позднее острие философской рефлексии коснется основ программы, предложенной пророку («...исполнись волею... обходя моря и земли...»): точно ли обозначена главная его миссия?.. И место проводника верховной воли, «божественного посланника» станет занимать анахорет, искатель творческого уединения, странник, «духовный труженик», которому впереди брезжит «некий свет», манящий и путеводный («Странник», 1835).

Мотив разлада с окружением окрепнет, начнет перерастать в мотив разрыва; зазвучит тема отпадения от привычных, нарушимых, казалось бы, связей: «...и от меня, махнув рукою, отступились как от безумного», «...кто поносил меня, кто на смех подымал... но я тем боле спешил перебежать городное поле...»⁵.

По сути, лермонтовский пророк-изгнанник разминусился со своим оппонентом, которого он принялся искать на прежних путях и в прежней позиции. А тот ушел вперед. Но Лермонтов мог и не знать о позднейшей умудренности пушкинского пророка.

Новым поколениям на незнание ссылаться грешно. Однако и по сей день бытует

⁵ Сходные краски употребит и Лермонтов: «...из городов бежал я нищий... Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо...» («Пророк»). Примем во внимание что при жизни Пушкина ни «Странник» ни большинство стихотворений, тематически к нему примыкающих, не публиковались и современникам известны не были.

мнение, будто Пушкин самой зрелой своей поры допевал песни, недопетые в молодые годы («...я гимны прежние пою»). О глубочайших сдвигах в творчестве позднего Пушкина мы пока не очень-то насыщены. С тем большим интересом читаются работы В. Непомнящего и Я. Гордина, где на первом плане — образ «духовного труженика», сосредоточенного на коренных вопросах человеческого существования.

Правда, В. Непомнящий гораздо менее Я. Гордина связан рамками последнего пушкинского шестилетия (о чем можно судить и по названию его книги «Поэзия и судьба»), но, покидая эти рамки, он думает о возвращении, отходит к ранней пушкинской поре, чтобы с расстояния лучше разглядеть позднюю.

Особый вес получает у В. Непомнящего термин «раскрытие». К нему подыскивается синоним — «разворачивание». Тут же, в месте встречи двух терминов, работает сравнение. Нет, два сравнения, которые поясняют, как именно развивался пушкинский дар. Первое из них — с зерном, которое «есть и источник и эпицентр растущего вверх колоса», второе — со спиралью, тоже «вертикально растущей вверх». Поддерживающие друг друга термины и сравнения передают взгляд автора на динамику пушкинского роста, при котором новая фаза вбирает в себя предыдущую, поднимая уже определившиеся, но как бы свернутые качества на новую высоту. «Время было во круг него, — сказано у В. Непомнящего, — оно поднималось, и он — а точнее, его дар — поднимался вместе с ним, но несколько выше, как будто его что-то тянуло вверх: так поднимается аэростат...». Я. Гордину видится несколько иная картина: не развертывание по спирали, не постепенный подъем, а резкий скачок. «Что произошло в уме и душе его за те шесть лет, что жил он новой жизнью?» — спрашивает автор хроники «Гибель Пушкина».

«Новая жизнь...». Сказано, как отрезано. И еще: «В последние годы совершенство пушкинского мышления, гениальный лаконизм и насыщенность его мысли стали таковы, что появился разрыв между этим лаконизмом совершенства и даже теми блестящими средствами выражения, которыми владел Пушкин».

Значит, на вопрос о том, как развивался пушкинский дар при вступлении поэта в самую зрелую пору, два исследователя отвечают неодинаково. Можно добавить: и в различной манере. В интересах дальнейшего изложения коснемся особенностей стиля того и другого авторов.

Мысль В. Непомнящего⁶ ищет для себя пластическую форму и чаще всего безошибочно ее находит. Встреча словесных красок, предметных рядов, взятых для построения метафор, у него порой дерзновенна (в опасной близости друг к другу могут оказаться колос и спираль, а на них вдруг надвинется тень аэростата). Но поскольку дерзновенность тут не самоцельна и не самодовольна, а подчинена строгой смысловой задаче, протеста при чтении она не вызывает. Впрочем, не в одних лишь смысловых задачах или аналитическом упорстве внутреннее оправдание авторского стиля.

Вот уже более двадцати лет В. Непомнящий пишет книгу-признание, книгу-объяснение в горячей любви к Пушкину. Любовь исследователя к поэту ясно выражена в слове, интонациях — то лирико-патетических, то сдержанно-категоричных, как бы отсекающих дальнейшие разнотолки вокруг беспорного. И слово здесь то иносказательно, окружено сетью ассоциаций, то тяготеет к литой четкости афоризма.

Стиль Я. Гордина и не столь живописен и не столь экспрессивен. Это рассудительный стиль специалиста, который вышел к массовой аудитории и очень доходчиво, избегая терминологической зауми, говорит о сложном. Его ровную, логически выверенную речь удобно конспектировать, но эмоций она не будоражит и в память не врежется. Что ж, пусть так.

Однако хроника «Гибель Пушкина» определена автором как повесть, а в книге В. Непомнящего собраны литературоведческие статьи. Стилистика гординской повести между тем близка к статейной, а в работах В. Непомнящего резко выражены черты художественного, взволнованно-поэтического повествования.

Читатель гординской хроники, вероятно, станет искать на ее страницах зловещие фигуры Дантеса, Геккерена, Полетики и прочих, ждать подробностей светских интриг, приближавших трагическую развязку. И ничего похожего не дожидается. Геккерен с Полетикой тут даже не упомянуты.

Перед нами несколько необычная хроника внутренних событий, сосредоточенная на духовных предпосылках трагедии, где нет места ничтожным статистам, оказавшимся на виду к моменту внешней развязки («физического разрешения», по Я. Гордину). Столь резкий отход автора от канона, отшлифованного поколениями биографов, знатоков преддуэльной поры, застав-

ляет и на гординский слог взглянуть пристальней: быть может, неброская манера обманчива?

Оттого и полезно сличить стилистику двух работ, что тот и другой авторы с разных концов упорно пробиваются к загадкам позднего Пушкина, дисциплинируя свой порыв либо строгой, почти протокольной манерой изложения, либо жесткими рамками жанра.

О сравнительно недавних пристрастиях пушкиноведческой науки сегодня можно прочитать следующее: «Слишком большое значение придавала она внешней стороне дела. Исследовались преимущественно факты биографии и творчества Пушкина, чем дух его творчества». Выскажись подобным образом автор-дебютант, старшие коллеги могли бы пожать плечами: дескать, типичный экстремизм молодости, которая бывает горяча в отрицании, а осведомленностью не блещет.

Но приведенные строки принадлежат одному из старейшин нашего критического цеха, Б. Бурсову, которого в неосведомленности либо неуважении к традициям заподозрить трудно, и взяты из его романоисследования «Судьба Пушкина». Причем, тут же уточняя сказанное, Б. Бурсов пишет о преувеличенном интересе специалистов к Дантесу и внешней канве преддуэльных событий.

Я. Гордин и В. Непомнящий в подобных грехах неповинны и столь же далеки от кропотливых забот «дантесоведения», как и Б. Бурсов.

Далее у нас будут случаи сослаться и на других авторов, стремящихся прежде всего постичь дух пушкинского творчества.

2

...«И жить торопится, и чувствовать спешит» — памятный всем эпиграф к первой главе «Онегина», а кроме того, обозначение темы, которая прослушивается в ряде ключевых пушкинских сюжетов.

Герой Пушкина обычно не дипломат и не выжидатель. Его сжигает нетерпение вырваться на самую стремнину жизни. Притом нетерпение героя поощрено чувством необратимости времени.

Как раз на этой душевной струнке умело играет ростовщик Соломон из «Скупого рыцаря», склоняя Альбера к отцеубийству. И тот, услышав от ростовщика, что барон еще долго протянет («...лет десять, двадцать и двадцать пять и тридцать...»), ужасается: да ему, Альберу, ведь и богатство будет ни к чему, когда молодость пройдет! А легкомысленную Лауру смуща-

⁶ В книгу «Поэзия и судьба» включены статьи автора о Пушкине, большая часть которых ранее публиковалась в периодике.

ют разговором о неизбежной поре ее увядания: «Ты молода... и будешь молода еще лет пять иль шесть... Но когда пора пройдет...» («Каменный гость»).

Время — и антагонист и тайный поощритель (не заставляйся!) пушкинского персонажа, который, помня о сроках, спешит развернуться, явить себя миру, отпраздновать свой звездный час. Но, достигнув раскрепощенности, дав себе волю, он почти неизбежно встает на путь своеволия. И тут же напрягается сеть оградительных норм, которую многие поколения ладили, натягивали, латали, обозначая границы дозволенного, рубеж, за которым — стихия безначалия и хаоса.

Пытаясь пробиться сквозь эту сеть, азартный соперник Времени из охотника, ловца своего шанса превращается в дичь. Догоняя Время, он и сам гоним. Против него ополчаются даже тени. Одержимому жаждой большого выигрыша Германну в свой срок явится призрак старухи-графини. Карающий призрак. Дона Гуана ждет каменное рукопожатие Командора.

Сохранят ли подобные сюжеты мораль, пригодную к практическому употреблению? Современные пушкинисты большинством голосов ответят на этот вопрос отрицательно, ибо можно считать установленным, что Пушкин не моралист, и, к примеру, Дон Гуан в его трактовке отнюдь не олицетворение зла и пагубных пороков.

Пушкин не поучал, а старался вникнуть в суть, живую динамику извечного противоборства, где по одну сторону пылкая претензия к миру, порыв, страсть, по другую — оборонительные заслоны опыта и предания; да и просвет между двумя сторонами не всегда различим — настолько тесно бывают сплетены враждующие силы.

А достижимо ли вообще соглашение между ними, или разлад фатален и духовному контролю неподвластен? Нельзя сказать, что Пушкин, не склонный, как известно, к раздаче практических рекомендаций, обходил этот вопрос стороной. Но тут придется затронуть одну из самых устойчивых тем его творчества — тему свободного пути поэта, руководимого Музой.

Тема творческой свободы, едва определившись, сворачивает в драматическое русло, даже если трактована лирически. Обнажаются узлы конфликтов: поэт и толпа, поэт и власть, поэт и торговец. Есть, помимо других, и такой контраст — поэт и дилетант. К нему мы не очень внимательны. И напрасно.

Берем общеизвестную ситуацию: Поэт, стоя на твердом пути, протягивает руку ди-

летанту, пробует поддержать приятеля, не умеющего найти собственное призвание, а значит, и духовно самоопределиться. Какому же плану следует Поэт? Что намерен предложить доброму приятелю в качестве противоядия от скуки, бесплодного скепсиса и т. п.? «Высокую страсть» творчества. Союз с музами.

Да, речь зашла об «Онегине», о многозначительном контрасте, «разности» («Всегда я рад заметить разность...») двух жизненных перспектив или жребиев: жребия труженика и — рассеянного полумельца, у которого дело валится из рук. Бок о бок с не-поэтом Онегиным через роман проходит Ленский, которого, вероятней всего, «обыкновенный ждал удел» — быть пленником обрядов, так и не изведав вкуса настоящей свободы, даруемой призванием.

В кругу персонажей романа одному лишь поэту выпал свободный жребий. Удел остальных — подчинение обычаю либо остужающий душу компромисс. Об этом нам рассказано языком композиционного контраста: судьбы подневольные — судьба свободная.

Автор, однако, не возводит нравственного барьера между собой и персонажами. Тот же дилетант для него — недовыявленный поэт, носитель творческого дара, который требуется разглядеть и развить.

Не случайно скептическому Онегину пришлось под присмотром и нажимом автора заняться азами стихосложения. И ведь не совсем впустую...

А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой bestолковый ученик.
Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один
И перед ним пылал камин...

Дело, правда, продвинулось вперед благодаря вспышкам вдохновения («силе магнетизма»), которыми сопровождалось охватившее Онегина чувство к Татьяне. Но ведь то и характерно, что в охлажденном Онегине нам не дано упустить черты Онегина вдохновенного...

Пушкинские персонажи, отклонившиеся от накатанных дорог на узкие, подчас крутые тропы или выбитые из привычной колеи, будто сговорившись, отдают дань сочинительству.

Бунтарь Франц, герой «Сцен из рыцарских времен», владеет искусством миннезингера и демонстрирует его как раз в тот момент, когда жизнь его висит на волоске. На Вальсингама «странная нашла охота к рифмам впервые в жизни», и в дерзком гимне он восславляет «царствие Чумы»

(«Пир во время чумы»). «Какие звуки! сколько в них души!» — восклицают гости Лауры, горячо одобряя ее пение; а песня, вызвавшая шумные восторги, сочинена Доном Гуаном.

Получается, что человек, которому сам черт не брат, который и Чуму готов восславить, раз ее дуновение, близость «бездны мрачной» горячат кровь или позволяют забыться, этот человек неплохо ладит с музами? Да, получается.

Помните первую импровизацию заезжего итальянца из «Египетских ночей»?..

Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт...

«Нет закона» и пушкинским самоуправцам, отступникам от строгих канонов, умеющим, как выясняется, слагать звучные, сильные строфы. Импровизировать в минуты вдохновения⁷.

Поэты ли они? В строгом смысле — нет. Вальсингам и Дон Гуан лишь мимоходом обласканы Музой. Франц из «Сцен...» хотя и миннезингер, но по ведущей страсти — бунтарь и гордец, сокрушитель сословных перегородок. Певческий дар для этих персонажей не руководитель в пути. Не главный советчик. Скорей — обещание, скрытая возможность той высшей свободы, о которой Пушкин полнее всего скажет в стихотворении «Из Пиндемонти».

Поэту, верному своему предназначению, тоже «нет закона», если под законом разуметь внешнюю уравнительную норму, но есть закон творческой самоорганизации, а значит, и самоограничения.

Отстаивая право художника на творческую свободу, Пушкин не просто ограждал содружество поэтов, «Мопартов», от притязаний «толпы» или пробовал утвердить для них особый статус, он вел борьбу за Моцарта, который скрыт и в не-поэте: для Пушкина вне сомнений моцартианская природа человека.

Выше у нас шла речь о тех, кто «и жить торопится, и чувствовать спешит», но либо ссорится с моральной нормой, за что в свой срок будет призван к ответу, либо обречен, подобно Онегину, на удел скитальца, российского Мельмота, который самому себе в тягость. В сравнении с ними поэт — удачник. Не по той лишь причине.

⁷ Вообще понятия «поэт» и «импровизатор» у Пушкина не синонимичны: поэт — непременно труженик, носитель миссии; в импровизаторе есть нечто от «каприза природы».

что, верно угадав свое призвание, избрал возвышенный род занятий. Нет, тут и другое: как «сын гармонии», он острее многих чувствует зыбкую черту, отделяющую волю от своеволия; момент шаткого компромисса между гордой претензией и огражденной системой запретов. Чувствует, ибо торжество претензии дисгармонично.

Тему человеческой гордыни позднее подхватит и на ней сосредоточится Достоевский. В русской литературе на высокой трагической ноте зазвучит призыв-предостережение: «Смирись, гордый человек!» Но при постоянной настроенности на Пушкина Достоевский — художник совсем иного склада: болезненная взвинченность его проповеди, безмерная горечь предчувствий, апокалиптических пророчаний резко контрастирует с пушкинской внутренней соразмерностью.

И Пушкин остерегал от гордыни, картинного демонизма, от уступок темным страстям и т. п. Но остерегал не энергией внушения, а силой метода, организацией поэтического мира, где единый музыкальный строй, лад берет верх над разладом.

Мир Пушкина — аналог внутренне уравновешенного Космоса и одновременно микрокосма человеческой души — свободной труженицы, которая, собственно, тогда и свободна, когда овладевает своими силами.

Чем больше в человеке «сына гармонии», тем тверже его самостояние в мире и тем вернее он улавливает момент разлада, критического напряжения между нравственным заветом и беззаветной дерзостью, горячим порывом, для которого нормы и каноны — досадная преграда. Такова закономерность. И ее работу мы угадываем как в пушкинском эпосе, так и в пушкинской драматургии, не говоря уже о программных стихах, где отстаивается «иная, лучшая» свобода Поэта.

Причем она, работа закономерности, дает нам точку встречи, казалось бы, независимых сюжетов — «Онегина», «Маленьких трагедий» с лирическими сюжетами «Странника» или «Из Пиндемонти». А сквозные темы Пушкина сегодня под усиленным наблюдением исследователей, которым важно и при выяснении частных не упускать из виду масштабы пушкинского дара.

В. Непомнящий умеет безошибочно уловить у Пушкина моменты переходов, перетоков, между полярными силами, крепко связанными динамикой притяжения и отталкивания. Анализируя один из шедевров позднего Пушкина «Осень», он пишет о «семантике, связанной с образом чахоточной девы»: «в ней (семантике.— В. К.)... на-

пряженна и концентрированна: пропасть, зев, могила, яма и — лоно, рождение, жизнь. Это семантика лезвия, разделяющего и соединяющего «здесь» и «там», «сегодня» и «завтра», смерть и жизнь, обреченность и царственное могущество. Это семантика предела — не как «конца», но как границы между...»

А в статье о «Евгении Онегине» показана подвижность сюжетного взаимодействия «автор — центральный персонаж». Сосредоточившись на первой главе романа, В. Непомнящий рассматривает ее как «большое стихотворение», где «концепция воплощается не в событийном, а в лирическом сюжете...».

Внутренние переключки и соотношения, а равно «семантика лезвия» трактованы у В. Непомнящего так, что деталь, частность выступает вестницей целого, и читателю не дано позабыть о широком мире, воссозданном поэтически, мире, который из конца в конец прошит (и стянута!) подвижными линиями размежеваний, противоборств, отозвавшихся в динамике образов

В. Непомнящий говорит о «сплошной жизни романа» как о воспроизведении, переводе на поэтический язык органики самой жизни и как о «русской картине мира», обладающей качеством высокой духовной универсальности.

Таков подход исследователя и к сюжетной линии Онегина. «...вся проблема человека, — пишет В. Непомнящий, — его духовной жизни или духовной смерти — предстает у Пушкина как проблема русского мыслящего человека последней петровской эпохи — его назначения и судеб, его роли в судьбе страны и народа». В принципе так оно и есть. Но вот вокруг определения «мыслящий» в работе возникает игра оттенков.

Онегин мыслит. Но как? Можно ответить: «рассеянно», «по-дилетантски», «шатко-валко». И возражений, видимо, не последует. Можно, припомнив слова из эпиграфа — «чувствовать спешит», — одернуть себя: «А так ли уж важна мыслительная выучка Онегина? Ведь нам о душе рассказано, ее метаниях, неустроенности, о самоуправстве страстей, над которыми не властна онегинская воля...».

Но к душе литературного персонажа с научным инструментарием нелегко подступиться: ускользающая все же субстанция. Гораздо проще иметь дело с умонастроениями героя. Тут мы на обжитой территории. И, к примеру, успели досконально обследовать читательский «формуляр» Онегина: кого из авторов он брал, чьи творения «из опалы исключил». А проведя та-

кую ревизию, готовы поместить героя на пересечении книжных влияний. Однако его знакомство с тем же Адамом Смятом («...зато читал Адама Смита, и был глубокий эконом») — шапочное, да и от книжной искры он не воспламеняется: не тот характер, не тот тип духовной ориентации в мире.

Тут не дух вопрошающий смущен, не ум алчет ослепительных вспышек истины — тут душа маяется.

Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Не это ли главная онегинская нота?

В. Непомнящему, конечно же, открыта душевная маета героя. Но в романе он нащупал линию пушкинского спора с «философской системой рационализма», с «демоном смеха и иронии» (слова Пушкина), которого выпустили на простор мыслители XVIII столетия, Вольтер прежде всего. Картина противоборства пушкинского поэтического мировидения и скептических концепций эпохи Просвещения воссоздана В. Непомнящим объемно и ярко. Только воссоздавая картину, исследователь крайне сурово обошелся с Онегиным. Герой Пушкина, учившийся «чему-нибудь и как-нибудь», оказался вдруг ответчиком за «грехи» целой философской школы. Попал, что называется, под горячую руку.

С нажимом говорится о его «антипоэтичности», о его взгляде, который «убивает поэзию, как смертоносный взор Горгоны», о «теме смерти, мертвизны», которая «сопровождает героя на всем протяжении первой главы». Говорится отнюдь не бездоказательно. Но от абзаца к абзацу нарастает инерция обличительства, и под ее действием заметно колеблется система доказательств.

Немалое место уделено в статье «недремлющему брегету», чей звон... Нет, лучше послушаем автора: «Эхо брегета, возвестившего сначала обед, а потом балет, звучит на всем протяжении онегинского дня, мертвый механизм управляет всю жизнь героя и ее предопределяет».

«Мертвый», «смертоносный», «мертвизна»... Ну прямо мороз по коже Тут не кому звонит брегет, а по ком звонит... И, значит, все эти кладбищенские мотивы переплетаются в первой главе с эпикурейским прославлением женских ножек, «ланин Флоры» и т. п.! Но разве в характере пушкинского дара такой разноразной и угрюмой прямолинейности обличительства?..

Если же идти от внутренней темы Онегина, то брегет не просто рассекает день петербургского денди на мертвые дольки.

Он — напоминание о необратимом Времени, ход которого отсчитывает про себя Евгений, «томясь душевной пустотой».

Конечно, талантливый автор статьи умеет вовремя остановиться. В свой срок он скажет и о сострадании поэта герою и о местоимении «мы», объединяющем их. Есть, однако, диалектика рассуждений, и есть тон.

Возьми В. Непомнящий для себя за образец мерно укачивающую стилистику диссертаций, под его пером и «взгляд Горгоны» бы погас и символика брегета сразу бы поскромнела. Но слово В. Непомнящего — писательское, богатое обертонами, и оно, подобно сильному резонатору, отзывается на вспышку волевой активности автора, когда тот с нажимом продвигает вперед побывшую идею.

Что же до «антипоэтичности» Онегина, позволю себе еще одно замечание. Общеизвестно, насколько напряжена у Пушкина линия разлада «поэт — толпа», как широка периферия этого спора. Его отголоски легко расслышать и в романе.

«Зачем же так благосклонно вы отзываетесь о нем?» — вопрос автора адресован светским любителям кривотолков и пересудов, нюхом угадавшим в Онегине чужака, которому «несносно» идти «вслед за чинною толпою».

Начало восьмой, заключительной, главы возвращает нас к ситуации главы первой. Снова «чинная толпа» — по одну сторону, поэт — по другую. Положение заглавного персонажа, как и прежде, — срединное. Но в начале бдительность «толпы» притуплена: Онегин «подобен многим», горошина из общего стручка; его порядком правит «недремлющий брегет», его культурные интересы — в пределах «нормы». Ближе к концу романа он для «толпы» — чужак, хотя и приговорен «брести» вслед за нею. Нить Аружбы между автором и героем оборвана.

В споре толпы и поэта: «Каким из двух путей пойдет Онегин?» — в споре, где героя разом окликают с той и с другой стороны, подсказывая ему настоящее его место, победителя нет. Вопрос «Прозабание или призвание?» так окончательно и не решен. Удел Онегина — неприкаянность, о чем яснее всего говорит архитекторика романа. А ее свидетельства намного авторитетней разрозненных цитат, которые вне естественных связей готовы послужить какой угодно концепции. И когда из книжных пристрастий героя («Бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита...») выводится заключение о его «антипоэтичности», то такому выводу наглядней всего

противится архитектоника, внутренняя планировка произведения.

Она удостоверяет онегинскую срединность, взвешенность, так сказать, между тусклым прозябанием и признанием, миром «чинной толпы» и миром Поэта.

По замечанию Б. Бурсова, Пушкин был убежден, «что лишь в творчестве человек находит величайшее счастье». Справедливо. Тем не менее на пушкинские инвективы против «толпы», а также на памятные слова «мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв» — и сегодня, как и в минувшем веке, многие отзываются с некоторой застенчивостью: «А нет ли тут каприза гения, которому претит чужая подсказка?».

Каприза нет. Пушкинский постулат творческой свободы — одновременно постулат духовной раскрепощенности каждого, вне которой неосуществимо его человеческое предназначение. Или скажем так: упорство инвектив Пушкина против «толпы» производно от высоты и силы его гуманизма.

Подобная зависимость легко прослеживается и в «Онегине». То есть речь наша — о масштабах пушкинской мысли и пушкинского дара.

3

Автор недавно изданного биографического очерка о Пушкине⁸, Ю. М. Лотман, предлагает при изучении пушкинского наследия пользоваться методом «аэрофотосъемки», дабы детали, частности, фрагменты вошли в наш кругозор как строго организованное единство. Далее следует характеристика строгого единства, которое мы обнаружим у поэта (речь идет как раз о позднем Пушкине), подняв точку наблюдения: «Это грандиозная картина мировой цивилизации как некоего единого потока».

Известному историку и теоретику литературы Ю. М. Лотману столь крупные категории, как «мировая цивилизация», «единый поток», разумеется, не в новинку. Он ими оперирует без тени напряжения. Работа у него такая. И навык Но воспользоваться методом «аэрофотосъемки» предложено не коллегам-специалистам, а читателю. Притом юному. Книга выпущена издательством «Просвещение». На титуле значится: «Пособие для учащихся».

Учебное пособие — жанр в определенном смысле диетический: критерий питательно-

⁸ Ю. М. Лотман. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Пособие для учащихся. Л. «Просвещение». 1982.

сти и калорийности здесь подконтролен критерию простоты и легкости усвоения; полемическая горячность, дискуссионные положения практически исключены. Но Ю. М. Лотман легко обходится без споров; стереотипы школьного пушкиноведения для него не стеснительны: при методе «азрофотосъемки» они остаются далеко внизу.

В том же 1982 году, когда увидела свет книга Лотмана, опубликовал свою работу «Новое в классике» молодой исследователь Михаил Эпштейн, которого, в частности, интересует многоустая молва о Пушкине, коллективная «легенда» о поэте, творимая поколениями, а потому как бы текучая, в ряде существенных черт — переменчивая.

По наблюдению М. Эпштейна, в истекшие 70-е годы «образ Пушкина окрасился в новые, менее яркие, зато более глубокие и сдержанные тона. Не только общественная оппозиционность и жизненное эпикурейство, но и своеобразный нравственный стоицизм стал привлекать нас в Пушкине».

Точные слова находит исследователь, говоря о Пушкине «поздней, «осенней»... поры», который «открывает прелесть и красоту в явлениях, как бы спрятанных в глубь своей тайной сущности, скрытых за пределами зримого и ценимого...».

Речь опять же идет о «вторых», неявных, зачастую и не зафиксированных специалистами значениях пушкинского слова. Это тем примечательней, что работа «Новое в классике» издана обществом «Знание» и входит в серию научно-популярных брошюр, где теоретические новации, дискуссионность — столь же редкие гости, как и в пособиях для учащихся.

Кажется, можно говорить о том, что и на традиционно просветительские жанры воздействует общий интерес к «новому в классике», что и для них отходят в прошлое времена, когда пушкинская многосложная простота рассматривалась как простота односторонняя.

Совсем не случайно брошюра «Новое в классике» изобилует ссылками на статьи В. Непомнящего, особенно когда в ней заходит речь о народности Пушкина.

И ссылки здесь не дань научному этикету, а знак преемственности. Молодой исследователь находит реальную опору в работах В. Непомнящего, посвященных теме «Народная основа произведений Пушкина и его творчества в целом».

Долгое время она трактовалась с очень сильным наклоном в сторону эмпирики (язык, стиль пушкинских сказок и стихотворных стилизаций в духе народного

творчества, использование поэтом фольклорных сюжетов, пути их трансформации и т. п.). В. Непомнящий предпринял попытку заново прочитать цикл пушкинских сказок как (по его же характеристике) «неотъемлемую и важнейшую часть художественного мира Пушкина». И такая попытка удалась.

К своей задаче открыть читателю глубину и «бытийственность» (слово, полюбившееся автору) сказочных сюжетов Пушкина он относится как к сверхзадаче. И не просто анализирует текст или развертывает систему доводов, а произносит горячий монолог о беспредельности мира пушкинских сказок, выражающих «полноту и динамику душевной жизни автора».

Тут, однако, важно помнить, где край, и оставаться хозяином собственной увлеченности. Но, видно, слишком затянулась пора недооценки (специалистами) пушкинских сказок, слишком велико желание поскорее восстановить справедливость. И в какие-то моменты исследователю словно бы не слышен камертон пушкинского стиля. Вот, к примеру, «Сказка о рыбаке и рыбке»... Дает ли она повод к такому заявлению: «История царицы-мужички — это трагическая оборотная сторона «Сказки о царе Салтане»? А ее, «трагическую... сторону», детишкам в садиках читают. И — ничего. Или по поводу той же истории жадной старухи: «Так складывается могучий и гармонический аккорд эпичности и лиризма, доходящего местами до почти публицистической патетики».

Шла бы речь о «Медном всаднике» или «Полтаве», мы, наверно, примирились бы с «могучим аккордом». Хотя и не без труда: самозабвенная патетика всегда несколько суесловна. Сказка — жанр лукавый и противится напряженно-патетическому восприятию. В ней есть «пиршество жестов, комических деталей, трюков», есть «восхитительное чувство многогранности, полноты и вкуса жизни; есть особенно острое ощущение большого мира, простирающегося за пределы действия...». Так пишет В. Непомнящий о пушкинских сказках, вслушиваясь в их естественное звучание и освобождаясь от форсированных интонаций.

В границах сказочного мира, созданного поэтом, исследователь обнаруживает борьбу стиливых стихий, тяготеющих к подвижному равновесию. А из борьбы стиливых стихий вырастает образ приливов и отливов в глубине народной жизни, где за возбуждением следует полоса затишья, тяга к удалому размаху встречается с опытом смирения и где порыв, напор, активность соревняются с консервативным обычаем,

«Этот принцип напряженного равновесия,— замечает В. Непомнящий,— проникает все уровни сказки».

О том, собственно, и речь, что сказка по-особому памятлива, хранит в себе след минувших волнений, буйных разворотов или, напротив, заминок и оглядливой нерешимости. В эстетике сказки — крестьянский прищур: начинать или погодить, резать правду-матку или себе дорожке выйдет?

Сказка наделена не только моральной, но и «двигательной» памятью. Коллективный сказитель мудр уже потому, что меру знает и не пропустит момент, когда шустрому пора поуняться, а вялому прибодриться. Эти глубинные свойства народной сказки, воспринятые поэтом,— в центре внимания исследователя

Его наблюдения поощряют нас вернуться к сюжетам внесказочного ряда, о которых уже шла речь.

Альбер из «Скупого рыцаря», Дон Гуан, Онегин, Германн — все они знают «игру страстей», власть порыва, но слабо угадывают предел возможного и допустимого, меру, которая открыта чутью крестьянина с хитрым прищуром, осмотрительного простолодюдина (того же Лепорелло из «Каменного гостя»), живущих в согласии с преданием.

Пушкинским нетерпеливцам, невольникам страстей ближе стихия зноя или стужи, чем уравновешенная пора осени, с ее «прощальной красотой». Тяготее к полюсам, они быстро пролетают через жизнь. Натурам «осеннего» склада с ними не по пути (один из скрытых мотивов финальной отповеди Татьяны⁹). Но и без них жизнь неполна.

Куда ж им плыть? Не будут ли поколеблены основы «самостояния человека» (слова из пушкинского наброска, относящегося к 1830 году) в мире, где сердцами все уверенней правит «страстей единый производитель»? Вопросы и существенные и связующие. Они соединяют замкнутые, казалось бы, сюжеты в систему, и в этой системе сказочный цикл приобретает особый вес.

Сюжет сказки — путешествие за надеждой на завтрашнюю прочность мира. Ее счастливый конец предрешен и означает торжество коллективной воли, опыта и меры над неумеренностью претензий и своеволием.

Мера как производное широкого опыта сродни чувству соразмерности, которым одарены поэты. В этом соответствии — важный залог содружества «поэт — народ».

⁹ Анализируя «Осень», В. Непомнящий обращает наше внимание на «осенние» краски в портрете Татьяны Лариной.

В творчестве Пушкина тем органичнее и глубже черты народности, что народ для него не икона в торжественном окладе и не «чернь», а «свой брат» словотворец, причастный тайнам гармонии.

«Пушкин занят в первую очередь темой самоосуществления человека», — настаивает Б. Бурсов. Заявление, быть может, излишне категоричное. Но ведь действительно «занят». А раз так — совершенно неизбежен острейший интерес поэта к народному знанию мер: тут мера — спрессованный опыт, а значит, и авторитетный показатель истинности либо ложности личного выбора. И абсолютно прав В. Непомнящий, утверждая сугубую важность, даже «бытийственность» сказочного цикла.

Принцип «напряженного равновесия», стянувший к себе линии филологического анализа, обладает энергией дальнего действия. Это принцип-распорядитель. Его работа проясняет логику межсюжетных и межжанровых связей в художественном мире Пушкина.

Постоянство и подвижность многосоставной пушкинской мысли — предмет пристального внимания Б. Бурсова. Нетрадиционная форма «романа-исследования» позволяет ему свободно менять ракурсы, переноситься мыслью от Платона к Паскалю, от Достоевского к Канту, преодолевая в пределах абзаца рубежи многих столетий; прославлять рассказ о судьбе Пушкина лирико-теоретическими отступлениями, экскурсами в область психологии и т. п. Что, однако, не мешает от главы к главе крепнуть внутренней теме, одновременно «романной» и «исследовательской».

То качество пушкинской мысли, которое В. Непомнящий определяет как «бытийственность», у Б. Бурсова обозначается пространней, с помощью разнообразных формул и сочетаний, куда входит слово «бытие»: «По творческим возможностям он (Пушкин.— В. К.) подобен бытию», «он проник в глубины русского бытия, одновременно и как общечеловеческого, ни в чем не уступая в этом отношении всемирному художественным гениям». В таких характеристиках ясно прослушивается внутренняя тема книги.

Совсем не исключено, что читатель уже готов задать едкий вопрос: не увлеклись ли наши авторы гимнастикой ума, игрой с отвлеченными категориями? И не наметилось ли новое поветрие — вместо «типичных представителей» отыскивать у поэта «глубины бытия»? Поветрие возникнуть может — когда у наших авторов появятся эпигоны (если появятся!). Что же до игры или холодных упражнений ума, то доста-

точно и беглого знакомства с работами, о которых идет речь, чтобы такая догадка отпала.

Тут и тон и стилистика передают усилие авторской воли постичь труднопостижимое; тут и горячность неподдельна и жест нетерпелив.

«Но не таковы ли все мы?» — вырывается у Б. Бурсова по ходу его рассуждений о неумных страстях Дона Гуана; «Какой вздор..!» — восклицает он, глубоко задетый мнением коллеги-пушкиниста (между прочим, о «смысле бытия»). Вообще стиль романа-исследования обладает скрытой драматургичностью: здесь пересеклись, а можно сказать, столкнулись разные пласты авторского профессионального опыта.

Б. Бурсову привычнее всего оперировать прямыми и четкими понятиями, сцеплениями, даже блоками понятий, по-деловому, веско аргументировать выдвигаемый тезис. Но как поступить с категориями «бытие», «чудо», «тайна», к которым он теперь обратился? Навык работы с деловым строгим словом молчит. Либо подсказывает неожиданные сочетания: «По отношению к бытию Пушкин принципиально отличается...», «Проблема чуда неотделима от проблемы выбора».

«Проблема» и «чудо» («бытие» и «принципиально») насажены на одну логическую нить, но рядом стоять не хотят. Взаимное недружелюбие слов расшатывает фразу. И нередко фраза Б. Бурсова как бы отыскивает на ходу свой центр, ветвится множеством попутных уточнений, целыми гирляндами косвенных дополнений, стоящих в родительном падеже («сознание.. потребности осуществления... особого.. призвания»). Но ее неудержимо влечет вверх.

Читаем: «...художник — морализатор.. осужден на величайшую трагедию, неизбежно возникающую на почве его покушения на свое же искусство, по причине предъявления к нему...». Громоздко и не очень внятно. Три предлога «на» не замечают друг друга и сдвигают наш взгляд со строки. «Покушения... по причине предъявления» — и не читается и не выговаривается. Но за растянутой скороговоркой о трагедии художника-морализатора слышится или пока полуслышится другое слово — о художнике моцартианского склада, о тайне высокой и светлой гармонии.

Или: «Пушкин рисует героя своего в процессе осуществления своей (?) натуры в русле, ей соответствующем». Снова читатель вынужден ломать голову над странным порядком слов, гадая: так кто же «осуществляет» свою натуру «в русле» — герой или, может быть, Пушкин? И опять-

таки утешением читателю в его сверхплановых трудах послужит тема, которую то одной, то другой гранью поворачивает автор, — тема и в самом деле не простая: какими виделись поэту пути и формы самоосуществления личности?

Прятому, «лекционному» слову исследователя трудно управляться с тонкими текучими смыслами. Местами кажется, что автор книги пробует набросить аркан на облако или подшить к делу музыкальную ноту.

Но стоит автору, забыв на какой-то срок о «проблеме чуда» или «тайне», обратиться к жизни философских систем, заочным эстетическим спорам корифеев мирового искусства, как картина меняется. Слово уверенно отыскивает свое место в логическом ряду, выравнивается ритм фразы, и ее уже не лихорадит от разного вставных пояснений. Сразу видно: дело пошло на лад. То самое дело, которое мастера боится. А там, где нужно ввести читателя в самую суть эстетических учений (или скромнее — пристрастий), обозначить волооразделы между ними, Б. Бурсов — настоящий мастер.

Притом какая широчайшая эрудиция! Нет, не просто объем знаний, а эрудиция — как оперативная готовность всего фонда знаний к немедленному вводу в действие. Эразм Роттердамский, Спиноза, Платон, Кант, Паскаль, Гегель, Толстой, Достоевский представлены на страницах книги не набором цитат, а внутренней жизнью своих идей, которые в большинстве случаев нельзя проиллюстрировать точной ссылкой, ибо они восприняты суммарно, в сцеплении Интерпретированы автором романа-исследования. Тут не кладовая профессиональной памяти с неподвижными «единицами хранения». Тут горячий цех, где работа кипит на всех участках и резервы отобилизованы.

А общий смысл вопросов, обращенных Б. Бурсовым к великим, утвердителен: наш Пушкин принадлежит к числу «всемирных художественных гениев». Именно к этому пункту стягивается все повествование. Вспомнив слова Ю. Лотмана о методе «аэрофотосъемки», мы могли бы сказать, что автор романа-исследования ведет такую «съемку» с очень высокой точки и добивается отчетливого изображения

Книга, однако, не может строиться только на общих и межэпохальных планах: по ходу дела автор касается и отдельных произведений Пушкина, прослеживает их художественную логику. Но в его передаче скрытое движение пушкинской мысли зачастую выглядит слишком уж выпрямленным и заземленным.

Говорится, к примеру, о трагедии «Пир во время чумы». Но какими словами! Окажется, Мери, спев свою песенку, «в точности исполняет просьбу Председателя, который и выразил ей тут же свою благодарность»; «Молодой человек разъясняет», «Председатель заявляет», «выбор им сделан без колебаний, однако он далеко не в восторге (!) от выбора; участники пира «ведут себя неподобающим образом» и т. п.

Персонажам трагедии смерть глядит в глаза, душа каждого обожжена дыханием чумы, а жесткое протокольное слово истолкователя, слабо отъясняя на атмосферу трагедии, обращает ее в диспут или коллоквиум по актуальным вопросам этики.

Да и много ли зесит в трагическом искусстве тот выбор, что следует за перебором вариантов («...из двух зол Вальсингам выбрал то, которое представлялось (!) ему наименьшим», — сказано у Б. Бурсова)? Ведь если рациональный выбор ошибочен, то участник трагедии — сбишийся со счета рассудок, а не весь человек.

Но рассудок не бросает вызовов судьбе, ибо они безрассудны.

Дон Гуан, условившись с Доной Анной о свидании в ее доме, приглашает статую Командора явиться туда «и стать на стороже в дверях». Бравада? Дерзкий жест победителя, шагнувшего за черту запрета? Или тайное сознание предела собственной дерзости и неизбежной расплаты за нее? Однозначный ответ исключен.

А был ли тут сделан выбор? И если да, рассудком ли он подсказан или всей человеческой сущью вот этого героя, подошедшего вот к этому жизненному рубежу?..

И Вальсингам, бросая вызов Чуме, предвзвешивая варианты. Он всей глубиной своей (да весть и не только своей!) духовной природы отвечал на вызов предельных обстоятельств.

Б. Бурсов — теоретик и сам решительно против логических обмеров живого образа (в романе-исследовании немало сказано о «бесконечности» пушкинского человека), но, приступая к толкованию характеров или сюжетных положений, не всегда справляется с инерцией просветительских навыков... Нет, все же не прост и не легок подъем к тем уровням обзора, откуда различима даль пушкинских образов.

Но снова послушаем Б. Бурсова, который в одной из глав делится с нами таким наблюдением: «В то время как у других гениальных художников значимость создаваемых ими образов определяется характером их причастности к бытию, у Пушкина — формой воплощения в себе бытия».

Да, и в этой фразе читателя ждет своя полоса препятствий (сбивает с толку местоимение «их», которое неведомо к чему относится — то ли к «художникам», то ли к «образам»; а «формой воплощения» что становится? «Значимость»?). Но сквозь синтаксические теснины движется свежая и сильная мысль. Попробую передать ее так, как воспринял при чтении: «Если для других великих художников весь многосложный мир («бытие») был проблемой, загадкой, требовал от них «причастности», то для Пушкина — внутренним достоинством; если каждый из них по-своему взаимодействовал с порядком бытия, то гений Пушкина охватывал его целиком».

Не станем это соображение возводить в ранг закона, но оно — содержательно.

4

Если вспомнить высказывания В. Непомнящего, Б. Бурсова, Я. Гордина, приведенные в начале этой статьи, то нетрудно догадаться, что у каждого из трех авторов есть в запасе собственная версия «духовной драмы» и ранней гибели Пушкина.

В книге Б. Бурсова настойчиво звучит такой мотив: «...трагический исход его жизни предопределен самим характером его творчества, тем прежде всего, что он целиком полагался на свою натуру. Это ставило его всегда на грань смерти». В. Непомнящий придерживается иного мнения и выражает его по-иному — через развернутый образ. Он пишет о необъятности пушкинского дара, которому становились тесны рамки литературных жанров: и в конце концов наступил момент, когда для поэта «недостаточным оказался и жанр жизни. Тогда он умолк...» (по необходимости излагаю лишь самую суть, минуя оттенки).

Что до Я. Гордина, то его повесть лишь по верхнему слою хроника событий, а по внутренней логике — глубоко выношенная версия «духовной драмы» поэта. Вот предельно сжатый итог этой версии, своего рода автоаннотация: «Он погиб не просто в борьбе с самодержавием и «светской чернью». Он погиб в борьбе с русской историей, ход которой он пытался изменить».

Сказанное звучит широковещательно и риторично только в отвлечении от всего состава повести, где красноречивы лишь факты, автор же деловит, строго работает с фактом, обходясь без риторических жестов. Среди прочего здесь изложено и то, как великий национальный поэт, испытывая давление самой прозаической нужды, закладывал ростовщикам даже хозяйственную утварь вплоть до десертных ложек, ситечка; и через такую «частность» просмат-

ривается целое — жесткие черты «русской истории».

30-е годы — пора наивысшего подъема творческих сил поэта, а среди публики — толки об упадке, журналы печатают колкости, друзья жимают плечами, сетуя на пушкинскую «лень», тиражи новых сочинений пылятся, сваленные в угол; и это тоже одно из давящих проявлений реальной «истории», широко наступавшей на Пушкина.

Для российского самодержца с присными автор «Онегина» и «Годунова» — опасный вольнодумец, за которым нужен глаз да глаз, но которого можно попытаться и приручить, — тут уж горячий центр действия или воздействия законов российской государственности («истории») на судьбу поэта.

Организация сюжета у Я. Гордина столь же отчетлива, как и его стиль: вокруг Пушкина все тесней смыкается кольцо враждебных, даже безысходных обстоятельств, против которых поэт вооружен силой своего духа и сознанием долга. Итак, сила духа и — враждебные обстоятельства.

Вот характерная концовка одной из глав: 1835 год в жизни Пушкина «заканчивался новой попыткой прорваться. Переломить судьбу». И далее через несколько страниц: «Вместе с Западом, вместе с Вольтером уходила из его жизни еще одна опора». Энергия гординского «открытого» стиля передает напряжение неравной борьбы, когда «опоры» одна за другой исчезают, попытки «прорваться» завершаются ничем, но дух и сила гения не сломлены.

Работая с документом, фактом, избегая беллетристических домыслов на тему «Перезиживания Пушкина», автор повести передает — через факт, житейскую подробность, через литературоведческий комментарий к пушкинским строкам — и внутреннее состояние поэта.

Перед нами нечто вроде космологии творческого духа в популярном и конспективном изложении; хроникальное запечатление внутренних процессов; преломленная через факт (свидетельство, документ) правда душевных состояний. Графика, а не живопись, и, уж конечно, не «тайнопись». Но таковы условия жанра. И читая повесть, мы не можем не ощущать его пределы.

Вот одна из ключевых мыслей повести: Пушкин пытался непосредственно, как «реальный полтик» влиять на ход русской истории («Он хотел включиться в государственную структуру»), но царское правительство не нуждалось в нем как в советчике и твердо указало ему место в «госу-

дарственной структуре» — место незначительного чиновника и опального сочинителя; тогда Пушкин ушел с головой в исторические труды, дабы досконально «разобраться в.. историческом механизме»; на самодовольную косность верховной власти он отвечал самым естественным для художника и мыслителя способом — добросовестным исследованием истины, сопротивляясь давлению силы энергией понимания.. Очень убедительная рабочая схема. Каркас реальной ситуации.

Но ситуация подвижна, и жесткость каркаса — любого! — для нее немалое стеснение.

Давайте снова откроем книгу В. Непомнящего. В главе о «Борисе Годунове» («Наименее понятый жанр») автор ссылается на признание Пушкина, сделанное в пору его работы над трагедией: «Чувствую, что душа моя развилась вполне, — я могу творить». Самооценка двадцатипятилетнего поэта надежней всего подкреплена именно трагедией, где задолго до пушкинских специальных занятий эпохой Петра или Пугачева исследуется работа «исторического механизма».

Притом за хитросплетением интриг, противоборством государственных, сословных, личных интересов, честолюбивых устремлений читателю открывается действие такого фактора, как совесть. Исключая старца Пимена, этот фактор никому из персонажей не виден. Умный царь Борис ощущает совесть как внутреннюю обузу, недуг, исподволь его грызущий, а нерасположение к себе подданных склонен объяснять тупой неблагодарностью «черни».

Между тем в трактовке Пушкина совесть — скрытый двигатель и регулятор «мнения народного». В трагедии нам сказано о том, как много весит невесомое (идя следом за Пушкиным, Толстой объявит главным залогом военного успеха моральный дух армии) — фактор совести, не попадающий в сетку хитроумных тактических расчетов.

У В. Непомнящего с большой филологической тщательностью рассмотрены образ этой вроде бы рассредоточенной, трудноуловимой силы, его роль в художественной структуре трагедии. «История, Народ, Совесть, — пишет исследователь, — эти три реальности в трагедии не абстракция, они имеют непосредственное отношение к драматическому действию, к динамике трагедии». И далее: «Борис Годунов» — это первая в мире трагедия, интерес которой состоит не в отдельных «судьбах», а в целостном ходе вещей, в логике исторического процесса как единства».

Приведенные характеристики говорят не только о достоинствах трагедии и ее месте в развитии драматических жанров, а и об остроте исторического зрения Пушкина, завершившего трагедию еще до событий на Сенатской площади... Так куда же оно задевалось, это качество остроты и зоркости при новом обращении Пушкина к историческим материалам? Заколдованной, что ли, оказалась условная черта между десятилетиями, и перейти ее Пушкину-историку удалось только налегке, без опыта, накопленного прежде? Читая повесть Я. Гордина, трудно отделаться от подобных вопросов, ибо Пушкин-историк здесь по сути — неофит. О том свидетельствует сама организация повести-хроники, где «те шесть лет, что жил он новой жизнью», компактно уложены в кольцевую композицию «духовной драмы». Кольцо получилось жестковатым.

Создавая «Бориса Годунова», Пушкин действительно постигал «логику исторического процесса». Задача грандиозная. Но постигал он попутно и логику человеческого самоопределения в истории. Вот характерный пример личного выбора, тип ориентации в мире...

С а м о з в а н е ц

— Но знай,

Что ни король, ни папа, ни вельможи
Не думают о правде слов моих.
Димитрий я иль нет — что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Им это лишь и нужно...

А теперь пример иной, противоположной логики...

П и м е н

О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы бога, согрешили:
Владыкою себе цареубицу
Мы нарекли.

Представлены два полюса: циничное своекорыстие расчета с одной стороны, верность нравственному завету, ужас перед пороком, черным злодеянием — с другой. Между двумя полюсами — напряженное силовое поле.

Три года отделяют «Бориса Годунова» от программно стихотворения «Поэт и толпа», но по поводу блистательной «толпы» королей, вельмож, отцов церкви и т. п. уже сказано, что они «не думают о правде», ибо их бог — корыстный интерес. «Тебе бы пользы все...» — бросит поэт в диалоге с чернью.

«В часы, свободные от подвигов духовных...» — это из монолога Пимена, который несомненно принадлежит к внецеховому содружеству Поэтов. «Духовный труженик» — назовет себя поэт в стихотворении

«Странник». Знак общности летописца и поэта более чем наглядный!.. Мотивы позднего Пушкина, таким образом, легко расслышать в центральном произведении Михайловской поры.

Но вот — граница двух десятилетий, и, по дружному признанию специалистов, этот полон надежд на «просвещенный» курс нового самодержца. Действительно, в пушкинских письмах, дневниковых записях (не говоря уже о стихотворных строках) тех лет находим следы увлеченности поэта и личностью Николая I и собственной верой в благой результат его начинаний (верой, быть может, подогретой самовнушением).

Что ж, все вроде бы просто: была полоса иллюзий, надежд на нового царя, затем кончилась. С другими гениями подобное тоже случалось. Схема четкая. И, к примеру, Гордин на нее опирается с полным доверием. Но как согласовать столь прозрачную схему с простым и ясным фактом: в полосу иллюзий Пушкин вступил автором «Бориса Годунова», то есть глубочайшим историческим мыслителем? Неужели обаяние иллюзий было так велико, что они заслонили весь духовный объем великой трагедии? Ответа нет (и не только у Я. Гордина). Да его и не ждешь: тут ведь и в самом деле «тайна».

Но от автора повествования, куда закрыт доступ даже Дантесу с Геккереном, ждешь другого — хотя бы легкой озадаченности ею, «тайной» то есть. Ясность, однако, налицо, озадаченности нет.

И еще о ясности. С любой точки гординского повествования хорошо виден финал — развязка «духовной драмы» поэта. Исхода нет. Его и не было для камер-юнкера Пушкина, поднадзорного историографа, терявшего друзей, расположение публики, деньги, вложенные в издание книг и журнала «Современник». Выхода не было для камер-юнкера, но он был для Пушкина — «духовного труженика», познавшего вкус «иной, лучшей» свободы.

Как раз этот момент прорыва к свободе — через творчество — остался как бы за чертой гординского повествования с его неуклонной поступательностью, четкой планиметрией житейских, политических и прочих обстоятельств, доступных хроникальному жанру. А духовные обстоятельства все же не поддаются планиметрическому описанию. Даже самому искусному.

В своей знаменитой речи «О назначении поэта» Блок утверждал, что Пушкина «убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха». Отсюда, от этих слов, очень далеко до мнения, будто трагедию раннего ухода Пушкин вынашивал и рас-

тил в себе. В работах новых исследователь оно успело укорениться. Правда, более на правах свободной метафоры, нежели строго взвешенного вывода.

«Трагедия Пушкина», «духовная драма», «осознавал тупик», «безрассудная» жестокость поэта к себе... В таких сочетаниях или оценках слышится знакомая нота. С детства знакомая: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной... Зачем он руку дал... Зачем поверил он?..»

Юный Лермонтов взял эту ноту под свежим впечатлением гибели поэта. Минуло почти полтора столетия, но отголоски лермонтовских «зачем?» не усают. То же горестное недоумение звучит и в новейших историко-литературных трудах. Звучит тем тревожной, чем притягательней для нас мир Пушкина, глубина этого мира.

Сегодня автор повести-хроники пишет о «тупике», в который завела поэта «логика деятельности»; и строгая корректность авторской манеры не мешает прорваться сокрушенному «зачем?»; другой автор связывает трагедию Пушкина с его чрезмерным доверием собственной «натуре», и опять та же струна задета: «Зачем он был столь непосредствен и плохо себя берег?»

В рамках ученой монографии такие обороты и подтексты могли бы выглядеть неуважением к жанру. Вольная форма повести-хроники либо романа-исследования к ним достаточно терпима. И решительные слова — «Он погиб в борьбе с русской историей» или о «натуре» поэта, предопределившей «трагический исход», — читаются с поправкой на экспрессию авторской речи. На фигуральность. Иначе каждое из объяснений «трагедии» оборачивается запоздалым рецептом — как бы следовало поэту ее избежать: на «свою натуру» целиком не полагаться (а если не на «свою натуру», тогда на что же?), с «русской историей» не тягаться — сомнет и т. п.

Конечно, авторскими объяснениями затронут подспудный слой «трагедии» — тем они и привлекательны. Но их реальный вес явно завышен взволнованной и решительной интонацией. Одна из сторон правды, выраженная ими, теснит целое. Ситуация стала лучше видна в своей «подводной» части, но зато начали распыляться ее общие контуры, которые безошибочно очертил Блок («Его убило отсутствие воздуха»).

Долгое время пресловутый «хрестоматийный глянец» мешал нам различать подлинную масштабность пушкинского дара. Хорошо бы учитывать, что нынешний поворот умов к неисчерпаемому Пушкину тоже чреват издержками, например,

увлеченной мифологизацией пушкинской судьбы и ее трагического исхода.

Впрочем, не станем слишком опережать события. Не станем хотя бы потому, что наследие Пушкина нуждается сейчас в защите от угроз гораздо более ощутимых.

О них, отвлекаясь от «чистого» литературоведения, согласно пишут В. Непомнящий и Ст. Рассадин (в ряде специальных вопросов далекие от взаимного согласия). А единодушны они в защите пушкинского наследия от нетерпеливых истолкователей, занятых переводом классических текстов на язык зрелищных искусств.

Чем увенчиваются последние опыты? Вот всего лишь два беглых штриха.

В телевизионном сериале о «Маленьких трагедиях» появился Ведущий. Нет, не Пушкин, а итальянец-импровизатор из «Египетских ночей», чье присутствие ломает и крошит всю структуру цикла. Когда структура искрошена, нет препятствий к свободному обращению с ее обломками. Ничто не мешает гимн Вальсинггма чуме подать концертно, на ораторском подъеме — как выражение заветных чаяний поэта: «Итак, — хвала тебе, Чума!..»¹⁰

Другой штрих. Осуществлена постановка телефильма «Медный всадник». На экране — популярный актер. Пушкинский текст им трактован новаторски: реальный план поэмы переносится.. в сознание Евгения. «Тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой»? Ничего такого не было. Памятники за людьми не гоняются. И тяжело-звонкий скачок Медного Всадника — всего лишь болезненное видение персонажа.

О подобного рода новациях В. Непомнящий и Ст. Рассадин пишут едко и убедительно. И речь у них идет не просто об эстетической глухоте либо произволе такого-то постановщика, а о принципе, о позиции, позволяющей творить произвол.

Давайте вчитаемся в такие строки (они принадлежат активно работающему киноведу): «Следовательно, тем, кто наследует классику, назначена судьбой неимоверно трудная задача — не просто открыть ее смысл, но и привнести в нее смысл». Итак, наследовать классику значит по мере сил («неимоверно трудная задача») делиться с нею своим кровным, от себя, что называется, отрывая. Отважный перелицовщик классики, получив из рук теоретика столь веский тезис, может быть горда своим по-

¹⁰ Подробнее о телевизионном сериале «А. С. Пушкин. Маленькие трагедии» см. В. Непомнящий, Поэзия и судьба (глава «Народная тропка»); Ст. Рассадин, «Большие надежды» («Новый мир», 1983, № 6); Ст. Рассадин, «Время постигать» («Искусство кино», 1983, № 9).

прищем: назначено ему судьбой нести крест — несет, да еще нападки терпит.

Впрочем, иронизировать легко. Но практика «привнесения смыслов», получившая подмогу со стороны теории, — это серьезно. И обычно склонный к насмешке, колкости, пародии Рассадин не на шутку озабочен и коллег предостерегает: если такая теория будет и впредь смыкаться с такой практикой, «мы останемся без культуры»¹¹.

Что ж, коль скоро часть интерпретаторов классики, вооруженная съемочной аппаратурой, а вдобавок теоретическими рекомендациями, пробует «обогащать», «освежить», в общем, вернуть к жизни вроде бы безгласную поэму или трагедию, — тем больше работы для тех, кто убежден: классика в наших дотациях не нуждается.

По справедливому утверждению Ст. Рассадина, «недостижимость и непостижимость великих произведений... есть и гарантия их жизнеспособности». Критик тут же уточняет эту мысль: «Недостижимость и непостижимость — не гарантия, а предпосылка. Гарантия же — тяга к постижению...». Как раз аналитическим упорством, «тягой к постижению» вызваны попытки исследователей (подчас слишком темпераментные) новыми глазами взглянуть и на исход пушкинской судьбы, назвать неназванное, прощупать даже самые тонкие нити из того трагического клубка.

О Пушкине хотят знать всё. Быть может, потому, что, осуществив себя в дисгармоничном мире как «сын гармонии», он представительновал от имени всех. Его слово и жест победительно легки. Они несут в себе образ преодоления разладов и тягот, возвышения над ними, притом свободного, даже непринужденного возвышения. Не будь у нас Пушкина, этот образ согласия с Миром — поверх разладов — оставался бы, вероятно, невоплощенным идеалом. Пушкинский пример убедил, что так бывает. Потому имя великого поэта — синоним заветной человеческой надежды, которая должна сбываться, ибо однажды столь ярко и песенно сбылась... Короче, о Пушкине хотят знать всё.

И раньше, разумеется, хотели. Но меняется сам характер нашей пылкости. Центр интереса смещается к духовным событиям. Сегодня все очевидней, что обсуж-

¹¹ См. его отлично аргументированную статью «Время постигать», где автор развернуто полемизирует с концепцией «привнесения смыслов».

дение поступков Натальи Николаевны или ее сестер, новые дебаты вокруг подробностей преддуэльной хроники не приближают нас к Пушкину — «духовному труженику», настоящая встреча с которым может состояться лишь в глубине пушкинской строки.

Выход — практически одновременный — новых работ о Пушкине, где речь ведется не просто об этапах творчества или мотивах лирики, а о масштабах дара, о феномене Пушкина в ряду вершинных явлений человеческой культуры, — случайным совпадением не объяснишь. Это ответ на общественную потребность. Сказанное критиком о «тяге к постижению» хорошо обозначает ее характер.

Время, когда классика «прорабатывалась», ушло. Сегодня нам важно в классическом сюжете, слове не упустить их конкретно социальные и универсальные значения, в единстве тех и других. Не упустить гармонию смыслов.

Авторы новых работ о Пушкине озабочены разгадкой его классической гармоничности. Говоря о «трагедии», «духовной драме» или аскетизме поэта, они идут в глубь загадки, не спрямая путь ее разрешения. Двигаясь трудным, подчас кружным путем, они стремятся достичь до нас свою убежденность, что в пушкинской «гармонии содержится преодоленная, но не отмененная дисгармония» и это «означает вечный вызов ей, вечное столкновение и преодоление ее» (Б. Бурсов). То есть простая истина о пушкинской гармоничности не поколеблена, а скорее укреплена испытующими вопросами авторов.

В речи о Пушкине Блок настаивал на том, что важнейшая задача поэта («первое дело») — «поднять внешние покровы... открыть глубину». Говоря сегодня о «тяге к постижению», мы, по сути, варьируем эту блоковскую формулу, распространяя ее действие на широкий круг непозтов, на истолкователей классики — в частности.

Блоковская формула бескомпромиссна и содержит в себе строгий творческий критерий. Новые работы о Пушкине выдерживают проверку этим критерием. Их авторов объединяет широта и серьезность подхода к теме «Художественный мир Пушкина», полная сосредоточенность на многосложной задаче — постичь целостность пушкинского мира изнутри («открыть глубину»!).

Такое упорство — важный показатель современности новых работ.

ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Людмила Снорино. Таков этот творческий труд. — Владимир Солоухин. Душа Японии. — Ф. Кривин. Путешествие в страну смеха. — Л. Аннинский. Воздухоплаватели чувств.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Эрнст Генри. Красная Роза. — И. Кон. Инициатива и контроль.

Литература и искусство

ТАКОВ ЭТОТ ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД

Франц Таурин. Избранные произведения в двух томах. М. «Художественная литература». 1983. Том 1. Ангара. 525 стр. Том 2. Каторжный завод, Партизанская богородица, Путь к себе. 592 стр.

Выйдем за рамки традиционной рецензии и поразмышляем над проблемами производственного романа, к жанру которого в большинстве своем принадлежат произведения Франца Таурина. И дело тут не в чисто теоретическом интересе. Производственный роман возникает на пересечении важнейших социально-исторических процессов современности — ведь широкие слои народа своей жизнедеятельностью неразрывно связаны с мощным развитием социалистической индустрии. Решительно не правы те, кто все сводит к узкопроизводственному конфликту на предприятии, не глядя в существо и размах общественных событий, определяющих не только остроту конфликтов, столкновений, но и духовный облик героев, эмоциональную напряженность творческих поисков людей нашего времени, реальность их свершений.

Молодая советская литература уже в самом начале своего развития определила основное направление производственного романа как широкого эпического повествования, охватывающего все стороны современной жизни, определила его внутреннюю доминанту — мотив создания, переустройства мира. Первый наш производственный роман — «Цемент» Ф. Гладкова был проникнут радостным ощущением невиданного исторического рубежа: страна вышла из

бурь и пламени гражданской войны, можно было начинать строить, расчищать от руин землю, воздвигать города и заводы. Художник рассматривал избранный им жанр не формально, а во всем его идейно-эстетическом значении: «...горжусь тем, что у меня в «Цементе» преобладает не производство цемента, — говорил Федор Гладков, — а то, что символически выражено в этом названии, — люди, заново создающие фундамент мира». Таково было определение рабочей темы зачинателем этого направления.

Первые пятилетки, грандиозность планов, размах индустриального строительства ввели в литературу новые темы и сформировали новый тип писателя. Если иные «кабинетные» художники начала 20-х годов упрямо утверждали — и об этом шли шумные дискуссии, — что рассказывать о «раскаленной современности» пока еще нельзя, что нужна солидная историческая дистанция, которая позволит бурям и грозам улечься, событиям остыть и определить, а следовательно, обусловит и некую беспристрастную оценку, вернее, взгляд с позиции «над схваткой», то новая плеяда писателей стремилась ворваться в самую гущу происходящего, все видеть, познать, во всем участвовать.

Борис Горбатов утверждал: «Нужно дышать воздухом эпохи. На сквозном ветру...

Он шумит в цехах, горных выработках, на стальных путях». Писатели разъехались по необъятной нашей стране. Маризта Шагинян ринулась в Армению, где на речке Дзорaget началось строительство одной из первых гидроэлектростанций Закавказья, важно звена плановой электрификации края. Валентин Катаев вместе с Демьяном Бедным приехал на Магнитку и остался здесь, чтобы участвовать в развернувшейся борьбе за темпы строительства. Федор Гладков как партийный работник обосновался на Днепрострое. Целая группа писателей и журналистов отправилась на стройку Сталинградского тракторного завода. Участник этих событий Борис Галин так определяет их смысл: «Новое поколение писателей пробивало дорогу новой действительности».

Характерной чертой эстетики производственного романа сразу же стала его неразрывная связь с непосредственными авторскими наблюдениями, зафиксированными по горячим следам событий. Из очерков, документальных записей, дневников жизненный материал перекочевывал на страницы произведений. И это расширяло границы жанра, определяло эпичность повествования.

Труд как созидание — такова идейно-эстетическая доминанта рабочей темы. Она-то и расширяет рамки повествования. Действие может развертываться не только в пределах одного цеха или одного завода, оно неизменно охватывает разнообразные области человеческой деятельности, множество профессий — от землекопов и бульдозеристов, от каменщиков, слесарей или токарей до инженеров и руководителей мощных производственных коллективов, а также ученых — изобретателей и теоретиков. Взаимодействие людей разных специальностей в едином процессе социалистического строительства порождает и многоплановость повествования.

Любопытно отметить, что обращение современного западного романа к теме труда — вспомним хотя бы «Аэропорт» Артура Хейли и другие произведения этого писателя — ведет к сужению жизненной сферы героев, повествование ограничено местом их работы, а своеобразие и новизна материала определяется лишь спецификой тех или иных форм профессиональной деятельности людей. Человек тут отстает под натиском современной техники, он обезличивается. А вот в романе Бориса Горбатова рекорды, поставленные забойщиками Донбасса, означали не только большое количество тонн угля, но глубокие изменения во внутреннем мире современников. «Огром-

ные подспудные силы дремали в этих могучих людях. Это были нескрытые пласты талантов. У одних талант петь, у других талант рубать уголь. Они могли рубать больше, лучше...» Труд для его героев — это не только средство реализовать свои творческие возможности, но и способ участвовать в общенародном созидании. Писатель видит и показывает, как менялось отношение его современников к окружающему миру и к самим себе. Здесь, в Донбассе, «с треском ломались старые навыки, повадки, нормы... Гул отсюда пошел по всей стране».

В советском производственном романе от начала 20-х годов по наши дни, по сути, предстает как бы документально воссоздаваемая история рабочего класса социалистической страны на всех поворотах его героической судьбы, во всей весомости его трудовых свершений. И каждый из писателей, обратившийся к рабочей теме, внес в ее развитие определенный вклад, осветив тот или иной исторический этап коллективного трудового подвига.

В 1949 году в Иркутске состоялась областная писательская конференция, на которой в числе других вопросов обсуждались и произведения ряда начинающих прозаиков. Среди них выделился роман «К одной цели» Франца Таурин (позднее он печатался под названием «На Лене-реке»). В разговоре об этом первом опыте молодого литератора участвовали Георгий Марков и Борис Горбатов, прилетел из Хабаровска Ажаев, известный уже своей книгой «Далеко от Москвы». Ф. Таурин привлек внимание «правдивым изображением жизни глубокого тыла, о котором в те годы было еще мало написано, волевыми характерами героев», вспоминает участница конференции критик Г. Колесникова.

Следующий его роман «Ангара», по существу, открыл новую страницу рабочей темы. Одним из первых Ф. Таурин обратился к изображению мощного строительства, развернувшегося на просторах Сибири, где вставали крупнейшие электростанции, такие, как Иркутская, Братская. Красноярская, открывались рудники и шахты, шли поиски месторождений газа и нефти.

На страницах «Ангары» рабочий человек предстает в новых историко-социальных условиях. Изменился размах созидательных работ, усложнилась техника. На смену тачкам и лопатам Магнитки или довоенного Днепростроя пришли могучие экскаваторы, сложнейшие механизмы, которыми рабочий человек научился уверенно управлять. Из-

менился и он сам, обогащенный жизненным опытом, всем пережитым, передуманным, осуществленным старшими поколениями. Среди персонажей романа и те, кто уже немало потрудился на довоенных промышленных объектах, участвовал в перекрытии Волхова и Свири, Днепра и Дона, возводил первые электростанции и заводы, а позднее восстанавливал разрушенное фашистским нашествием, и молодые рабочие, впервые пришедшие на стройку, ищущие не только места в трудовом коллективе, но и свое место в жизни. Недаром опытный экскаваторщик Семен Перевалов предупреждает новичка: «Специальность выбирают на всю жизнь... Хорошо работается, когда специальность свою ни на какую другую не сменяешь...»

Рабочего человека теперь отличает не только мастерство, уместность, но также исследовательская жилка, творческий поиск. Герой «Ангари» молодой мастер Сергей Ракитин увлеченно перенимает опыт и знания у Семена Перевалова, мыслящего трудового человека, у которого и впрямь есть чему поучиться. Работает Семен на большом шагающем экскаваторе, управляет сложнейшим современным механизмом, который «по высоте равен четырехэтажному дому»: «Доносится ровное гудение моторов. Похоже, что это работает целый завод».

Но человек не пасует перед могучей современной техникой. Он ее властелин. «Главное, не трусь машины,— учит экскаваторщик молодого инженера.— Бери ее крепче... чтобы она все время твою руку чувствовала».

Герой производственного романа предстает у Ф. Таурина не только как повелитель техники, но и как хозяин собственной судьбы. Эту активность жизненной позиции писатель выявляет у рабочих нового поколения: они знают, к чему стремятся, сами определяют свое будущее. У Сергея Ракитина была заветная мечта — «поехать после окончания института именно на Ангару». А сын Звягина сразу же решает после школы идти на стройку. Мать просит: «Ты бы, отец, хоть работу ему присмотрел какую полегче». Юноша отвечает: «Сам найду, и не какую полегче, а настоящую работу». Берутся парни за дело серьезно, прочно вставая в коллектив, крепко овладевая с самых азов профессиональными навыками. Именно потому и смог потом младший Звягин совершить подвиг, сварив в опаснейшей ситуации стыки водоотливной трубы. Работая внутри ее, в тесноте и мраке, юноша опасался: «Неужели не выдержу?» Но все же «упорно и сосредоточенно варил и ва-

рил, и злоеющая трещина смыкалась, заполняемая послушным человеку металлом».

В поступке Коли Звягина нет жертвенности — юноша сознательно делал то дело, какое считал верным и нужным. Так в романе Ф. Таурина возникает и художественно разрабатывается важный этический мотив — сознательное формирование человеком самого себя как цельной личности.

Каким я могу быть? каким должен стать? что я способен осуществить в течение своей жизни? — такие вопросы в производственном романе возникают и решаются в сложных рабочих ситуациях, в процессе повседневной трудовой деятельности героев. А это в свою очередь отражается и на повествовательной структуре. Возникает характерный для этого жанра взволнованно-лирический индустриальный пейзаж, полный внутреннего динамизма, он запечатлевает и свершившиеся и еще прозреваемые изменения в окружающей действительности. Подобный пейзаж наличествует уже у Ф. Гладкова в романе «Цемент». Наблюдая поднятый из руин завод, Глеб Чумалов говорит инженеру Клейсту: «Мы, коммунисты, мечтаем очень неплохо». Завод предстает здесь как материальное воплощение планов революционного народа, как весомое подтверждение его созидательной мощи, становится как бы поэтическим выражением начавшегося обновления жизни.

Черты подобного же индустриального пейзажа, полного внутреннего движения, присущи и романам Ф. Таурина.

В послевоенные годы писатель побывал на стройках Сибири и Дальнего Востока, вглядывался в облик современника — рабочего человека, задумывался над его внутренними переживаниями. Характерен эпизод из его очерка «Первая на Ангаре». Ф. Таурин стал свидетелем перекрытия могучей сибирской реки. Он рассказывает о торжественном митинге, на который спешили строители. Некоторые из них шли «в рабочих спецовках — им предстояла после митинга работа в вечерней смене, большинство — в праздничной нарядной одежде. Многие шли семьями, с детьми на руках. С горы было видно, как по многочисленным дорогам со всех концов стройки стекались в котлованы толпы людей». Вскоре ими был заполнен «весь огромный откос наклонной плиты водобоя». Оттуда и открывалась величественная картина грандиозных сооружений, осуществленных теми, кому выпало на долю «начать освоение гидроэнергетических ресурсов реки Ангары». И люди ощутили свою победу — ведь их творческая

мысль, их неутомимые руки позволили воплотиться давней мечте.

Индустриальный пейзаж, воссоздающий всю мощь новостроек, что поднялись на нашей земле и до войны и особенно в послевоенные годы, помогает вывить важные тенденции духовной жизни современников. Именно в трудовом подвиге происходит слияние общенародного и личного начал: отдельный человек в процессе созидания наиболее полно проявляет себя, свои творческие возможности, то, на что он способен, осуществляет сокровенные свои надежды и мечтания.

В таком индустриальном пейзаже присутствует напряженный эмоциональный подтекст, основанный на выразительном сочетании деталей, черт, штрихов прошлого и настоящего с перспективой, предвидением дальнейшего движения. Пожалуй, стоит напомнить об этом в наши дни, когда в прозе заметное место начал занимать пейзаж, архайзирующий действительность, из которого выпадают приметы нового времени, сегодняшнего дня, а также и «застывший пейзаж», или, точнее, декоративный, лишь обозначающий место действия, но, кроме иллюстративных, не имеющих никаких иных функций в повествовании. А не стоит ли то, что уже достигнуто, взять на вооружение и продолжить поиск?..

В производственном романе неизменно остро ставится проблема взаимоотношений личности и коллектива. С ней связана и столь характерная для современных произведений этого жанра проблема — каким быть руководителю сложного современного производства. После войны вопрос этот оказался сразу же в центре многих романов на рабочую тему.

В середине 50-х годов одновременно появились «Ангара» Франца Таурина и роман Г. Николаевой «Битва в пути», где события разворачиваются на крупном тракторном заводе. Ядро конфликта у писательницы — в столкновении двух характеров, двух типов руководителей: Вальгана; чье имя стало ассоциироваться с рутинной и формализмом, и Бахирева — инженера-новатора, по самой своей природе созидателя, человека, упрямо ищущего новые пути. Позанее подобный же характер предстанет и у Вила Липатова в «Сказании о директоре Прончатове». У Франца Таурина в романе «Ангара» резко противостоят друг другу два начальника строительства — Гусаров и Рожнов. Но решение конфликта тут иное.

Гусаров энергичен, умен, даже блестящ; ему присущи смелость, находчивость, он не боится и рисковать. Он всегда уверен в

том, что «любое препятствие можно устранить энергичным натиском». Однако «все оказалось значительно сложнее, нежели он предполагал». Постепенно и сам Гусаров и окружающие убеждаются, что его деятельность не дает необходимых результатов, он как бы вертится на холодном ходу. Происходит у него внутренний разлад с рабочим коллективом. Ищет Гусаров разгадку происходящего с ним в доверительной беседе с партгором. Ответ, казалось бы, еще и не найден, но разговор этот примечателен: парторг помог ему в новом свете увидеть значительность повседневных дел.

По существу, искомый ответ дан писателем в цепи эпизодов, воссоздающих производственный ход стройки. И что особенно важно, в этих эпизодах раскрывается внутренний мир сегодняшних строителей, мастеров, инженеров, чей труд уже не только добросовестное выполнение производственных заданий, но работа творческая, когда человек вдумывается в суть дела, стремится понять всю его сложность.

Решается молодой инженер Сергей Ракитин прибегнуть к ручному способу добычи гравия для отсыпки плотины. Это диктовалось созданными на участке реальными условиями. И вступает в конфликт с начальником стройки Гусаровым. Тот не задумываясь отвергает «антимеханизаторские настроения», хотя обеспечить участок необходимыми буровыми станками пока не имеет возможности. Молодому мастеру в сложнейшей ситуации приходится воевать за интересы дела вопреки приказам Гусарова. С кем же, выходит, я должен бороться? — спрашивает себя Ракитин, «с человеком, который и умнее, и опытнее меня... И вот, оказывается, я прав, а он не прав. Почему же так получается?».

Столкновение героев перерастает рамки служебного конфликта. Речь идет здесь об их жизненных позициях. Принципиальной ошибкой Гусарова было его нежелание, а быть может, просто-напросто неумение учитывать реальные условия, в которых ведется строительство. Не стремился он по-настоящему пробудить творческую мысль коллектива, использовать поиски и находки отдельных строителей.

Молодой прораб Язьков готов подсказать своему начальнику инженеру Баландину способ, как забетонировать самый трудный участок котлована, названный мертвой зоной: «Есть у меня предложение одно» «Коль есть — вноси», — подбадривает его начальник. «Это еще не предложение, а предположение... Я Федор Федорович, еще день полагаю по блокам, подумаю». И когда

Язков додумал, проверил на месте свой план, Баландин сразу же оценил его по достоинству: «Молодец... правильно, по-инженерному решил задачу». Начальник котлована умеет поддержать верное наблюдение, творческую придумку тех, кто работает с ним рядом. Таков и Рожнов, сменивший Гусарова. Свою позицию он определяет в завязавшемся у него споре с проектировщиками: «...изучайте, используйте опыт строителей, не страшитесь внести коррективы в свой проект...»

В отличие от Гусарова Рожнов улавливает важную примету времени — изменился рабочий человек: он не механический исполнитель, а творческая личность, ему свойственна тяга к поиску, к исследованию. Поэтому-то и говорят о Рожнове на стройке: «А это тоже надо ему в актив занести — умеет он с людьми советоваться».

Да, в романе «Ангара» дело совсем не в привычном служебном конфликте. Если для Гусарова окружающие его трудовые люди ничем особым не разнятся, каждый «такой, как все», то Рожнов умеет приглядеться к любому из рабочих, понять, на что он способен, что может внести в общее дело. А это уже разные жизненные позиции.

Определяя истоки той новизны общественных связей, которая открывается сегодня в рабочей среде, размышляя над трудом гидростроителей, Франц Таурин подчеркивает, что в их работе, начинающейся обычно с нуля, «как в горниле, выковывается, складывается, растет и закаляется цельный и спаянный общественный организм...» (очерк «Жизнь героя», 1969). В романе «Ангара» внимание автора сосредоточено не только на творческих возможностях отдельного рабочего, но на новых качествах производственного коллектива, объединяющего людей, идейно спаянных, творчески мыслящих.

Каковы исторические истоки нового рабочего характера? Вот вопрос, который ставит и решает советский производственный роман, обращаясь не только к художественному исследованию современности, но и к далекому прошлому. Это предопределило появление произведений, которые позволим себе обозначить как историко-производственные. Таковы и «Золотой клюв» Анны Караваевой, повествование о крепостных рабочих Алтайского горнозаводского края; и сказы «Малахитовой шкатулки» П. Бажова, книги, появившейся незадолго до войны, об уральских умельцах, рудознатцах, медеплавильщиках; и послевоенная трилогия Федора Гладкова о приволж-

ском крестьянстве, ограбленном помещиками и кулаками, вынужденном уходить на отхожие промыслы, в рыболовецкие ватаги; о первых контактах крестьян-бедняков с революционным пролетариатом. Сюда же, к этой ветви произведений, можно отнести и романы Франца Таурина 60-х годов под общим названием «Далеко в стране Иркутской». В этот цикл входят романы «Каторжный завод», «Байкальские крутые берега», «Партизанская богородица» и «Гремящий порог», в которых рассказано о трудном пути рабочих людей Сибири начиная с середины XIX века вплоть до Октябрьской революции, о борьбе с Колчаком, о победоносном завершении гражданской войны и начале строительства новой жизни.

Писателей, разрабатывающих эту тему, роднит уважительный интерес к людям из народа как носителям творческого начала.

В нашей стране народу возвращена радость созидания. Один из героев М. Шагинян, главный инженер, гидростроитель, увлеченно восклицает: «Мыслить большими масштабами! Дожить, дожить — чтоб увидеть воочию, как покроется вся необъятная земля советская сотнями, тысячами строительных объектов, увязанных воедино...» В труде, от высших его форм до самых простых, воплощена полнота жизни, кипучая радость бытия.

Франц Таурин в историко-революционной трилогии берен этому мотиву созидания, радости труда. Во время жесточайшей борьбы с колчаковцами среди партизан внезапно появляется старик, инженер Мякишев. Он, несмотря ни на что, ведет исследования с целью составить «рабочую схему использования энергетических ресурсов реки Ангары». Объясняет свой замысел: «Про нас говорят: «Нищая Россия!» Обидно. Очень обидно!.. Таких богатств, как у нас, нигде в мире нет... Вот здесь, — он как бы в сердцах топнул ногой, — где ни копни — клад! Уголь, железо, золото! А как взять? Сила нужна. Энергия!» Пусть еще идет смертельная схватка с прошлым, гражданская война, но даже в этих экстремальных условиях нельзя замыкаться в пределах нынешнего дня: Мякишев рисует партизанам будущее — картину освоения могучей энергии сибирских рек.

Партизаны захвачены убежденностью старого инженера, его мечтой. И мечта эта оборачивается для них реальнейшим делом, которое не только могут, но должны осуществлять их рабочие руки. Недаром так важен в цикле романов Таурина «Гремящий порог», где уже в наши дни строит ту самую могучую, «невиданную

гидроэлектростанцию» Кузьма Набатов, внук рабочих-бунтарей прошлого века, сын партизана, героически сражавшегося с колчаковцами. Строительство это для Кузьмы, так же как для героя «Гидроцентрали» М. Шагинян,— «действие, которое я могу произвести в мире».

Возник новый тип трудового человека, новый рабочий характер, и он запечатлен литературой. Одни художники вели документальные записи, спеша закрепить в слове неповторимые черты происходящего, другие воссоздавали в пластической форме живой образ современника, шли к серьезным обобщениям.

В «Заметках с Ангары» Александр Твардовский запечатлел образ своего земляка, рабочего человека, плотника, с которым случайно повстречался в далеком Братске, на строительстве новой гидроэлектростанции.

По ходу разговора разворачивается картина долгой и трудной жизни Ивана Евдокимовича, мастера своего дела. Возникает эпический образ русского трудового человека, которому все по силам Недаром через умелые руки Ивана Евдокимовича прошло большое количество леса, обработанного, перекатанного, переняченного им. Можно ли этот труд измерить, охватить его размах? «Где тот Смоленск, а где Верхоянск, где Литва или Подмосковье, и где тот Братск в глубине Сибири! И везде что-

то сделано этими самыми руками, везде дерево, побывавшее в них и легшее на место».

Изменились времена, подчеркивает А. Твардовский, земляк его уже «совсем не тот плотник-отходник», какой покидал некогда деревню в поисках заработка. Теперь это кадровый рабочий, «из той строительной гвардии, что, перемещаясь из конца в конец страны, отстраивает и обживает новые города и поселки и передвигается дальше, чтобы вновь начинать „с первого колышка“».

Образ земляка, нарисованный Твардовским, позволяет нам лучше понять героев прозы Ф. Таурина и других авторов производственного романа.

Пытливый взгляд в будущее, стремление трудиться для него, созидать упорно, засушив рукава новые города, заводы, гидроэлектростанции — таково идейно-эмоциональное содержание внутреннего мира наших современников. О них рассказывают художники, разные по своей творческой манере, силе таланта, по стилевым принципам, объединенные исторически верным пониманием нового характера рабочего человека, романтики созидательного труда.

Среди этих художников и Франц Таурин, в творчестве которого на самом видном месте — рабочая тема.

Людмила СКОРИНО.



ДУША ЯПОНИИ

Н. Федоренко. Море и берега. «Иностранная литература», 1983, № 1.
Николай Т. Федоренко. Кавабата Ясунари. Краски времени. Очерки. М. «Советский писатель». 1982. 464 стр.

Открывая эту книгу, сразу же погружаешься в мир особенного видения мира (прошу прощения за тавтологию), в мир особенных ощущений, особенного склада ума, особенной мудрости, особенной цивилизации. Я думаю, мало у нас на земном шаре столь загадочного, как японская культура, японский образ жизни, одним словом, все то, что понимаем мы, когда говорим «Япония». Но если бы каждый из нас все о Японии знал, все правильно о ней понимал, то, во-первых, не было бы в ней ничего загадочного и заманчивого, а во-вторых, не нужно было бы писать книги, подобные той, которая у нас теперь предмет разговора. Речь идет о книге Николая Трофимовича Федоренко «Кавабата Ясунари. Краски времени».

Николай Федоренко давно известен как очеркист, публицист и ученый (он член-корреспондент Академии наук СССР), как востоковед. Многолетняя и теперь уж, так сказать, многокнижная работа этого искусствоведа, литературоведа и очеркиста требует, вероятно, отдельного обобщающего исследования, включая и его последние работы, хотя бы весьма живые и своеобразные очерки «Море и берега», опубликованные в журнале «Иностранная литература», или «Морские записки», вышедшие в библиотечке «Огонька» в 1983 году. Но как бы ни был широк диапазон современного писателя, определяющийся не только своеобразием дарования, но образом жизни XX века, самой нашей действительностью, хорошо, когда есть все-таки специаль-

ность». Своя география, своя горная разработка, своя «галера». Такие география и «галера» для Николая Трофимовича Федоренко — Китай и Япония. Он и до этого издал уже несколько книг о зарубежных странах, но теперь им найдена очень емкая, оригинальная форма, позволяющая еще раз по-своему рассказать об искусстве Японии, о ее живописи, поэзии, театре, философии, а фактически о складе ума и своеобразии души. «Тайна национальности каждого народа,— читаем мы в книге,— заключается не в одежде и кухне, а в его манере понимать вещи».

Книга, вообще-то говоря, представляет очерк об известном японском писателе, лауреате Нобелевской премии Кавабате Ясунари. Правда, постепенно выясняется, что речь идет фактически лишь об одной, пусть и неторопливой беседе в его доме в древней столице Японии Камакуре, но одной встречи, одной беседы может оказаться достаточно, чтобы развернуть ее в целую книгу. Если, конечно, к этой беседе и встрече подготовлен всей предыдущей жизнью, всем знанием предмета, всем проникновением в его сущность. Н. Федоренко Японию знает, он ее чувствует, он ее любит. Ну а повод высказать свои мысли и чувства может быть самый разный, хотя бы вот и встреча с Кавабатой Ясунари. Иногда я ловил себя на мысли, что воспринимаю эту встречу лишь как литературный прием, хотя книгу можно рассматривать чуть ли не как монографию о японской классике.

Я сказал в начале этих заметок, что, читая книгу, с первых же страниц погружаешься в особенный мир древней культуры и что применительно к этому миру не хочется искать другого слова кроме как «мудрость», пусть и особенная. «Воспитание важнее происхождения... Их вежливость свидетельствует об истинном просвещении народа. У японцев даже низшего круга не принято браниться или ссориться. Горячо спорить значит проявлять великую неблагодарность и грубость... Японский этикет начинается с изучения того, как предлагать человеку веер, и заканчивается правильными жестами для совершения самоубийства... Мы оказываемся в самобытнейшем мире, который состоит не только из струганого дерева, соломенных матов и бумажных перегородок, но включает и некое невидимое сочетание из привычек, чувств и мыслей... На Западе люди либо говорят вам правду, либо лгут, японцы же никогда не лгут, однако им никогда не при-

ходит в голову говорить вам всю правду... Чувство изящного, склонность наслаждаться красотой свойственны всему населению — от земледельца до аристократа. Уже простой японский крестьянин — эстет и артист в душе, непосредственно воспринимающий прекрасное в окружающей природе. Нередко он совершает отдаленные путешествия, чтобы полюбоваться каким-либо красивым видом...»

Остановимся на этой последней фразе и спросим сами себя: но разве человек Запада, европеец или американец, не совершает столь же нередко отдаленные путешествия, чтобы полюбоваться каким-либо красивым видом? Тут-то мы и должны отметить, что между японским крестьянином, совершающим отдаленное путешествие, чтобы полюбоваться каким-либо красивым видом, и между толпами туристов, совершающих еще более отдаленные путешествия с той же, казалось бы, целью, есть огромная разница.

Уже общим местом стал анекдот о том, как группу европейских туристов японцы привезли на то место, откуда хорошо видна гора Фудзияма, и оставили там на два часа в полном (с точки зрения европейца) бездействии. Туристы начали возмущаться. Не так много времени у них, чтобы посмотреть Японию, нужно ездить, смотреть, а не сидеть два часа на одном месте. В конце концов, существует программа... «По программе,— ответили вежливые японцы,— с 9 до 11 часов утра записано — любование».

Существует, оказывается, закономерность, свойство и красоты природы и человеческой души одновременно: для того чтобы душа человека и красота внешнего мира, будь то цветок, облако, звездное небо, дерево, морская волна, картина художника, ручей, водопад, человеческое лицо, икона, белоснежная гора, архитектура, скульптура, закат, роса на траве, дикий камень... — для того чтобы любая красота внешнего мира и душа человека пришли в соприкосновение, чтобы между ними произошел контакт, чтобы красота, с одной стороны, пригласила человека к общению, а с другой стороны, наполнила собой человеческую душу, общение с ней должно быть, оказывается, продолжительным, смотреть на нее надо долго. Уж по крайней мере не меньше двух часов. С точки зрения человека, понявшего и принявшего для себя эту закономерность, люди, бегущие толпой через залы галереи живописи и успевающие лишь взглянуть на картину да прочесть табличку под ней, или люди, довольствующиеся

рассматриванием пейзажа и ландшафта из окна автобуса, просто нелепы и если не слепы глазами, то слепы душой.

Павел Дмитриевич Корин, замечательный русский художник, брал стул и часами просиживал перед некоторыми картинами, хотя знал их уже до последнего штриха и оттенка. Таким образом он общался с красотой.

Так что же, смотреть на цветок (на женское лицо, на водопад, на белоснежную гору) два часа? Да, если вы хотите по-настоящему постичь красоту. Красота и верхоглядство — вещи несовместимые. Поэтому когда речь идет о японском крестьянине, который совершает отдаленное путешествие, чтобы полюбоваться красивым видом, имеется в виду не то, что он придет и взглянет, но что он будет действительно любоваться.

В сущности говоря, это культура души, но только присущая не тому или иному человеку, а целому народу. Это не значит, что среди японцев нет людей черствых, тупых, бездушных, ограниченных или даже закоренелых злодеев, но мы говорим о черте характера целой нации, нации в целом, и необходимо признать, что японцам свойственно особенное восприятие красоты, особенное ее понимание.

И еще надо отметить закон кадра. Он состоит в том, что одна какая-нибудь часть целого, выделенная из остального искусственно (скажем, рамкой, видеокассетой фотоаппарата, колечком, сделанным из пальцев) или просто сосредоточенным вниманием, воспринимается иначе, нежели вместе с целым. Очень наглядно это можно видеть, например, в Армении по дороге из Еревана к озеру Севан. Выедете, и справа от вас все время находится голубоватая долина, а за ней (над ней) белоснежный шатер Арарата. Вдруг машина останавливается, и вам предлагается выйти полюбоваться знаменитой горой.

— Но мы же и без того ею любимся. Вот она, все время справа от нас.

— Нет, полюбоваться по-другому.

Оказывается, около дороги специально построена отлогая арка, и теперь вы видите Арарат, часть неба и часть долины как бы вставленными в рамку, и впечатление от красоты горы и долины усиливается стократ.

Точно так же, гуляя по лесу и поглядывая по сторонам, можно вычленив какую-нибудь деталь, скажем цветок ландыша на фоне темной еловой лапы, и сосредоточить на ней свое внимание. И опять-таки одно

дело, если вы просто взглянете на светящийся белизной цветок на фоне темной хвои и пойдете дальше, а другое дело, если вы остановитесь и осуществите то, что японцы и называют любованием.

Да, вот нация, вот народ, который еще в глубине веков принял закон кадра и закон любования. Не учитывая этого обстоятельства, нельзя понять ни японской поэзии, ни живописи, ни искусства создавать букеты цветов (икэбана), ни искусства создавать миниатюрные чудо-сады, ни искусства домашнего интерьера, ни искусства повседневного поведения.

Возвратимся на время к текстам в книге Федоренко:

«Идея зрительного образа всего мироздания, воплощенного в одном цветке или камне, приобрела... широкую популярность. Напомним слова Кавабата: "Один цветок лучше, чем сто, передает великолепие цветка";

«„Эстетическое объяснение Японии“ — вот хороший заголовок для книги, которую следовало бы когда-нибудь написать»;

«Прежде чем смеяться над чайным обрядом, стоит подумать, как, в сущности, мала чаша человеческого радости и сколь мудры те, кто умеет ее заполнить. Чайный обряд для японца — это религия. Это обожествление искусства жить».

Видеть многое в малом, вселенную в крупнице — это и вообще закон искусства, но нигде он не доведен до такого логического конца, как у японцев. Даже каллиграфия, иероглифы, свиток с иероглифами служат японцу предметом любования, эстетического восприятия, восхищения. Автор книги о Японии прекрасно это понял и чувствует. Он проникся, я бы сказал, самим духом японской эстетики, японского восприятия жизни. Откроем книгу:

«И вот теперь не без восхищения слежу я за изломанным ритмом движения кисти Кавабаты, который всецело сосредоточился на иероглифическом изречении. Все внимание его сконцентрировано на ворсистой кончике кисти, через который, казалось, струится уже не тушь, а живое, пульсирующее дыхание художника...»

Линия в японской живописи и каллиграфии бесконечно разнообразна. Она приобретает остроту, дробность, прерывистость, угловатость. Она бывает то яростная (напомним, что речь идет не о живописи как таковой, но лишь о написании иероглифов, то есть букв), неистовая и порывистая, то плавная, округлая, обтекаемая. Она обладает своим ритмом...»

Ритм линий в каллиграфической живописи — это ритм самой жизни, нескончаемого многообразия ее мотивов и оттенков... «Свитки нужно созерцательно рассматривать. Именно рассматривать и любоваться, осваивая их искусство при помощи созерцания. Изучают лишь технические чертежи. Это совсем другое».

Само по себе это уже чудесно, но вот, оказывается, существует еще японский афоризм: «Пустые места на свитке исполнены большего смысла, чем то, что начертала нам кисть» (!). От этого близко до выражения самого Н. Федоренко: «Молчание — вид общения. Порой — самый полный и содержательный».

Своеобразие японского взгляда на мир, на вещи, своеобразие японского мирозерцания мы находим, разумеется, и в поэзии. Два условно названных нами закона — любования и кадра — лежат в основе японской поэзии с древнейших времен до наших дней. Удивительное дело: когда читаешь японских трехстиший и поймешь всю их прелесть (и емкость этой формы), то японские же пятистишия начинают уже казаться растянутыми и многословными. Тем более трудно возвращаться после них к стихам, растянутым на целые (и многие) страницы. Японец, например, написал бы нечто вроде:

В книге засохший цветок.
Положенный кем-то когда-то.—

и на этом остановился бы. Европейский же поэт развернет этот образ на целое, пусть и гениальное, стихотворение:

Цветок засохший, безуханный,
Забывший в книге, вижу я.
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя.

Где цвел? Когда? какой весной?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой.
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

С точки зрения японца, все эти подробности и рассуждения совершенно излишни. Зачем? И так уже все ясно: «В книге засохший цветок, положенный кем-то когда-то». Смотри на него, любуйся и думай.

На камышах отлив оставил
Сверкающий ледок.

* * *

Первый снег под утро,
Он едва-едва пригнул
Листики нарцисса.

* * *

Дождливый вечер.
Опять к соседу, не ко мне
Зонтик прошелестел.

* * *

Не бранитесь в пути.
Помогайте друг другу по-братски,
Перелетные птицы¹.

Конечно, в такую поэзию надо вчитаться. Нужен, очевидно, определенный душевный настрой. После остросюжетного романа не сразу переключишься, например, на чтение пришедших страниц с его лирическими миниатюрами, очень близкими, кстати сказать, по своей мудрой созерцательности именно японской поэзии. Поэтому можно поставить в упрек нашему японисту, когда он, говоря о родственном умении видеть и понимать природу, приводит текст из газеты (В.Бочарникова из деревни Нелидово Костромской области) и не вспоминает при этом о таком огромном явлении русской культуры, как Михаил Михайлович Пришвин. Объясняя нам своеобразие мироощущения Кавабаты Ясунари, как-то естественнее было бы поставить рядом с ним именно Пришвина.

Но это лишь единственный упрек Николаю Трофимовичу Федоренко. В остальном, если вы хотите узнать о Японии побольше, нежели знаете, о своеобразии домашних интерьеров и о чайных церемониях, о театре, поэзии и живописи, о японских садах и японских цветах, о японских традициях и о новом, что приходит в японскую жизнь и японское искусство, а главное, конечно, о замечательном художнике нашего времени Кавабате Ясунари, прочитайте книгу.

Душа Японии стоит того, чтобы попытаться ее понять.

Владимир СОЛОУХИН.



ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СМЕХА

Сатира и юмор: стихи, рассказы, басни, фельетоны, эпиграммы болгарских писателей. М. «Художественная литература», 1982. 533 стр.

«И мне освободят одно из мест, и, умиляясь, зов души услышат — и на меня рецензию напишут правдивую, как ордер на арест», — читаем мы у Димчо Дебе-

лянова (в переводе Г. Ефремова), поэта, который закончил свой путь в годы первой

¹ Стихи цитируются по памяти.

мировой войны. Вот я и пишу рецензию. Правда, не на одного Димчо Дебелянова, а на целый сборник лучших представителей болгарского юмора и сатиры.

...Юноша стоял у подножия лестницы, он хотел подняться и отомстить тем, кто вверху, за тех, кто внизу. Но Сатана, охранявший лестницу, потребовал плату — его слух. Юноша поднялся на три ступени, но теперь слышал снизу не стоны, а смех. За следующие три ступени Сатана потребовал его зрение. И теперь он видел внизу алые цветы, а не кровавые рубища. Так он поднимался все выше и выше, оставляя на каждой ступени часть себя прежнего, поднимался, чтобы отомстить ненавистным князьям, но когда поднялся, они уже не казались ему ненавистными. «О, как прекрасна земля и как счастливы люди!» — воскликнул он (Христо Смирненский, «Сказка о лестнице»).

Автор этой притчи прожил всего двадцать пять лет, но самые зрелые из них совпали с напряженнейшими годами истории — с 1914 по 1923 год. Его «Красный смех» стал манифестом революционной сатиры:

О смех, кипящий в черной чаше,
смех, где смешались кровь и яд.
заставь забыть все муки наши,
наполни бодростью наш взгляд.

(Перевел П. Железнов)

«Сказка о лестнице» — одно из последних произведений Смирненского. Очень верно сказал о ней в предисловии к сборнику Д. Николаев: «Здесь нет конкретно-исторических реалий, нет той видимой «сиюминутной» злободневности, которая характерна для фельетона. Здесь злободневность иная — внутренняя, эпохальная».

Сатира, как и литература вообще, имеет право на эпохальную злободневность.

С такой злободневностью мы встречаемся в рассказе Светослава Минкова «Удивительный смех в Рамонии». В этой сказочной стране было запрещено «торговать красными предметами (красными розами, красной капустой, вишнями, мусульманскими фесками, плащами тореадоров и пр.), чей цвет невольно напоминал о трижды проклятом коммунизме...». Кроме того, здесь был издан декрет о смехе, строжайше запрещавший «смех по личным причинам во всех его формах и разновидностях, как и всякие провоцирующие смех деяния, как то: щекотку, представление комедий, водевилей и фарсов, распространение шуток, анекдотов, острот и пр.». Вместо этого «самопроизвольного» смеха был введен государственный смех, но на-

род проявлял к нему равнодушие и предпочитал смеяться смехом, который карался смертью, каторгой и тюрьмой.

И не здесь ли, не в Рамонии ли,

То, что давно бы затерялось где-то,
осталось жить в доносе на поэта.

Благодаря чему через века
смеемся мы над шуткой остряка.

Свою «Оду доносительству» Радой Ралин заключает энергичными строками:

Я славлю доносительство как средство
хранить литературное наследство.

(Перевел Н. Гребнев)

Димчо Дебелянов при жизни не издал собственного сборника. Он был солдатом в первую мировую войну. Война рождает героев, но убивает людей. Правда, герои живут дольше, потому что они живут в памяти, где жить легче, где ничто не сокращает жизнь.

В рассказе Чудомира, одного из авторов сборника, односельчане соорудили памятник своим героям из цемента. Памятник изображал солдата с винтовкой, которая со временем рассыпалась, и воину вставили в руку настоящую винтовку ночного сторожа. Днем винтовка служила памятником, а ночью сторож ее вынимал, и она возвращалась к своим прямым обязанностям. Сторож ходил с ней по деревне, охраняя живых. А днем винтовка охраняла память о мертвых.

Война враждебна юмору: Димчо Дебелянов погиб на войне. Война вообще враждебна всему человеческому.

Именно эту мысль утверждает Любен Дилов в рассказе «Вперед, человечество!». Утверждает — отрицая, высмеивая противоположную мысль.

Внеземная цивилизация похитила земных сумасшедших. Там, у себя, их вылечили, создали им прекрасные условия для жизни. Но земляне хотят вернуть своих сумасшедших. И, забыв свои междуособные распри, они идут войной на внеземную цивилизацию. «Так человечество наконец объединилось, как будто только наличие сумасшедших мешало ему сделать это раньше!»

Берегись, внеземная цивилизация, от войны тебе не уйти, потому что «было бы не по-человечески, если бы все закончилось мирными переговорами».

«Вперед, человечество!»

Так человечество смеется над собой, чтобы избавиться от своих недостатков. У него ведь есть недостаток, как бы его ни пытались хвалить: оно — человечество и ничто человеческое ему не чуждо.

Смеяться над своими недостатками трудно, но иногда легче, чем над чужими, особенно если они принадлежат человеку уважаемому. Пока незадачливый председатель горсовета Цоне Мечков был на своем посту, над ним никто не смеялся. Но стоило ему временно исчезнуть, народ решил, что он исчез навсегда, и стал о нем говорить все что думал. Такое мнение создали о председателе, что лучше уж ему было не возвращаться. А он вдруг вернулся — с охоты на кабана (Христо Михов-Черемухин, «Кабан»).

Трудно смеяться над уважаемым человеком — не потому ли так трудно смеяться над собой? Но человечество всегда умело смеяться над собой. И болгары умели — как достойные представители человечества. Не случайно их город Габрово стал одним из центров юмора и сатиры.

Всем известны анекдоты о бережливости габровцев. Зачем высмеивать кого-то? Лучше тратить собственный юмор на себя: от этого и себе польза и другие не обидятся.

Ну разве не польза: Цоню Ючбунарскому предъявили обвинение, а он придумал себе алиби. Оказывается, в день преступления он с утра покупал в магазине тесьму, затем цемент, масла и так далее. Но алиби его провалилось: где вы видели в магазине тесьму? а цемент? а масла? (Генчо Узунов, «Еще одно алиби провалилось»).

Когда это болгары научились так хорошо смеяться над собой? Не во времена ли пятисотлетнего чужеземного владычества?

И вот ирония судьбы (такая серьезная вещь, как судьба, тоже не чужда иронии): казалось бы, многовековое рабство должно отучить народ от юмора, а оно, наоборот, ему учит. Рабы (не по духу, по положению) обладают большим чувством юмора, чем рабовладельцы. Пример тому — раб Эзоп. Правда, это очень старый пример, не вполне подходящий для нашего времени. Но почему бы не учиться на старых примерах?

Вот смутьян Хук из одноименного рассказа Василя Цонева. Он доказывал своим соплеменникам, что нужно одеваться теплей, а не так, как они привыкли с тех пор, когда жили на солнцепеке. С большим трудом ему удалось убедить в этом соплеменников, он стал их вождем и сумел опять вывести их к солнцу. Но сам попал в плен к врагам и вернулся лишь спустя много лет. И что же он увидел? Под палящим солнцем парятся его соплеменники в меховых одеждах. И он уже не смог их переучить, потому что в самом центре возвы-

шался огромный памятник великому Хуку, заветам которого они неуклонно следовали.

Конечно, и этот пример устарел. Но почему бы не поучиться на устаревших примерах?

Вот пример поновей, в котором действует тоже Хук, но из другого племени и другого рассказа другого автора (Петр Незнакомов, «Как мы обменивались опытом со страной Луанда-Гурунди»). Этот Хук во всем противоположен первому. У себя на севере он пытался применить африканский опыт, используя вместо оленей слонов, и это привело к печальным последствиям. Используя боксерскую терминологию — хук слева или хук справа, — последствия одинаково печальны: само дело в нокауте.

Так смеются современные болгарские сатирики вопреки лукавому совету своего патриарха, тоже одного из авторов сборника «Сатира и юмор», Петко Славейкова:

Ты, парень, поскорей за ум берись!
Умолкни и смирись!
Насмешкой не исправишь мира...
(Перевел Г. Ефремов)

Сам Петко Славейков, как и его товарищи по сборнику и по жизни Любен Каравелов, Христо Ботев, Иван Вазов, не смирился, не «взялся за ум», всю жизнь боролся за освобождение своей родины от османского ига. И сатира была не последним средством в его борьбе.

Мы часто сравниваем слово с делом, отдавая предпочтение последнему, но слово не последнее средство и в деле и в борьбе. Об этом убедительно говорит Йордан Радичков в рассказе «Сила слова». У него в этом рассказе слово выполняет любую физическую работу: копает землю, возит бревна, доит овец. И слыша, как петух проносит речи на заборе, куры несутся от одного этого. Вот какова сила слова!

Правда, словом нужно уметь пользоваться. Так же как и молчанием. В рассказе «Наш бывший товарищ Бобби» Георгий Друмев по этому поводу говорит: «...когда вызывают к доске, самое страшное — молчать. Это даже страшнее, чем заговорить на собрании».

Но если уметь молчать, слово — великая сила.

Сатиру звонкую сложить,
порок бичуя рьяно,—
что сигарету прикурить
от кратера вулкана.

(Радој Ралин; перевел И Гребнев)

Настоящая сатира правдива даже тогда, когда выглядит невероятной.

Лев хочет побороться с человеком, но тот все время гоняет его за справками. То

за справкой об образовании, то за справкой об уплате подоходного налога, то за справкой о несудимости. И когда, одряхлев от скитаний, лев приходит с ворохом справок и спрашивает: «Ну, что? Теперь поборемся?» — человек отвечает: «А я только и делаю что с тобой борюсь». И пинком под зад выбрасывает льва в окно» (Христо Пелитев, «Сказки о людях и о животных»).

Однако сборник «Сатира и юмор...» — это не только сатира, но и юмор, без которого в жизни еще трудней обойтись. Без сатиры, бывает, еще обходятся, но без юмора — никогда. Сатира — дело общественное, а юмор нужен каждому отдельному человеку. Там, где его нет, возникают ссоры, скандалы, разбиваются семьи — словом, происходит множество неприятностей.

Может быть, именно юмора не хватало герою рассказа Василя Цонева «Поехали на отдых!», когда, приехав на отдых, он пытался уснуть, а дочка одолевала его вопросами. После долгого поединка с дочерью, в котором он неизменно терпит поражение, ему наконец удается спровадить ее во двор. И уснуть. И увидеть сон.

Но тут он почувствовал, что кто-то дышит ему в лицо. Он открыл глаза и увидел с десяток склонившихся над ним ребятишек, которые с любопытством его разглядывали. Его дочь гордо показывала на него пальцем и говорила: «Это мой папа!»

В такой ситуации героя мог бы спасти только юмор, и он имел бы его в избытке, если б прочитал этот рассказ. А может быть, ему и не было бы так смешно, как нам с вами, потому что мы-то над ним смеемся, а ему пришлось бы смеяться над собой.

«Когда по селу разнеслась весть, что дед Матейко помер, никто не поверил, потому что старик любил пошутить, да и раньше ничего такого с ним не случалось» (Елин Пелин, «На том свете»).

Даже рядом со смертью юмор умеет сохранить веселое настроение, и его улыбка не кажется неуместной. Это и помогает ему если и не бороться со смертью, то по крайней мере игнорировать смерть.

«...до чего же интеллигентный человек староста деревни Крива Слива, одно слово — инициатор!.. Надумал вырыть яму для мусора и дохлых кошек — и вырыл, теперь туда по ночам живые люди падают!» (Чудомир, «Памятник»). Это уже не просто юмор. В той жизни, которую принято называть действительностью, юмору трудно остаться юмором, он то и дело срывается на сатиру.

Вот, казалось бы, просто комическая си-

туация: вор забрался в чужую квартиру и в хозяине, который тихонько проник в комнату через балкон, не признает хозяина, а видит своего конкурента. Хозяин этим возмущен, он называет вора ворюгой, и тот внезапно обижается: «Ну, спасибо! Значит, ворюга? Вот до чего дожили! Люди хапают тысячи и миллионы, и то их ворюгами не обзывают, а я, значит, ворюга только потому, что вот уже полчаса скребу — двух левов наскрести не могу, хоть за такси заплатить!» (Георгий Друмев, «Ворюга»).

Здесь опять юмор срывается на сатиру. Может быть, сатира — это и есть юмор, обогащенный жизненным опытом?

Если б в жизни все было просто..

— Хозяин, почему меня ты держишь в клетке?

— Тебя попробуй только отпусти — останутся лишь перышки да ножки!

Я берегу тебя от кровожадной кошки!

— Тогда не лучше ли, так жизнь мою

храня,

ту кошку запереть, а выпустить меня!

(Банчо Банов, «Канарейка и кошка»;

перевел С. Михалков)

Если б в жизни все было просто, преступники сидели бы взаперти, а жертвы их не были б жертвами, спокойно жили бы на свободе. И в этом случае юмор оставался бы юмором. А так он тяготеет к сатире. Он становится сатирой, осмысливая жизнь.

В Буракании, которой правил добрейший и справедливейший царь Бурак Пятый, фактически всем заправляет его любимец — белобородый карлик Тинтирин. Чтобы ему угодить, царь провозглашает его то первым звездочетом, то главным полководцем, то лучшим водолазом. Но Тинтирин хочет, чтобы все восхищались его игрой на дудочке, и царь издает об этом специальный указ, предписывающий всем аплодировать игре Тинтирина. Что было делать подданным? «Давайте аплодировать, — решили они про себя. — А что мы думаем о музыканте — дело наше. Разве может кто-нибудь проникнуть в наши мысли?» (Светослав Минков, «Карлик Тинтирин»).

Сборник «Сатира и юмор...» сравнительно молодой: из сорока шести его авторов только один родился раньше нашего Щедрина, только шесть — раньше Чехова, а большинство родилось позже нашего Михалкова. Это молодая литература. Молодая еще и потому, что некоторые даже старые ее представители, современники Чехова, не доживали и до тридцати. Сатира с момента своего зарождения была самым рискованным жанром..

Но можно понять этот страх и печаль: ведь если прочтет о себе Кристобаль, то выйти придется на пенсню, уехав подальше, в Валенсию. А если дойдет до Альфонсо. ● он точно застрелит его как собаку — и точка!

(Валерий Петров, «Баллада о контр-адмирале»; перевод В. Бахнов)

Как хорошо, что у болгарских сатириков не возникает подобных соображений, что они помогают своему народу, да и всему человечеству смеяться над собой, чтоб избавляться от своих недостатков. И как хорошо, что «национальную сатиру и национальный юмор болгары берегут столь же тщательно, как и реликвии героические, общекультурные» (Д. Николаев).

Впрочем, здесь уже речь не только о болгарях: книга-то издана у нас.

Девиз города Габрова, всемирно признан-

ного центра юмора и сатиры, — «мир уцелел, потому что смеялся». Применяя его к будущему, можно сказать: «Мир уцелеет, если будет смеяться».

Конечно, это не главное и не единственное условие, но если мир не будет смеяться, ему будет трудно уцелеть.

Я вспоминаю молодого немца, который с двухлетней дочкой ехал на габровский фестиваль. Он объяснил, что хочет с детства воспитать в дочке чувство юмора. Он-то думал о будущем дочки, но выигрывало от этого будущее всего человечества. Это будущее должно уметь смеяться, чтобы не стать прошлым прежде времени. Чтобы двигаться легко и свободно, поднимаясь со ступени на ступень, будущее должно смеяться.

Ф. КРИВИН.

Ужгород.



ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛИ ЧУВСТВ

Марина Тарасова. Колокольное дерево. Стихи. М. «Современник». 1983. 79 стр.

Марина Тарасова. Гориславль. Повесть и рассказы. М. «Советский писатель». 1983. 256 стр.

Профессиональное самолюбие, похоже, побуждает Марину Тарасову восполнять ее образный мир до «полного объема», декорируя его орлиными крыльями, волшебными санями, удалыми полозьями и державными снегами; однако сквозь этот посвист слышишь реальность — сорванный голос, прячущий от всех несчастную любовь, тихо жалующийся: «Я не хочу любви в стихах — хотя б немного счастья в жизни...» Дальше декор: «...но снег метет, и ночь слепа в своей жестокой укоризне».

В первой прозаической книжке М. Тарасовой нет такой профессиональной уверенности (стихотворных сборников у нее вчетверо больше); поэтому драма тут виднее, она почти не прикрыта и явственно проступает сквозь тоненький нервный штрих бытописания; иногда этот штрих очерчивает контуры тихих видений, во власти которых находятся герои Тарасовой: студенты, ученые, художники. Треугольники чувств, пунктиры симпатий, перекрестки и разрывы связей — хаотическое смешение расколотых душ и расстроенных судеб. В шеренге женских портретов, тут представленных, нетрудно различить списанные с натуры и исторгнутые из собственной души, однако суть не в этом, а в ощущении общей судьбы: обездоленные героини Тарасовой (приятные и менее при-

ятные, близкие ей и далекие, родные и чужие) все по-бабьи несчастны и поэтому все по-бабьи правы. Хотя они и соперничают из-за какого-нибудь забываемого мужчины, брезгливо при этом подталкивая его друг к другу. Мужчина же забываемый, шатаясь между любящими женщинами, искренне желая им всем счастья и по очереди делая их всех несчастными, — он-то, по сути, несчастнее их всех; в его смертельной саморастрахе, в его инфарктной развинченности как раз и таится корень зла, который чувствует и вокруг которого кружит Тарасова.

С каким облегчением я прилепил бы к этому герою проверенный ярлык потребителя, будь он поглубже, помещанистей, что ли, гоняйся он за удовольствиями или хоть за модными тряпками. Так нет же! Бесребреник! Страдалец! Жертва! И, что ни говори, интеллигент приличной пробы: Данте, Кафку, Фолкнера читает, Босха и Боттичелли держит перед глазами, Моцарта слушает, эпиграф из «Алисы в стране чудес» к главе «Скаляры и векторы» оценил в английской книге по физике. Я не смеюсь: это лучше, чем обычный ширпотреб, выше, чище, тоньше. Но и тревожнее...

Тип такого духовного обустройства выявлен у М. Тарасовой через манеру видеть город (любимый ею Ленинград); тут сама

логика видения характерна: прежде всего воспринимаются глаза, потом над ними обнаруживаются брови, потом выясняется, что внизу есть еще губы и подбородок, но это уже неинтересно. Интересно все воздушное, высокое, неземное; как только доходит до «ножа и вилки» — все падает, все брошено, все разваливается и перестает существовать. Реально и целостно герой воспринимает только нелюбимых женщин, любимая же является в разрозненных воздушных штрихах: выгоревшая прядка волос... носок босоножки... уголок рта... Как только детали грозят соединиться в нечто целое, из плоти и крови, у героя опускаются руки, то есть крылья.

Он человек свободный, отрешенный, одухотворенный. Он строитель воздушных замков. Он освобождается — в вакуум, в опустошение; он строит из песка и на песке; его одухотворение бессильно и двумерно, плоско, прозрачно. Это потребительство, но не то сытое, тяжелое, чавкающее и гребущее, которое мы знаем от веку, — это какой-то новый вариант потребительства: духовное потребительство, эйфория творцов, возвышенное пресыщение, характерное для эпохи научно-технической революции, массовой информации и комфорта души.

Вряд ли героини М. Тарасовой видят это явление достаточно резко; здесь не тот ху-

дожественный воздух; М. Тарасова и сама любит этот человеческий тип. Но тревога, нутром, «чутьем» улавливаемая ею в атмосфере, окружающей этого воздухоплователя чувств, сквозит в тоненько прорисованных лирических пейзажах.

Разочек прорвалась атмосфера. С изумлением и странной завистью описана в рассказе «Свадьба» история, происшедшая в общежитии строителей: ладная, круглолицая Ритка Голованова женит на себе Толяна Иванькова, подав в милицию заявление, что он ее изнасиловал; Толян женится поневоле, чтобы избежать дела, но в ходе подготовки к свадьбе соображает, что «комнату дадут», что его, «кажется, любят» и что он сам эту Ритку уже тоже, кажется, любит. И будут счастливы! Баба лучше знает, чего мужику надо.

Хочется подойти к наблюдающей все это лирической героине, тронуть ее за руку и сказать на ухо сквозь «выгоревшую прядь»: «Не обольщайтесь! У вас этот номер не пройдет. Ну какая вы баба, вы... бабочка. Они действительно будут счастливы. А вы — нет».

Взлетая, бабочка не знает,
а только зрит, что умирает.
и оттиск крыльев на листке
подобен жилке на виске.

Л. АННИНСКИЙ.



Политика и наука

КРАСНАЯ РОЗА

Игорь Минутко. *Восхождение. Повесть о Розе Люксембург.* М. Политиздат. 1983. 426 стр.

Бывают люди, как будто рожденные с революционным огнем в душе. Такой была польско-немецкая коммунистка, жизнь которой описывает И. Минутко.

Красавицей Роза Люксембург не была, она даже прихрамывала, но на людей влияла с необыкновенной силой. Энергия и обаяние соединились в ней с на редкость аналитическим умом и магнетическим ораторским талантом.

Рабочие называли ее «наша Роза». Создать левое, марксистское крыло в германском рабочем движении, крыло, из которого потом выросла Коммунистическая партия Германии, ей вместе с Карлом Либкнехтом, Кларой Цеткин, Францем Мерингом и Лео Йогихесом удалось в течение двух десятков лет. Те, кто ее видел и слышал, говорили потом: мы не можем ее забыть.

Чтобы понять, какой она была, достаточно привести ее слова в письме одному из ее близких друзей, цитируемые в данной книге: «Моим идеалом является такой социальный строй, при котором можно было бы с чистой совестью любить всех. Стремясь к нему и во имя его, может, я могу ненавидеть». Тогда ей было четырнадцать—пятнадцать лет. В другой раз она писала из тюрьмы: «Я чувствую себя дома во всем мире, где есть облака, птицы и человеческие слезы».

Автору книги удалось нарисовать довольно цельный портрет героини. Я не знаю, сколько немецких и польских источников он использовал, но хотя работа написана в жанре художественной повести, она полна фактами и документальными подробностями. Многое автору, очевидно, дали сохранившиеся письма Розы Люксембург

друзьям и отчеты об ее публичных выступлениях.

И. Минутко описывает почти всю ее жизнь начиная с ранней юности в Варшаве, когда в возрасте четырнадцати лет она погрузилась в польское рабочее движение. Наиболее удачна, мне кажется, та часть книги, которая касается пребывания Розы в кайзеровской Германии и ее страстной борьбы с отравлявшим немецкую социал-демократию ревизионизмом Эдуарда Бернштейна. Сам Бернштейн никого так не боялся, как ее. В 1913 году он даже попытался лишить Розу права преподавания в Центральной школе социал-демократической партии. Роза Люксембург действительно могла не только любить, но и ненавидеть.

Для современного, в особенности молодого, читателя в книге, пожалуй, недостает хотя бы сжатого описания широкого социально-экономического фона жизни в тех странах, где Роза Люксембург действовала. Что это была за страна тогдашняя Польша? Что за страна тогдашняя Германия? Сам И. Минутко это знает, старики кое-что помнят, а молодые читатели 80-х годов? Им некогда рыться в справочниках.

Может быть, этот пробел можно было бы восполнить за счет некоторого сокращения подробностей о романтических привязанностях Розы Люксембург? Это сделанное мимоходом замечание указывает не на ортодоксальный консерватизм рецензента, а скорее на желание возможно более уравновесить частное с политическим. Рецензент, однако, согласен с автором в том, что личное и женское играло в жизни Розы Люксембург немалую роль. Это делает ее облик в книге еще более человечным и достоверным.

Любовь к революции у нее была безграничной. Самым главным в политической деятельности Розы Люксембург было, несомненно, то, что она вместе со своими соратниками внесла дух большевизма в германское рабочее движение, успев сделать значительную часть участников этого движения надежными союзниками советской России. Это стоило ей и ее друзьям огромных, сегодня трудно представляемых усилий, порой даже страданий, а некоторым из них, как и ей самой, в конце концов стоило жизни.

Быть левым на Западе в годы перед, во время и непосредственно после первой мировой войны было не так просто. Основать коммунистическую партию по примеру советской было героическим актом. В

книге Минутко рассказывается, как Роза Люксембург, только что выпущенная из тюрьмы (она пробыла тогда в заключении почти три с половиной года), 30 декабря 1918 года держала на учредительном съезде Германской компартии программную речь. В ней она заявила: «...сегодня... мы можем сказать: мы снова с Марксом, под его знаменем». Две недели спустя немецкие контрреволюционеры, входившие в подчинение к социал-демократическому военному министру Носке, выстрелом в голову ее убили, бросив труп в канал. Установлено, что на следующий день их компания устроила по этому поводу пьянку, во время которой участники убийства в восторге от своей удачи сфотографировались вместе. Останки Розы Люксембург были обнаружены только более четырех месяцев спустя.

Ей отомстили за то, что она с первых лет участия в революционной работе была марксисткой-интернационалкой.

Роза Люксембург предвидела будущее. В 1906 году она заявила на мангеймском съезде германских социал-демократов: «С русской революцией мы вступили в переходный период от капиталистического к социалистическому обществу». Это была мысль Ленина. Тогда же она подчеркнула, что германский рабочий класс должен использовать опыт этой революции.

В феврале 1917 года Роза Люксембург, находясь в тюрьме, писала другу: «Великолепные дела в России действуют на меня, как эликсир жизни... Происходящее в России должно осветить своими лучами всю Европу».

Верно, что иногда, в частности в годы перед Октябрем, у Розы Люксембург были некоторые разногласия с Лениным. Но в основном они были единомышленниками. Летом 1906 года они виделись в Петербурге, в мае 1907 года вновь встретились на V съезде РСДРП в Лондоне. В основном Роза Люксембург шла в ногу с большевиками. Недаром Владимир Ильич впоследствии, в 1922 году, назвал ее орлом, великой коммунисткой. «...не только память о ней будет всегда ценна для коммунистов всего мира, но ее биография, и полное собрание ее сочинений... будут полезнейшим уроком для воспитания многих поколений коммунистов всего мира»¹.

И. Минутко не забывает и о том, что имеет для нас сегодня особенно актуаль-

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 421—422.

ное значение. Роза Люксембург вела страстную, непрестанную борьбу против угрозы войны, уже отчетливо обозначившейся на европейском горизонте. В 1907 году на Штутгартском конгрессе Социалистического Интернационала она совместно с Лениным готовит резолюцию против войны и за использование вызванных войной кризисов для устранения господства капитала. В 1912 году она предлагает внести в рейхстаг законопроект о ликвидации постоянной армии и замене ее милицией. 28 июля 1914 года, за считанные дни до начала войны, она пишет, что у пролетариата есть свой метод сохранения мира. «Это, в сущности, тот самый метод, который издавна так великолепно и славно применяется птербургским пролетариатом...»

1 августа 1914 года, в день объявления Германией войны, на квартире Розы Люксембург вечером собрались ее друзья. Она и Меринг написали заявление, в котором с возмущением протестовали против предательской позиции социал-демократов в

рейхстаге, проголосовавших за военные кредиты.

Прошло семьдесят лет. Человечеству грозит новая война, в которой империалисты намерены применить ядерное оружие. И, читая пламенные статьи Розы Люксембург, написанные в те годы, мы чувствуем, что она как будто и сейчас рядом с нами — выступает с взволнованной, боевой речью против войны.

И. Минутко написал о жизни Розы Люксембург серьезную работу. Лишь на сбор материалов у него, вероятно, ушли годы. Можно только пожалеть, что о последних годах жизни Розы Люксембург и особенно о периоде первой мировой войны в книге написано мало. Не на очереди ли второй том, посвященный эпилогу?

Так или иначе, хорошо, что советские читатели будут больше знать о Красной Розе, отдавшей социализму все, что у нее было.

Эрст ГЕНРИ.



ИНИЦИАТИВА И КОНТРОЛЬ

К. Муздыбаев. Психология ответственности. Л. «Наука». Ленинградское отделение. 1983. 240 стр.

Почему одни люди обладают развитым чувством и сознанием ответственности, а другие нет? Какие конкретные социальные и культурные факторы благоприятствуют формированию ответственного поведения, а какие, наоборот, ему препятствуют? Какова мера индивидуальной ответственности при коллективных решениях? Эти и подобные им вопросы относятся не только к сфере этики и психологии. Решение сложных народнохозяйственных задач, обсуждавшихся на декабрьском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, неотделимо от борьбы с безответственностью и обезличкой во всех звеньях нашей жизни. Поэтому книга ленинградского психолога К. Муздыбаева будет, на мой взгляд, интересна не только специалистам. Три ее части посвящены трем самостоятельным аспектам проблемы: ответственность как свойство личности, осознание ответственности и реальное ответственное поведение, ответственность в системе управления.

С точки зрения психологии личности наибольший интерес представляет, вероятно, первая часть книги, где подробно рассмат-

ривается, с какими чертами личности связано и на основе каких психических процессов формируется и развивается чувство социальной ответственности. Экспериментальные данные на сей счет фрагментарны и подчас противоречивы. Особенно остро сказывается недостаток исследований, в которых психические свойства и поведение людей изучаются на протяжении длительного времени и даже всей жизни, а ведь именно эти работы особенно убедительно показывают, какое большое значение в человеческой жизни играет самостоятельность, способность и желание самому принимать важные решения, без чего невозможна индивидуальная ответственность за последствия своих действий или бездействия. К. Муздыбаев правильно связывает формирование чувства ответственности с общими процессами социально-нравственного развития личности и индивидуального стиля жизни, отличающегося большой устойчивостью.

Знание внутренних механизмов и «хитростей» нашего рассудка весьма существенно для эффективного самоуправления и по-

нимания поведения людей, в частности развития их инициативы. Обыденное сознание часто сводит ее оценку к противопоставлению активности и пассивности. В действительности подобных «опозиций» много больше: активность — пассивность, самостоятельность — зависимость, творчество — репродуктивная деятельность и т. д. Все они встречаются в разных сочетаниях, не допускающих однозначных характеристик по принципу «хорошо — плохо».

Разумеется, без определенной самостоятельности инициатива и личная ответственность вообще невозможны. Так, изучая детерминанты и эффект осознания трудовой ответственности у 540 ленинградских рабочих, К. Муздыбаев отмечает, что они чувствуют себя более ответственными за выполнение основных, а не второстепенных обязанностей и за конечный результат труда больше, чем за выполнение частичных операций. Мера личной ответственности работника пропорциональна его вкладу в принятие и осуществление важнейших решений, определяющих направление трудовой деятельности. При этом у людей, труд которых контролируется слишком часто и до тошно, уровень ответственности снижается.

Последний вывод может на первый взгляд показаться странным. Однако он то-

чен и, кстати сказать, полностью совпадает с результатами большого, двадцатилетнего международного исследования, выполненного под руководством М. Кона в США, ФРГ, Италии, Ирландии, Польше, Перу и Японии, которое показало, что излишне тесный, мелочный контроль снижает меру самостоятельности работника, а тем самым и его чувство личной ответственности.

Этот вывод имеет большое практическое значение и для каждого конкретного производственного коллектива, и для каждого трудящегося в отдельности. Нужно, подчеркивает автор «Психологии ответственности», такая форма организации труда, которая дает максимум самостоятельности: работа на самостоятельном участке, возможность самому выбирать способы выполнения задания, необходимость самому вести учет результатов труда.

В этом направлении и идет сегодня социально-экономический поиск, стремящийся гармонически сочетать индивидуальные и коллективные формы инициативы и ответственности на всех уровнях воспитания, производства и управления.

И. КОН,

доктор философских наук.

Ленинград.



КОРОТКО О КНИГАХ



ВЛАДИСЛАВ ШОШИН. Ленинградская симфония. Л. Лениздат. 1983. 111 стр.

У книжки этой, по существу, три автора: поэт Владислав Шошин, художник Андрей Ушин и написавший выразительное предисловие Михаил Дудин (весь гонорар от книги поступил в фонд мира).

«Свое новое произведение Владислав Шошин,— пишет Михаил Дудин,— назвал «Ленинградской симфонией» не только потому, что главным его героем является родной город поэта, но и потому, что эта своеобразная лирическая композиция действительно напоминает музыкальное сочинение».

Да, поэтические мотивы в коротких шестнадцатистрочных стихотворениях вольно переплетаются, рождая в душе читателя ассоциации лирические, социальные, исторические,— все происходит именно так, как в сложном музыкальном произведении. А замечательные гравюры Андрея Ушина создают как бы созвучный изобразительный ряд — и строгий и эмоциональный.

Владислав Шошин (как и Андрей Ушин и Михаил Дудин) самое трудное время блокады был в осажденном городе. Боль его выстрадана и выношена сердцем, отчего и лиризм становится более пронзительным. Книга написана во славу победы над врагом, во славу сорокалетия со дня окончательного снятия блокады.

Свежесть мировосприятия и современность проблематики в стихах В. Шошина были отмечены критиками уже при появлении его первых книг. Так, Александр Прокофьев в одной из своих статей говорил, что «Шошин весь в обаянии лирики, в восхищении перед красотой открывающейся его взору русской природы, перед путями, на которые зовут юность, молодость, родные просторы».

Пристально наблюдал за поэтическим развитием и ростом молодого своего коллеги Николай Тихонов.

Лучшие качества своей юности В. Шошин с годами не растратил. Вслушаемся в эти строки:

Город мой, все с тобой — и восторги мои,
и печали.
Ландыш первой весны и нахмуренной
осени взгляд.
Одинокая грусть, что под белыми бродит
ночами
И в которой не ты, уж конечно, не ты
виноват.

Лирическая проникновенность, пожалуй, главная черта, лейтмотив всей «Ленинградской симфонии». Я бы даже сказал так:

ритм этого необычного произведения диктуется и ритмом сердца, и ритмом бурного, все усложняющегося мира. А в итоге рождается образ города на Неве, города трех русских революций, города великого Октября... И это главное в новой книге Владислава Шошина.

Вячеслав Кузнецов.

Ленинград.



ВЛАДИМИР ШОРОР. Пошлите меня в разведку. М. «Современник». 1983. 272 стр.

В одном из рассказов этой книги Владимир Шорор вспоминает о том, как он, студент Литературного института, после долгих творческих мучений над очередным рассказом отправился за советом и моральной поддержкой к своему наставнику и руководителю семинара Константину Паустовскому.

В тот ветреный февральский вечер между Паустовским и его студентом состоялся разговор, определивший, как мы понимаем, писательскую биографию В. Шорора. Рисую с благодарной памятью образ учителя, он приводит его слова о главных секретах мастерства: «Надо пробиться сквозь напластования литературы к самому себе. А вы пока не пробились. Правда, проблески этого кое-где есть. Вот, например, когда вы пишете: «...нам приносили в окопы пшеничную кашу со льдом и черные — сломаешь зубы — сухари». Это — ваше, только ваше! Этого я нигде не встречал. Здесь вы начинаетесь как писатель.— Он снова прочел эту фразу, оценил ее отдельно от рассказа: — Хорошо! Больше давайте самого себя, своей жизни, своей биографии».

Писательская манера В. Шорора отчетливо тяготеет к лирико-автобиографической форме, в его прозе явственно преломился личный жизненный опыт. Он находит темы и сюжеты прежде всего в своей юности, связанной со службой на границе и участием в войне, затем с учебой в Литературном институте.

В повести «Пошлите меня в разведку», в рассказах «Иванов и его лейтенант», «Поющие журавли» В. Шорор обращается к теме народного героизма, развивая ее в естественном, реально-бытовом духе. Не претендуя на художественные новации, эти произведения любопытны по материалу (речь идет о дальневосточных событиях Великой Отечественной), по ряду психологических наблюдений.

С особой пристальностью писатель от-

носятся к людям, которые несут в себе запас честного мужества, гражданской и нравственной прочности. В повести зримо написаны портреты молодых офицеров, простых ребят, очутившихся волею судеб на Дальнем Востоке. Где-то на другом краю родины идет тяжелая война с фашизмом, а здесь длится и длится напряженное противостояние враждующих сторон. Япония давно готова к войне, но выжидает. Выжидают и наши. Напряжение нервов и чувств носится в воздухе, отражается на солдатских переживаниях. Друг рассказчика Костя Лазарев жаждет серьезного дела и ждет, когда его определят в разведку. Это ожидание выделяет его среди товарищей, хотя он, казалось бы, не делает ничего особенного, ни в чем не выходит за рамки солдатских будней.

Потом Лазарева заберут в желанную разведку, и автору никогда больше не доведется увидеть своего фронтового друга. Но когда в конце войны он встретится с нашими разведчиками, выходящими из тылов противника, ему вдруг станет до конца понятна жизнь Кости. Человек просто и серьезно собирался на подвиг.

В рассказе «Поющие журавли» опыт войны поворачивается к нам еще одной нравственной гранью, напоминая о необычной способности русского человека понимать других, проявлять благородство к недавним врагам.

Несложные по сюжету, произведения В. Шорора подчиняются принципу скрытого контраста настроений и ситуаций, высветляют в будничных эпизодах приметы ценности общезначимых. Если судить произведения прозаика по этому серьезному счету, то лучшим в книге нужно признать рассказы «Коньки-конечки», «Встаньте парами!» и повесть «Найдется добрая душа».

Рассказ «Встаньте парами!» отмечен тем единством смысла и чувства, какое искал в прозе своего студента Паустовский. Сначала на страницах возникают картины давней, довоенной поры. Школьники идут в первый класс, и новичков — мальчиков и девочек — разбирают на пары. Достается своя пара и нашему герою. Правда, это не та девочка, которую он поначалу хотел бы выбрать сам, но вскоре это забывается, потому что у него появляется новый друг, Наташа, его «пара».

В самом понятии «пара» есть что-то чистое, идиллическое. Взрослые разбирают детей на пары, не зная, что именно привнесут они в детские жизни. А жизни эти между тем наполняются радостью взаимного уважения.

Повесть «Найдется добрая душа» вновь переносит нас в среду Литературного института послевоенных лет. Нелегкие дни выпали на долю рассказчика и его друзей-студентов, будущих писателей. Есть что-то трогательное и щемящее в сценах, запечатлевших хлопоты нескольких парней о хлебе насущном, об общем столе. Маленькая драма, разрешившаяся счастливым и трудным обретением ведра с супом, напоминает о времени, о биографии поколения, о силе дружества и людях доброй души.

Перевернув последнюю страницу, мы убеждаемся: совет Паустовского писать свое не столь прост и общедоступен. Победа

естественности, искренности не зависит автоматически от обращения к личному опыту. Например, рассказы «Ты помнишь Цицикар?», «Грани пирамиды», «Главным номером» также, казалось бы, списаны с натуры. Однако они остаются лишь эмпирическими зарисовками. Только через органическое воплощение исторического содержания народной жизни и опыта людей своего поколения лирико-автобиографическая форма достигает уровня живой естественности и существенности.

А. Панков.



ИВАН ТВАРДОВСКИЙ. На хуторе Загорье. Документальная повесть. М. «Современник». 1983. 160 стр.

«Мы расстались по-братски нежно, как бы только до скорой непрременной встречи вновь. И я ждал ее. Но ни через неделю, ни через год встреча не состоялась. Я и тогда понимал, что быть братом совсем не значит быть другом: братьев не выбирают... Хоронить Александра Трифоновича я прилетал из Сибири, где живу по сей день» — такими словами, полными печали и достоинства, заканчивается книга воспоминаний Ивана Трифоновича Твардовского о большой семье Твардовских и о своем старшем брате — замечательном русском поэте. С отдельными воспоминаниями старшего из братьев Твардовских — Константина Трифоновича — читатель мог отчасти познакомиться по монографии А. Кондратовича «Александр Твардовский» (М. 1978). Несравненно более полные воспоминания Ивана Трифоновича, вышедшие теперь в серии «Новинки «Современника», являются, на мой взгляд, необходимым дополнением к известному сборнику «Воспоминания об А. Твардовском» (М. 1978, 1982).

Иван Трифонович со всей откровенностью дает читателю понять, что писать о внутренней душевной жизни брата, о его духовном становлении ему трудно и даже невозможно («Никогда, ни в тридцатые годы, ни позже, брат не посвящал родственников в тайны своих тягот и душевных страданий. Таков был его мужественный характер — сочувствия не терпел. Страданий же было у него — не счесть. Но хотя бы одно слово об этом!», и, может быть, потому его повествование вызывает полное доверие. Он просто (обстоятельно и в то же время немногословно) рассказывает о жизни на хуторе Загорье на Смоленщине (о труде, быте, окружающих людях), не обходя молчанием и горькие страницы в жизни семьи, — словом, обо всем том, что неизбежно участвовало в формировании Александра Твардовского — человека и поэта. Особенно привлекательна в рассказчике любовь к конкретным подробностям той жизни — как покрывали отцовскую кузницу вместо теса или железа соломой, пропитанной в глиняной болтушке, что за «историческая» наковальня стояла в той кузнице, даже каков тогда был спрос на кованные изделия... Неудивительно, что большое место в книге занимает образ отца — Трифона Гордеевича Твардовского. Он был

«человек очень сложный,— вспоминает рассказчик,— в его характере щедрость уживалась со скупостью, доброта с безучастностью... Спокойным, славящим бога за то, что есть, он никогда не был — искал, гадал, рисковал. Но все же кто, как не он, научил нас видеть красоту родного края, умению удивиться, понять, полюбить песню, присказку, одарить похвалой плясуна, весельчака, рассказчика?». Чье же влияние на развитие мальчика, которому суждено стать поэтом, было в семье главнейшим? — спрашивает рассказчик и твердо отвечает: отца. Именно он привил детям (и в первую очередь Александру) свою любовь к чтению, к родной словесности, что было в то время в той среде прямо-таки удивительно: «...в те годы наша семья слыла как бы странной и ходили о нас всякие, подчас язвительные, толки и рассказы. И соседям, и родственникам казалось, что случившиеся у нас материальные затруднения — результат зряшного устремления отца в «грамотные»...»

Иван Трифонович считает своим долгом опровергнуть бытующую версию о вражде отца к уехавшему в город сыну Александру: «...сказать, что между отцом и сыном возникла вражда... нельзя. Может, допускаю, у Александра что-то такое юношеское и появлялось, но у отца — нет, не могло быть. А были у отца свои законные опасения, что сын, по молодости своей, окажется на развилке опасных жизненных дорог, и это его терзало, но не сама, как главная причина, потеря в семье работника». Что ж, за такими, к счастью не оправдавшимися, опасениями стоял горький опыт трудящегося человека: «О городе и городской жизни тогдашнего времени он имел более достоверные понятия и высказывался примерно в том духе, что без специальности, без знакомств и добрых людей трудно или даже невозможно не оказаться в беде». К таким свидетельствам, мне думается, нельзя не прислушаться.

Эта небольшая по объему, но емкая по смыслу книга — ценный вклад в мемуарную литературу об Александре Трифоновиче Твардовском, классике советской литературы.

Андрей Василевский.



М. ЕФЕТОВ. Земля Новгородская. Документальная повесть. М. «Детская литература». 1983. 127 стр.

Это не первая книга М. Ефетова о Новгородском крае. О нем он писал и раньше, но то были книги, построенные на локальном материале, что видно даже по названиям некоторых из них: «Валдайские колокольцы», «58 дней в огне»...

Теперь давний интерес писателя к новгородцам, к их земле, природе, к истории края получил новый импульс. М. Ефетов углубляет и расширяет свой рассказ о новгородской земле, рассматривая ее как часть огромного региона Нечерноземья, как составную плана преобразования Нечерноземья. И чтобы донести до юного чи-

тателя (а именно ему адресована книга) весь смысл происходящих перемен, автор сопрягает события далекого прошлого и настоящего, тем самым помогая читателю разобраться в их причинно-следственных связях.

В книге нет последовательного развития какой-либо интриги, да и характеры героев поданы сухо, нарочито «по-деловому». Интерес здесь в другом — в сопоставлении исторических фактов, в прояснении той иногда еле уловимой ниточки, что тянется от Александра Невского, генералиссимуса Суворова к нашим дням, к современной нови Нечерноземья, этого «поворотного момента во всей нашей жизни, в культуре и экономике». Одна из глав так и называется — «О тысяче лет, которые позади, и о десяти годах, которые впереди».

М. Ефетов густо приправляет свою книгу цифрами, датами, отрывками из классических произведений, цитатами из далеких и близких источников. Мы узнаем, например, что в Новгороде в XIV веке было почти полумиллионное население, а по ревизии 1719 года в городе оставалось всего податной 2303 души. Советский предвоенный Новгород снова стал сравнительно большим городом, но вот после хозяйничанья там фашистов навстречу нашим войскам вышли несколько десятков жителей — все, кто остался в живых. Словом, говорит М. Ефетов, «если вычертить диаграмму населенности Новгорода полутысячелетней давности, то получится сплошной зигзаг».

Или вот в другой главе — «О сказках и электронно-вычислительных машинах и о том, что пока что называется фантастикой» — писатель позволяет себе помечтать уже о недалеком времени, когда помощниками хлеборобов будут ЭВМ, при этом автор не только констатирует факты, но старается прояснить закономерности развития, что особенно важно для читателя-школьника.

В книгу вкраплены и небольшие очерки о людях-тружениках Нечерноземья, кровно причастных ко всему, что происходило и происходит на этой земле. Рассказ об их судьбах, взаимоотношениях как бы моделирует преемственность поколений воинов и землепашцев. Но, повторю, не в этом главный интерес книги. Она покоряет удачным подбором фактов, к месту приведенной цитатой и, самое важное, мыслью, подсказанной для новых построений и обобщений.

К моменту обсуждения проекта школьной реформы в стране эта книга поспела как нельзя вовремя. На нее любопытно посмотреть глазами учителя: может ли она служить ему пособием в работе с детьми? Думается, что может.

Г. Воробьева.



ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ. НОМО LEGENS. Писатели XX в. о роли книги в жизни человека и общества. Составитель С. И. Бэза. М. «Прогресс». 1983. 454 стр.

Сборник «Человек читающий. Номо legens» — это книга о книге, составленная

из высказываний о книге и чтении писателей XX века. Хронологические ограничения связаны, думается, не только с желанием максимально приблизить содержание сборника к современности, но и с тем новым статусом, который приобрела книга в наше столетие.

Естественно, писатели — люди, создающие книги, — «обречены» на то, чтобы до последнего стоять под их знаменами. Но повторение традиционных похвал печатному слову занимает в сборнике незначительное место. Они, к счастью для читателя, отнесены на задний план размышлениями о проблемах спорных.

Сборник открывается знаменитым очерком М. Горького «О книге», хрестоматийная фраза которого «Всемирно хорошим во мне я обязан книгам» украшает сейчас плакаты почти каждой школьной библиотеки. Но углубившись в очерк, сразу убеждаешься, что суть его в мыслях отнюдь не хрестоматийных, но, напротив, острополюемических. «В природе, которая окружает нас и враждебна нам, красоты нет, красоту человек создает сам из глубин своей души». Уже эта цитата из той же горьковской работы может, на мой взгляд, ввести читателя в атмосферу напряженного спора, вспыхивающего между различными авторами сборника с первых его страниц. Спора, нередко не предусмотренного самими участниками «Человека читающего...».

В 1930 году Джон Голсуорси в статье «Литература и жизнь» утверждал, что через тридцать лет Пруста забудут («и останутся жить только те романы, в которых есть характеры и сюжет»). Однако это неточное предсказание почти незаметно на фоне другого несбывшегося пророчества, содержащегося в той же статье. Говоря о нависшей над миром опасности новых разрушительных конфликтов, Голсуорси выражал уверенность в том, что их удастся избежать. Всего четверть века спустя Натали Саррот, размышляя о значении опыта второй мировой войны для развития литературы, задавалась вопросом, который вряд ли мог прийти в голову автору «Саги о Форсайтах», будь он даже законченным пессимистом: «Какая вымышленная история может соперничать... с рассказами о концентрационных лагерях или о Сталинградской битве?» Традиции создания характеров и построения сюжета, которые Голсуорси считал непременным атрибутом подлинной литературы, казались Саррот безнадежно устаревшим и вполне условным приемом.

Разумеется, и это суждение не окончательно. Последние десятилетия вновь зафиксировали рост популярности традиционного романа, хотя, с другой стороны, уже очевидно, что и Прусту не суждено быть забытым. Но следовать за спором крупных писателей интересно и поучительно не потому, что в нем непременно должна родиться истина, — куда важнее то, что он позволяет почувствовать духовную историю нашего столетия. Это относится не только к тем очеркам и статьям, о которых здесь шла речь, но и почти ко всем материалам, вошедшим в сборник

«Человек читающий...». В 1888 году была написана заметка Анатоля Франса «Любовь к книгам» — размышления Виктора Шкловского «Прошлое, настоящее и близкое будущее» датированы 1981 годом. Это хронологические рамки эпохи, которую обнимает сборник, дающий ее срез в «плоскости» книги — самого тонкого и чувствительного инструмента человеческой культуры. Уэллс и Неруда, Брехт и Унамуно, Фолкнер и Акутагава — вот лишь немногие из авторов, чьи произведения помещены на страницах «Человека читающего...».

Громадный и, по существу, необъятный материал, который был в распоряжении составителя, делает любые замечания по поводу принципов отбора весьма спорными. Что ни включай в сборник, многие интересные и важные работы неизбежно окажутся за его пределами. Тем не менее досадно, что в нем не нашлось места для Валерия Брюсова — одного из создателей «книжной» поэзии нашего века, поистине с экзотической убежденностью провозгласившего, что «книги краше роз». Любая из брюсовских статей о книгах несомненно украсила бы сборник.

Впрочем, это лишь частное замечание. «Человек читающий...» безусловно выполнил свою задачу, живо, интересно рассказав о книге, рассказав одновременно и о «человеке пишущем».

Андрей Зорин.

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ. О материалистическом подходе к явлениям языка. М. «Наука». 1983. 319 стр.

Нет языка без общества, но нет и общества без языка. Язык не природное, а социальное явление. Эта истина установлена в XIX веке. Но что такое социальное в языке? Язык связан с историей общества и народа. Между тем все ли в нем определяется событиями и фактами этой истории? Всегда ли мышление словесно? На эти и другие вопросы ищет и предлагает ответы член-корреспондент АН СССР Б. Серебрянников. Его книга адресована языковедам, философам, психологам. Однако многие ее страницы будут понятны, интересны, полезны и неспециалистам, помогая разобраться в многочисленных и разнообразных воззрениях на роль языка в человеческом обществе, воззрениях подчас ненаучных и даже антинаучных, враждебных интернационализму.

Вот лишь некоторые из таких живучих ложных мнений, имеющих частую стойкость предрассудков. В конце XIX — начале XX века, паразитируя на успехах биологии и антропологии, возникла и распространилась теория о том, что язык каждого народа имеет расовую, генетическую основу, записан в генах. Легко понять, какие отсюда выводы сделали расисты. Против их «открытия» восстали многие ученые того времени, среди них и наши соотечественники, например лингвист И. Бодуэн де Куртенэ и — несколько позже — генетик академик Н. Кольцов. Нынешние поколения студентов-филологов уже из курса «Введение в языкознание» знают, что гра-

ницы рас и языков, наций и языков не совпадают, что любым языком мира может овладеть любой нормальный человек. Но вот в 1971 году один из наших технических журналов с тиражом более миллиона экземпляров повторил давно разоблаченную наукой версию и пошел дальше: оказывается, чужой язык может, влияя на «природный», воздействовать на генотип и изменить расовые черты. Автор статьи не задался хотя бы таким простым вопросом: почему же, несколько сот лет говоря на английском языке, никак не побелеют американские негры?.. И тем, кто некогда связывал язык с генами, и тем, кто сравнительно недавно писал и публиковал статью о воздействии языков на генотип, вероятно, казалось, что это и есть материалистический подход к языку. Но, как известно, есть материализм и материализм. Упомынутые воззрения — вульгарно-материалистические.

Не менее далека от подлинного материализма пришедшая из XIX века и развиваемая рядом современных западных лингвистов теория о том, что мировосприятие и даже мировоззрение диктуются национальным языком, очерчивающим как бы круг, за пределы которого они не могут выйти. Авторы этой теории считают разноязычные народы заведомо неспособными на взаимопонимание в идеологии, политике. Существует и такое мнение, носители которого тоже причисляют себя к материалистам: имеется, мол, вполне определенная зависимость между типом языка и типом культуры, в частности между строем языка и способностью соответствующей культуры к развитию. Из чего следует, что народы, которым «не повезло» с типом языка, обречены на отставание в культуре. И они должны либо перейти на другой тип языка, либо смириться со своей культурной отсталостью. Все это полностью противоречит известным науке фактам. Тип языка — его фонетический и грамматический строй. Ни тот, ни другой совершенно не зависят от типа культуры. Так думают и видные лингвисты несоциалистического зарубежья (например, Э. Бенвенист, Р. Якобсон, Дж. Лайонз).

Есть и другие неверные взгляды на язык, выдаваемые за материалистические.

Б. Серебrenников раскрывает и критикует методологические основы подобных расхожих заблуждений. В этом ценность и актуальность его книги для читателя-специалиста. Не все в ней бесспорно. Книга Б. Серебrenникова полемична. Скажем, не соглашаясь с пониманием языкового знака лишь как звуковой оболочки слов и отставая его двусловность (звучание + значение), автор излишне, по-моему, категоричен в оценке иной точки зрения. Трудно принять и такое утверждение: «Материальным субстратом понятия является вещь (иногда отношение). Понятие может исчезнуть только тогда, когда исчезает сама вещь». Но исчезли, к примеру, ледниковый период, древнегреческий полис, средневековая индугенция, а понятия-то остались. Существуют понятия «черт», «ведьма» и т. п., но за ними вообще никогда ничего реального не стояло. Словом, с рядом положений Б. Серебrenникова можно и, видимо, нужно поспорить. Главное, од-

нако, в том, что автор успешно решает многие узловые языковедческие проблемы, считая основной своей задачей развитие читательского интереса к сложным явлениям языка и стимулирование дальнейших исследований в этой области.

Эр. Ханпира,
кандидат филологических наук.



НАТАЛИЯ БИАНКИ. Обыкновенное чудо. О буднях хирургов-офтальмологов. М. «Московский рабочий». 1984. 127 стр.

С автором этой книжки случилась беда: она стала слепнуть. Начались бесконечные тревоги, бесконечные скитания по врачам. В результате этих скитаний Н. Бианки попала в Московский НИИ микрохирургии глаза, возглавляемый его организатором С. Н. Федоровым. Если бы болезнь настигла ее, скажем, лет двадцать назад, когда института этого еще не существовало, неизвестно, как обернулась бы жизнь. Сегодня же врачи вернули ей зрение. Легко сказать — вернули зрение. Но сколько труда, умения, таланта надо было приложить, чтобы эти слова стали реальностью! Сам институт, работающие в нем люди поразили Наталию Бианки, и ей захотелось рассказать об увиденном. Так родилась эта книга.

Она называется «Обыкновенное чудо». С легкой руки Евгения Шварца, назвавшего так одну из своих сказок, этот оксюморон пошел гулять по свету и, став заглавием множества книг, очерков и статей, давно уже обрел стойкий привкус банальности. Но в данном случае он как нельзя более уместен. Н. Бианки рассказывает о вещах будничных (подзаголовок книги тоже ведь не случаен), о бытовых. И в то же время едва ли не каждый эпизод этой книги, едва ли не каждый ее абзац говорит о самом что ни на есть доподлинном чуде. Отблеск чудесного лежит даже на мелкой россыпи исторических фактов, прямо или косвенно связанных с главной темой. Так, например, мы узнаем, что в мемуарах Казановы (1725—1798) была брошена мысль о возможности создания искусственного хрусталика, что первые очки существовали уже в Венеции XIII века, что Леонардо да Винчи избрал очки-невидимки, то есть контактные линзы.

Беру наугад самую прозаическую главу книги, сухо озаглавленную «Экспериментально-техническое производство». Речь в ней действительно идет о предметах технических, сугубо специальных, о буднях производства. Но какого производства! Известно, что из человеческого глаза можно вынуть помутневший хрусталик и вставить вместо него новый, искусственный. Однако больных, нуждающихся в этой операции, так много, что потребовалось наладить поточно-массовое производство искусственных хрусталиков. Казалось бы, уже в самой постановке этой проблемы заложено непримиримое противоречие. Разве не очевидно индивидуальная неповторимость человеческого глаза? А поточное производство неизбежно связано со стандартом... В институте Федорова сумели разрешить

это противоречие. В результате чудо стало явлением не только обыкновенным, но и массовым. Сейчас хрусталики, изготавлиющиеся по специальной технологии Федорова — Захарова, рассылаются институтом в 23 подшефных клиники, находящиеся в разных городах Советского Союза, экспортируются за рубеж. Лицензию на изготовление таких хрусталиков у Советского Союза приобрели ФРГ, Нидерланды, Италия, США, Великобритания.

Еще одна главка — столь же производственно-деловая и столь же чудесная. Она называется «Операция в автобусе». Со словом «операция» обычно ассоциируются такие понятия, как стационар, стерильность, озабоченное напряжение врачей. Ну а слово «автобус» неизбежно вызывает в памяти дорожные неудобства, грязь, тряску. Но в институте Федорова существуют особые автобусы. В них бригады хирургов выезжают в разные города, подъезжают прямо к подъезду больницы так, чтобы больные могли перейти из глазного отделения клиники в автобус, и... человек входит в автобус слепым, а выходит из него зрячим.

Но главное чудо из всех чудес, о которых рассказывается в книге Наталии Бианки, конечно, сам С. Н. Федоров, основатель уникального института. Вот неполный перечень должностей и званий Станислава Николаевича: директор Московского научно-исследовательского института микрохирургии глаза, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, член коллегии Министерства здравоохранения РСФСР, член правления Московского, Всероссийского и Всесоюзного офтальмологических обществ, член редколлегий двух специальных

американских журналов, президент Международного общества кераторефрактологов и т. д. и т. д.

Имя Федорова известно во всем мире. Знакомая автора этой заметки, немка из ФРГ, специально приезжала в СССР, чтобы Федоров избавил ее от близорукости. В маленьком американском городке Томастоне в местной церкви методистов проповедует священник, у которого в глазу хрусталик Федорова — Захарова. Последователей Федорова сегодня тысячи...

Казалось бы, сделано немало и можно с легким сердцем, с законным чувством удовлетворения успокоиться на достигнутом. Но Федоров не успокаивается. Он вынашивает планы нового, еще одного обыкновенного чуда: операционного самолета, на котором сложнейшие, тончайшие глазные операции можно будет делать в самых отдаленных, самых глухих районах страны.

В наш век трудно удивить кого-либо достижениями науки и техники. Почему же «обыкновенные чудеса», описанные в книге Н. Бианки, так удивляют и трогают? Думаю, прежде всего потому, что все они — и малые и большие — связаны с простым, каждому хорошо знакомым понятием «добро». Если говорить откровенно, без этого чудо не чудо, каким бы впечатляющим оно ни было.

Люди, о которых рассказывает Наталия Бианки (а она рассказывает о многих сотрудниках Федоровского института), творят добро каждый день, каждый час, каждую минуту. В этом заключается их профессия. В этом состоит их повседневная, будничная жизнь.

Б. Сарнов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин, КПСС о партийной и государственной дисциплине. Изд. 2-е, дополненное. 782 стр. Цена 1 р. 50 к.

Я. Гордин. Три войны Бенито Хуареса. Повесть о выдающемся мексиканском революционере. («Пламенные революционеры») 366 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Кузнецов. Европа: безъядерная или сверхъядерная? 112 стр. Цена 45 к.

Г. Метельский. До последнего дыхания. Повесть об И. Фиолетове. («Пламенные революционеры») 350 стр. Цена 1 р. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Астафьев. Царь-рыба. 383 стр. Цена 1 р. 10 к.

Г. Гулиа. Жил-был абхазский мальчик. Рассказы. 287 стр. Цена 85 к.

Л. Гурченко. Мое взрослое детство. 285 стр. Цена 85 к.

В. Еременко. Дождаться утра. Повесть. 365 стр. Цена 1 р. 50 к.

Н. Злотников. Весы справедливости. Стихотворения. 142 стр. Цена 60 к.

ВОЕНИЗДАТ

Г. Кирст. Покушение. Роман. Перевод с немецкого. 373 стр. Цена 2 р. 70 к.

В. Рыбин. Взорванная тишина. («Военные приключения») 278 стр. Цена 1 р. 20 к.

П. Сидиропуло. Севернее Салоник. Роман 319 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Степанов. Повести. 480 стр. Цена 2 р. «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Боков. Собрание сочинений В 3-х тт. Т. 1. 607 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Гидаш. Другая музыка нужна. Роман Перевод с венгерского. 647 стр. Цена 3 р. 90 к.

Р. Чобану. Сумерки. Роман. Перевод с румынского. 238 стр. Цена 1 р. 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Анфиногенов. Мгновение — вечность Роман. 352 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Камянов. После загибца Повесть. 264 стр. Цена 85 к.

М. Роцин. Спешите делать добро. Пьесы. 368 стр. Цена 1 р. 68 к.

М. Симашко. Маздак. Искушение Дабира; Повести Черных и Красных песков. Романы. 544 стр. Цена 2 р. 10 к.

С. Шервинский. Стихи разных лет. 143 стр. Цена 40 к.

«ИСКУССТВО»

З. Аграненко. Пьесы. 231 стр. Цена 95 к.

М. Гельдерод. Театр. Сборник пьес. Перевод с французского. 717 стр. Цена 2 р. 30 к.

Е. Синицын. «Я веду репортаж...». 143 стр. Цена 55 к.

«НАУКА»

Ю. Данилин. Поэты Парижской коммуны. 503 стр. Цена 3 р. 40 к.

История русской литературы. В 4-х тт. Том 4. 783 стр. Цена 3 р. 90 к.

Русская свадебная поэзия Сибири. 262 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Сариниди. Афганистан: сокровища безымянных царей. 159 стр. Цена 1 р.

Философские проблемы глобальной экологии. 352 стр. Цена 2 р. 50 к.

«РАДУГА»

А. Германов. Избранная лирика. Перевод с болгарского. 191 стр. Цена 1 р.

Б. Ногейл. Я жду инженера. Повесть. Перевод с чешского. 173 стр. Цена 70 к.

Э. Поуэлл. Поле костей. Искусство ратных дел. Романы. Перевод с английского. 368 стр. Цена 2 р. 30 к.

С. Ясуока. Хрустальный башмачок. Повесть и рассказы. Перевод с японского. 190 стр. Цена 1 р. 70 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Вознесенский. Иверский свет. Стихи и поэмы. Тбилиси. «Мерани». 775 стр. Цена 2 р. 80 к.

Маяковский в современном мире. Статьи, исследования, материалы и воспоминания. Лениздат. 382 стр. Цена 2 р. 20 к.

Е. Николаевская. Лети, журавль. Стихи, переводы. Ереван. «Советакан грох». 127 стр. Цена 55 к.

В. Шугаев. Помолвка в Боготоле. Повести и рассказы. «Московский рабочий». 379 стр. Цена 1 р. 60 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 22.03.84 г. Подписано к печати 14.05.84 г. А 02478
Формат бумаги 70x108 мм. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)
27,53 уч.-изд. л. Тираж 377.000 экз (1-й завод 1—197.000 экз.). Зак 1188.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6. Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1984, № 6, 1—272.